

А.Ю. Антоновский
Р.Э. Бараш

**СИСТЕМНО -
КОММУНИКАТИВНАЯ
ТЕОРИЯ
И ЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
НАУКА И ПРОТЕСТ**



Русское общество истории и философии науки

**Системно-коммуникативная теория и ее приложения:
наука и протест**

Монография

Москва
Русское общество истории и философии науки
2019

УДК 17
ББК 87
А72

Рецензенты:

*Герасимова Ирина Алексеевна, доктор философских наук,
главный научный сотрудник Института философии РАН
Кржевов Владимир Сергеевич, кандидат философских наук,
доцент философского факультета Московского Государственного
Университета имени М.В. Ломоносова*

Антоновский А.Ю., Бараш Р.Э.

А72 Системно-коммуникативная теория и ее приложения: наука и протест: Монография. – Москва: Изд-во «Русское общество истории и философии наук», 2019. – 287 с.

ISBN 978-5-6041212-8-3

В монографии исследуются возможности развития и применения системно-коммуникативной теории, основы которой были разработаны немецким социологом Никласом Луманом. Авторы рассматривают и интерпретируют данный подход, сосредотачиваясь на проблеме наблюдателя социальных процессов. При этом, с одной стороны, особое внимание уделяется системно-коммуникативным подходам к анализу коммуникативной системы науки, ориентирующейся на обобщающее символическое средство коммуникации – медиум истины. С другой стороны, авторы рассматривают и оценивают шансы на успешное развитие нарождающейся системы протестных и радикальных коммуникаций, еще не обретших единого генерализованного символа (коммуникативного медиума), тематически раздробленных и не получивших окончательных организационных форм, но приобретающих все большее влияние в обществе, в особенности, в своих социально-сетевых проявлениях.

ISBN 978-5-6041212-8-3

УДК 17
ББК 87

Рекомендовано к печати Ученым советом Института философии РАН.

*Первый, второй и третий разделы монографии выполнены при поддержке РФФИ,
грант № 17-03-00733 «Системно-коммуникативный подход Н. Лумана
в приложении к Российскому обществу».*

© Русское общество истории и философии науки, 2019.
© Антоновский А.Ю., Бараш Р.Э.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ: КОММУНИКАЦИЯ - ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАМКА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ	5
Коммуникация: краткая история понятия и ее интерпретаций.....	5
Основы системно-коммуникативного подхода. Теория коммуникации Никласа Лумана	16
РАЗДЕЛ I. НАБЛЮДЕНИЕ КАК РОДОВОЕ ПОНЯТИЕ КОММУНИКАЦИИ: ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ, КАУЗАЛЬНЫЙ, ИСТОРИЧЕСКИЙ И ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ...	24
Причинные связи наблюдаемого и ненаблюдаемого	27
Причины и законы как наблюдательные атрибуты. Ответ на тезис К.Х.Момджяна.....	31
Социальные регулярности – контрфактические или акцидентально-истинные?.....	37
Наблюдение и истина. Ответ на тезис Марковой Л.А.	38
Наблюдение и интерпретация. Ответ на тезис Никифорова А.Л.....	43
Наблюдение и история.....	50
Макроуровень коммуникативного наблюдения.....	54
Связь теории и наблюдения в концепции эталонных переменных	54
Системно-коммуникативный подход в иерархизации уровней теоретического наблюдения	56
Наблюдение в историко-эпистемологическом подходе. Ответ на тезис Столяровой О.Е.	58
РАЗДЕЛ II. КОММУНИКАЦИЯ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТЬ	68
Коммуникация и рациональность. Ответ на тезис В.Н. Поруса	68
Коммуникация и интерсубъективность. Ответ на тезис Н.М. Смирновой	73
РАЗДЕЛ III. ОТ НАБЛЮДЕНИЙ К ОПИСАНИЯМ. СТАРОЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМАНТИКА И ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ...	78
Теория самоописаний Никласа Лумана	78
Семантика как периодически воспроизводимый «культурный запас понятий»	81
Измерения самоописаний	82
«Общество общества» как автологическое самописание	85
Онтология как предметное измерение смысла в староевропейских семантиках.....	87

Семантика индивидуальности – социальное измерения смысла в староевропейских семантиках	90
Временное измерение смысла: от староевропейской семантики к системно-теоретическим самоописаниям.....	91
Социальная структура и семантика времени.....	92
Самоописание как социоэпистемологическая рефлексия и массмедийное событие	93
РАЗДЕЛ IV. СИСТЕМНО-КОММУНИКАТИВНОЕ ПОНИМАНИЕ НАУКИ И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ.....	96
Начало системно-коммуникативного подхода к исследованию науки: «Наука как призвание» Макса Вебера и староевропейская семантика	96
Системно-коммуникативная интерпретация науки в контексте классических эпистемологических проблем	112
Социально-коммуникативные основания науки Никласа Лумана	127
Истина и знание в системно-коммуникативном подходе к анализу науки.....	141
К понятию эволюции научной коммуникации.....	155
Case study: Социальная философия науки Фридриха Шлейермахера - системно-коммуникативная интерпретация	167
Case Study: Огуст Конт и У. Хьюэлл - системно-коммуникативная интерпретация.....	183
Приложение к главе: Никлас Луман. Эволюция. Глава из книги «Wissenschaft der Gesellschaft». Suhrkamp. 1993. S. (в сокращении)	191
РАЗДЕЛ V. ОТ НАУКИ К ПРОТЕСТУ, ИЛИ КАК ВОЗМОЖНЫ СТРУКТУРНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ В КОММУНИКАТИВНЫХ СИСТЕМАХ?.....	220
РАЗДЕЛ VI. ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ЕГО СИСТЕМНО-КОММУНИКАТИВНАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ.....	232
Генезис радикализма и позитивная программа его исследований.....	232
Феноменология протеста. Протест как неорганизованная организация и неинституционализованный институт.....	245
Протест и радикализм в функции общественного иммунитета	261
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	274
ОБ АВТОРАХ.....	286

ВВЕДЕНИЕ: КОММУНИКАЦИЯ – ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАМКА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ

Коммуникация: краткая история понятия и ее интерпретаций

Интерес к рассмотрению коммуникации связан прежде всего с чрезмерной многозначностью, а также с дисциплинарной непроясненностью самого понятия коммуникации. Кажется, нет такой гуманитарной дисциплины, которая не изучала бы коммуникацию. История, экономика, лингвистика, социология, литературоведение, социальная психология и социальная философия, этика и эстетика, философия языка и логика – все эти дисциплины предлагают собственные реконструкции и формализации человеческого общения. Можем ли мы обрисовать общие рамки этого феномена без обращения к той или иной дисциплинарной перспективе? На наш взгляд, это возможно как эпистемологическая и философская задача. Затем такое универсальное понятие коммуникации могло бы далее специфицироваться отдельными дисциплинами, выделяющими в нем свой собственный, уникальный аспект или предмет.

Впрочем, и самая широкая эпистемологическая интерпретация коммуникативных процессов все-таки требует предварительной конкретизации и предполагает два фундаментальных понимания: редукционистское и универсалистское.

С одной стороны, мы имеем дело с узким – поведенческим¹, социальным и человекоразмерным понятием коммуникации. Коммуникация в этом смысле остается общением людей. Но, с другой стороны, при смещении фокуса от коммуницирующих полюсов к самому процессу коммуницирования можно в некотором смысле абстрагироваться от особенностей этих коммуницирующих лиц и рассматривать полюса коммуникации как некие вакантные места или переменные, допускающие свое нечеловеческое замещение. Отсюда самые широкие обобщения, благодаря которым понятие коммуникации может охватывать широчайшую сферу взаимодействий, включающих в том числе и невербальные человеческие контакты, и обмен данными восприятия у животных, и трансляцию машинных данных, гипотетически возможную телепатию, и даже коммуникацию между грибами и растениями, клетками и митохондриями, генами и фенотипами.

В нашей работе мы попытаемся ограничиться теорией коммуникации «среднего уровня» и покажем возможность выхода за пределы Сциллы редукционизма (редукции к поведению человека как коммуниканта *par excellence*) и Харибды универсализма, где коммуникация была бы безразлична к своим источникам.

Интерес к исследованию коммуникации, в особенности к сегодняшнему высокоспецифичному и дифференцированному ее состоянию, вытекает из нескольких обстоятельств.

¹ См. пример сужения сферы коммуникативного до бихевиористской модели общения, выступающей в лучшем случае в виде политологической эвристики и методологии: *Smith B.L., Lasswell H., Casey R. Propaganda, communication and public opinion. Princeton, 1946.*

1. Одно из них мы связываем с тем значением, которое в современном обществе приобретает неудавшаяся коммуникация. Последнее явление можно рассматривать как некоторую глобальную проблему современного общества, словно сотканного из коммуникативных границ: расовых, гендерных, возрастных, культурных, политических, религиозных, языковых и многих других. Трудности их преодоления, проистекающие отсюда непонимание и отклонения запросов на контакты не в последнюю очередь рассматриваются как причины социальных конфликтов, препятствий на пути трансляции и диффузии знания, фиаско программ по интеграции и социализации культурных меньшинств. Отсюда особый интерес исследователей к экспликации условий коммуникативного успеха и к самому определению понятия успешной коммуникации. Этот вопрос далеко не так прост, каким он кажется на первый взгляд. Является ли сам факт коммуникации демонстрацией ее успешности? Или же коммуникация всегда носит подчиненный и скорее инструментальный характер, ориентированный на достижение некоторых внешних по отношению к самой коммуникации целей и задач, а коммуникация не должна рассматриваться как нечто ценное само по себе? В этой связи важно прояснить не только понятие коммуникативного успеха/фиаско, но и ответить на вопрос о самой по себе загадочной социальной функции второй (негативной) стороны этой формы, расстроенной коммуникации, которая не может интерпретироваться просто как некий вызов для индивида, как триггер научения и пересмотра его позиции, ведь все это как раз требует коммуникации, а не изоляции.

2. Однако основной исследовательский интерес к этому понятию мы связываем с разработкой и экспликацией собственно теоретико-познавательного содержания коммуникации, что не в последнюю очередь предполагает реконструкцию коммуникативной проблемы в контексте истории философских, но прежде всего – эпистемологических идей и концептов. И все же долгое время не представлялось очевидным, что коммуникация является в первую очередь эпистемологическим понятием и проблемой. Так, в классических философских учениях (при всем том, что именно Аристотель дал именно «коммуникативное» определение человека как «говорящего животного») речь шла о сферах бытия, по-видимому, не включавших коммуникационную сферу². В этой связи именно философская концептуализация коммуникации позволяет в некотором смысле «спасти» и саму философию. Философия в ее исследованиях коммуникации словно возвращает актуальность классическим философским проблемам – (коммуникативному) пространству, (коммуникативному) времени, (социальной) каузальности, (коллективным) субъекту и объекту, наполняя их содержательными характеристиками и проверяя свои построения на опыте функционирования реального общества и общения.

К перечисленным выше вызовам, требующим эпистемологического анализа коммуникации, относится и ряд совершенно новых обстоятельств, связанный с развитием ЭВМ и, как следствие, с появлением разного рода

² Так, классическое деление на три сферы сущего: теоретическую (математика, физика, метафизика), практическую (этика, политика) и поэтическую (поэзия, экономика) – очевидно, не включает в себя особую область – область общения. См.: *Аристотель. Метафизика*, книга VI, глава первая; *Топика*, книга VI, глава шестая.

информационных и социальных сетей, что сделало возможным «нетрадиционные» вне-человеческие, вне-социальные и даже вне-смысловые типы трансляции коммуникаций. Речь идет о символических аспектах коммуникации между вычислительными машинами, о загадочном онтологическом и эпистемологическом статусе программ и алгоритмов, которые кодируют и раскодируют осмысленные реакции на входящие сигналы, но очевидно не «переживаются» и не осознаются машинами (как некими аналогами сознания) в виде осмысленных ментальных актов. Такого рода «общение», кроме того, очевидно не ориентировано на различие известного и неизвестного, на явным образом (т. е. материально) презентированного знакового сообщения и недоступного («скрытого» в черепной коробке) индивидуального смысла сообщения, – различия, которое всегда мотивировало, провоцировало и поддерживало человеческое общение. В этой связи особый интерес приобретает вопрос о том, сделает ли машинная коммуникация возможным общение совсем иного рода, где закрытость чужого сознания перестанет быть главным вызовом и триггером коммуникативного акта, требующего новых и новых коннекций и образования коммуникативных систем, рождающихся именно как ответ и решение проблемы замкнутого сознания.

3. В этом смысле актуальность экспликации эпистемологического содержания понятия коммуникации оказывается сопряженной с несколькими аспектами человеческого познания. Во-первых, речь идет об определении адекватности понимания высказывания Другого, реконструкция которого затруднена (а может, и вовсе невозможна) в условиях недоступности чужого сознания. Во-вторых, проблема коммуникации связана с принципиально двойкой целью любой коммуникации, ориентированной, с одной стороны, на интеграцию и достижение взаимопонимания и согласия, а с другой – на информационное описание предмета сообщения. В-третьих, коммуникация основана на важнейшем эпистемологическом различии знания/незнания, т. е. известности некоторой информации одному участнику коммуникации и ее неизвестности другому, что только и провоцирует образование коммуникативных систем и самых разнообразных форм социальности. В-четвертых, коммуникация, раздваиваясь на общение когнитивное и общение нормативное, тем не менее в целом остается изоморфной процессу познания, поскольку всегда предстает рациональным выбором (и в этом смысле – познанием) между субъектным и объектным истолкованием того или иного сообщения, рациональным выбором между интерпретацией высказывания как нацеленного на поддержание сплоченности (сообщении об известном, удостоверении общности) и интерпретацией высказывания как нацеленного на сообщение о новом и неизвестном.

Все перечисленные вызовы, и контroversы, и аспекты комплексного явления коммуникации требуют ее анализа именно в эпистемологическом ключе.

Рассматривая трансформацию семантики этого понятия, мы вынуждены различать две отдельные истории: историю термина, менявшего свои смыслы (история семантики), и историю самого понятия, не зафиксированного однозначно в виде термина, но выказывающего некоторую историческую содер-

жательную инвариантность. Последнее предполагает наличие современного смысла слова в прошлых концептуализациях данного феномена и его воспроизводство. При этом рассмотрение такой эволюции смыслов, закрепленных синтаксически, т. е. в виде конкретного слова, вполне может предполагать работу с разными понятиями, объединенными лишь внешним образом. Если же будем рассматривать инвариантную семантику, воспроизводимый смысл, вербализуемый разными словами, то нам не удастся показать эволюцию. Мы попробуем совместить обе перспективы и будем рассматривать меняющиеся смыслы слова «коммуникации» как отражающие трансформацию коммуникативных смыслов.

В латинском языке выражение *communicatio* первоначально не являлось обозначением символического процесса, трансляции символов или смыслов от одного участника коммуникации к другому, как и не обозначало диалога, а скорее служило обозначением симуляции такого диалога, выступало риторическим приемом, состоящим в обращении к гипотетическим соображениям фактически не присутствующих оппонентов или публики. При этом наличествовал и другой не-диалогический смысл: *communication* обозначало религиозное таинство причастия, но не являлось каким-то посланием, а удостоверяло принадлежность к религиозной общине, не подразумевавшую коммуникативного ответа.

В философский оборот в относительно явном виде это понятие (но не сам термин) входит благодаря Платону. В диалоге «Софист»³ под одноименной темой собственно и понимается некий вид рассуждений, или «искусство убеждения», «искусство прекословия» и «искусство словопрения», свободное от предметности, но сосредоточенное на самих этих рассуждениях. И вытекающая отсюда убедительность рассуждений ставится под вопрос уже в силу самой этой убедительности, а скепсис и сомнения полагаются неотъемлемыми чертами любых развернутых рассуждений. Именно с этого диалога и берет свое начало так называемая «староевропейская традиция», избегающая подозрительных «софизмов», требующая обращения к «самим вещам», доступ к которым не зависел бы от их коммуникативного обсуждения⁴. В этой традиции онтология получает очевидный приоритет перед эпистемологией, а слова и язык низводятся до всегда сомнительных и недостоверных средств реконструирования вещных характеристик⁵.

Современные (уже ставшие практически повседневными) смыслы понятия коммуникации – трансферта или физической передачи (света, электричества, тепла, сигналов и т.д.), а также взаимного обмена сообщениями – возникают в XIX веке. Однако в современный философский оборот термин «коммуникация» входит несколько позднее благодаря Лео Лёвенталю в его (позднее использованном Ю. Хабермасом) различении между «аутентичным» и «инструментальным» типами коммуникации, где «подлинная коммуникация

³ Платон. Софист. 225 с. Особое место в данном диалоге среди иных искусств рассуждения отводится «искусству различать» как некоей метаспособности, лежащей в основе всех иных типов рассуждений.

⁴ Сам термин, как и концепцию преодоления – такой предметно-ориентированной – «староевропейской традиции» предложил Н. Луман. См.: *Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Suhrkamp. Bd. 1–5. 1994.*

⁵ Более подробно об этом: *Baecker D. Kommunikation. Reklam, 2005;* его же: *Form und Formen der Kommunikation. Suhrkamp, 2005.*

влечет образование единства, обобществления внутреннего опыта»⁶. Такое философское понимание коммуникации как некоего средства «примирения» между Его и Другим поначалу контрастирует с «физической» «коммуникативной теорией» (физико-математической теорией трансферта сигналов и информации). Коммуникация предстает в ней в виде функционирования цепи из (деантропологизированных) звеньев: источника информации, трансмиттера-кодировщика сообщения, канала-медиума, ресивера (декодировщика сигнала), места назначения (дестинации)⁷. В этом «кибернетическом» понимании коммуникации, очевидно, размывается свойственная человеческому общению жесткая дистинкция «отправитель/получатель» с принципиально различными (у получателя и отправителя) видами доступа к информации, которую несет в себе сообщение. Однако позднее, в результате развития кибернетического понятия, обозначаются попытки применить его и к самому человеческому общению. Так, в кибернетической интерпретации коммуникации⁸ интерес от коммуницирующих полюсов (отправителя и получателя) постепенно смещается к области самих медиа коммуникации, т. е. к самим каналам распространения информации⁹.

Впрочем, эти два центральных подхода (интеграционно-коммуникативный и инструментально- или медиа-коммуникативный) не отменяют друг друга, а скорее описывают две акцентуации одного и того же процесса. Смещение в область медиальной инструментализации общения, интерес к поиску алгоритмов автоматически достигаемого коммуникативного и деятельностного успеха может рассматриваться как негативная (но актуальная) характеристика в том числе и человеческой, а не исключительно машинной коммуникации. Критика инструментального разума, подразумевающего использование денег и административной власти в качестве коммуникативных медиа успеха, была, как известно, осуществлена Ю. Хабермасом¹⁰.

Собственно эпистемологическое понимание коммуникации начинает разрабатываться сравнительно недавно. Ее исследование отчасти становилось реакцией на ряд теоретических и технических вызовов, на возникающие в XIX веке понятия «солипсизма» и «телепатии»¹¹, которые, несмотря на всю фантастичность таких гипотез, обозначали крайние теоретические точки, или экстремумы возможностей общения. Но может быть, и большую роль в актуализации интереса к эпистемологии коммуникации сыграло изменение структуры и характера самого человеческого общения в XIX веке, когда медиа-опосредованное, или, иначе, инструментализованное общение (печать,

⁶ Loewenthal L. Humanität und Kommunikation (1969) / Literatur und Massenkultur. Suhrkamp, 1980. S. 358.

⁷ Shannon C.E., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. Illinois, 1949.

⁸ См. важные работы в этой области: Foerster H. (Ed.) Cybernetics of Cybernetics: The Control of Control and the Communication of Communication / Future Systems. 1995; Hayles N.K. Boundary Disputes: Homeostasis, Reflexivity, and the Foundations of Cybernetics // Configurations. 1994. № 3; Lasker G.E. (Ed.) Applied Systems and Cybernetics. Vol. II. New York, 1981; Günther G. Cognition and Volition: a Contribution to a Cybernetic Theory of Subjectivity / Günther G. Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik. Bd. 2. Hamburg, 1979; Ashby W.R. An Introduction to Cybernetics. London, 1956; Ashby W.R. Requisite Variety and its Implications for the Control of Complex Systems // Cybernetica. 1958. № 1.

⁹ Впрочем, такое смещение интереса от коммуницирующих полюсов к коммуникационной среде или полю произошло несколько ранее в психологии. См. известный доклад Фрица Хайдера «Вещь и Медиум», 1927. Heider F. Ding und Medium. Berlin, 2005.

¹⁰ Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt/M., 1981.

¹¹ Myers F.W.H. Human Personality and its Survival of Death. London, 1903.

радио, телеграф, телефон) начало в каком-то смысле «вытеснять» или подменять интерактивную коммуникацию face-to-face.

Эти изменения в практике общения не оставались незамеченными и в литературной рефлексии. Имея в виду вышеозначенные эпистемические дилеммы, Уильям Джеймс говорит о «великом расколе» как о необходимой предпосылке процесса коммуникации.

«Один великий раскол целостного универсума на две половины осуществляется каждым из нас; и для каждого из нас главный интерес привязан к одной из этих половин; но мы проводим эту разделительную линию в разных местах. ... и мы называем эти половины одинаковыми именами «те» и «not me»¹².

Именно этот «раскол», как и мотив поисков средств по его преодолению, во многом, как мы увидим ниже, задает основные концептуализации коммуникации.

Господство «староевропейской традиции», в которой предметное измерение коммуникации явным образом доминирует над измерением социальным и временным, сохранялось до языкового поворота в философии. В XX веке язык получает центральную роль главного познавательного инструмента, что превращает коммуникацию в одну из ведущих философских и эпистемологических проблем. Так, в философии Людвиг Витгенштейна предметное измерение коммуникации оказывается «ограничено» языком и уже не может вырваться за пределы сообщенного в рамках человеческой коммуникации. То, что не может быть сообщено, проинтерпретировано другими и понято как смысл сказанного, в известном смысле, и не может получить статуса предмета (обсуждения). В «Трактате» мир интерпретируется как «все, что выпадает» («die Welt ist alles, was der Fall ist») таким или иным образом, как подброшенная вверх монета «выпадает» орлом или решкой – что ограничивает ее бытие двумя возможными мирами. Таким образом, этот мир в его предметном измерении оказывается ограниченным двумя логическими (= языковыми) возможностями – быть таким или другим, но фактически он в каждом случае уже этих возможностей. В этом смысле языковые формы получают собственное и самостоятельное значение в сравнении с описываемым ими миром. Ту же мысль, но с лингвистической точки зрения, выражает и Ф. де Соссюр.

Одновременно и в рамках лингвистической интерпретации коммуникации¹³ нащупывались решения ключевой коммуникативной проблемы: невозможности и одновременно необходимости «открыть» сознание Другого для обеспечения адекватных вербальных реакций на скрытые и поэтому всегда гипотетические смыслы посылаемых сообщений. Лингвисты Чарльз Огден и Айвор Ричардс, развивая идею Г. Фреге, Б. Рассела, Л. Витгенштейна, попы-

¹² James W. Principles of Psychology. Chicago, 1952. P. 187.

¹³ Для наших целей особенно важной стала работа Елены Еспозито (*Esposito E. Two-sided Forms in Language. Stanford, 1999*). Автор, применив так называемые «законы формы» Дж. Спенсера-Брауна, ввела важные лингвистические различия: *индикации/дистинкции* (как инструмента наблюдения), сопоставив ее с коммуникативным различием *самореференции/инореференции*. См. об этом также: *Baecker D. (ed.). The problems of form. Stanford, 1999*. Другие работы в области лингвистической интерпретации коммуникации: *Остин Дж. Как производить действия при помощи слов // Остин Дж. Избранное. М., 1999; Куайн У. Слово и объект. М., 2001; Martinet A. Elements of general linguistics. Chicago, 1982; Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 2006; Куслий П.С. Аспекты «внутреннего мира» и семантика естественного языка // Эпистемология и философия науки. 2014. № 4.*

тались фактически решить означенную проблему путем закрепления за словами предельно однозначных смыслов и жесткого разделения символического и эмоционального значений слов. Последнее позволило бы, с их точки зрения, придавать коммуникации однозначность и обеспечить достоверность интерпретаций отсылаемых сообщений. Благодаря их методу в коммуникации не пришлось бы выбирать между предметом сообщения («идет дождь») и тем, какая установка (намерение, надежда, опасение, удивление перед тем, что «идет дождь», и т. д.) мотивировала это высказывание и, следовательно, должна выступать его «непредметным» смыслом)¹⁴.

С целью такой «пурификации» общения был предложен универсальный базовый английский словарь, составленный из 850 слов. Средством достижения предметной однозначности становилось универсальное согласие в универсально разделяемых смыслах, что устанавливало однозначный приоритет социального измерения перед предметным. Все остальные употребления смыслов рассматривались как некие неаутентичные типы коммуникации.

Та же опасность «неаутентичности» коммуникации, но в ином аспекте, рассматривалась Мартином Хайдеггером. При этом коммуникативное сообщение, согласно мыслителю, в принципе не может претендовать на вышеозначенное преодоление раскола между Я и Другим, поскольку «событие речи» манифестирует уже состоявшуюся, но еще «не присвоенную» связь с Другими.

«Сообщение никогда не есть что-то вроде переноса переживаний, например, мнений и желаний, из глубин одного субъекта в глубины другого. Соприсутствие по сути уже очевидно в сонатроенности и в сопонимании. Событие в речи «выраженно» разделяется, т. е. оно уже есть, неразделенное только как не схваченное и присвоенное»¹⁵.

Здесь особую важность приобретает понимание «сообщения» (поскольку «сообщение» открывает мир еще на уровне синтаксиса, т. е. до всякой интерпретации и анализа, т. н. «присвоения») как изначального проявления согласия. Семантика как обмен смыслами сообщений и прагматика как координация действий не имеют большого значения в таком понимании общения.

Подобно М. Хайдеггеру, и Джон Дьюи (несколько ранее) сосредотачивает внимание на тех условиях, при которой современной коммуникации удается выходить за границы интерактивности в общение face-to-face. Компенсировать возникающий пространственно-временной разрыв должно образование, призванное универсализировать и сделать общими «опыт» (а позднее – «культуру») и тем самым – восстановить утрачиваемую в ходе коммуникативной инструментализации «непосредственную общность опыта» Ego и Другого.

«Неистовый поиск того, что могло бы заполнить пустоту, образованную ослаблением уз, удерживающих людей вместе в непосредственной общности опыта»¹⁶.

Но, как и Хайдеггеру, это единение других видится ему не на семантическом уровне смыслов, локализованных в психике и мышлении индивидов, а в самом – объективно данном – языке, смыслы слов которого нужно понимать

¹⁴ Ogden C.K., Richards I.A. The Meaning of Meaning. New York, 1923.

¹⁵ Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 57.

¹⁶ Дьюи Дж. Общество и его проблемы. М., 2002. С. 156.

не как «частную собственность», а как «методы действий» и «способы использования вещей»¹⁷

Близкий идеям прагматизма Дж. Г. Мид в свою очередь попытался решить проблемы «замкнутости» сознания Другого как главного препятствия трансляции смысла. В его концепции эту роль посредника берет на себя «вещь». Вещи выступают, таким образом, живыми партнерами людей, и только поэтому с ними можно контактировать как с людьми. Условия общения и контакта с предметами интерпретируются как более глубинные и предпосланные собственно контакту и коммуникации людей друг с другом, причем еще до образования у человека способности дифференцировать внешний мир на живое и неживое, социальное и психическое. «Примеривание на себя» роли вещи выступало у Мида условием обособления человека как предметного и живого существа, отличного от всех остальных живых существ и вещей. Ведь именно вещь выступала самым общим носителем суммы ролей – устойчивых и предвосхищаемых типов поведения. Благодаря вещи человек научился определять себя через другое, и лишь впоследствии и именно благодаря этому возникает возможность контактов с некоторым другим индивидом, «обобщенным Другим», общностью или коллективом¹⁸.

В рамках этой ветви интерпретации коммуникации следует рассматривать так называемую «философию диалога», традиционно связываемую с именами М. Бубера (выстраивающего «онтологию диалога» на теологическом фундаменте)¹⁹, Э. Левинаса (рассматривающего «диалог» с Другим как некую «трансцендентальную форму», удостоверяющую мысленную идентичность Я²⁰). Философский диалогизм получает разработанную форму в идее полифоничности М. Бахтина, конкретно проявляющейся в таких свойствах диалога, как симфония, множественная полярность, двухголосность слова, и в этой форме синтеза Я и Другого образуется некое Со-бытие, полагаемое им в основание структуры бытия²¹. Особенно интересны в этой связи предложенные Бахтиным возможности историко-эмпирической интерпретации его общей схемы применительно к историческим типам культуры, где Я и Другой предстают в различных конstellациях. Свои версии философии диалога развивают Ф. Розенцвейг²², Ф. Эбнер²³, О. Розеншток-Хюсси²⁴, В. С. Библер²⁵.

¹⁷ «Солилоквий – продукт и отражение общения с другими; ... коммуникация – это не эффект солилоквия». Dewey J. *Experience and Nature*. Chicago, 1925. P. 135.

¹⁸ Mead G.H. *The Objective Reality of Perspectives* // *Proceedings of the Sixth International Congress of Philosophy*. New York, 1926. P. 75–85. Мид Дж.Г. Разум, Я и общество (Главы из книги) // *Социальные и гуманитарные науки (отечественная и зарубежная литература)*. РЖ, «Социология». 1997. № 4; Мид Дж.Г. *Социальное сознание и сознание смысла*. Перевод с англ. Р. Э. Бараш // *Эпистемология и философия науки*. 2013. № 1. С. 219–227.

¹⁹ Бубер М. *Два образа веры. Я и Ты*. М.: Республика, 1995. С. 16–92.

²⁰ Левинас Э. *Путь к Другому*. СПб., 2007.

²¹ Бахтин М.М. *Слово в романе* // *Вопросы литературы и эстетики*. М.: Художественная литература, 1975; Бахтин М.М. *Проблемы поэтики Достоевского*. М., 1979.

²² Идея Розенцвейга в том, что диалог должен выстраиваться на основании некоего «нового мышления» (основанного не на абстракциях, а определяемого конкретной речью в конкретный момент времени): *Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften*. Stuttgart, 1984.

²³ Концепцию так называемой «пневматологии души» см.: *Ebner F. Das Wort und die geistige Realitat, Gesammelte Werke*, Bd. 1. Wien, 1952.

²⁴ Розеншток-Хюсси О. *Речь и действительность*. М., 1994.

²⁵ *Культура. Диалог культур (опыт определения)* // *Вопросы философии*. 1989. № 6.

В социологической концептуализации коммуникации проблема замкнутости сознания и невозможности реконструкции смысла посылаемого сообщения становится конститутивной проблемой самой социальной теории. Так, в «философии жизни» Георга Зиммеля коммуникация предстает как круговое взаимодействие, как переход действующего (Tun) в переживания (Leiden), как каузальные воздействия тех или иных социальных форм (например, формы брака) на соответствующие переживания (в данном случае на чувства любви и привязанности). Проблема замкнутости сознания и исключительно индивидуального доступа к смыслам сказанного раскрывается и разрешается через устойчивые и воспроизводимые корреляции чувств и коммуникаций (переживания прекрасного – социальная форма искусства – переживания прекрасного; переживание сакрального – социальная форма религии – переживание сакрального)²⁶.

В перспективе феноменологической социологии проблема коммуникации предстает несколько шире, выходя за пределы проблемы асимметричности доступа у коммуницирующих к смыслу сказанного. Проблема коммуникации усматривается, во-первых, в асимметричности временных перспектив пытающихся понять друг друга коммуникантов. Так, высказывающийся исходит из некоторой, локализованной в некотором будущем, цели своего спича (in-order-to-communication). Напротив, интерпретатор коммуникативного акта исходит из своего «отложенного в прошлом» знания этого Другого и используемых им символов (because-of-communication).

При этом временная рассинхронизация в понимании (однозначного по своей форме сообщения) дополняется указанием на принципиальную невозможность удостовериться в субъективном (индивидуальном, и даже идиосинкразийном) или же, напротив, объективном (универсальном, общепризнанном) использовании знаков²⁷. Ведь понимающий Его все-таки всегда со-учитывает следующее обстоятельство: то, что в высказывании Другого представляется как определенное прошлым, коллективным, объективным (воспитанием, образованием, социальной принадлежностью), с точки зрения самого Другого, определяется его свободным индивидуально-поставленным замыслом.

Кроме того, коммуникативная проблема возникает в процессе понимания еще и в силу того, что за некоторым знаком кроется не только значение, но и намерение, желание мотивировать или эмоция. Тем не менее, коммуникативное понимание возможно и без введения фикции «эмпатии». Оно обеспечивается пространственно-временной и личностно-коллективной регионализацией сфер жизненного мира, относительно единообразно дифференцирующихся у всех участников коммуникации. Именно эта регионализация и обеспечивает столь проблематичное (в силу означенной временной рассинхронизации в истолкованиях речевого замысла участниками коммуникации) взаимопонимание

В рефлексии социологического функционализма²⁸ утрачивает свое значение обсуждаемая выше ключевая проблема коммуникации – асимметрич-

²⁶ *Simmel G.* Grundfragen der Soziologie. Berlin, 1970.

²⁷ *Schutz A.* The Phenomenology of the Social World. Northwestern University Press, 1967.

²⁸ *Parsons T.* The Social System. Routledge, 1951. *Вебер М.* Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990; *Coleman J.S.* Social Theory, Social Research, a Theory of Action // American journal of Sociology. 1986. № 91. P. 1322; *Parsons T.* Structure

ность доступа к смыслам высказываний у Ego и Другого. Коммуникация (впрочем, как и сам коммуницирующий человек-действователь) теперь рассматривается как условие некоторого деантропологизированного события – действия. Некоммуницируемыми основаниями действий должны были выступить некоторые структурные предпосылки коммуникации, прежде всего, ценностная или моральная основа общения, стандарты, нормы, идеалы. В этом случае функция коммуницирующего человека как одного из условий действия и коммуникации низводится до функций восприятия и способности зафиксировать завершенность действия в виде удовлетворенности от целереализации (консуммация). Рациональность коммуникации и действия отныне определялась не разумом человека (актера), а функционально, т. е. тем, насколько действие отвечало базовым условиям или предпосылкам – адаптации, воспроизводству паттернов культуры, интеграции, удовлетворению от целедостижения.

Оппонирующий функционализму подход Ю. Хабермаса²⁹ превращает понятие коммуникации в универсальную характеристику социальной реальности, представленную в понятиях коммуникативной рациональности³⁰, коммуникативного действия, коммуникативной системы (общества) и понятии жизненного мира. Коммуникативное действие, направленное на достижение понимания, противопоставляется инструментальному или целерациональному действию, ориентированному телеологически. Однако и языковое понимание в данном подходе тоже требует рационализации, причем даже в большей степени, чем этого требовало отношение цели и средства. Рационально коммуницирующие индивиды не должны использовать перлокутивные эффекты выражений (т. е. требования подчиниться воле говорящего), что, впрочем, не означает отказа от обоснования и критики.

Понятие рациональной коммуникации приближает ее к так называемому стандартному пониманию знания (знания как суммы «истинных и обоснованных убеждений»), лишь добавляя к нему признак понятности. Ведь коммуникативная рациональность покоится на четырех (аналогичных понятию знания) основаниях: понятность, объективная истинность, нормативная правильность и субъективная истинность (= убежденность). Идеальная рациональная коммуникация Ю. Хабермаса воспроизводит идеальную ситуацию научного дискурса (с равными шансами на участие и на право инициировать обсуждение, на признание интерпретаций и аргументаций, на свободу от административного произвола и отказ от симуляции речевых интенций).

Собственно, такого рода рациональный «коммуникативный разум», по Хабермасу, и должен обеспечивать «рациональное коммуникативное» действие, освобождающееся таким образом от воздействий «чуждых» «медиа вла-

of social action: a study in social theory... New York, 1937. P. 732; *Parsons T.* The Social System. Glencoe, 1951. P. 24–104; *Parsons T., Smelser N.L.* Economy and Society. London, 1956; *Parsons T., Shils E.A.* Toward a General Theory of Action. Harvard University Press, 1951. P. 76–88; *Luhmann N.* Die Gesellschaft der Gesellschaft. Suhrkamp, 1996; *Луман Н.* Общество общества. М.: Логос, 2011. С. 358.

²⁹ *Хабермас Ю.* Моральное сознание и коммуникативное действие: пер. с нем. СПб.: Наука, 2000.

³⁰ *Антоновский А.Ю.* Коммуникативная рациональность – внешняя и внутренняя // Эпистемология и Философия науки. 2008. Т. XVII. № 3; *Смирнова Н.М.* Коммуникативная рациональность и жизненный мир человека // Эпистемология и философия науки. 2008. Т. XVII. № 3.

сти и денег», управляющих инструментально-ориентированными системами «хозяйства» и «администрирования».

Конструктивистское обращение к коммуникации³¹ имеет глубокие корни и восходит к идеям стоиков с их различием *techne-arete/sofia*. Последнее предполагало различие пропозиционального, информативного или рефлексивного знания (знания-что) и нерефлексивного деятельного знания-умения (знания-как). Что делало возможным сохранение рациональности (в рамках знания-умения) как своего рода убежища в условиях сомнений, парадоксов и противоречий, характерных для знания рефлексивного. Так же и в целом для конструктивистского понимания коммуникации характерна переориентация интереса к тому, как осуществляется и как генерируется (конструируется) коммуникация, с вопроса о том, что является ее темой или предметом.

Отсюда же проистекает т. н. «онтогенетическая» интерпретация становления когнитивных и коммуникативных способностей. С точки зрения Ж. Пиаже, именно в самой коммуникации осуществляется конструктивный «фундаментальный процесс познания» путем «децентрации субъективных иллюзий», благодаря чему «субъект получает возможность занимать позиции других людей или самих объектов»³².

Пиажеанец и лингвист Эрнст фон Глазерсфельд³³ и физик, психолог и математик из иллинойского университета Хейнц фон Ферстер³⁴, биологи Франциско Варела и Умберто Матурана³⁵ расширяют понятие коммуникации, выводя его за пределы узкой зависимости между языком и сознанием. В итоге формулируются широкое – т. н. конструктивистское – понимание коммуникации, фактически сведенное к процессу наблюдения. Правда, при этом и наблюдение понимается более широко, чем обычно: оно может осуществляться не только в рамках коммуникации и когнитивных процессов (индивидуального человеческого восприятия и мышления), но и проявляться в «поведении» самого разного вида: биологических систем (клетки, организмы и их органы), мозга, сознания, культуры, общества, машин и т. д. Там, где осуществляются различия между предметом тех или иных операций и самим агентом операций, там и имеет место – пусть самое примитивное и зачаточное – познание и примитивная самость («minimal self» – Д. Деннет). Самость оказывается следствием (само)наблюдения как процесса обозначения вследствие тех или иных различий. Очевидно, что в этом смысле и коммуникация всегда представляет собой наблюдение, поскольку одна тема обсуждения выбирается как ведущая, а все остальное отклоняется или потенциализируется. И сама коммуникация предстает в виде некоторого наблюдателя³⁶, осуществляющего различение между предметом обсуждения и самим обсуждением³⁷.

³¹ См. конструктивистские интерпретации коммуникации: *Luhmann N. Das Erkenntnisprogramm des Konstruktivismus und die unbekannt bleibende Realität // Soziologische Aufklärung. Bd. 5: Konstruktivistische Perspektiven. Westdeutscher Verlag, 1991.*

³² *Пиаже Ж. О механизмах ассимиляции и аккомодации // Психологическая наука и образование. 1998. № 1. С. 22–26.*

³³ *Glaserfeld E. v. Radical constructivism. A Way of Knowing and learning. Routledge, 1996.*

³⁴ *Foerster H. v. Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition. Springer, 2002.*

³⁵ *Varela F., Maturana H. Ethical Know-How: Action, Wisdom, and Cognition. Stanford, 1999.*

³⁶ Подробнее о коммуникационных системах как наблюдателях см.: *Луман Н. Общество как социальная система. М.: Логос, 2004.*

³⁷ В России конструктивистскому подходу традиционно уделяют внимание многие философы: *Касавин И.Т. Конструктивизм: заявленные программы и нерешенные проблемы // Эпистемология и философия науки. 2008.*

Итак, подводя итоги нашего краткого исторического обзора разработки понятия коммуникации, можно сделать вывод об исключительной сложности и мультидисциплинарном характере этого явления, данного нам в процессе его непрерывного эволюционирования и предстающего в виде сложнейшего комплекса перетекающих друг в друга типов активности, главные из которых мы можем перечислить. Речь, прежде всего, идет о:

- выражении (религиозной и др.) причастности; риторическом смысле коммуникации;
- поиске и фиксации взаимно-недоступных смыслов и значений;
- феноменологическом опыте взаимопонимания через удостоверение общей пространственно-временной регионализации жизненного мира участников коммуникации;
- кибернетике, инструментально и медиа-опосредованных потоках и каналах информации;
- психологических поисках оснований коммуникативно-ролевого поведения;
- функционально-социологического понимания коммуникации как ретранслятора культуры и традиции;
- коммуникации как полифоничном диалоге людей и культур;
- коммуникации как особом типе наблюдения (типе наблюдателя), несводимом к психическим наблюдательным возможностям индивидуального сознания.

Основы системно-коммуникативного подхода.

Теория коммуникации Никласа Лумана

Теорию коммуникативных систем Никласа Лумана принято относить к так называемому структурно-функционалистскому подходу в социальной теории, к которому принадлежат более ранние концепции Э. Дюркгейма и Т. Парсонса. Однако в более раннем структурном функционализме основным предметом интереса и базовым социальным фактом («системной референцией») полагалось социальное действие. В процессе «разделения труда» (Э. Дюркгейм) комплексы специализированных действий, выполняя специфические, общественно значимые задачи (функции), образовывали социальные системы (политику, хозяйство, науку, религию, право и т. д.) и одновременно обеспечивали состояние так называемой «органической солидарности». Что решало главную проблему социальной теории: объясняло природу социального порядка. Общество в этом смысле представало в виде некоего социального «организма», «органы» которого могли – пусть не всегда бесконфликтно – согласовывать и упорядочивать свои операции и словно «обмениваться» результатами труда.

№1; Филатов В.П., Касавин И.Т., Антоновский А.Ю., Рузавин Г.И. Обсуждаем статьи о конструктивизме // Эпистемология и философия науки. 2009. №2. С. 142–156.

Н. Луман, в шутку называющий свой подход «функциональным структурализмом», полагает необходимым поменять «системную референцию», т. е. основной предмет интереса социальной теории. В этой новой наблюдательной перспективе не действие, а коммуникация рассматривается в качестве «социального атома» и одновременно – минимального проявления общества.

С точки зрения своей внутренней структуры коммуникация выступает синтезом действия (сообщения) и переживания (информации), но по своей родовой природе она предстает специфическим подвидом наблюдения, который могут осуществлять и самые разные системы. При этом психическая (в свою очередь, смысловая и наблюдающая) система является структурно сопряженной с системой коммуникативной, поскольку в каждом своем акте (слове, предложении) сопряжена с системой психики посредством языка, который, со своей стороны, уже системой не является, но выступает средством распространения коммуникации и одновременно – выражает переживания (элементы психической системы).

Если коммуникация рассматривается как минимальное проявление общества, то само общество выступает совокупностью всех возможных коммуникаций, образующих социальные системы экономических, политических, правовых, научных, религиозных, интимных, а также коммуникаций в области искусства. Социальные системы³⁸ предстают таким образом в виде динамических последовательностей коммуникаций, каждая из которых связана с предыдущей и учитывает возможности будущей. И поэтому ключевое значение для «выживания» системы имеет вопрос ее продолжения.

С целью своего «выживания» коммуникации вынуждены образовать в себе некий ресурс, обеспечивающий такое продолжение. Этот ресурс Луман называет «медиа коммуникации» и приписывает им два главных свойства: символизировать и обобщать коммуникацию. Речь идет об особом рода абстрактных символах (власти, денег, истины, веры, любви и т. д.), которые словно сцепляют прошлые и будущие коммуникации неслучайным, т. е. осмысленным образом. Общим понятием для такого рода средств коннекции элементов системы выступает понятие смысла.

При этом смысл всякого коммуникативного сообщения должен быть определен в трехмерном пространстве, которое образуется предметным, временным и социальным измерениями. Именно в этом пространстве тому или иному сообщению можно приписывать значение, каковое и делает возможным «подсоединение» (или отклонение) следующего события, ответа на сообщение, продолжение общения и, следовательно, образование системы.

Например, все, что включает в себя ответ студента на экзамене (что в итоге обеспечивает коммуникативный успех предложенного им сообщения), должно иметь смысл в отношении к предмету (экзаменационному вопросу), осуществляется в контексте некоторого прошлого (знаний, полученных прежде), некоторого будущего (продолжения образования и карьерных перспек-

³⁸ Луман Н. Социальные системы. СПб., 2007.

тив, успеха студента) и, конечно, зависит от особых отношений данного студента и его преподавателя.

Такой контекст определяет главным образом устно-интерактивную коммуникацию, характеризует систему, образующуюся между непосредственно общающимися лицами. В их рамках смысл посланных сообщений в значительной степени определяется внешним контекстом, а не только и не столько значениями (семантикой) самих произносимых слов и предложений. Студент, как правило, получает позитивный ответ на свое сообщение (положительную оценку) не только за свое предметное изложение, но и за то, что в коммуникации не было проговорено, но определено в контексте времени и коллектива, в который он включен (прошлые заслуги и его потенциал, особые отношения и т. д.).

Таким образом, предметное измерение коммуникации в интерактивных системах существенно зависит от тех значений, которые некоторое сообщение получает в социальном измерении, что, в свою очередь, существенно обременяет возможности информационно-объективного описания ситуации и внешнего мира (= обсуждаемой темы). Ведь приходится учитывать не только объективные положения дел, но и настроения, установки окружающих лиц, осуществляющих тем самым социальный контроль³⁹. Говорить приходится о том, что приятно и приемлемо для окружающих, а не о том, как обстоят дела на самом деле. Основной смысл такого общения состоит в интеграции сообщества, мотивировании его членов принять запрос на контакт, а не в информационных описаниях внешнего мира.

Этот тип устного общения, по мнению Лумана, безусловно реализуясь в современных обществах, все-таки является характерным именно для обществ традиционного типа, организованных интерактивно. В современных же обществах коммуникация в своей массе осуществляется на больших расстояниях путем телекоммуникации. Телекоммуникация (письменная, печатная, телевизионная, интернет-сетевая) предполагает передачу сообщений без перемещений тел общающихся лиц, что в значительной степени исключает непосредственное социальное влияние и социальный контроль, и зачастую (как, например, в социальных сетях) обращается к огромным и социально неоднородным и неопределенным массам читателей, установки, настроения, знания которых чаще всего неизвестны автору сообщения.

В этой ситуации автор сообщения вынужден в большей степени обращаться к самому предмету своего описания и наблюдения в поисках все более любопытных предметных свойств, предположительно неизвестных большинству читателей и способных вызвать ответную реакцию и образование системы. Коммуникация в этом случае приобретает информационный характер и одновременно может утрачивать свои мотивационно-интеграционные свойства.

³⁹ Эта идея системно-коммуникативной теории нашла выражение во влиятельной теории социального контроля Харрисона Уайта. *White H. Identity and Control. How social formations emerge.* New York, 2008.

Понятие системы и сложность внешнего мира

Это понимание коммуникации позволяет дать предельно простое определение понятия коммуникативной системы и ее внешнего мира. Система есть последовательное и избирательное сцепление операций (элементов, коммуникативных сообщений), благодаря этому сцеплению только и отличающих себя от всего остального мира. Или еще более просто: система есть различие системы и внешнего мира. Внешний мир системы есть все то, от чего система способна себя отличить, и одновременно то, чью превосходящую сложность (или комплексность) система способна переработать.

В этом смысле внешний мир может пониматься только как продукт системы, как результат применения системой того или иного различения, некоей схемы отбора своего, внутрисистемного, и отклонения всего чужого, внешнего, системе не принадлежащего. Система наблюдает, различая себя во внешнем мире, тем самым себя обозначая.

Наблюдение есть, таким образом, одновременно осуществляющееся обозначение и отличие. Но ведь и животные не поедают собственные конечности, а желудок не переваривает собственные стенки. Осуществляют ли они тем самым наблюдение? Другими словами, биологические организмы (так называемые «живые системы») осуществляют некоторые операции, осуществляют выбор между возможными действиями, клетки делятся и воспроизводятся именно как клетки, а не как внешняя природа. Значит ли это, что организм наблюдает уже тем, что существует, размножается, продолжается во времени и поколениях?⁴⁰

Как бы то ни было, системно-коммуникативная теория утверждает в качестве постулата определение системы как различия между системой и ее внешним миром (признавая, что такое определение допускает присутствие определяемого понятия в самом определении). Так, в случае систем коммуникаций внешний мир конструируется в виде тем коммуникаций, а сама система репрезентирована коммуникативными вкладами ее участников, языковыми выражениями – как устными, так и письменными, печатными или электронными.

Структура коммуникативного акта

Вышеозначенное системное понимание коммуникации предполагает два других аксиоматических положения. Речь идет, во-первых, об универсальной структуре коммуникации, во-вторых, о направлении социальной эволюции.

С точки зрения ее внутренней структуры коммуникация состоит из этапа (1) коммуникативного сообщения (= действия) Другого, (2) его переживания (= информации) некоторым Эго и (3) заключительного этапа понимания (= связанности информации с сообщением).

⁴⁰ Эта идея наблюдения как способа существования живых систем принадлежит биологам У. Матурана и Ф. Варела. См. *Матурана У., Варела Ф. Древо познания. Биологические корни человеческого понимания.* М., 2001. Луман использует эту идею, но применяет ее к функционированию смысловых систем: психике и коммуникации. Живые системы, безусловно, наблюдают, но не делают это с помощью «смысла».

Этот заключительный этап понимания состоит в оценке извлеченной информации на предмет ее адекватности (или неадекватности) сообщению, как и на предмет того, что является более важным – факт сообщения или содержащаяся в нем информация. На основе коммуникативного понимания Эго принимает решение о том, акцептировать ли запрос на контакт, принимать ли коммуникацию (т. е. отвечать на нее своим сообщением, что в перспективе могло бы привести к образованию системы коммуникаций) или отклонять ее.

Коммуникация в этой связи выглядит принципиально бинарной. Ведь смысл сообщения (т. е. информация, которую извлекает Эго) может быть двояким: либо в качестве такого смысла выступает объективная информация о внешнем мире, либо в качестве такой информации выступает само сообщение. Эго может понять коммуникацию в том смысле, что Другой лишь мотивирует, но не информирует Эго. В этом смысле коммуникация имеет самореференциальный характер, т. е. как бы направлена сама на себя, а не на внешний мир (инореференцию). Так, если кто-то говорит «идет дождь», информация, которую извлекает Эго, может состоять в том, что действительно «идет дождь». Но он может извлечь и другую информацию, например, о том, что Другой мотивирует⁴¹ его остаться дома, не выходить на улицу или просто заводит разговор о погоде, чтобы продолжить общение.

Итак, то или иное понимание одной или другой возможной связи сообщения и информации заставляет Эго принимать или отклонять предложенный запрос на контакт.

Эволюция коммуникативных структур и общественная дифференциация

Отсюда же вытекают следствия и для некоторой теории социальной эволюции⁴². В традиционном, дописьменном обществе ключевой акцент делался на самореференциальной установке «я сообщаю, что я что-то сообщаю». Например, когда то или иное примитивное сообщество практиковало коллективный ритуал вызова дождя, эта коммуникация – явным образом – представляла как обращенная к внешнему миру, собственно атмосферному явлению, боже-ству, которое за него «отвечает». Однако ее латентной функцией оказывалось самообсуждение сообщества, утверждение внутренней родовой солидарности⁴³. Сообщество выживало не потому, что инореференциально регулировало атмосферные явления, а потому, что неявно генерировало и утверждало собственную сплоченность за счет того, что самореференция в религиозной коммуникации словно трансформируется в инореференцию.

Социальную эволюцию в этом смысле можно понимать как процесс постепенной объективации коммуникации, ее выхода из-под влияния социального окружения, обеспечивающего социальный контроль, и обращения к самому предмету обсуждения. Как следствие, в процессе такой эволюции разрушался трехмерный контекст понимания коммуникативного сообщения,

⁴¹ В языкознании принято характеризовать такие речевые акты соответственно как «локутивные» и «иллокутивные».

⁴² Подробнее: Луман Н. Эволюция. М., 2005; Антоновский А.Ю. Эволюция: системно-конструктивистский подход // Луман Н. Эволюция. 2005.

⁴³ Здесь прослеживается идея явных и латентных функций Р. Мертона. Мертон Р. К. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль. М., 1996.

обеспечивающий сцепление коммуникаций друг с другом. Должны были возникнуть какие-то другие средства сцепления и образования систем в условиях отсутствия в больших сообществах общего знания о временном, предметном и социальном контексте, который обеспечивал понимание и акцептацию запросов на контакт в небольших примитивных коллективах.

Но что же тогда служит мотивацией для продолжения коммуникации в современном обществе в условиях незнания того, что известно, а что неизвестно участникам коммуникации? Как уже говорилось, коммуникацию движет понимание, т. е. различие между информацией и сообщением (самореферентным и инореферентными интерпретациями запроса на общение). Лишь зная общий трехмерный контекст, мы способны понять, что же имеет в виду наш собеседник, когда говорит «идет дождь».

Но все-таки социальная эволюция нашла решение. Современные дифференцированные системы коммуникации⁴⁴ легко справляются с проблемой принятия или отклонения предложенных запросов благодаря появлению особого рода «катализаторов общения», т. е. особых абстрактных символов, апелляция к которым делает возможным «продать» самые невероятные типы современной коммуникации. И действительно, многие формы современного общения нам представляются естественными и понятными. Среди них – притязание на чужой продукт и навязывание своего (экономика); коллективно-обязательные распоряжения, которым безропотно подчиняются члены общества (политика); ожидание ответной любви в условиях, когда ее объектом могут оказаться сотни других претендентов; производство копий несуществующих вещей, отрицающих наличные формы мира (искусство); требования к прочтению сотен скучных текстов и проведению сотен экспериментов, завершающихся лишь в высшей степени гипотетическими и, в конечном счете, фальсифицируемыми гипотезами (наука).

Все эти сами по себе невероятные формы общения оформились в устойчивые и стандартизированные типы коммуникации сравнительно недавно, несмотря на то, что генерируют внутренние конфликты (полемика в науке, партийная борьба в политике, конкуренция в хозяйстве и т. д.). Должны были возникнуть особого типа социальные структуры, подкрепляющие валидность соответствующих невероятных типов общения. Эти структуры (обсуждавшиеся выше символические медиа коммуникации – деньги, власть, истина, любовь, вера и т. д.) выступают триггерами соответствующих ожиданий по поводу приемлемости или неприятия коммуникаций. Так, в случае издания коллективно-обязательного распоряжения предполагается наличие асимметрии во властных уровнях, где перспектива неповиновения в большей степени неприятна на нижестоящем, нежели на вышестоящем уровне. Если кто-то выдвигает претендующую на истинность теорию, то почти автоматически запускаются соответствующие коммуникативные ответы (проверка, фальсификация, развитие и т. д.). Лишь посредством такого рода катализаторов невероятность коммуникации трансформируется в ее вероятность.

⁴⁴ См. Луман Н. Дифференциация. М., 2007.

Но они лишь тогда могут выступить в роли функционального эквивалента отсутствующего общего знания⁴⁵, если способны компенсировать свою абстрактность реальными, телесно укорененными механизмами. Так, власть всегда способна прибегнуть к насилию, чтобы санкционировать свои решения в случае неповиновения. Деньги значимы лишь до тех пор, пока они обеспечивают потребности тела. Любовь доказывается фактическими сексуальными отношениями. Истина обосновывается лишь посредством телесного процесса фактического восприятия данных в ходе научных экспериментов и наблюдений.

Однако не у всех коммуникативных медиа обнаружилось такого рода подкрепляющие механизмы симбиоза символического и телесно-материального. Такой симбиотический механизм отсутствует, например, у религиозной системы коммуникаций и всей системы коммуникаций, ориентированных на ценности. Ведь в значении (денотате) веры, ценностных значениях справедливости, красоты, равенства нельзя удостовериться, сославшись на какое-то их материально-телесное подтверждение, в котором бы равным образом было убеждено все разделяющее их сообщество. В современных условиях ценности уже не генерируют согласие, в них практически все равным образом убеждены, но любое их коммуникативное обсуждение приводит не к консенсусу, а к ценностным конфликтам.

Коммуникативные медиа как способы редукции сложности внешнего мира⁴⁶

Основной проблемой, которую решают системы коммуникаций, является переработка заведомо более сложного внешнего мира, проблема перепада в степени сложности между ее языковыми ресурсами и тем, что является предметом обсуждения в коммуникации⁴⁷. Ведь сказать в некоторый данный момент можно лишь о чем-то очень не многом, причем в условиях, когда и другие постоянно требуют слова. Проблема системы коммуникаций – это проблема ограниченности ее временного ресурса в условиях внутренней сложности.

Системы осуществляют свои операции исключительно в некотором настоящем. Их элементы словно пульсируют, вспыхивают и тут же угасают. Мы всё моментально забываем, даже то, что говорили или думали полчаса назад. И если и помним, то чаще всего не вспоминаем. Прошлому не находится времени в настоящем: в распоряжении систем оказывается слишком мало времени на то, чтобы сколько-нибудь адекватно понять, отобразить, изобразить обсуждаемый в коммуникации внешний мир. Как решается эта проблема непреодолимого перепада сложностей наблюдающей системы и наблюдаемого мира?

Более обстоятельно переработать внешний мир можно с привлечением более комплексных средств распространения коммуникации (письменность, печать, электронные медиа). С их помощью можно полнее реферировать сложные структуры систем во внешнем мире данной системы. Но одновременно эти медиа усложняют тот самый мир, добавляя к нему новые элемен-

⁴⁵ Что обеспечивало акцептацию запросов на контакт в традиционных обществах.

⁴⁶ См: Луман Н. Медиа коммуникации. М., 2006.

⁴⁷ Более подробно: Луман Н. Введение в системную теорию. М., 2007.

ты. Как только в распоряжении коммуникации появляется техника, т. е. разного рода коммуникативные средства для переработки сложности мира, сложность мира возрастает экспоненциально. Наблюдения (слова, тексты) и сами становятся частью мира, самореференция превращается в инореференцию⁴⁸. Письменность, печать создают возможности переработать огромные массивы информации из внешнего мира путем производства текстов. Но теперь эта переработанная информация сама добавляется к внешнему миру, и ее в свою очередь приходится перерабатывать – путем прочитывания этих текстов. Разгружающая коммуникативная техника лишь усложняет внешний мир, который она была призвана упростить.

В этой ситуации задача коммуникации состоит не в том, чтобы отобразить мир таким, каков он есть, а в том, чтобы обеспечить подсоединение следующей коммуникации, с тем чтобы система не перестала существовать: например, так заинтересовать или мотивировать своего партнера, чтобы он ответил на запрос на контакт, даже если коммуникация представляется абсолютно невероятной. Так, парадоксальным образом система, лишь сосредотачиваясь на себе, на проблеме обеспечения своего продолжения (а вовсе не адекватного описания своего мира в ходе его коммуникативного обсуждения), одновременно способна как-то решать и проблему переработки сверхсложного внешнего мира, хотя в пределе и стремится к его полному игнорированию.

⁴⁸ Так, в науке способы обоснования и удостоверения в истинности научного знания (самореференция) и сами становятся особым методологическим знанием (инореференцией) и подробно изучаются специально отдифференцировавшимися для этого научными дисциплинами (эпистемологией, философией науки).

РАЗДЕЛ I. НАБЛЮДЕНИЕ КАК РОДОВОЕ ПОНЯТИЕ КОММУНИКАЦИИ: ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ, КАУЗАЛЬНЫЙ, ИСТОРИЧЕСКИЙ И ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

Наше обращение к проблеме наблюдения связано с особенностями нашего – системно-коммуникативного и социоэпистемологического – подхода, предполагающего две референции в теории коммуникации: знание и общество. Однако такая биполярность коммуникативной теории предполагает и симметричную возможность – возможность применять познавательные процедуры, утвердившиеся в развитых формах познания, прежде всего в естествознании, к анализу самой коммуникации. В этой связи мы ставим вопрос о том, может ли коммуникативная теория выказывать инвариантные или универсальные формы (свойственные также и естествознанию), или же она обладает неким неустрашимым своеобразием как в отношении предмета исследований, так и в отношении методов?

Ради обсуждения этого вопроса мы обращаемся к ключевому для нас методологическому понятию формы. Благодаря этому понятию мы покажем существенные различия в теоретическом и дисциплинарном статусе социально-гуманитарных и естественных наук, попытаемся найти факторы, определяющие различность этих дисциплин. Мы обосновываем вывод, что есть весомые основания рассматривать общество как понятие, конструируемое в рамках теоретической модели эмерджентизма. Для обоснования этого тезиса мы сопоставим редукционистский характер естествознания и эмерджентистский характер социальной теории.

Разность дисциплинарного статуса гуманитарных и естественных наук очевидна. Но что определяет эту фундаментальную различность? Может ли общество как референт социальной теории фактически наблюдаться как некоторый единый пространственно-временной объект, примерно так же, как наблюдаются объекты естествознания, или оно является референтом теоретического термина, не подразумевающего непосредственного наблюдения? Или оно является конструируемым понятием (с референтами наподобие кварков или электронов в физике), получающим свой смысл лишь в рамках теоретических моделей, коррелят которых бесполезно искать в соразмерной человеческим чувствам реальности?

Принято считать, что структура естествознания предполагает методологический редукционизм. В самых общих чертах, последний утверждает, что внутренняя структура того или иного объекта или явления, описываемая теоретически, конституирует и дает причинное объяснение наблюдаемым макрофеноменам, определяет макрохарактеристики этих объектов.

В социальной теории дело представляется несколько иным. Социальные теоретики склонны связывать с базисным (причинным и объяснительным) уровнем утверждений некоторые макроструктуры (некие глобальные социальные системы политики, экономики, религии), которые иногда «невидимой рукой», а иногда вполне явным образом «сверху» определяют конкретные действия индивидов, осуществляющиеся на так называемом микросociологическом уровне.

Такое отношение между «высокими теориями» социального порядка и эмпирическим уровнем конкретных и доступных наблюдению действий, т. е. некоторой «редукции наоборот», принято называть эмерджентизмом⁴⁹. Его суть в том, что постулируется некоторое множество латентных причин – невидимая рука рынка (А. Смит), производственные отношения (К. Маркс), общественный договор (Т. Гоббс), символические медиа коммуникации (Н. Луман, Ю. Хабермас и т. д.), – которые не могут быть объяснены редукционистски (кто и когда заключал общественный договор?), однако сами вполне могут служить в качестве объяснения или фигурировать в качестве причины в отношении наблюдаемых явлений – обычных действий людей.

Выделим несколько важных положений, к которым пришли философы науки, описывая функционирование теоретического знания в естественнонаучной теории. Затем попробуем выяснить, обстоит ли дело схожим образом и в социально-гуманитарном теоретизировании.

Наблюдение в естественных науках: аналогии между законами и причинные связи между уровнями наблюдения

Традиционный взгляд на теорию и подтверждающие ее наблюдения выглядел так: теории предстают как множества общеутвердительных высказываний, которые затем за счет подстановки некоторых частных констант и переменных частного характера получают выражение в более конкретных манифестациях, законах – столь же общеутвердительных высказываниях, но с более узкой предметной областью, или «универсумом рассуждений».

При этом отношение между теоретическим и эмпирическим описаниями различными философами науки интерпретировалось по-разному. П. Дюгем назвал это отношение репрезентативным⁵⁰. В том смысле, что теория (например, молекулярно-кинетическая теория газов) лишь представляет (но не объясняет!) экспериментально найденные зависимости или законы (в данном случае – экспериментально обнаруженные корреляции между давлением, температурой, объемом). Дюгем, как известно, оспаривал мнение Кельвина о том, что понимание макропроцесса есть визуализация глубинных механизмов. Такой визуализацией должна была служить молекулярно-кинетическая теория с ее моделью упругих столкновений точечных масс. Но эта теория действительно не могла объяснить, что ощущение теплого является результатом упругих столкновений молекул со стенками. Ведь эти индивидуальные удары молекул (и скорости индивидуальных молекул) действительно никак не фиксируются, не наблюдаются – именно как удары молекул – на макроуровне, не имеют своих (индивидуально соответствующих им) коррелятов в мире человеческих ощущений и наблюдений.

Вопрос о характере связи теории и (экспериментальных) законов решался теоретиками по-разному. Один из известных подходов (начало которого принято связывать с именами У. Хьюэлл⁵¹ и Д. Гершеля⁵²) усматривал иско-

⁴⁹ Людвиг фон Берталанфи в общей теории систем систематически представляет эмерджентистский подход применительно к живым системам (*Bertalanffy L. General System Theory. Foundations, Development, Applications. N.Y., 1968*).

⁵⁰ Дюгем П. Физическая теория. Ее цель и строение. Пер. с фр. КомКнига, 2007.

⁵¹ Хьюэлл У. Философия индуктивных наук, опирающаяся на их историю // Эпистемология и философия науки. 2014. Т. 41. №3.

мую связь между теорией и законами в общей для них математической форме. Именно поэтому отношения между ними можно было назвать дедуктивными или формально-аналогичными. В систематической форме концепцию формальной аналогии развивал Н. Р. Кэмпбелл⁵³.

Например, уравнение теплопроводности Фурье⁵⁴ $\lambda \left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial z^2} \right) = \rho c \frac{\partial \theta}{\partial t}$ делает возможным установить температуру в любой точке любого материала. Но для каждого вещества это общее (квазиаприорное) уравнение – именно благодаря своей математической форме – принимает соответствующие конкретные выражения (экспериментальные законы), в зависимости от плотности, удельной теплоемкости конкретного вещества или материала. Эти экспериментальные законы (описывающие теплопроводящие свойства металлов, газов, жидкостей и т. д.) являются формально-аналогичными, в том смысле, что все они аналогичным образом дедуктивно выводимы из вышеозначенного «универсального» уравнения или теории. В этом смысле такого рода законы представляют собой аналогии.

С этой точки зрения, единство знания действительно вытекает из способности формулировать априорные суждения, организующие эмпирическое знание. На первый взгляд все действительно выглядит так, будто сходство математической формы между выражениями-аналогиями позволяет судить о связях познаваемой реальности.

Однако эту, по сути своей кантианскую, идею поставил под вопрос К. Гемпель. Гемпель указал на бессмысленность как минимум некоторых «формальных аналогий», в которых схожесть математической формы законов не сопровождалась никакими фактическими аналогиями среди соответствующих этим законам наблюдаемых явлений⁵⁵.

И действительно закон Ома $i = \frac{V}{R}$

и закон идеального газа $P = k \frac{T}{V}$ имеют аналогичную формально-

математическую структуру $\textcircled{1} \propto \frac{\textcircled{2}}{\textcircled{3}}$.

Но эта формально-математическая аналогия ничего не дает для понимания действительного сходства «аналогичных» законов, как и описываемых ими феноменов. Разве на этом основании мы можем заключить, что оба закона «концептуально интегрированы» в некоторое целое (по аналогии с «концептуальной интеграцией», обеспечиваемой уравнением теплопроводности Фурье). Искать следовало связь, во-первых, между связями (или аналогиями) на теоретическом уровне и, во-вторых, между связями на уровне непосредственных наблюдений.

⁵² *Herschel J.F.W.* A Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy. London, 1830.

⁵³ *Campbell N.R.* Foundations of Science. New York, 1957.

⁵⁴ θ – абсолютная температура, λ – теплопроводность материала, ρ – плотность материала, c – удельная теплоемкость материала, t – время, x, y, z – пространственные координаты точки на бесконечно длинном фрагменте материала.

⁵⁵ *Hempel C.* Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science. New York: Free Press, 1965.

Именно такой поворот придает этой дискуссии Мэри Хессе. Чтобы «спасти» единство познания, предлагалось проводить различие между исключительно «поверхностными формально-математическими аналогиями» и фактическими «материальными аналогиями»⁵⁶.

Согласно Хессе, аналогии (а вместе с ними и вопрос о единстве знания) вытекают вовсе не из формальной структуры теории, а из принципа причинности. Разные сферы реальности (например, феномены звука и феномены света) организованы сходным образом, поскольку имеют общую функциональную, – и значит, причинно-следственную, – структуру. Это предполагало, что теориям надлежит включать в себя такие законы, которые должны быть похожи не столько своей математической формой (быть «формально-аналогичными» в смысле Кэмпбелла и Гемпеля), сколько выказывать аналогии в визуализируемых ими каузальных связях в их теоретических моделях.

Так, и в теории распространения звука, и в теории распространения света, можно зафиксировать не столько формально, сколько каузально-аналогичные регулярности. Скажем, очевидной является аналогия между законом отражения звука (эхо) и законом отражения света (отражение в зеркале); или характерными и для звука, и для света законами уменьшения интенсивности пропорционально дистанции распространения; также громкость звука в каком-то смысле аналогична яркости света; различения в высоте тонов аналогичны различениям цветов; и в целом волновая природа света аналогична волновой природе звуков, распространяющихся как звук в среде (воздухе или воде) или как свет «в эфире» (как бы его сегодня ни понимать).

Более сложным представлялась связь между законами и фактическими наблюдениями. Законы описывают воспроизводимые каузальные взаимодействия. Однако законы не доступны непосредственному наблюдению. Ведь наблюдать могут только конкретные причины и конкретные следствия. Законы же формулируют обобщения на некотором ненаблюдаемом уровне, устанавливая отношения между переменными некоторой модели, только часть понятий которой можно перевести на язык наблюдений, указав на соответствующие явления. Скажем, такая теоретическая величина (микропараметр), как средняя кинетическая энергия молекул, действительно может интерпретироваться как непосредственно наблюдаемая, и ощущаемая, и измеряемая макрореальность – температура. Здесь действительно можно утверждать об отношении идентичности ненаблюдаемой теоретической реалии и наблюдаемого чувственно-данного явления. Однако другие переменные модели (в частности, конкретные скорость или импульс конкретной молекулы) не обнаруживали своего коррелята в наблюдаемом мире. Рассмотрим подробнее характер причинной связи наблюдаемого и ненаблюдаемого.

Причинные связи наблюдаемого и ненаблюдаемого

Ряд теоретиков обратились к другим возможностям соотносить ненаблюдаемую теоретическую реальность и наблюдаемые эмпирические явле-

⁵⁶ *Hesse M. Models and Analogies in Science. University of Notre Dame Press, 1966.*

ния. Такое отношение можно интерпретировать каузально, так, как будто теоретически описываемые микропроцессы причинным образом порождают наблюдаемые макроявления. Так, давление, измеряемое и фиксируемое на соразмерном человеческим чувствам макроуровне, может пониматься не столько как проявление или манифестация микропроцесса (модальное отношение), сколько как его следствие, поскольку оно действительно является результатом воздействия молекул газа на стенки сосуда на микроуровне.

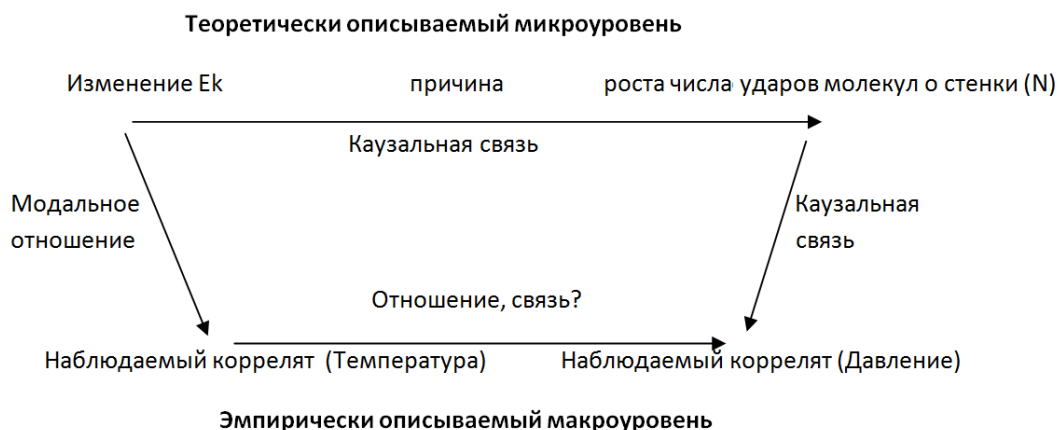
Эти два отношения (между теорией и законами, с одной стороны, и законами и наблюдениями, с другой стороны) наглядно можно представить себе следующим образом (см. табл. 1).

Классическая схема описания иерархии уровней научного знания выглядит так (Norman Campbell. Foundation of Sciences, 1919).

Уровень	Содержание	Примеры
Уровень теорий	Дедуктивно организованные системы высказываний, связывающие микропараметры (скорость, импульс, массу молекулы) с макропараметрами (давлением, температурой, объемом)	МКТ. Давление – есть результат ударов молекул о стенки (осн. уравнение). $P = 2/3 E_k * N$. Температура – есть мера средней кинет. энергии $E_k = 3/2kT$
Уровень законов	Инвариантные связи между научными понятиями (V, T, P, const)	Закон Гей-Люссака: $P \sim T$, если V – const.
Определение значений научных понятий	Высказывания, которые приписывают значения научным понятиям	«V = 60 литров», «T = 273 К», «P = 2 Atm».
Экспериментальные данные наблюдений	Утверждения об указателях приборов	«Стрелка прибора указывает на 20»

Но мы позволим себе использовать более простую схему, сведенную к двум уровням – ненаблюдаемому уровню теоретических описаний и уровню наблюдаемых коррелятов этих описаний.

Упрощенное двухуровневое представление связи ненаблюдаемого теоретического уровня и уровня наблюдений в теории газов



Эта схема наглядно показывает, что изменение некоторого теоретически постулируемого и непосредственно ненаблюдаемого параметра (в данном примере, средний рост скоростей молекул, импульсов, и, как следствие, возрастание средней кинетической энергии молекул) причинным образом генерирует изменение другого теоретически постулируемого и непосредственно ненаблюдаемого параметра (числа ударов о стенку). Эта верхняя горизонтальная связь, очевидно, является каузальной: чем выше скорость, тем больше ударов.

На нижнем, экспериментальном и наблюдаемом уровне мы фиксируем горизонтальную связь между величинами температуры и давления. Эта связь (до привлечения в качестве объяснения молекулярно-кинетической теории) выглядит регулярно воспроизводимой, но самой по себе необъяснимой, временной регулярностью в смысле Дэвида Юма. Но, конечно, хотелось бы найти более релевантную, скажем, причинную или структурную связь между этими величинами. Такое объяснение, очевидно, возможно только через редукцию к некоторому теоретическому, глубинному, непосредственно ненаблюдаемому уровню. В конечном счете, такая редукция к глубинным (и в этом смысле – теоретическим, ненаблюдаемым причинным связям) делает возможным причинное объяснение на уровне наблюдаемых феноменов.

Этот упрощенный экскурс в структуру естественнонаучного знания позволяет нам предложить несколько выводов о характере связи ненаблюдаемого (теоретического) и экспериментального (наблюдаемого) уровней в естествознании. Эту связь мы можем затем сравнить с различием аналогичных уровней в рамках социальной теории.

Некоторые важные черты организации естественнонаучного знания:

1. Ненаблюдаемые и теоретически описываемые явления могут иметь свой наблюдаемый коррелят (таково отношение средней кинетической энергии и температуры). Вопрос состоит лишь в характере отношения с такого рода коррелятом.

2. Это отношение может быть причинным (экспериментально измеряемое давление является фактическим следствием ударов молекул).

3. Это отношение может быть модальным (в случае, если наблюдаемое есть не следствие, а форма проявления или модус существования ненаблюдаемого). Температура – это данный в наблюдениях способ представления ненаблюдаемых феноменов (скоростей, импульсов молекул).

4. Отношение между зависимостями на ненаблюдаемом и наблюдаемом уровнях может описываться как формально-математическое (модальное – П. Дюгем, Н. Р. Кэмпбелл) или как причинное (функциональное или материальное – М. Хессе, Р. Харре).

Теперь зададимся вопросом о том, какой характер отношений реализуется между уровнями наблюдения и переменными в социальной теории. Воспроизводят ли они означенную выше инвариантную структуру научного знания или выказывают специфичность?

Наблюдение в социальной теории

В контексте вышеизложенного возникает вопрос: как иерархизирована социальная теория в том, что касается соотношения наблюдаемых и нена-

блюдаемых (теоретических) уровней анализа? И является ли общество, его состояния и проявления ненаблюдаемыми коррелятами теоретического описания – в том же смысле, как это имеет место в естественнонаучной теории, когда у индивидуальных скоростей молекул газа, хотя таковая переменная необходимо присутствует в теории, отсутствуют наблюдаемые корреляты?

И действительно, социальная теория сталкивается с подобным обстоятельством, поскольку нет никакой возможности непосредственно измерить главный параметр социального состояния: интеграцию, сплоченность, или солидарность общества в его сколько-нибудь широком представлении. (Никто не будет спорить, что групповая сплоченность может описываться и измеряться.)

Можно наблюдать степень сплоченности отдельных групп, а о сплоченности общества в целом можно судить исключительно по косвенным данным, например, по сравнительной частоте аномии (суицидов, криминальных актов, эмиграции – Э. Дюркгейм) в данном обществе в сравнении с его прежним состоянием, или же, в особенности, по реакциям на представителей чуждых сообществ⁵⁷.

Такие косвенные методы фиксации ненаблюдаемых состояний приводят социальную теорию к недопустимым (по крайней мере, в классических формах теоретизирования) утверждениям. Так, возникает эффект двойной детерминации в объяснении общественных явлений. Ведь каждое проявление аномии (суицид, эмиграция, преступление) получает в качестве причинного объяснения, помимо непосредственно предшествующего события (действия или разочарования), некоторое дополнительное и в этом смысле избыточное причинное объяснение – состояние недостаточной социальной сплоченности, сделавшее возможным этот конкретный акт.

Эти действия (суицид, эмиграция, аномия) безусловно локализованы в некотором локальном пространстве-времени, т. е. вызваны каким-то непосредственными причинами (конкретными разочарованием, банкротством, нервным потрясением и т. д.). Но поскольку они предполагают выход за пределы локального пространства (эмиграция) и индивидуального времени (суициды), допустимо рассматривать их как каузальные следствия ненаблюдаемых макрофакторов, а именно изменившейся степени сплоченности данного сообщества. Для этого, безусловно, следовало бы указывать не на сами действия (ведь последние – результат иных, конкретных, предшествующих обстоятельств), а на меняющуюся статистику, на удельную частоту данных событий в разные эпохи. Скажем, разочарование способно повлечь суицид независимо от специфики исторической эпохи (= того или иного уровня солидарного состояния общества в целом), однако удельная частота суицидов в разные эпохи указывает на различающиеся состояния таковой солидарности и интегрированности сообществ. Общество (социальные связи больших масштабов), таким образом, допускает не прямое наблюдение. Линия Дюркгейма формирует традицию исследования макрофеноменов. Напротив, анализ микрофеноменов стал основным для другой линии теоретической «понимающей социологии».

⁵⁷ Бараш Р.Э. Фигура Другого как значимая составляющая российской/русской идентичности // Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены. 2012. № 1 (107), январь-февраль.

Итак, приходится констатировать, что наблюдать общество (как бы его ни понимать) приходится исключительно по его следствиям или эффектам, в то время как само оно, как конкретный пространственно-временной объект, ускользает от наблюдения. Последнее обстоятельство требует рассмотрения проблемы социальной каузации, которая, возможно, является системообразующей для социального познания и социальных наук. Рассмотрим более детально проблему каузального анализа общества.

Причины и законы как наблюдательные атрибуции. Ответ на тезис К. Х. Момджяна

В отечественной социальной теории каузальный анализ общества и возможности экспликации на этой основе социальных закономерностей или регулярностей являются чем-то само собой разумеющимся. Парадный пример представляет собой т. н. «деятельностный подход» в социальной теории, ведущим представителем которого является К. Х. Момджян:

«... наличие у людей свободной воли ничуть не мешает существованию универсальных законов человеческого поведения, которые должны быть открыты номотетическим обществознанием и использованы обществознанием идеографическим. ... Если, объясняя уникальные причины Французской революции, вы не будете знать общесоциологические законы «революции вообще», ваш анализ едва ли будет убедительным. Единичные и неповторимые события не могут быть редуцированы без остатка к стоящим за этими событиями структурам – универсальным законам общественной жизни, но они не могут быть поняты без обращения к этим структурам. Думаю, что их существование объясняется двумя причинами. Первая – это наличие универсальных законов человеческого поведения, существенно ограничивающих свободу воли, мешающих ей превратиться из свободы в произвол. Назову некоторые из таких «дисциплинирующих» человека факторов, ограничивающих его выбор предзаданными вариантами. Первое. Никакая свобода воли не позволяет нам «отменять» присущие объективные предзаданные цели существования, присущие не только человеку, но и всем живым организмам, способным к поведению. Речь идет об инстинктивном у животных и инстинктоподобном у человека (термин Маслоу) влечении к сохранению факта и (или) качества жизни. Речь идет о присущих всему живому информационных импульсах самосохранения, имеющих дефицитный, или бытийный, характер. Всякое живое существо стремится обеспечить свое биологическое выживание и одновременно сделать его комфортным, минимизируя страдания и максимизируя удовольствия (в широком понимании удовольствия). ... Второе. Если вам предписано стремление к сохранению факта и качества своей жизни, вы не можете игнорировать условия, при которых эта цель становится достижимой. Иными словами, вы не можете игнорировать такую важнейшую детерминанту поведения, каковой является система видоспецифических и исторически неизменных для ставшего человека потребностей»⁵⁸.

⁵⁸ Момджян К.Х. Номотетическое познание в общественных и гуманитарных науках // Эпистемология и философия науки. 2015. № 3.

Идея К. Х. Момджяна, если представить ее в едином тезисе, сводится к следующему: общество, как бы его ни понимать, не может быть выведено из сферы, которая регулируется законами, не уступающими в своей универсальности, принудительности и объективности классическим физическим законам. Этот тезис можно было бы назвать аномальным социомонизмом: монизмом в том смысле, что общество не представляет какой-то параллельный мир, существующий наряду с физическим и свободный от каузирующих импульсов, исходящих из физического мира. За связь с этим миром отвечают базовые потребности и коррелирующие с ними интересы⁵⁹.

Аномальность социомонизма связана с тем, что социальные законы (выражающие связь – причиняющая реальность / результирующее социальное действие) все-таки не являются жесткими настолько, чтобы на их основе (т. е. на основе контрфактической связи: если А, то В) можно было со стопроцентной достоверностью предсказывать и объяснять событие В, если известно событие А. Ведь, как пишет К. Х. Момджян, «единичные и неповторимые события не могут быть редуцированы без остатка к стоящим за этими событиями структурам – универсальным законам общественной жизни, но они не могут быть поняты без обращения к этим структурам»⁶⁰.

Это ключевое положение указывает, что социальная теория не может редуцироваться к физической реальности. В этом состоит аномальность социального. Но, тем не менее, социально значимые события должны быть включены в физическую онтологию необходимых причинно-следственных связей⁶¹.

Преимущества такого подхода очевидны. Социальные события (социальные действия, коммуникации, формулирование идей, потребности и интересы) не выводятся за пределы физической, и значит – каузально-закрытой системы. Ведь в противном случае к – не нуждающейся в дополнительных каузациях (т. е. закрытой) – системе физических движений и изменений в пространстве и времени добавлялись бы какие-то избыточные причины – гипотетические социальные факторы, локализующиеся где-то вне физического пространства и времени. Но ведь все физические движения и изменения, не исключая фактические (т. е. материально выраженные) действия и сообщения, должны с достаточной убедительностью объясняться предшествующими физическими движениями и изменениями, и добавление к ним еще и социальных факторов выглядит избыточным и недопустимым (с точки зрения физики) в физической каузально-закрытой системе!

Несмотря на всю свою привлекательность, подход обнаруживает явную противоречивость. Неясно, как можно совместить социомонизм и аномалии? Или, другими словами: как возможны причины и следствия, лишённые атрибута жесткой повторяемости и универсальной воспроизводимости, что и при-

⁵⁹ В этом контексте *социомонизм* в каком-то смысле аналогичен *ментальному монизму* в теории сознания (вариант теории тождества), который настаивает на том же тезисе *каузального единства и причинной замкнутости мира* применительно к человеческому сознанию. Как пример: Davidson D. *Essays on Actions and Events*. Oxford: Clarendon Press, 1980.

⁶⁰ Там же.

⁶¹ В этом аномальный социомонизм ничем не отличается от аномального ментального монизма, признающего, что ментальные события вступают в причинно-следственные интеракции с физическими событиями (желание пойти в театр есть причина физического посещения театра, а посещение театра есть причина переживания удовольствия от просмотра постановки). Но эти объективные причинно-следственные связи не «покрываются» жестким универсально-воспроизводимым законом.

нято называть законами? Возникает классическая проблема: возможна ли причинно-следственная связь, не вписанная в – объясняющий ее – универсальный закон.

Здесь очевидна связь с известной дискуссией вокруг т. н. *covering law model of explanation* Карла Гемпеля. Сам Гемпель допускал иные – не причинные (индикационные, структурные) законы. Можно согласиться, что не все законы основаны на регулярном воспроизводстве причин и следствий, но с тем, что не все причины и следствия выражают закономерности, согласиться уже труднее.

Как же совместить принцип причинности, подразумевающий номологизм (номотетичность в терминологии К. Х. Момджяна и В. Виндельбанда⁶², на которого он опирается), с возможностями аномалий (желание и возможность пойти в театр не во всех случаях приводит к посещению театра, наличие революционной ситуации не во всех случаях приводит к революции)? Но как переубедить практикующего ученого и философа науки, убежденного в том, что везде, где имеет место причинность (и ничто не препятствует ее реализации), реализуется и универсальный закон, всегда выполняющийся при наличии такого рода причины и отсутствии помех?

Но что же в этом случае выражает этот необходимый характер социальных законов, и в чем выражается связь общества с физической (психофизической) реальностью? Как ни странно, на этот статус, согласно К. Х. Момджяну, претендует не собственно социальная регулярность. На первом месте оказываются некие квазибиологические императивы: «влечения»⁶³. Конечно, с этим спорить сложно. Общество действительно может интерпретироваться посредством органицистской метафоры, и ему, как своего рода организму, действительно присуще свойство эквивинальности (Л. Берталанфи). Но все-таки это не объясняет, почему в статус ведущей социальной регулярности возводится то, что лишено специфически социального содержания и характерно для биологических систем.

Итак, мы формулируем первый контраргумент: причинный анализ общества и объяснение человеческих действий не совместимы с редукционизмом к (животной) природе в качестве объясняющего причинного фактора.

На наш взгляд, такая редукция социальности к биологически определенным «влечениям» происходит из самой (очевидно, восходящей к идее «социальных фактов» в смысле Дюркгейма⁶⁴) структуры аргументации автора. Эта аргументация состоит в следующем: именно то, что находится вне сознания и сформировалось раньше него (структуры родства, социальные иерархии, грамматика языка, нормы морали и т. д. и т. п.), с необходимостью приобретает эту объективность (читай, способность детерминировать локальные события в локальном пространстве-времени индивида).

⁶² *Windelband W. Geschichte und Naturwissenschaft. Straßburg, 1904.*

⁶³ «Никакая свобода воли не позволяет нам «отменять» присущие объективные предзаданные цели, присущие не только человеку, но и всем живым организмам... Речь идет об инстинктивном у животных и *инстинктоподобном* у человека (термин Маслоу) *влечении* к сохранению факта и (или) качества жизни. ... о присущих всему живому информационных импульсах самосохранения, имеющих дефицитный, или бытийный, характер. Всякое живое существо стремится обеспечить свое биологическое выживание». Там же.

⁶⁴ *Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. Антоновский А.Ю. Начало социозпистемологии: Эмиль Дюркгейм // Эпистемология и философия науки. 2007. № 4. С. 142–155.*

Что может предпринять индивид вопреки «социальным фактам», если его индивидуальное влияние не выходит за пределы локального пространства-времени его жизни? В случае же, если его индивидуальное воздействие (тексты, решения) и выходит за эти пределы, то оно и само утрачивает индивидуальность и приобретает свойства социального факта.

Но так ли проста природа каузации? Действительно ли дистинкции «внутреннее/внешнее» и «раннее/позднее» (Д. Юм, отчасти И. Кант) лежат, как полагал Э. Дюркгейм, в основе дистинкции «причина/следствие»? Или, если возвращаться к идее Момджяна, действительно ли базовые влечения, потребности и интересы получают каузальную силу и принудительность в силу того, что в своем пространстве-времени выходят за пределы локальности конкретного индивида? Отрицательно отвечая на этот вопрос, сформулируем второй критический аргумент.

В мире самом по себе нет однозначно определенного разделения на внутренние и внешние детерминации или каузации без учета наблюдательных перспектив того или иного наблюдателя. Поэтому и рассмотрение внешней причинности как основание для социальных законов не может быть принято без оговорок⁶⁵. Рассмотрим этот аргумент более подробно.

Второй контраргумент: распределение событий на причины и следствия суть атрибуции того или иного наблюдателя, зависящие от его наблюдательной позиции, а не бесспорные данные наблюдения.

Безусловно, внешний мир конкретного индивида (человеческая природа, потребности, интересы) возникли до и вне всякого конкретного индивида и представляют гораздо более обширное поле в пространстве-времени. Именно поэтому индивид вынужден с этим считаться. Однако это обстоятельство никак не ограничивает последнего в его свободном приписывании каузальности своим и чужим действиям и детерминациям.

Наблюдатель в этом смысле свободен истолковывать то или иное действие либо как свой личный выбор, либо как давление социальной среды (как следствие социального контроля), либо как следствие своих биологически заданных установок, скажем, страха, инстинкта самосохранения. И дело не в том, что таких объективных каузаций (а значит, законов!) не существует, а в том, что нет никакой возможности однозначно удостовериться в истинности, достоверности или необходимости именно тех или иных каузаций, которые наблюдатель связывает с событием (например, своим или чужим действием).

Закономерности поэтому приходится искать не в самих каузациях, а в типичном приписывании (или распределении) причин. Так, преподаватели склонны приписывать успехи студентов своему мастерству (исчислять каузацию внешним образом), а неудачи исчисляют интерналистски, т. е. их причины приписывают самим ученикам (биологически определяемой неспособностью овладеть знанием, с чем преподаватель, очевидно, ничего поделать не может, несмотря на все свое мастерство, и т. д.).

⁶⁵ Внутренняя жизнь сознания детерминирована ирритациями из внешнего мира, но эти ирритации (то, что переживается как *внешний* мир) присутствуют именно и только *внутри* сознания. То, что определяется как внешнее, уже таким образом находится внутри сознания, неважно, имеет ли это форму активируемых нейронных ансамблей или феноменологических переживаний.

Другой пример. Задумаемся, в чем причина криминальных актов, скажем, поджогов? Поджог в (ближайшей и внутренней) перспективе наблюдения самого поджигателя будет рассмотрен преступником как его личный мотив, одновременный самому действию преступника (определяется как детерминированный неким настоящим намерением, одновременным поступку). В перспективе полицейских, расследующих поджог, этот акт уже будет определен как обусловленный преступными установками и габитусом, сформировавшимся в среде взросления и воспитания (в некотором прошлом), или, возможно, как генетически определенный (т. е., в свою очередь, каузирован прошлым). Но в перспективе гипотетических инопланетян этот поджог, возможно, будет «каузально исчисляться» как детерминированный в принципиально иной наблюдательной перспективе, например, тем обстоятельством, что на этой странной планете Земля есть – поддерживающий горение – кислород.

Ни в одном из приведенных примеров не существует когнитивных ресурсов, позволяющих установить жесткую, ведущую или решающую каузальность⁶⁶.

В этом аргументе мы опираемся на идеи пионера в области теории атрибуций Фрица Хайдера. Хайдер попытался установить типические распределения причин поведения в объяснениях индивидами своих действий. Всякий раз индивид и наблюдатель атрибутируют причины своего или чужого актуального поведения либо некоторым диспозициям (свойствам личности, мотивам, установкам), либо ситуации (ситуативному давлению окружающей среды, божественной воле, социальному контролю, культурным нормам и ожиданиям других, и т. д.).

При этом сами наблюдаемые индивиды, по мнению Хайдера, склонны преувеличивать роль внутренних факторов (личных диспозиций), а наблюдатели склонны гипертрофировать значение внешних детерминаций. Какую-то объективную причинность поэтому зафиксировать в такой ситуации затруднительно, даже если допустить ее наличие.

Наш следующий контраргумент предполагает позитивную замену этого проблематичного объяснения причинно-следственных связей в отношении социальных событий кибернетическим пониманием социальных каузаций. На этом основании мы формулируем третий контраргумент: кибернетическая иерархия уровней общества не предполагает классических физических законов.

Это обстоятельство мы связываем с тем, что общество не может быть рассмотрено как закрытая физическая система с однонаправленными детерминациями от причины к следствию. Общество устроено кибернетически, т. е. некоторым круговым образом, на основе позитивных и негативных обратных связей: противоположных, но равноправных в своих причинно-следственных статусах энергетических и информационных потоков.

Как функционирует эта (в наиболее абстрактном виде, конечно) круговая модель взаимных причинений? Энергетический поток, или канал воздействий, направлен от биологических диспозиций (витальных потребностей) через целевые установки личности, социальные роли к культуре как некоему конечному резервуару стандартов поведения, норм и ценностей. В то же вре-

⁶⁶ См. *Heider F. The Psychology of Interpersonal Relations. New York, 1958.*

мя обратный информационный канал (канал управления) определяет движение от норм культуры (своего рода программ), реализующихся затем в социальных ролях (манифестациях программ), индивидуальных целях и мотивах и, наконец, в физическом движении рук и ног. Как задать причинно-следственные связи в этих противоположно направленных цепях каузаций?

В этом контексте потребности и интересы могут рассматриваться как то, что поставляет некую энергию в распоряжение индивидов, мотивируя их к реализации одних действий и отказу от других. Тем самым задаются и ограничительные рамки индивидуального выбора, но этот выбор всегда осуществляется внутренним образом. Проблема в том, что рамки, накладывающие ограничения на действия и мотивы, нельзя признать законом, — просто потому, что такие ограничения законами не являются. Ведь в конечном счете всё накладывает ограничения на всё. Тот реестр целей и индивидуальных мотиваций, который задается наличием потребностей и интересов, в свою очередь, служит своего рода «энергией» (т. е. физическим условием, без которого фактического движения и изменения не произошло бы) для исполнения социальных ролей. Чтобы роль (скажем, преподавателя) нормально проигрывалась, она должна получить импульс в целевой структуре сознания индивида. Но социальная роль не является последним следствием, а выполняет такую же «энергетическо-двигательную» функцию в отношении культурных стандартов, норм, ценностей. Одни нормы и ценности институционализируются (обуславливаются, «движут») посредством и в виде социальных ролей; другие, более не воплощаемые в соответствующих ролях, в конечном итоге отмирают.

Впрочем, сказывается и обратное воздействие культурных норм и ценностей, легитимирующих те или иные социальные роли, которые, в свою очередь, ориентируют цели и мотивы индивидов, которые и со своей стороны служат информационным ориентиром для движения человеческих органов. Этот процесс тоже может описываться как информационная каузальная связь.

В обоих случаях речь идет о каузациях «снизу» и «сверху»: снизу — импульсы, ирритации из внешней среды, дающие энергию «социальному движению»; сверху — научение, информационное обеспечение, целевые, ролевые, культурные ориентиры. В этой структуре нет места классическим причинно-следственным отношениям, а следовательно — и «номотетическим корреляциям». Все кибернетические уровни служат условиями или ограничителями возможности для других, но не выступают в виде номотетической (однаправленной от следствия к причине) связью.

Это демонстрируют уже самые простые иллюстрации. Служит ли алгоритм или программа причиной функционирования автомата? Или же специфическая машина (например, газировочный автомат) требует для себя (т. е. каузирует!) специфической программы по корреляции поступающих денег и выдачи кока-колы? В мире систем, в кибернетическом мире противонаправленных потоков энергии и информации нет детерминаций в стиле закона Бойля-Мариотта, по которому уменьшение объема газа (причина) необходимо и однонаправленно каузирует увеличение давления (следствие). Но в кибернетических описаниях все теряет причинно-следственную однозначность: температура ли (т. е. внешний фактор по отношению к термостату) является

причиной переключения режимов термостата? Или само автоматическое переключение режимов термостата (внутренний фактор) является причиной изменения внешней среды и температуры?

Но ведь и применительно к обществу мы можем задать аналогичным вопросом. Потребности и интересы, как «энергетические», т. е. движущие или мотивирующие, факторы, безусловно, служат условием (ограничителем) реестра возможных действий, мотивов, целей. Но и обратная причинность столь же реальна: информация (идеи, нормы, ролевые стандарты) неслучайным образом канализирует социальную энергию (потребности, интересы и вытекающие цели и мотивы).

Социальные регулярности – контрфактические или акцидентально-истинные?

Что же можно спасти? Какой род регулярных, пусть и не универсальных, законов все-таки описывает регулярности человеческого общежития?

Такого рода регулярности можно было бы назвать квазизаконами, суть которых состояла бы в ограничении случайностей без установления жестких связей. К таковым можно отнести, например, принцип двойной контингенции (ПДК). ПДК предполагает ограничение вероятности в случае «встречи» двух и более случайных событий: если два корабля встречаются в узком заливе, чтобы разойтись, им следует маневрировать в разных (а не общем) направлениях. То же относится к координациям свободных индивидов⁶⁷.

К таким квазизаконам можно отнести и законы общей теории эволюции (мутации-селекции-закрепления признаков), применимые и к эволюции самых разных форм социальности.

Таковой генерализацией может выступить последовательность трех эволюционных стадий: изменчивости (случайных мутаций – трансформаций институтов, ролей, норм, понятий и т. д.), внутренний и внешний отбор-селекция (тех или иных «более удачных» институтов и т. д.) и, наконец, закрепление этих форм социальности во взаимоустойчивых системах разделения труда и коммуникаций (общества)⁶⁸.

Несмотря на регулярное воспроизведение этих эволюционных стадий, такая регулярность не отменяет общего случайного направления эволюции, «подобной видеофильму, который при каждом новом просмотре завершается по-разному»⁶⁹.

Все такого рода квазизаконны, безусловно, выполняют роль ограничителя случайностей (возможных действий, переживаний, ожиданий, коммуникативных сообщений и т. д.), но они, очевидно, не являются номотетическими законами рода «для всех X, если X обладает свойством А, то X также обладает и свойством В». Дело в том, что законы естествознания контрфактичны, т. е. представляют собой условные высказывания, истинные независимо от фактических – реализующих эти законы – обстоятельств⁷⁰. Так, закон «Все

⁶⁷ *Parsons T., Shils E. Toward a General Theory of Action. New York, 1951.*

⁶⁸ Более детально об этом см.: *Луман Н. Эволюция. М.: Логос, 2005; Антоновский А. Ю. Системно-конструктивистское понимание эволюции / Луман Н. Эволюция. М.: Логос, 2005.*

⁶⁹ *Gould, S.J. Wonderful Life. New York, 1990. P. 47.*

⁷⁰ Дискуссию о контрфактичности подлинных научных законов и случайной истинности акцидентальных генерализаций см.: *Nagel E. The Structure of Science. New York, 1961. На русском языке: Коэн М., Нагель Э.*

соединения бария горят зеленым пламенем» будет действовать независимо от того, поджигаем мы это соединение или нет. Оно должно гореть зеленым пламенем (во всех возможных мирах и регионах пространства-времени), так это вытекает из атомной структуры его соединений.

Социальные законы, напротив, не являются контрфактивными, ведь они зависят от того, что фактически имеет место в данном пространстве и данном времени. Протестантская этика необходимо породила капитализм, являясь ограничителем возможностей развития хозяйства, но только при данных условиях, в данном регионе и данную эпоху. Эта связь является причинно-следственной, истинной, но при этом – акцидентально-истинной⁷¹. И в этом смысле утверждение К. Х. Момдзяна о принудительной силе потребностей и интересов в отношении идей, решений и т. д. действительно является необходимым ограничителем случайного выбора индивида, но оно не является контрфактическим, а значит, номотетическим законом.

Эта идея номотетического, контрфактического закона как основной ресурс научного наблюдения еще не дает ответа на вопрос о коммуникативном характере этого наблюдения, о том, каким образом образуется коммуникативная система научных наблюдений. С точки зрения Н. Лумана, ключевое значение имеет наблюдательная дистинкция «истина/ложь», позволяющая в ходе коммуникации осуществлять отбор системно-значимых наблюдений и отклонять высказывания или наблюдения (ложные суждения и заблуждения), не способные аккумулироваться в большие массивы высказываний (теории), но все-таки имеющие существенное рефлексивное значение. Насколько же значимо влияние наблюдателя на истинностное содержание научного высказывания?

Наблюдение и истина. Ответ на тезис Марковой Л.А.

«В прошлом веке, особенно во второй его половине, и начале настоящего намечаются радикальные перемены в интерпретации научного мышления, обусловленные двумя моментами. Во-первых, они вызваны развитием самой философии, назревающими в ней проблемами, требующими решения. Во-вторых, фундаментальными изменениями в самой науке. Наука стала другой, и прежние способы ее философского понимания не дают желаемых результатов. Одно дело, когда ученый познает внешний мир, природу как существующую независимо от него. Соответственно и научное знание должно быть в этом случае по возможности свободно от признаков деятельности ученого и каких бы то ни было его личностных характеристик. И совсем другое дело, когда для получения правильного результата ученый должен учитывать влияние наблюдателя на протекающие в экспериментальной установке процессы. В первом случае мы имеем дело с классической наукой, во втором – с неклассической», – пишет известный философ науки Л. А. Маркова в своей провокативной работе «Наука без истины, субъекта и объекта, что дальше?

Введение в логику и научный метод. Пер. с англ. Куслий П.С. Челябинск, 2010.

⁷¹ Т. е. не необходимой в смысле С. Крипке: *Kripke С.* Тождество и необходимость // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. М., 1982.

»⁷². Эта идея наблюдения, не претендующего на истины, как нам кажется, заслуживает обсуждения.

Проблема наблюдения, его предмета и истинности действительно составляет методологическое ядро философии современной науки. И все-таки следует различать трансформацию предмета наблюдения через «привнесение личностных характеристик» исследователя (назовем это «психоэпистемологическим тезисом») и медиально-инструментальное воздействие наблюдения на наблюдаемое (назовем это «медиаэпистемологическим тезисом»).

Далее Маркова Л.А. утверждает, что это новое «неклассическое знание» подразумевает учет неких «личностных характеристик», и этот психоэпистемологический тезис приходится отклонять в пользу иной, социоэпистемологической постановки проблемы. Всякое наблюдение и само оказывается частью реальности, понятой в самом широком смысле. Всякое наблюдение добавляет к реальности некоторый элемент и, в свою очередь, должно тем или иным образом истолковываться, т. е. наблюдаться, провоцируя тем самым новое генерирование реальности. Однако этот социоэпистемологический тезис не в последнюю очередь (и возможно, в большей степени) очевиден в социально-гуманитарном познании, если не составляет самого его существа.

«Смотреть в микроскоп», утверждает М. Борн, есть то же самое, что «посылать пучок фотонов»⁷³, и с существом этого утверждения невозможно спорить. Но что оно означает? Разве речь идет о субъективации предмета наблюдения, как это видится Л. А. Марковой? Нет, скорее, мы сталкиваемся с традиционным классическим процессом объективации психорецепторных способностей личности ученого-наблюдателя: зрение у людей разное, а вот «пучок фотонов», как его объективный репрезентатор, обладает инвариантными энергетическими характеристиками, с которыми согласятся все наблюдатели, независимо от особенностей их индивидуального восприятия.

Но не значит ли это, что процессы восприятия и наблюдения (посредством их технико-инструментальной репрезентации, в данном случае посредством «света») словно получают некоторую автономию от наблюдающего субъекта? Ведь теперь наблюдение и само включено в наблюдаемый процесс и словно «отрывается» от так называемых «познавательных способностей» индивида. Действительно, что общего у (рецепторных особенностей) психики ученого и пучка фотонов?

Впрочем, мы бы согласились с мнением Марковой о том, что таковая медиатехнизация ученого, несмотря на то, что она фактически выражает неоспоримые тенденции инструментализации наблюдения, существенно расширила и улучшила понимание процессов медиавосприятия, концепта наблюдательных медиа, научного инструментария. Ведь теперь под ними понимается нечто гораздо более фундаментальное. Наблюдение уже нельзя отбросить после достижения истинного знания как некий промежуточный, независимый от предмета и наблюдателя посредник наподобие «лестницы Витгенштейна». Инструментально-технические медианаблюдения, во-первых, теперь включают не только произведенные человеком инструменты, но и са-

⁷² Маркова Л.А. Наука без истины, субъекта и объекта, что дальше? // Эпистемология и философия науки. 2011. №4. С. 51–59.

⁷³ Борн М. Физика в жизни моего поколения. М., 1963. С. 228

му окружающую среду, так сказать, естественные медиа света и звука: естественные и неустранимые опосредующие звенья в человеческом восприятии, которые не позволяют вырваться непосредственно к наблюдаемому объекту, к миру как таковому.

Кроме того, стоит обратить внимание и на то, что технические медиа являются универсальными инструментами наблюдения, связывающими естествознание и знание социально-гуманитарное. Процессы наблюдения в естественных и социально-гуманитарных науках, очевидно, существенным образом различаются.

В первом случае технико-медиальные эффекты наблюдения воздействуют на наблюдаемый феномен и трансформируют его. Во втором случае медиа наблюдения трансформирует и самого наблюдателя. Л. А. Маркова использует понятие наблюдения как само по себе непроблематичное. Но что такое наблюдение? Кем могут быть наблюдатели? Можно ли составить номенклатуру наблюдательных медиа? Способны ли наблюдать не только личности, но и все остальные «живые системы» (клетки, органы), очевидно, различающие внешнее и внутреннее, свое и чужое, если наблюдение интерпретировать в самом широком смысле и понимать под ним отличие одного от другого?

В этом самом широком смысле наблюдение оказывается единством одновременного отрицания и утверждения. Наблюдение ошибается уже тогда, когда сосредоточивается на чем-то центральном, интересном для наблюдателя, уже этим фактом концентрации внимания неявно приписывая ему статус существующего. В структуру наблюдения заложена некоторая асимметрия, ведь оно переоценивает обозначаемое и недооценивает отличаемое и отрицаемое. В момент наблюдения наблюдатель как раз и не наблюдает то, от чего он отличил наблюдаемое (и прежде всего, конечно, от него ускользают свойства самого процесса медианаблюдения).

Чтобы медиа стали предметом наблюдения, приходится переходить к другому наблюдению и наблюдать некоторое прошлое наблюдение как некий самостоятельный объект.

Л. А. Маркова идентифицирует процесс наблюдения с субъектом, считает его неким свойством субъекта. Но наблюдение – это самостоятельный причинно-следственный процесс, пусть и инициируемый человеком. В физической реальности наблюдение именно потому «вмешивается» в физические процессы, что оно и само принимает физическую форму.

В этом смысле наблюдение не становится чем-то субъективным или субъектным. Скорее наоборот, субъект (сознание) попадает в зависимость от инструментально осуществляющегося наблюдения в том смысле, что субъект вынужден смиряться и принимать таким образом полученные данные. Несмотря на все желания ученого субъекта, он не способен трансформировать жесткую физическую связь наблюдения и наблюдаемого: в нашем случае, физическое взаимодействие фотона и электрона, остающееся независимым от наблюдателя. В этом смысле проблема наблюдения состоит вовсе не в субъективизации исследования, как это утверждает Маркова, но является гораздо более фундаментальной.

Констатация некоторого физического факта (наблюдение) и сама оказывается физическим фактом (наблюдаемым), который должен тем или иным

образом учитываться. Это, очевидно, более слабый тезис, чем тот, который предлагает Маркова, однако его значимость существенно возрастает применительно к социально-гуманитарному знанию.

Каков же статус наблюдения в гуманитарных науках и социальном знании? Делает ли он эти дисциплины зависимыми от произвола наблюдателя и характеристик личности субъекта, как это представляется Л.А. Марковой, или, может быть, напротив, позволяет избавиться от субъективизма? Не является ли наблюдение неким круговым самообоснованием гуманитарных дисциплин, так что они имеют дело не столько с наблюдаемым объектом, сколько с самим наблюдением, т. е. высказываниями об объектах, текстах и их интерпретациями, и лишь нагромождают текст на текст, наблюдая за наблюдениями (прессой, научными публикациями, литературными романами, историческими источниками или телекартинкой)?

Следует ли от этого избавиться как от «эпистемологического препятствия» (Г. Башляр) и попытаться прорваться к самим объектам истории, обществу, искусству и культуре как таковым, как они даны безотносительно к их медийной презентированности в виде чужих наблюдений?

На наш взгляд, медийная опосредованность предмета гуманитарных наук не служит препятствием, а, напротив, переводит эти дисциплины в статус квазиестественных, стабилизирует их предмет, делает его реальным наподобие предмета естественных наук, является способом их натурализации.

Так, история как (наблюдающая) дисциплина, очевидно, оказывается частью истории как исторического процесса. История в первом смысле может воздействовать на второй, но главное – она должна учитывать себя как часть самой себя, пусть даже в негативной форме – как «история, которая ничему не учит».

Каждым своим наблюдением или описанием (учебником, монографией, лекцией) она добавляет себя как очередное историческое событие и этим генерирует историю в двух смыслах. Причем это добавленное событие-наблюдение является наименее проблематичным в сравнении с тем, что в нем наблюдается.

История, таким образом, есть самовключающее наблюдение. Но и социология – это самовключающее наблюдение. Социологические наблюдения общества должны учитывать то обстоятельство, что это наблюдение, в свою очередь, осуществляется (научным, социологическим) сообществом; наблюдение над коммуникациями и само является коммуникацией.

Более сложно обстоит дело с литературой и ее функциями наблюдения над культурой, индивидуализации и личностной идентификации. Литература, как известно, «учит жизни», но разве в ней самой не описывается (наблюдается), как живут люди, которых учит жить литература? Наблюдение есть генерирование и добавление того, что без наблюдения в каком-то смысле не существовало бы. Наблюдаемый при помощи фотонов электрон, изменивший свои параметры под их воздействием, в этом статусе не отличается от наблюдаемых (а значит, измененных) литературных персонажей, представленного в социологических наблюдениях общества и исторически описываемого события. Во всех случаях речь идет о медийно-трансформированных наблюдениях презентации когнитивно-недоступных реалий. Но именно эта трансформация стабилизирует объект наблюдения, ведь наблюдение зафиксировало характе-

ристики объекта, и теперь, отправляясь от них, можно конструировать ненаблюдаемые свойства.

Л. А. Маркова справедливо указывает на важный поворот в социальном познании, но состоит он, на мой взгляд, в прямо противоположном: субъект-исследователь вовсе не становится главной фигурой исследования (тезис Марковой), но, напротив, вытесняется, точнее, медиализируется.

Далее, утверждает Маркова: «Если признать, что знание воспроизводит не внешний мир, а субъекта научной деятельности, то уже невозможно говорить ни о какой границе между субъектом и предметом»⁷⁴.

Этот психоэпистемологический тезис Маркова связывает с вопросом об истинности и предметности научного знания: «Второй этап в развитии социологического направления в изучении науки имеет своим основанием идею исчезновения четких границ науки и не-науки, истины и лжи, субъекта и предмета, субъективного и объективного, результата и деятельности по его получению».

Нам представляется, что Л. А. Маркова не учитывает здесь некоторой фундаментальной зависимости между предметом, наблюдателем и истинностью знания, причем именно в рамках научной коммуникации, где эти понятия составляют неразложимую матрицу, а может, и некоторое «гиперпонятие», которому еще не придумали название.

Даже если признать, что наблюдение действительно трансформирует наблюдаемое, все-таки следует указать на важные ограничения этих трансформаций. И это связано, прежде всего, с особенностями научных коммуникаций. Наука как система коммуникаций обладает выраженной идиосинкразией в использовании своего ключевого инструмента, или медиаселекции научных наблюдений: дистинкции истинного/ложного знания.

В отличие от политики, экономики, любви, искусства наука все свои коммуникации основывает на чем-то, что для научной коммуникации выступает внешним, а именно – на восприятиях, переживаниях сознания, психических данных, т. е. на всем том, что, по ее мнению, не может фальсифицироваться человеческими действиями, выходит за пределы манипулятивных способностей.

Другими словами, переживания некоторого Эго (в случае истинности) с принудительностью требуют идентичных переживаний Другого Эго.

Наука экстернальна, поскольку претендует на то, что в своих действиях и коммуникациях выходит за пределы социальных действий, сообщений, коммуникаций, так как последние могут лишь транслировать, но не способны генерировать истинное знание.

Если бы истина рождалась в коммуникации, сообщениях или действиях, она бы зависела от последних, а следовательно, истину можно было бы производить, манипулировать ею безотносительно к данному в психических переживаниях внешнему миру.

В отличие от Л. А. Марковой мы не думаем, что от истины можно избавиться или элиминировать ее, как это предлагают сторонники элиминативизма. Ведь это лишило бы науку ее своеобразия, ее редуцированности к психическим переживаниям внешнего для научной коммуникации мира, редукции к способностям восприятия общезначимым образом удостоверять свои и чужие утверждения.

⁷⁴ Там же. С. 53.

С исчезновением истинности наука перестанет отличаться от других типов общения, утратит собственную идиосинкразию, ключевую мотивацию, направляющую научное исследование. В этом случае наука перестанет отличаться, например, от хозяйства, и ключевым инструментом отбора знания станет возможность его продажи; или от политики, и отбор нужного знания станет делом распоряжения и манипуляций коллективно-обязательных решений.

Речь идет о давней проблеме теории восприятия – проблеме проекционизма: как возможна локализация наблюдаемых объектов за пределами мозга и сетчатки (ведь фактически наблюдение осуществляется именно здесь) без того, чтобы проектировался некоторый «манипулятивный луч», направленный на наблюдаемый объект (наподобие сонара дельфина или летучей мыши).

Очевидно, что пучок фотонов как раз представляет эту проекционистскую инструментализацию наблюдения. Как это происходит на практике, хорошо описано Мертоном в его концепции самооправдывающихся (и самопроверяющихся) пророчеств. Меняет ли некоторое наблюдение («пророчество») соответствующее положение дел? И да, и нет. Скажем, если рейтинговое агентство в своих наблюдениях зафиксировало падение рейтинга (неважно, адекватно или нет), рейтинг действительно упадет. Но это вовсе не означает, что у этого рейтинга нет других (независимых от наблюдения) уровней и его оснований.

Наблюдение и интерпретация. Ответ на тезис Никифорова А.Л.

Выше мы уже обсуждали трудности в формулировании «социальных законов», имеющих статус «контрфактичных», каковой обычно связывают с законами естествознания. Впрочем, обнаруживаются и другие основания усомниться в возможности наблюдения общества с помощью законов, как, впрочем, и в возможности наблюдения общества как некой всеохватывающей тотальности.

Такой исключительно теоретический (т. е. непосредственно – не наблюдаемый) характер объекта-общества вытекает из его интерпретативности и историчности. Идею интерпретативности как эрзац-понятия для законосообразного описания общества выдвигает Никифоров А.Л. Приведем большую цитату из статьи:

«Окружающий нас мир наполнен предметами: расцвел куст шиповника, бабочка пролетела, назойливо пищат комары, идут по дороге какие-то люди, – всё это предметы. Наш язык способен превращать в предметы даже такие вещи, как удар грома, любовь или улыбка Джоконды. Когда мы о чем-то говорим, мы превращаем это нечто в предмет. ... Еще более загадочным представляется тот факт, что окружающие нас предметы осмысленны. Ударившись о край стола, я не гадаю о том, что это острое вонзилось в мой бок, а сразу понимаю, что это стол, за которым сидят, на котором лежат бумаги и книги. ... Мы живем в мире, наполненном осмысленными предметами. Этот факт для нас настолько привычен, что мы почти никогда над ним не задумываемся. Каждый из нас с детства входит в мир осмысленных предметов, постепенно открывает их свойства, учится узнавать их и действовать с ними. В нас естественно укрепляется убеждение в том, что этот мир существует сам по себе, независимо от нас. Конечно, ведь мы вошли в этот мир, когда он уже существовал! Умерли наши родители, скоро и мы покинем этот мир, но в нем

останутся жить наши дети и внуки. Даже если с лица земли исчезнут все люди, этот мир сохранится, и все так же осенью будут опадать с кленов разноцветные резные листья»⁷⁵.

Много предметов фигурирует в статье А. Л. Никифорова. «Удар грома», «любовь», «бабочки», «комары» и «улыбка Джоконды». Не удивительно ли то обстоятельство, что об этих предметах речь в статье как раз и не идет? Речь вовсе не о предметах, а о высокоабстрактном эпистемологическом представлении – о том, как данные восприятия предмета соответствуют его объективным характеристикам. Это обстоятельство прямого несоответствия, а точнее говоря, произвольности⁷⁶ в связи между референциями к предметам («бабочкам» и «комарам») и конечными смыслами высказываний о бабочках и комарах, как мы покажем, играет ключевую роль в понимании переистолковываемых А. Л. Никифоровым понятий смысла, интерпретации, мирового элемента, трехслойного смыслового контекста и верховной категории мира.

О понятии смысла

У А. Л. Никифорова отношение между словом и предметом получает разные квалификации. Одно из них получило название «осмысленность». Именно смысл, таким образом, оказывается достижением сознания, связывающим восприятие и его источник. Затем это отношение «осмысленности» уточняется через понятие «интерпретации». Так, содержание понятия смысла у А. Л. Никифорова редуцировано к способности моментального распознавания предмета: «Ударившись о край стола, я вовсе не гадаю о том, что это такое острое вонзилось в мой бок, а сразу понимаю, что это – стол». Так понятый смысл предстает в виде некоего предварительного знания, которое сформировалось раньше и сформировало контекст, в котором «помещаются» всё новые и новые восприятия. Какую же позицию в рамках традиционно конкурирующих онто-эпистемологических доктрин мы можем теперь приписать А. Л. Никифорову?

Если исходить из того, что в вопросе связи восприятия и его источника конкурируют главным образом доктрины «репрезентативизма» и «конструктивизма», то позиция А. Л. Никифорова может интерпретироваться скорее как конструктивистская. Ведь не сам предмет, согласно автору, определяет форму восприятия, а предварительное знание определяет возможности конструирования нового знания. Эта позиция, как известно, разрабатывалась в прагматистской концепции истинности.

В этом смысле, например, У. Джеймс говорит о «ретроактивной валидации» знания, но не о соответствии (корреспонденции) образа восприятия и реального объекта. В своем примере с восприятием собаки он отказывается от утверждения о том, что полученный в ходе восприятия образ собаки соответствует самой собаке. Процесс восприятия, напротив, состоит в том, что представление о некоем пушистом существе, данном воспринимающему издали, постепенно, по мере приближения к нему, конкретизируется в каждом следующем познавательном акте, постепенно трансформируясь в окончательный образ конкретной собаки.

⁷⁵ Никифоров А.Л. Язык и картина мира // Эпистемология и философия науки. 2015. № 4. С. 19–27.

⁷⁶ О «произвольности» связи означаемого и означающего см.: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики.

В этом примере понятие знания (понятное как последовательность конкретизирующихся переживаний) оказывается более фундаментальным, чем понятия знающего субъекта и познаваемого объекта. Познание же предстает лишь как последовательность рецептов. Лишь в конце этого пути формируется фикция познающего субъекта, как будто бы знающего то, что то, что он представлял ранее как неясный смутный образ пушистого существа, действительно «известно» ему как собака⁷⁷.

В этом контексте вместо понятий противостоящих и корреспондирующих друг с другом субъекта восприятия и объекта восприятия А. Л. Никифоров склонен, вслед за Махом, использовать некоторое – объединяющее оба полюса – понятие «ощущения» как базового элемента мира, как «сплав субъективного с объективным».

Конструктивизм Никифорова выражен в тенденции усматривать единство в различности тех или иных предметностей: так, ощущение выступает у Никифорова некой формой, имеющей две стороны. Одна определена возмущениями извне («электромагнитные волны, тепловые и химические воздействия»), другая представлена внутренними достижениями сознания, состоящими в интерпретации внешних воздействий.

О понятии ощущения

Со всем, что говорилось до сих пор, можно соглашаться как с чем-то очевидным. Упрекнуть А. Л. Никифорова можно лишь в некоторой недостаточной радикальности его конструктивизма. Если признавать ощущения некими сингулярными, пусть и расщепленными, элементами мира, то невозможно обойтись без того, чтобы указать на инстанцию, которая производит это расщепление.

Никакое различие не может быть зафиксировано без того, чтобы указать на того, кто же использует это различие как ключевой инструмент наблюдения. И именно здесь в аргументации автора можно увидеть непроработанность. Кто все-таки выступает наблюдателем предметов – человек? психика? конкретный орган восприятия? язык? коммуникация? сам ментальный акт? элементарное высказывание?

Очевидно, что предмет в каком-то смысле реферируется каждым из означенных претендентов на инстанцию наблюдателя предметности. И каждый раз, когда мы говорим о предмете, мы должны, по-видимому, указать на наблюдательную перспективу, в которой представлен данный предмет. Позже мы вернемся к проблеме наблюдателя предмета.

О понятии интерпретации

У А. Л. Никифорова явным образом присутствуют лишь две из возможных наблюдательных перспектив предметностей, а именно языковая и перцептивная. При этом даже перцептивной перспективе наблюдения (= способности саморасще-

⁷⁷ James W. Essays in Radical Empiricism. University of Nebraska Press, 1996. P. 198. Позднее этот пример использован Бруно Латуром в его концепции «знания как способа существования реальности» См. Latour B. A Textbook Case Revisited – Knowledge as a Mode of Existence // The Handbook of Science and Technology Studies. London, 2008. P. 83–113.

пления ощущения на его внутреннюю сторону и неизоморфный этому ощущаемому образу внешний предметный полюс) вменяется способность интерпретации!

Именно этот аргумент представляется нам в высшей степени дискуссионным. Другими словами, понятие интерпретации получает чрезмерно расширительную интерпретацию. Теперь оно характеризует не только смысловые отношения между высказываниями языка, где одно высказывание как бы высвечивает особенный или частный смысл другого высказывания и оставляет без внимания его альтернативные смыслы. У Никифорова интерпретация в ее расширенном истолковании характеризует, помимо прочего, и отношение между восприятием (т. е. некоторым не языковым, физиологическим процессом) и самим предметом как источником этого восприятия.

Эти два типа отношений – с одной стороны, между наблюдательной перспективой восприятия и реферируемой им предметностью, и с другой стороны, отношение между внутриязыковыми реляциями (т. е. отношение между самими высказываниями, которые только и могут истолковываться как интерпретация), – представляются мне слишком различающимися, чтобы применять к ним общее понятие интерпретации.

Уравнивать эти два отношения под общим суперпонятием интерпретации означает недооценивать радикальный разрыв между двумя типами наблюдения (и соответственно двумя типами смысловых систем – психической и коммуникативной). Именно за понятием интерпретации, с нашей точки зрения, должны быть зарезервированы коммуникативно-языковые достижения особого типа, которые и обеспечивают означенный выше произвольный характер связи означаемого и означающего (Ф. де Соссюр).

Это отношение потому и является произвольным и, как следствие, обеспечивает процесс свободного конструирования, что может принимать конкретные формы в виде двух противоположных, но равно допустимых процессов: спецификации и генерализации⁷⁸. Языковое представление данных восприятия выступает, таким образом, в виде отношения «самореференция/инореференция», т. е. предстает относительно произвольным выбором между указанием на коммуникативную значимость высказывания и указанием на некую внешне-мировую (= «объективную») референцию, способную выступать более значимым ориентиром для высказывания, нежели его коммуникативная функция. Так, предложение «снег бел» может выступать в роли тривиальной констатации объективного положения дел, если снег действительно бел. Но это может быть и аргументом в споре (при отсутствии какого-либо актуального белого снега за окном). Например, в споре о том, насколько снег еще может или должен (или уже не может) рассматриваться как белый (а значит – чистый) в современной экологической ситуации. Это может быть и неким призывом, мотивом выйти из дома и полюбоваться природой и т. д. и т. п.

Такое отношение между высказываниями языка и данными восприятия всегда предстает как структурное сопряжение систем психики и систем коммуникации. Все, что говорится о данных восприятия, не только произносится (представлено коммуникативно), но и переживается (представлено в виде ментального акта).

⁷⁸ Каждому слову можно уподобить множество предметов (генерализация), а каждый предмет может представляться различными словами (спецификация). См.: *Луман Н. Медиа коммуникации*. М.: Логос, 2006.

Напротив, интерпретация в подлинном смысле слова всегда имеет место исключительно в рамках второго отношения, всегда является внутренним достижением в рамках коммуникативных систем.

Этот радикальный разрыв игнорируется А. Л. Никифоровым, а понятие интерпретации сводится к понятию простой индикации чего-то данного наблюдателю, но данного не так, как оно существует на самом деле: «... слово «интерпретация» мы можем использовать здесь в его точном логическом смысле...». Но «...точно так же наши органы чувств интерпретируют внешние воздействия, соотнося с ними ощущения и восприятия. И как высказывание «Снег бел» не имеет ничего общего с буквой «А», так и ощущение цвета, запаха, вкуса не имеет ничего общего с тем воздействием, которое его вызвало», причем «рассмотрение ощущений как интерпретаций подразумевает существование внешнего мира, оказывающего воздействия».

Здесь свою конструктивистскую позицию автор незаметно меняет на позицию репрезентативизма. Ведь существование внешнего мира он доказывает на основании его презентированности в восприятии!

Эта позиция, конечно, допускает лишь парадоксальное обоснование. Как быть, например, с ощущением того, что я ничего не ощущаю? Но дело даже не столько в этом. Аргумент Никифорова в пользу использования понятия интерпретации для характеристики отношения языка и данных восприятия изначально строился на том, что в обоих случаях отсутствуют отношения подобия. Высказывание и объект высказывания как-то не очень похожи друг на друга (не изоморфны и не гомоморфны).

И все-таки в первом из отношений (между высказыванием и данными восприятия) таковая «неизоморфность» представляется гораздо более явной, очевидной, а связь между ними – более произвольной. Ведь увидев и пережив нечто красное, мы можем использовать самые разные слова языка: «яркое», «цветное», «интересное», «вызывающее» и т. д. Лишь фантазия служит ограничением в выборе слов языка. В принципе данное восприятие можно было бы даже назвать и зеленым (чем и занимаются аналитики, начиная с небезызвестного экспериментатора Мэри).

Напротив, в том, что касается отношения второго типа, т. е. случая подлинной интерпретации, последняя всегда задается некоторыми рамками, или, лучше сказать, полюсами. А именно: с одной стороны, коммуникативно значимыми, и с другой – внешне-мировыми (информационно значимыми) ориентирами (= ограничителями) интерпретации. Интерпретация в этом смысле всегда осциллирует между Сциллой информативности и Харибдой коммуникативности: все, что говорится, либо говорится с целью дескриптивной референции внешних реалий (когда сообщают о чем-то новом, интересном и неизвестном), либо с целью оказать влияние на саму актуальную коммуникацию, изменить ее течение, повлиять на собеседника, уточнить намерение.

Так, и мой ответ-высказывание Никифорову можно интерпретировать с точки зрения информирования читателя о некотором лучшем понимании проблемы. Хотя всегда остается возможным проинтерпретировать представленный текст и как мотивацию убедить другого в своей правоте, ответить на предложенный коммуникативный вызов, истолковать его из перспективы моего желания опубликоваться в авторитетном журнале, доказать свой приоритет в

разработке проблемы, безотносительно к тому, как обстоит дело с понятием интерпретации на самом деле. Займи Никифоров предложенную мной здесь позицию, мы бы, возможно, предложили иное понимание и аргументы.

О понятии мирового элемента

Однако такое расширение понятия интерпретации на процесс восприятия интересно Никифорову не само по себе. Оно позволяет ему переистолковать идею Маха и предложить понятие собственного онтологического элемента мира.

«Теперь мы можем дополнить анализ Маха и сказать, что элементы мира представляют собой сплав внешнего воздействия с его интерпретацией посредством органов чувств и языка, т. е.: элемент мира = внешнее воздействие + чувственная интерпретация + вербальная интерпретация», – пишет Никифоров⁷⁹.

Мой упрек в отношении этой схемы состоит в том, что в ней отсутствует наблюдатель и, как следствие, не учитывается та или иная особенная наблюдательная перспектива. Если элемент мира является составным, то кто его разделил на части? Кто в большей степени апеллирует к «внешнему воздействию»? Кому интересно сосредоточиться на внутренней стороне элемента, т. е. на чувственной составляющей в интерпретации внешнего воздействия? Ведь различающийся интерес к тому или иному полюсу «элемента мира» возможен в равной мере! Так, если пациент на приеме у врача говорит: «Мне больно», – то пациент, конечно, апеллирует к внешнему воздействию как самому значимому производителю возникающего «элемента мира».

Между тем врач вполне себе может заявить: «Тебе не должно быть больно, ведь я ввел анестезию, это лишь твоя гипертрофированная «чувственная интерпретация» и «вытекающая вербальная реакция», тебе лишь слегка некомфортно». Поэтому в придуманную Никифоровым онтологическую схему элемента мира следовало бы добавить еще и эпистемический аспект или полюс. То, что кажется «вызывающим боль» в одной наблюдательной перспективе, в другой таковым не представляется. Ведь (в нашем примере) мы не можем зафиксировать однозначно связь «ощущение»/«высказывание», пока не укажем то, в какой наблюдательной перспективе (врача или пациента) эта связь получает актуализацию.

О смысловых контекстах слова

Впрочем, нельзя сказать, что конструирование онтологической схемы мировых элементов является основным интересом Никифорова. Эта схема позволяет ему ввести в рассмотрение главный предмет своего интереса – знание и познания. Так, реконструкция познавательной активности предполагает фиксацию трех смысловых контекстов всякого слова (и вероятно, также высказывания о предмете). Так, всякое слово осмысленно в контексте некоего общезначимого знания, определено в контексте знания, специфического для некоторой национальной культуры, а также способно выразить некоторое личное переживание индивида.

Зададимся, однако, вопросом о том, чем, собственно, вызван и обоснован этот выбор именно трех смысловых измерений вербальных высказываний, в котором каждое слово получает то или иное значение? Почему вводится перемен-

⁷⁹ Никифоров А.Л. Язык и картина мира // Эпистемология и философия науки. 2015. № 4. С. 23.

ная национальной культуры, но не вводится переменная референтной группы? Городского диалекта (вспомним сакраментальные дистинкции «булка/батон» и «подъезд/парадная»)? Этот выбор горизонтов смысла, очевидно, методологически произволен. Почему, например, не учитывается перспектива Другого, скажем, партнера по коммуникации? Ведь Ego может использовать слово в том смысле, в каком его понимает некоторый Другой, в личностном горизонте которого за этим словом закреплены некоторые идиосинкразийные личностные переживания. Почему не вводится «историческое» измерение? Ведь, читая старинные тексты, индивид способен прийти к пониманию того, что то или иное слово в прошлом означало нечто иное (так, и слово «индивид» прежде не означало свойство особи, но указывало на свойство неделимости, а слово «оригинальность» не имело современного смысла новосозданного, а указывало на некую связь с источником происхождения – оригиналом, т. е. означало как раз отсутствие оригинальности и уникальности, закрепленных за ним сегодня).

Никифоров, видимо, вынужден сужать контекст смыслов, ведь в противном случае связь слова и смысла станет избыточно произвольной (каковой она и является на самом деле), и тогда связь «слово/переживание» нельзя будет называть интерпретацией (каковой она и не является на самом деле).

О понятии мира

Поэтому-то, переходя к своему заключительному понятию мира, Никифоров истолковывает его вовсе не с точки зрения своей контекстуально-трехслойной смысловой структуры слов (что было бы ожидаемым), но делает это ad hoc: путем неожиданного введения дополнительного «научного измерения» высказываний, хотя этот смысловой контекст слов первоначально не вошел как онтологически данный.

На мой взгляд, гораздо логичнее было бы зарезервировать за понятием мира ту сферу, которая объединяла бы все контексты слов, как, впрочем, и то, что в эти контексты не входит: а именно, сферу самих слов как равноправных составляющих мира наряду с обозначаемыми ими предметами. Мир в этом случае представлял бы и как реальность культуры (включал бы все те предметы, которые обозначают слова некоторого национального языка с культурно заданными смыслами), и как реальность личностных переживаний (включал бы в себя индивидуальные значения слов – все предметы, данные индивидуальным сознанием), и, безусловно, вбирал бы в себя самую синтаксически-семантическую реальность: сами слова и их смыслы (дефиниции, дескрипции и т. д., отличные от значений-денотатов). В это понятие мира пришлось бы включить и все то, на что не указывают слова и высказывания, все то, что остается за пределами слов и их значений.

Из заявленной А. Л. Никифоровым трехконтекстной смысловой структуры слова не вытекает и предлагаемой им заключительной картины крайнего релятивизма и несовпадений субмиров науки, жизненного мира человека, массмедийных представлений, мира национальной культурной традиции.

Картина была бы более консистентной, если бы мы утвердили схему элементов мира, включающего и самого наблюдателя этого мира. Тогда в отношении каждого субмира можно было бы указать и на конкретного наблю-

дателя, выделяющего в своей зоне обзора собственные предметы интереса, пользующегося своими собственными инструментами наблюдения.

В этом случае субмир науки представлял бы сферой наблюдения посредством инструментальных дистинкций (прежде всего, истины и лжи, знания/незнания, научного/ненаучного). Такого рода инструменты, собственно, служат для выбора значимых объектов наблюдения (в данном случае – актуального научного знания) и отклонения всего остального, выпадающего на долю других, не менее значимых, сфер наблюдения – национальной культуры (с ее различием культурно значимого и незначимого), религии (с ее различием веры и не соответствующего вере), индивидуального жизненного мира (с его различием актуальных и потенциальных регионов достижимости в смысле А. Шюца).

Наблюдение и история

Социальные теоретики не сразу осознали необходимость сформулировать условия возможности существования общества, условия возможности сохранения социального порядка. Это было связано прежде всего с тем, что, в отличие от других гипотетических и теоретических объектов (атомов, молекул, генов и т. д.), применительно к объекту-обществу не нужно было задумываться о том, где и когда оно имеет место. Ведь общество всегда находится перед глазами как некий очевидный, наглядный, полностью определенный и ограниченный объект – как племена, государства, с интуитивно понятными пространственно-временными характеристиками – границами и датами смерти. Общества в этом смысле представляли аналогами биологических организмов, могли рождаться и умирать. Социальное состояние определялось политическими границами в пространстве, а прекращение социального состояния во времени (или смерть) являлось следствием завоеваний. Так исчезли государства Урарту и Шумер.

Однако, начиная с 20 века, теоретики стали задумываться над условиями сохранения и исчезновения общества. Возникло понимание, что невозможно зафиксировать некий изначально данный и структурированный, а главное – внешний для наблюдателя объект-общество, о смерти и границах которого нужно судить, находясь за его пределами – на позициях внешних наблюдателей. Возникло осознание, что в условиях нового – мирового – общества (ставшего возможным вследствие общедоступности средств коммуникаций) о смерти и жизни общества, т. е. о прекращении коммуникаций, в свою очередь, приходится судить только в рамках коммуникаций. Возникает парадоксальная ситуация. Обществу, как множеству всех возможных коммуникаций, приходится словно изнутри судить о своем собственном возникновении или смерти. О том, сохраняется ли и воспроизводится прежнее общество, или же коммуникации приобрели принципиально и качественно иной характер, а значит, одно общество сменилось на другое, – обо всем этом может судить лишь само общество. Используя несколько устаревшую организмическую метафору, можно сказать: общество само решает, живо оно или уже нет. Любое утверждение о характере (прекращении, смене, модернизации) коммуникаций – и само будет коммуникацией.

Это общее замечание о характере наблюдений социальных состояний следует конкретизировать.

Как же решить проблему связи ненаблюдаемого макроуровня и наглядного, эмпирически фиксируемого микроуровня – уровня конкретных действий и коммуникаций? На наш взгляд, было предпринято как минимум три систематических попытки установить связи теоретического знания и подтверждающих его наблюдений. Речь идет о неопутилитаристском (М. Вебер, Дж. Коулман), функционалистском (Т. Парсонс), коммуникативистском (Н. Луман) подходах к построению социальной теории.

Гипотеза Вебера состояла в том, что некое теоретическое понятие (в данном случае – протестантизм как системы религиозных действий, ожиданий, образцов поведения, религиозных предписаний и установок) описывало некоторый непосредственно не наблюдаемый феномен, особенную конфессию как социальную макросистему, которая причинным образом порождает другой ненаблюдаемый макрофеномен – капитализм (как систему идеальных действий, образцов поведения, направленного на – оптимальное по времени – накопление капиталов и монетизацию собственности с целью дальнейшего приобретения собственности)⁸⁰.

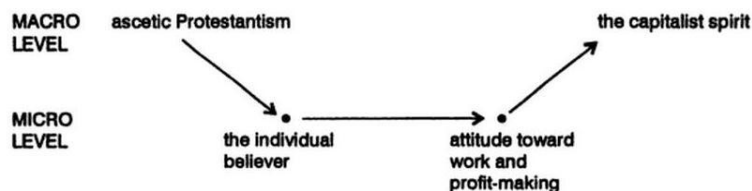
Оба эти каузально сопряженные феномена, очевидно, как таковые недоступны непосредственному наблюдению. Ведь наблюдать (т. е. фиксироваться в пространстве и времени посредством органов чувств) могут лишь конкретные действия людей, где у каждого действия, как у конкретного события, наличествует собственная причина – некоторое непосредственно предшествующее микрособытие (например, предыдущее действие или психическое желание совершить действие), но не какая-то глобальная и комплексная макросистема религиозных представлений и предписаний.

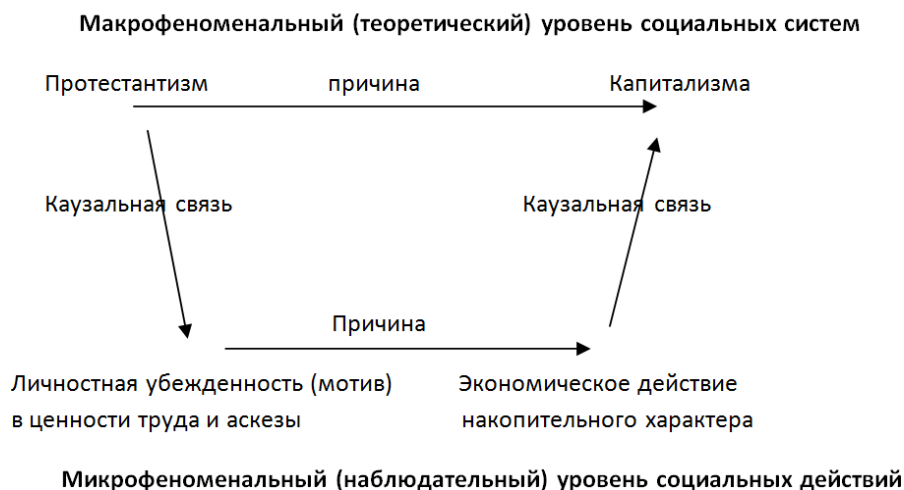
Как же в этом случае обосновать, что у некоторого конкретного действия (скажем, у конкретного акта накопления) есть и некоторая дополнительная, «высшая» причина? Например, протестантизм как социальная система религиозных установок и предписаний выступает причиной соответствующих аскетических и накопительных действий (помимо, вне и наряду с конкретными мотивациями, порождающими истекающие из них действия). Но постулирование такой избыточной причины, как и в случае вышеозначенного подхода Дюркгейма, нарушает принцип закрытости физической картины, предполагает сверхдетерминизм. Ведь всякий конкретный акт накопления объясняется соответствующим мотивом как смыслом и причиной данного действия.

Для решения этой проблемы Дж. Коулман предложил свою схематическую интерпретацию веберовской гипотезы⁸¹.

⁸⁰ Вебер, как известно, начинает определение капитализма «документально», цитируя соответствующий документ эпохи Б. Франклина: «Помни, что время – деньги; ... Помни, что кредит – деньги. ... Помни, что деньги по природе своей плодородны и способны порождать новые деньги. Деньги могут родить деньги, их отпрыски могут породить еще больше ... Тот, кто изводит одну монету в пять шиллингов, убивает (!) ... целые колонны фунтов». Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.

⁸¹ Представленная ниже схема несколько модернизирует оригинальную схему Дж. Коулмана. Coleman J. Social Theory, Social Research, a Theory of Action // American journal of Sociology. 1986. № 91. P. 1322.





Протестантизм как культурно-религиозный макрофеномен интернализуется (в свою очередь, каузально, т. е. посредством чтения религиозных трудов, школьного и семейного воспитания) в сознании или психике некоторого актора, превращаясь из абстрактной культурно-религиозной ценности в некоторую практическую интернализованную установку сознания (предрасположенность действовать определенным образом), психическую диспозицию, желание или потребность в аскетической жизнедеятельности, получившую название «внутримировой аскезы».

Эта психическая установка причинным образом вызывает к жизни экономическое действие: производство и продажу товара, с последующим накоплением денег, не растрачиваемых на внеэкономические нужды (поскольку это противоречило бы установке аскезы). Эти экономические действия ведут к аккумуляции некоторого массива аналогичных экономических действий, где одно экономическое действие (продажа), ориентированное на накопление капитала (и последующие покупки), предполагает другое экономическое действие покупки, сходным образом ориентированное на накопление капитала, т. е. денег, а не собственности.

В конечном счете причинно-следственные микросвязи мотиваций и действий (причинная связь аскетических психоустановок и накопительных действий) объясняют первоначально неявную (вспомним здесь макросвязь температуры и давления!) каузальную макросвязь: причинно-следственную связь протестантизма и новообразующихся рынков товаров, капитала и труда (т. е. капитализм).

В подходе Дж. Коулмана действительно снимается дилемма эмерджентизма/редукционизма. Ведь здесь эмпирически доступный наблюдению уровень действий и переживаний рождает макроэффекты. И напротив, недоступные непосредственному наблюдению макрофеномены (социальные макросистемы) причинным образом порождают микропроцессы. Причем эффекта порочного круга (как и двойной или сверхдетерминации) не возникает, поскольку имеет место цепь качественно различающихся разноуровневых, но каузально связанных феноменов и процессов. Эффект сверхдетерминации отсутствует, поскольку каждое конкретное следствие предполагает конкретную причину, а феномены макроуровня (протестантизм и капитализм) каузально связаны между собой тогда и только тогда, когда явления микромира (действия и переживания), в свою очередь, образуют каузальные связи.

(Не)наблюдаемое в структурном функционализме

Структурный функционализм, в свою очередь, был ориентирован на установление связей между теорией действия (микросоциологический уровень объяснения поведения) и теорией социального порядка (уровень макросистем). Теория действия как главной единицы анализа и одновременно элемента социальной жизни может некоторым образом схематизироваться (см. схему ниже). Чтобы действие – как микрофеномен – получило актуализацию, должны быть осуществлены предпосылки: запущены непосредственно – не наблюдаемые макропроцессы легитимации социальных ролей и институционализации норм и ценностей, реализовались скрытые в сознании мотивы и цели. Анализ системы действия для наблюдаемого феномена задает некие ненаблюдаемые измерения. Причем эти измерения, понимаемые как функции, будучи описаниями «причин» конкретных действий, одновременно описывают уже не само действие, а социальный порядок – т. е. макроструктуру общества.

У Т. Парсонса наблюдаемый микрофеномен (конкретное действие) получает определенность лишь благодаря непосредственно не наблюдаемым процессам – причинным условиям возможности действия, образующим своего рода систему отсчета (*frame of reference*) для действия и выступающим эквивалентами пространства и времени в физике⁸². Речь идет прежде всего о целях и средствах, нормах, ценностях, социальных ролях, в сумме образующих измерения или пространство действия.

Но нормы и ценности – как очень отвлеченные императивы, своего рода программы, – не существуют исключительно сами по себе. Для этого они слишком абстрактны. Они представлены в своих воплощениях – в социально-ролевых манифестациях (социальных ролях преподавателя, бизнесмена, ученого и т. д.). Но и социальные роли, в свою очередь, не даны как конкретные и наблюдаемые реалии, но проявляются лишь в своих каузальных эффектах – конкретных индивидах, мотивированных играть определенные роли. Но ведь и сами мотивы и цели индивидов не доступны «невооруженному наблюдению», но воплощены в поведении – физических движениях организма, телесных формах, движениях тела. Здесь, на уровне организмов человеческих индивидов, мы, наконец, хотя и «встречаемся» с наблюдаемой реальностью, но (только на этом уровне) уже покинули сферу социального. Итак, чтобы анализировать наблюдаемое действие на микроуровне, приходится гипостазировать макропроцессы (интернализацию норм, личностные идентификации, мотивации ролевого поведения, легитимации социальных ролей в культуре, институционализацию культурных норм и ценностей в социальных ролях, – в сумме составляющих систему отсчета или измерение, через которое определяются действия)⁸³. Но эта система отсчета действия, выступая условием наблюдения на микроуровне (конкретного действия), и сама может наблюдаться на макроуровне социальных систем.

⁸² «Эти внутренние черты схемы действия, называемые «системой отсчета» не конституируют «данные» какой-то эмпирической проблемы действия; они не являются «компонентами» конкретной системы действия. Они в этом аспекте аналогичны системе отсчета в физике. ... Невозможно говорить о физическом процессе в других терминах (помимо пространства и времени)... Аналогично невозможно говорить о действии в терминах цели и средства... Различие между системой отсчета действия и конкретными данными – жизненная необходимость». *Parsons T. Structure of social action: a study in social theory...* New York. 1937. P. 732.

⁸³ См. примерную схему «системы отсчета действия», как она представлена в «Структуре социального действия» (1937).

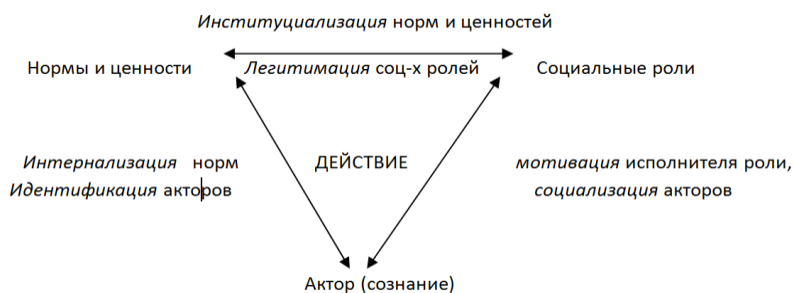
Макроуровень коммуникативного наблюдения

На уровне социальных макросистем или процессов описываются условия возможности (функции) социального действия, под которыми понимаются четыре фундаментальных процесса: адаптация к внешней природе, целедостижение, воспроизводство нерелексивных стандартов (например, грамматика, правила этикета и т. д.) ролевого поведения и само ролевое поведение, в котором все эти функции и интегрируются в единство. Эти процессы образуют четыре «точки референции» и четыре «структурных компонента социальной системы»⁸⁴.

Очевидно, что теория социальных макросистем имеет своим референтом не фактически наблюдаемое действие (микрообъект анализа), а коммуникации – т. е. некоторый обмен действиями или, скорее, правила такого обмена, которые как таковые никак не присутствуют в обозримой и доступной наблюдению форме, являются дефинитивно-латентными. Но именно благодаря этим ненаблюдаемым установкам со стороны макросистем действия получают конкретность – специализируются по функциям социальной системы: приспособление (экономические действия), целереализация (политика), интеграция (сообщества людей), воспроизводство стандартов (норм и ценностей в воспитании, образовании, праве).

Связь теории и наблюдения в концепции эталонных переменных

Принято считать, что Парсонс не мог связать анализ макросистем с микросоциологическим анализом конкретного действия, управляемого или каузально связанного с конкретной мотивацией. Четыре типа абстрактных символических медиа и, по совместительству, эффекты макропроцессов, а именно деньги, власть, влияние и приверженность ценностям, не охватывали все действия, все многообразие доступной наблюдению деятельностной реальности. В каком-то смысле это теоретическое описание действительно выглядело непротиворечивым, поскольку всякая системная коммуникация выводилась из некоторого единого условия – ориентации на соответствующие символи-



⁸⁴ См.: *Parsons T. The Social System.* Glencoe, 1951. P. 24–104. Позднее эти представления о макроусловиях действия конкретизированы в виде знаменитой AGIL-схемы. См.: *Parsons T., Smelser N.L. Economy and Society.* London, 1956.

Латентные ориентиры действий	Интеграция
Попечительство (коммуникация посредством апелляции к ценностям и нормам)	Общностные связи посредством <i>влияния</i>
Экономика (обмен действиями-транзакциями посредством <i>денег</i>)	Политика (обмен действиями-решениями посредством <i>власти</i>)
Адаптация	Целереализация

ческие медиа (деньги, власть, влияние, ценности), делающие возможным и вероятным общение. Но это описание, очевидно, являлось неполным, в частности, не описывало домодерные формы общения и поведения. Новые возможности связать наблюдаемую реальность и ее теоретическую модель были представлены в новом теоретическом подходе, который, исходя из ограниченного числа теоретических «эталонных» переменных, смог описать многообразные формы поведения, включая и переходные типы обществ.

Теория четырех функций социальных макросистем, как уже сказано, не описывала исторические различность и специфичность конкретных действий, как и их генезис. Теоретические переменные (функции AGIL) давали возможность выявить эмпирическое многообразие наблюдаемых и специализированных действий. Эта теория выдерживает тест на law-likeness. Парсонсу пришлось изобрести ad hoc теорию эталонных переменных действия, лишь слабо связанную с его четырьмя фундаментальными функциями, но в качестве компенсации допускающую представление самых разнообразных форм эмпирической реальности. Итак, все возможное поведение может ориентироваться на следующие альтернативы⁸⁵.

Аффективность (0) / аффективная нейтральность (1). Действие (бюрократа) может быть нейтральным в отношении к Другому, но в домодерном обществе действия предполагали чувства и аффекты.

Самоориентация (0) / коллективизм (1). Действия актора осуществляются в личных или коллективных интересах.

Универсализм (0) / партикуляризм (1). В отношении действий одних Актор относится равно, в отношении действий других (собственного клана, единомышленников) – выказывает пристрастность.

Родовые (приписываемые) свойства (0) / достижения (1). Оценивать действия других можно исходя из врожденных свойств (происхождение, красота), а можно – из личных достижений, личного успеха партнера.

Диффузность (0) / специфичность (1). Роли могут быть специфичными (действия продавца), а могут быть диффузными (действия отца).

Означенные эталонные теоретические ориентиры действия задают возможные рамки эмпирического наблюдения 32-х возможных обществ. Эти пять теоретических переменных определяют некоторый реестр конкретных теоретически возможных способов или ориентаций действий от (0,0,0,0,0) до (1,1,1,1,1) по каждому из эталонов. В каждой из пар альтернатив первая ориентирована на исключительно традиционные признаки (аффективное, коллективистское, партикуляристское, аскрипционное, диффузное), второе же характеризует общество модерное (нейтральное, самоориентированное, универсалистское, ориентированное на успех, специализированное). Все остальные действия и результирующие массивы действий (общества) являются переходными. Исследователю остается лишь «выйти в поле» и определить, с каким из конкретных реализаций или манифестаций теоретически возможных обществ он имеет дело, к примеру, с обществом 01010 или все-таки с обществом 01011? Очевидно и то, что некоторые логически возможные комбинации переменных могут не актуализироваться в эмпирической реальности.

⁸⁵Parsons T, Shils, E. A. Toward a General Theory of Action. Harvard University Press, 1951. P. 76–88.

Итак, достоинство функционалистской теории состояло в ее «экономичной» связи теоретического и эмпирического уровней. Незначительного числа теоретических переменных оказывалось достаточно для наблюдения и описания большого числа эмпирических следствий или фактических наблюдений. Недостаток этой ad hoc теории в том, что она оказалась концептуально не интегрирована с другими, прежде всего с теорией социальных систем, их функций и символических медиа.

Системно-коммуникативный подход в иерархизации уровней теоретического наблюдения

Своеобразный способ связать уровень теоретический – описания коммуникативных макросистем – и эмпирический – микросоциологии – предложил Никлас Луман⁸⁶. Базисное утверждение состояло в том, что на уровне наблюдения конкретного действия практически любая ситуация может описываться всего лишь двумя переменными-дистинкциями: дистинкцией действия/переживания и дистинкцией Эго/Другого. Очевидно, что социальное действие (как самостоятельный и абстрактный объект анализа, рассматриваемый как бы безотносительно к тому, кто его совершает) само по себе лишено способности воспринимать окружающий мир. Но для того, чтобы оно состоялось, должно как-то «учитываться» состояние внешнего по отношению к действию предметного мира. За эту функцию отвечает (дополнительная и внешняя по отношению к действию) способность сознания – воспринимать, переживать и желать. Поэтому переменная «переживание» должна быть отличена от переменной «действие». Переживание (= ментальный акт), безусловно, является следствием и причиной действий, но тем не менее (по крайней мере, в современных обществах) должно пониматься как элемент некой автономной (субъективной) реальности или автономной истории переживаний.

⁸⁶ Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Suhrkamp, 1996.

	Эго Переживает	Эго Действует
Другой переживает	<p>Истина и Ценности</p> <p>В науке переживания Эго (например, данные экспериментов, удостоверяющих истинность теоретических положений) должны подтверждаться переживаниями любого Другого.</p> <p>Ценности должны удостоверить общность чувств членов сообщества</p>	<p>Любовь</p> <p>Эго своими действиями пытается вызвать переживания Другого.</p>
	<p>Деньги-Собственность, Искусство</p> <p>Действия Другого (скажем, притязания на материальные блага) не вызывают ответных действий, а спокойно переживаются Эго, поскольку Другой имеет право собственности или платит.</p> <p>Художник действует, а зритель переживает.</p>	<p>Власть</p> <p>Действия Другого влекут действия Эго, если они регулируются властью. Личные переживания должны быть устранены из сферы политической и военной коммуникации.</p>
Другой действует		

С другой стороны, любое социальное действие не осуществляется вне наличия хотя бы двух коммуницирующих друг с другом людей, один из которых (Эго) своими действиями (и переживаниями сознания) специфическим образом реагирует на действия (и переживания сознания) некоторого Другого.

Две вышеуказанных теоретических переменных любого общения («Эго/Другой» и «действие/переживание»), описывающие возможности коммуникации, на микроуровне анализа задают номенклатуру ключевых типов коммуникации, средств-символов и мотиваций, и, как следствие, типов макросистем коммуникаций – на ненаблюдаемом теоретическом уровне описания макросистем коммуникаций. Если реконструировать эти представления методом перекрестного табулирования, то схема уровней наблюдения (взаимных перспектив Эго и Альтера в отношении возможных комбинаций действий и переживаний друг друга) выглядит так⁸⁷.

Эта схема позволяет вернуться к классическому пониманию организации научного знания, свойственному развитым (физическим) теориям. На микроуровне (уровне переживания Другого) постулируется не наблюдаемая, но лишь теоретически полагаемая реальность – скрытое от наблюдателей человеческое сознание, которому вменяются набор гипотетических установок и мотиваций. Комбинации переменной «переживание/действие» с другой теоретической переменной, Эго/Другого, позволяет сконструировать все возможные (и фактически наблюдаемые) коммуникации современного общества. Связь теории и подтверждающих теорию наблюдений является наиболее экономичной (малое число переменных делает возможным широкий наблюдательный обзор). Ниже мы, опираясь именно на эту схему наблюдения соци-

⁸⁷ В оригинале схема выглядит несколько иначе и проще. См.: Луман Н. Общество общества. М.: Логос, 2011. С. 358.

альной реальности, предложим эпистемологические выводы, которые вытекают из такого рода схематизации.

Наблюдение в историко-эпистемологическом подходе. Ответ на тезис Столяровой О.Е.

«Историческая онтология, как и историческая эпистемология, состоит из двух компонентов – истории как построения последовательности определенного рода событий (фактов) и философии как поиска скрытых оснований этой последовательности с целью ее объяснения посредством этих оснований, или принципов. Пусть историческая эпистемология может включить себя в тот событийный ряд, который она же и исследует, и, одновременно, извлечь себя из этого событийного ряда как взгляд со стороны (историческая эпистемология – это одно из событий истории эпистемологии). Но историческая онтология не может одновременно включить себя в тот же событийный ряд, который она исследует, и рефлексивно исключить себя из него, потому что она исследует не стандарты построения событийного ряда, а сами события, не как, а что», – пишет известный историк и философ науки Столярова О.Е.

Можем ли мы предложить доводы, способные разорвать круг самообоснования, в который попадает эпистемология: всякая философская онтология обосновывается эпистемологически, а языку эпистемологических понятий уже предпослана некоторая онтология (а иначе понятия вводились бы как бессодержательные)? Очевидно, что Столярова спорит с конструктивистским подходом, согласно которому все, что постулируется как существующее, является следствием наблюдения (= применения аппарата различений).

Так, и утверждение о том, что нечто существует, есть следствие различения бытия и небытия, а значит, это онтологическое высказывание вторично относительно эпистемологического высказывания о том, как и с помощью каких наблюдательных дистинкций осуществляется наблюдение.

Должен ли философствующий историк науки заявить об ограничении своего научного интереса областью эпистемологии, а всякое притязание на онтологическое утверждение рассматривать как неправомерное? Вовсе нет. Напротив, такой историк науки теперь видит целую сеть реализмов, создающихся учеными.

Ниже мы попытаемся обосновать, что онтологические суждения – это удел наблюдателей-ученых, которые (каждый из своей наблюдательной перспективы) формулируют свою региональную онтологию.

Онтологический взгляд на мир, с точки зрения Столяровой, должен быть сохранен, хотя его притязания и существенно ограничены его, мягко выражаясь, неблагородным происхождением. Пусть он и порожден эпистемологией, но эпистемология отказывается от родительских прав, дистанцируясь от него и этим объективируя⁸⁸. Правда, автор рассматривает означенную проблему не в общем, а в более конкретном виде – применительно к соотношению исторической эпистемологии и исторической онтологии⁸⁹.

⁸⁸ Столярова О.Е. Стоит ли мыслить науку вне истории? // Эпистемология и Философия науки. 2017. Том 51, №1. С. 47–51.

⁸⁹ Вообще, изначально во всей аргументации мы усматриваем некоторую недостаточную радикальность. Действительно, историческую эпистемологию Столярова считает возможным включать в историю эпистемологии как ее этап. Но ведь и историю эпистемологии можно было бы включить в историческую эпистемологию как ее этап. В этом смысле всю историю эпистемологии можно понимать как постепенное развитие эпистемологии к ее са-

Для лучшего понимания проблемы рассмотрим некоторый базовый инвариант парадокса самообоснования. Все-таки и оба подхода (и ИЭ, и ИО), очевидно, являются некоторыми модусами общеисторического взгляда на мир и его познание. Для этого нам придется осуществить некоторую редукцию и рассмотреть более фундаментальное соотношение истории как познания и истории как процесса.

Базовый парадокс: история в эпистемном и онтическом модусе

Собственно, в размышлениях Столяровой речь идет о типичном случае парадокса самореференции или самонаблюдения, когда наблюдатель⁹⁰ обнаруживает себя включенным в наблюдаемое и словно раздваивается на того, кто наблюдает, и того, кто наблюдается.

В качестве такого наблюдателя может выступить кто угодно. Сознание наблюдает действительность как внешний мир сознания, а потом обнаруживает в нем и себя как его конституирующую часть. Познание рассматривает себя как часть и свойство мира, который в форме познания познает сам себя и обнаруживает познание как свою часть, в котором он в каком-то смысле присутствует целиком. Наука рассматривает общество, а потом обнаруживает себя как часть общества, как его отдельную подсистему в этом обществе, и затем в форме социальной эпистемологии рассматривает себя в общественном контексте. Понятие определяет себя с помощью понятий и затем (например, в виде известной книги Войшвилло) фиксирует само себя как одно из таких понятий.

В этом общем смысле и история как процесс должна включать себя историю как учение, которое затем обнаруживает (наблюдает) себя (обычно в форме историографии) как некую подсоединяющуюся часть самого исторического процесса. В этом смысле история как учение не только наблюдает, но генерирует историю как этот процесс. Правда, история-учение в процессе такого порождения истории-процесса не может одновременно наблюдать само это порождение-подсоединение к истории-процессу. Это ее слепое пятно⁹¹.

История как учение (т. е. как активность или коммуникация историков) предстает в эпистемологическом модусе: историки анализируют историю и в том числе задаются методологическими вопросами, пытаясь определить границы событий и процессов, а также их причинно-следственные связи.

И в этом смысле они рассматривают историю онтологически, как бы исходя из самой истории как процесса, и, опираясь на источники, определяют ее пространственно-временную размерность и структурность. Они полагают, что эта структурность (формации, страны, эпохи, цивилизации и т. д.) не является следствиями наложения на них каких-то исторически априорных наблюдательных дистинкций (причин/следствий, дискретности/континуальности и т. д.).

мой адекватной, последней или наиболее зрелой, историко-эпистемологической форме, или стадии. Она, как гегелевская идея, приходит, наконец, к самой себе. Правда, тогда историческая эпистемология не сможет вычлени себя в историю эпистемологии. Ведь все будет исторической эпистемологией.

⁹⁰ Под наблюдателем в данном случае мы понимаем в том числе и научную дисциплину, т. е. некоторый корпус текстов.

⁹¹ Лишь потом появляются «специальные» историки, которые специализируются на механизмах влияния второй на первую: например, на том, как истории войн, прочитанных Наполеоном, меняли (или не меняли) историю и характер самих войн.

История как дисциплина пытается в этом смысле решить онтологическую проблему: определить, что является «элементом», неким базовым и неразложимым проявлением истории как процесса. А это, конечно, зависит от наблюдательного стандарта и исторического интереса. Это может быть человеческое действие, это может быть историческая эпоха, война, история государства, история их отношений, история мирового общества и т. д.

Но в любом случае перед историком встают как минимум две проблемы: требуется задать критерии континуальности исторического периода и критерии ее прерываний.

Очевидно, что в таком общем случае онтологического интереса историка произвольность в фиксации онтологической размерности – пространственно-временных границ исторического события или процесса – определяется только его интересом, эрудицией и наличием и характером источников и ресурсов, доступных из других дисциплин (экономики, социологии, культурологии), особым аппаратом распределения причин и следствий, так называемых факторов истории.

Но ведь и история эпистемологии есть часть истории науки и, как следствие, часть истории общества, и в этом смысле ее онтологическое притязание не может существенно отличаться от базового инварианта истории, который мы рассмотрели выше.

Конкретизация базового парадокса. Случай исторической эпистемологии

Итак, в общем случае речь идет о связи двух историй – историй самих событий и истории наблюдения событий (эпистемология). Мне представляется, что только историческая эпистемология (под которой Столярова понимает особую историческую реконструкцию научных идей в смысле Дюгема, Койре, Башляра, Фуко и др.) подпадает под общий случай, описанный выше. А историческая онтология должна описываться более сложно.

Мы исходим из того, что историческая эпистемология, как и любая научная дисциплина, является коммуникацией ученых и предметом ее рефлексии является коммуникация ученых⁹². Поэтому, имея такой общий субстрат – коммуникацию, первая действительно может служить продолжением второй, и значит, позднее, обнаруживать себя внутри второй (рождая все парадоксы самореференции), а может быть, и совпадать с ней.

Этот парадокс самореференции принадлежит к ряду тех, которые мы обозначали в первом пункте. В этом историческая эпистемология не отличается и от обычной эпистемологии, которая, и сама являясь научной коммуникацией, подсоединяется к научной коммуникации, а потом – обнаруживает себя или «извлекает» себя как часть науки.

А как обстоит дело с исторической онтологией? Она, в свою очередь, является коммуникацией ученых, но предметом своим она имеет вовсе не коммуникации, и потому, как совершенно справедливо замечает автор, не может обнаруживать себя среди физических, с ее точки зрения, объектов или каких-то иных форм бытия, которые наблюдатель наделяет свойствами первоэлементов.

⁹² Касавин И.Т. К эпистемологии коммуникации: сила и слабость аналитического оптимизма // Вопросы Философии. 2014. №7. С. 39–49.

Не может или все-таки может?

Онтология как форма коммуникации ученых исследует первоэлементы и не может здесь обойтись без эпистемологии. В том же смысле, в каком история не обходится без экономики, социологии и т. д. Ведь только с точки зрения эпистемологии можно вскрыть и обосновать принципы фиксации, классификации или анализа первоэлементов. И на первый взгляд, действительно, кажется, что история онтологических учений не может добавить себя и примкнуть к тем онтологическим элементам, которые она рефлексивирует. Коммуникация об атомах не является атомом.

Ведь исторические события таксономически принадлежат другому ряду элементов или событий. История познания Вселенной в ее физико-онтологическом наблюдении⁹³, т. е. история преобразований и взаимодействий вещества и энергии, не может «подсоединиться» к истории знаний об этих взаимодействиях. А если и может (ведь знания – это тоже в том числе и физическая система, требуют для своего процессирования энергии и вещества), то такая механистическая интерпретация знания была бы неоправданным редукционизмом.

И все-таки, существуют ли какие-то механизмы связи или сцепления таких параллельных рядов или историй⁹⁴, например, истории элементарных частиц⁹⁵ и истории их познания? Кажется, что оба процесса или последовательности радикально гетерогенны по своему субстрату и, значит, не могут следовать и примыкать друг к другу. Этот вывод делает Столярова, тем самым обосновывая независимый от исторической эпистемологии статус исторической онтологии.

Однако не все так просто. Очевидно, что «поведение» тех или иных частиц каузирует их познание, а познание (например, эксперименты в Коллайдере) каузируют их «поведение». Но если они являются взаимными причинами и следствиями, то, значит, как-то должны и следовать друг за другом и в каком-то смысле друг к другу примыкать. Тогда и историческая онтология (история онтологии как учение) каузирована физическим процессом, является его следствием и в этом смысле должна к нему примыкать, ведь отношение причин и следствий всегда указывает на такое подсоединение. В этом смысле и история физики является частью физической реальности, хотя бы в том смысле, что физики в своих размышлениях и коммуникациях о физике, конечно, определены еще и физически. Кроме того, и весь механизм трансляции информации от мира к мозгу и моторно-речевым функциям полностью физиологичен⁹⁶.

⁹³ Для простоты будем в некоторых случаях отождествлять физику и онтологию, хотя последняя шире, поскольку в нее принято включать некие фундаментальные понятия, которые физика, как правило, специально не рассматривает – пространство, время, причинность. Впрочем, статус этих понятий не очень ясен, и их всегда можно отнести и к эпистемологии.

⁹⁴ Так, Б. Латур полагает возможным в некоторых точках или «узлах сетей» такое структурное сцепление этих рядов или историй. Скажем, у древних лошадей в каждый данный момент были свои собственные векторы эволюции. Между тем, эволюция иппологии ориентируется на собственные векторы, зависящие от случайной встречи «архаической лошади» и откопавшего ее ипполога. В том же самом смысле «Ньютон случился к гравитации, а Пастер – к микробам».

⁹⁵ *Момджян К.Х. и др.* Системно-теоретический подход к объяснению социальной реальности // Вопросы философии. 2016. №1. С. 52–57.

⁹⁶ Другой вопрос, что эта энергетическая связь является условием, но не определяет сами контуры физической теории. Собственно, и само разделение на причины и следствия есть всего лишь наблюдательный инструмент, некая оптика, с помощью которой схватывается мир. И поскольку у любого события имеется бесконечное количество причин, то у наблюдателя (всегда ограниченного в своем познании) появляется возможность и необходимость их редуцировать к наиболее – правда, опять же, с точки зрения наблюдателя, – важным и существенным.

Историческая эпистемология, безусловно, входит как часть в историю эпистемологии, уже хотя бы потому, что является эпистемологией. Впрочем, это имеет и институциональную обусловленность. Если бы в Институте философии РАН образовали сектор исторической эпистемологии, то он вошел бы в отдел эпистемологии без каких-то содержательных возражений.

Историческая эпистемология действительно может вычленив себя в истории этой дисциплины – например, как ее самую лучшую и прекрасную версию. Но что она генерирует, т. е. к какому классу событий подсоединяется и продолжением чего служит?

Она, безусловно, является продолжением некой активности ученых, которые самоопределяются как размышляющие над эпистемологическими проблемами и понятиями. Но, являясь такой активностью ученых, она же еще и реализуется в виде событий в пространстве-времени – и в этом смысле, как фактический процесс, онтологична: во-первых, как имеющая дело с предсуществующими реалиями, во-вторых, имеющая дело с самой онтологичностью познания – его трансформациями и разрывами, которые уже нельзя истолковывать конструктивистски. Они не изобретаются, а существуют реально. В этом, если мы только правильно понимаем Столярову, и состоит онтологический статус бастарда.

Онтология рождена эпистемологией, но статус приобретает онтологический и вынужденно получает какие-то иные метрики, определяющие ее происхождение, а в противном случае окажется в зависимости от своего биологического родителя.

Такая метафорика, конечно, сбивает с толку. Скажем, история физики не является частью физики, хотя и в каком-то смысле «паразитирует» на физике. Является ли история физики бастардом физики? То же, конечно, относится и к философии науки. Не является ли и она бастардом науки? Эти вопросы кажутся крайне запутанными, пока мы не проясним то, что принципиально прояснить не можем, хотя и выше уже это сделали: мы вывели общее онтологическое свойство научных наблюдений (физических, эпистемологических, философско-научных и т. д.), а именно – их элементарный коммуникативный характер.

Другими словами, онтологическое системное свойство любой дисциплины и познания в целом мы усматриваем в их коммуникативности. В том числе в том простом обстоятельстве, что они существуют лишь в форме научных статей, монографий, панельных выступлений. Почему же мы утверждаем, что не можем указать на то, что такое онтологическое притязание и фундировано онтологически, т. е. вытекает из самой природы вещей, а не является следствием эпистемологических спекуляций?

Ответ в том, что такое утверждение само может существовать лишь в форме научной статьи, монографии и панельного тезиса, а чем оно лучше других панельных тезисов?

Онтологическое обоснование эпистемологии или эпистемологическое обоснование онтологии: симметричность или асимметрия?

Мы в целом склонны согласиться с той частью размышлений Столяровой, которая разводит историческую онтологию и историческую эпистемологию. Действительно, наблюдения реальности образуют свою систему или последовательность элементов – и составляют некую (коммуникативно) независимую эпистемологическую перспективу.

И эта система высказываний образуется лишь на том основании, что она отграничивает себя от своих референтов. Ведь эпистемология лишь в том случае может отграничить свои высказывания о мире от самого этого мира, если понимает его как автономную последовательность наблюдаемых событий, процессов, первоэлементов и т. д.

И именно этот (коммуникативный) императив независимости наблюдаемого от наблюдателя требует вводить дополнительную, онтологическую, перспективу. Это то, чем пользуется эпистемология для того, чтобы скрыть известную произвольность своей наблюдательной перспективы.

Она как бы заявляет: «Нет, этот ребенок не мой, он родился сам по себе, и к его метрикам я не имею отношения».

И в этом смысле автор и эпистемология защищают тезис о симметрии в эпистемологическом обосновании онтологии и онтологическом обосновании эпистемологии, или, что то же самое, взаимообоснование реализма и конструктивизма.

Я понимаю это следующим образом. Во-первых, зафиксировать некий референт (например, астрономический год или орбиту планеты) можно лишь с помощью «эпистемологического» аппарата, например, с помощью концептов пространства и времени (в кантовском смысле), цикличности, числа, достоверности, и объективности, и т. д., т. е. концептов, проясняющихся лишь из эпистемологической перспективы. Но, во-вторых, прояснить эти концепты можно лишь тогда, когда в распоряжении эпистемологии уже наличествуют некие референты ее понятий – реальные единицы и множества: события или процессы, частицы или поля, вещество или энергия, предметы или их комплексы и т. д.

С тем, что онтологическое высказывание предполагает ту или иную перспективу наблюдения, приходится соглашаться. Но мы бы не согласились с симметричным тезисом о том, что наблюдательная перспектива и сама определяется реальностью.

Граница между наблюдаемым и ненаблюдаемым, реальным и конструируемым подвижна и, с нашей точки зрения, зависит не от предмета наблюдения, но от интереса наблюдателя и контекста сравнения. Например, решение о том, наблюдаем ли мы в электронный микроскоп реальный вирус, или мы видим лишь его форму, зависит от такой сравнительной перспективы. В сравнении с алмазом под электронным микроскопом сам вирус будет фактически ненаблюдаемым, ведь мы видим лишь структуру прикрепившихся к нему больших молекул, но не его самого. Его образ в этом смысле сконструирован искусственно, в отличие от, например, фактически наблюдаемой микроструктуры алмаза.

Но в сравнении с далекими небесными объектами этот вирус гораздо более реален и доступен наблюдению, ведь мы наблюдаем некоторую изоморфную вирусу форму, а небесное тело совсем не похоже на цифровые данные радиотелескопа. В последнем случае лишь наблюдательная дистинкция «анало-

говое/дигитальное» определяет то, что можно считать реально наблюдаемым (аналоговым, изоморфным) и недоступным для наблюдения (цифровым).

Утверждение, что оба тезиса (что онтологическое высказывание предполагает ту или иную перспективу наблюдения и что наблюдательная перспектива и сама определяется реальностью) взаимоутверждают друг друга, предполагает позицию реализма или репрезентативизма. Она исходит из возможности существования абсолютной наблюдательной позиции или возможности наблюдать со всех позиций одновременно (что невозможно с точки зрения СТО). Именно поэтому невозможно фиксировать какие-то последние основания бытия, которые нельзя было бы разлагать и рекомбинировать с помощью какой-то другой оптики (различений) или из перспективы других наблюдательных позиций.

Ведь с точки зрения реализма онтологическая перспектива предполагает, что этот процесс рекомбинации (а значит, весь потенциал разлагающей способности научного наблюдения) должен быть когда-то остановлен. В этом случае какая-то последняя «зернистая реальность» первоэлементов или фундаментальных взаимодействий будет объяснять все макро- и микрофеномены, а сама уже не будет требовать объясняющей редукции (= нового научного анализа) к каким-то иным комбинационным свойствам их более глубоких составляющих.

Сначала все-таки яйцо

Несколько упрощая, можно сказать, что мы ведем спор о том, существуют ли неразложимые единства сами по себе, или они являются результатами применения наблюдательных различений. Указывая на равную обоснованность этих утверждений и бессмысленность поиска приоритетов, Столярова приводит аналогию с курицей или яйцом. С точки зрения автора, утверждать о приоритете одного означает утверждать приоритет его противоположности.

Впрочем, как и любой парадокс, эта дилемма разрешается, как известно, обращением к механизмам наследственности (некой редукцией к более глубокому уровню). Вопрос о курице и яйце решается в этой перспективе предельно просто. Протокурица (и значит, еще не курица) однажды, в результате генетической мутации, вместо протояйца снесла обычное куриное яйцо, из которого и вылупилась обычная курица.

В этом смысле сначала все-таки было яйцо. Это поможет прояснить проблему приоритета эпистемологии или онтологии.

В этом генетическом смысле сначала все-таки возникают некие проторазличения, или слова, которые отличаются от своих референтов и образуют независимую знаковую систему, которая лишь весьма «произвольно» может быть связана с этими референтами. Но эти слова, однажды подвергнувшись некоему подобию «семантической мутации», – и превращаются в понятия⁹⁷ (т. е. строгие различения особого рода с фиксируемым смыслом и значениями), и фиксируют, наконец, и то, что становится подлинной – рефлексивной (т. е. эпистемологически фундированной) онтологией. По крайней мере, открытая

⁹⁷ Что произошло, конечно, с появлением особой коммуникативной системы – системы (научных) коммуникаций, претендующей на наблюдательный приоритет.

Ф. де Соссюром независимость языка от его референтов все-таки указывает, что идентичности суть следствия применения различений, а не наоборот.

И, кроме того, утверждать о такой симметричности или равнообоснованности эпистемологического и онтологического взгляда на мир ведь тоже является следствием особой наблюдательной (а не онтологической) перспективы. Да и сам автор исходит из дистинкции, а не из единства, в частности, из различения между онтологией и эпистемологией, реализма и конструктивизма, симметрии и асимметрии и т. д.

Аргумент от «человеческой природы». Реальность разрывов познания как спасение онтологического тезиса

Но можно ли спасти онтологический тезис, привлекая какие-то другие внешние – не эпистемические (например, антропологические или социальные) – аргументы?

Так, Столярова, следуя за Фуко, выдвигает тезис о некой неустранимости «критической онтологии» нас самих, а не реальности, об онтологии изменений или разрывов. Видимо, эта онтология не должна зависеть от наблюдения, в том смысле, что с наличием «разрывов и изменений вследствие критики» согласился бы любой наблюдатель.

Применительно к познанию это означало бы, что идея изменения принципов познания и есть та искомая онтологическая категория и одновременно онтологический референт, в том смысле, что сами изменения и разрыв от познания никак не зависят, но сами определяют его⁹⁸.

Согласимся, что «неустранимость» разрывов и изменений «всплывает вновь и вновь», но они не могут получить некое внешнее определение онтологичности как некой идентичности самой по себе в силу каких-то внутренних источников их определенности, которая была бы независимой от их наблюдений путем различений. Ведь эта неустранимость как раз прежде всего характеризует самого наблюдателя (и его дистинкции), склонного в определенных обстоятельствах актуализировать разрывы и прерывания, все новое, непривычное, удивительное и опасное, и прежде всего свою конечность, и не замечать континуальный фон любого изменения (а заодно и само различение континуума/дискретности как слепого пятна всякого наблюдения).

То, что в наблюдательной (а значит, эпистемологической!) дистинкции дискретного/континуального полюс дискретного «ценится» выше, чем трудно фиксируемый противоположный полюс, еще не делает «разрывы» и «изменения» самостоятельными, т. е. онтологически достоверными идентичностями.

По существу в своем аргументе разрыва как онтологического свойства человеческой природы Столярова исходит из некоего аналога декартова сомнения. Мы не можем сомневаться в онтологической реальности трансформации познания. Ведь всякое сомнение в изменении знания и есть это изменение знания и лишь подтверждает наличие разрывов и переходов от концепции к концепции.

⁹⁸ Правда, ничего не поделаешь с тем базовым фактом, что назвать нечто онтологическим референтом – значит уже применить как минимум два эпистемологически значимых различения: *референта/концепта* и *эпистемологии/онтологии*, в перспективе которых и как один из полюсов которых онтологический референт только и может получить свой смысл, имя и онтологическую идентичность.

Это верно. Но это доказывает лишь некую регионально значимую онтологию, которая свою идентичность получает в контексте генерирующих эту идентичность дистинкций: «сомнение/несомненное», «концептуальное/неконцептуальное» и т.д.

Аргумент от социальной необходимости как спасение онтологии

Но у онтологии, по мнению автора, обнаруживается еще один спасительный мостик – делающий ее абсолютно реальной, т. е. независимой от своей другой конституирующей стороны – эпистемологии. Речь о ее внешней детерминированности, и прежде всего о ее социальности.

Здесь поможет аналогия с тем, как кантовский реализм и в рамках трансцендентализма можно было спасти, указав на то, что «вещь в себе» как-то «аффицировала» «вещи для нас». В этом смысле и культуру, и социум можно было бы, по мнению Столяровой, понимать как своего рода онтологический фундамент эпистемологических понятий.

И все-таки, с нашей точки зрения, такую детерминацию познания культурой, социальностью, коммуникацией следует признавать не как внешнюю, но как внутреннюю. А если и считать ее внешней, то и в этом случае нам все равно не избежать применения наблюдателем дистинкции внешнего/внутреннего.

И если, вслед за автором, онтологизировать семантику (т. е. смыслы и изменения смыслов) ключевых теоретико-познавательных понятий через необходимость ее рассмотрения в контексте социальной структуры, то и этот императив оказывается следствием применения особых наблюдательных (= эпистемологических) различений, например, между семантикой и социальной структурой⁹⁹. Ведь наука и есть коммуникация, и ее социальная обусловленность не придает актам познания внешнюю, онтологическую необходимость¹⁰⁰.

Такие исследования корреляции между семантикой эпистемологических понятий и социальной структурой доказывают как необходимость на определенном этапе именно этих понятий, так их контингентность, ведь в рамках другой социальной структуры они могли бы иметь и другой смысл.

Скажем, можно сравнить функцию среднего термина в аристотелевском силлогизме как транслятора истинности и роль среднего класса в обществе как транслятора интересов. Но это доказывает лишь то, что и классификации людей, и классификации вещей базируются на сходной математике различений. Поэтому и возникают такие загадочные корреляции в познании и социальной практике.

Каков же выход? Должен ли наблюдатель (в данном случае философствующий историк науки) заявить, что теперь он только эпистемолог, и всякое притязание на онтологическое утверждение теперь должно рассматриваться как неправомерное? Вовсе нет. Напротив, такой историк науки теперь видит целую

⁹⁹ Касавин И.Т. Нормы познания и познание норм // Эпистемология и Философия науки. 2017. Том 54, №4. С. 8–19.

¹⁰⁰ Этот ход – связать эпистемологию с физической онтологией – осуществил Голдман. Он полагал возможным признавать некоторое истинное знание знанием лишь в том случае, если можно было бы зафиксировать какую-то физическую причинно-следственную связь между воспринимаемым, восприятием и образом. И это позволяло решать парадоксы Геттиера, ведь тогда истинные суждения без такой каузальности знанием бы не были и все «геттиеровидные» суждения (т. е. совпадения между истинным, но наугад сделанным суждением о реальности и самой реальностью) выводились бы за скобки знания.

сеть реализмов, создающихся учеными¹⁰¹. Просто онтологические суждения – это удел наблюдателей-ученых, которые, каждый из своей наблюдательной перспективы, формулируют свою региональную онтологию.

¹⁰¹ И, как известно, в этих реализмах нет недостатка: truth-realism, entity-realism, structural realism – только лишь некоторые из примеров.

РАЗДЕЛ II. КОММУНИКАЦИЯ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТЬ

Коммуникация и рациональность. Ответ на тезис В. Н. Поруса

Эпистемологической разработке отечественного варианта понятия «коммуникативной рациональности» мы обязаны В. Н. Порусу, И. Т. Касавину, Н. И. Смирновой и другим¹⁰²:

«Это понятие специфицирует тип рациональности, не предшествующей коммуникации, а возникающей в ней. Просто говоря, коммуникативная рациональность – то, что позволяет участникам поддерживать общение, имеющее определенную целевую направленность, даже в том случае, если по ходу дела обнаруживается, что их смысловые каркасы не общезначимы, что они вступили в коммуникацию, успех которой не гарантирован, но цели, к которым они стремятся, так важны, что ради них надлежит всеми силами стремиться к консенсусу, а для этого надо создавать новые смысловые каркасы (кстати, без уверенности в том, что они пригодятся в дальнейших коммуникациях, т. е. будут обладать каким-то «запасом» прочности и общезначимости). Это, так сказать, весьма «демократическое» понимание рациональности; последняя лишается своей потенциальной или актуальной «репрессивности», она не подчиняет себе коммуникантов, а подчиняется им. Тем самым вопрос о рациональности или нерациональности коммуникации окончательно переходит в плоскость анализа социальных отношений между коммуникантами»

И далее:

«Понятие «коммуникативной рациональности» как будто открывает более привлекательную перспективу: если рациональность – это то, что возникает в коммуникации, а не предшествует ей, т. е. является продуктом сознательного выбора коммуникантов, а сам этот выбор (по крайней мере, в таких коммуникациях, цель которых – знание и основанное на знании действие) не может быть произвольным (иначе, например, научные дискуссии нельзя было бы отличить от базарного трепана), то, во-первых, надо признать, что плюрализм рациональностей абсолютно неизбежен, а во-вторых, что именно это и является достоинством, а не недостатком; коммуникативное пространство и есть та среда, в которой осуществляется «сплав субъективности и объективности», т. е. непрерывная выработка тех смыслов, вокруг которых (хотя бы на время) объединяются до того разрозненные мнения отдельных участников этого захватывающего процесса».

В каком же смысле можно говорить о рациональных свойствах коммуникации? В. Н. Порус не уточнил понятие коммуникации, считая ее чем-то непроблематичным. Но, может быть, стоит попытаться разобраться с содержанием понятия коммуникации, уточнить ее внутреннюю структуру и встроенность во внешний контекст и уже на этой основе подойти к проблеме ее рациональности? Иначе как отличить рациональность специфически коммуникативную от рацио-

¹⁰² См. две фундаментальные монографии по данной теме: Порус В.Н., Касавин И.Т. и др. Коммуникативная рациональность. Эпистемологический подход. М.: ИФРАН, 2009. Касавин И.Т. Спор о понятиях или различия по существу? // Эпистемология и философия науки. 2008. № 3. С. 78–82.

нальности элементарного действия, рациональность познания, мышления и рассуждения от рациональности каких-то комплексных форм поведения?

Мы попытаемся «вывести» рациональность из внутренней структуры коммуникации как таковой, при этом не упуская связь проблемы рациональности со спецификой конкретных типов коммуникаций.

Но для начала все-таки попробуем порассуждать и на предложенном уровне глобальной или абстрактной рациональности. Существо проблемы видится В. Н. Порусу в противоборстве двух истолкований рациональности, одно из которых предполагает ее ориентацию на абсолютные или априорные критерии. Другое же признает ее критерии релятивными и апостериорными.

Можно усомниться в самой предпосылке рассуждений, определяющей весь драматизм раскола рациональности, а заодно – и пафос автора. Почему, собственно, ориентированность на цели, определяемые ценностями, должна служить критерием именно второго типа рациональности – рациональности релятивистской?

С нашей точки зрения, как раз наоборот, именно ценностная определенность цели, как признак убежденности в единственности, в абсолютности, в непреходящем характере того или иного типа поведения, и согласованное с этой убежденностью, т. е. «должное», поведение предполагает рациональность абсолютную. Как раз принятие ценностных систем, неважно, подразумевается ли под ними ценность денег, истины, закона, власти, интимных отношений, и вытекающая ценностная мотивация поведения делают поведение абсолютно заданным этими ценностями.

Так, предпринимательская деятельность будет рациональной лишь в том случае, если максимизируется прибыль и оптимизируются издержки производства, и такая шкала рациональности абсолютна в том смысле, что не учитывает прочие ценности, а если таковые и учитываются, то в этом случае мы просто-напросто сталкиваемся с другим типом деятельности, пусть даже ее агентом и остается тот же самый предприниматель. В этом смысле любая формальная рациональность, или целерациональность, всегда остается и ценностной рациональностью, ведь, по Веберу, чистые идеальные типы существуют лишь аналитически, будучи перемешанными в социальной реальности. При этом такая «экономическая рациональность» ничуть не релятивизируется и с точки зрения внешнего наблюдателя – скажем, ученого-социолога, рациональность которого, конечно, определена другими факторами, истинностью, непротиворечивостью и ценностью именно нового знания. Но было бы странным заявление, что предприниматель ведет себя нерационально или иррационально, если не учитывает ценности, разделяемые ученым сообществом. И ученый, и предприниматель способны зафиксировать чужие ценности и в этом смысле явно признать универсальность рациональности чужого поведения. В этом ценностно-целевое определение рациональности вовсе не свидетельствует о его релятивности, но, как раз наоборот, говорит об априорности и абсолютности рациональных критериев, освещенных ценностями.

Этот тезис можно и заострить. Релятивистской рациональности не может быть *ex definitione*. То, что перестало быть рациональным с точки зрения какого-то наблюдателя, скажем, физика, нашего современника, по отношению к системе взглядов прошлых, скажем, к системе Птолемея, не следует истолковывать как смену критериев рациональности, а скорее надлежало бы оценивать как переход

от нерациональных, ошибочных взглядов, с точки зрения современника и данной современности, к истинно рациональному знанию. Рациональность в этом смысле, хотим мы того или нет, привязана к точке зрения некоторого данного современника, ведь современность – это единственное, о существовании чего можно рассуждать с высокой степенью уверенности, и именно поэтому его и называют «настоящим», в отличие от как бы «ненастоящих» прошлого и будущего.

И точка зрения представителя той или иной современности всегда будет задавать абсолютный в данный момент критерий рациональности. В основании различения «рациональное/нерациональное» в этом смысле лежит временная дистинкция «современное/несовременное», составляя, таким образом, ее необходимое условие: все, что отвечает современному знанию, то и рационально.

Но есть и достаточное условие коммуникативной рациональности, коим и является уже указанная ориентированность на разделяемые тем или иным сообществом коммуникативные ценности, выражающие принадлежность дискурсу, т. е. разделяемым каким-то коллективом принципам интерпретации, какому-то обособившемуся типу коммуникативной практики или общения. Очевидно, что обособившихся типов общения, или коммуникаций, существует столько же, сколько имеет место типов рациональности. В контексте общения в рамках научного дискурса, ориентированного на ценность истинного, достоверного, непротиворечивого знания, рациональным является вклад участника коммуникации (например, научная статья, доклад, гипотеза, теория), также ориентированный на эту ценность, учитывающий критерии научности. Участники политического общения подчиняют свои коммуникативные вклады, т. е. политические решения, ценности власти. Каждое политическое решение должно учитывать возможности усиления своей и возможности чужой власти, что, в свою очередь, и является критерием рациональности. Но здесь мы говорим лишь о внешней, или системной рациональности. Ведь определяя рациональность через ее принадлежность к обособившемуся типу и задаваемые им правила коммуникации, мы не учитываем некую «рациональность вообще».

Мы не учитываем то, что может быть названо рациональным применительно к любому акту коммуникации, безотносительно к его принадлежности к большим обособившимся системам общения – науке, любви, религии, хозяйству, искусству и даже медицине и спорту.

Очевидно, чтобы дать характеристику рациональности вообще, надо как-то зафиксировать и коммуникацию вообще, общение вообще. В скобках уточним понятие рациональности, принятое в теории коммуникативных систем Н. Лумана. Под рациональностью подразумевается способность систем, обладающих рефлексией, к самонаблюдению, т. е. к восприятию себя самих не просто как сменяющихся коммуникативных одномоментных событий (решений, платежей, художественных актов и научных предложений и т. д.), а как некоторой целостности, отличной от внешнего мира, и фиксирующих не только себя и мир, но и само различие между ними. Рациональность с системно-коммуникативной точки зрения есть не способность просто воспроизводиться и продолжать аутопоэзис, а способность фиксировать свою отличность (например, распознавать сами коммуникативные средства – власть, любовь, истину, которые и делают возможным обособление некоторого специфического

типа коммуникации) и, главное, сопоставлять эти свои и чужие коммуникации, в итоге постигая, что системные средства наблюдения или коммуникации не являются чем-то необходимым и единственно возможным.

Рациональность системы означает способность дистанцироваться от своего собственного средства наблюдения и выдвигать предположения о будущем, т. е. о том, что бы случилось, если бы оно было иным. Скажем, политическая система коммуникаций способна подвергать рефлексии некую возможность, где политические решения регулировались бы не кодом власти, а, скажем, кодом денег (коррупция), или кодом личных предпочтений (непотизм).

Здесь коммуникативная система словно сталкивается с реальностью, ориентируясь на иные коммуникативные миры, и только поэтому может самокорректироваться и вытеснять из себя чужие средства коммуникации, но именно через их рефлексию. Это, безусловно, не отменяет факта чудовищного дефицита рациональности в современном обществе, связанного в первую очередь с закрытым характером сознания как внешнего мира социальных систем. Производимые социальной системой воспитания воздействия на миллиарды сознаний (насаждаемые ею компетенции, мотивации и способы поведения систем личности) уже по определению не могут контролироваться коммуникативно, т. е. с помощью какого-то специфического медиума наблюдения или коммуникации.

Система образования и воспитания есть единственная система, которая имеет в качестве функциональной области трансформацию и воспроизводство не самого общества, а личности, сознания, т. е. сферы, куда коммуникации дорога закрыта дефинитивно. Собственной задачей образовательной коммуникации не является оптимизация и воспроизводство самой этой коммуникации, поиск коммуникативного консенсуса. Поиск мотиваторов, заставляющих учеников принимать коммуникацию, предлагаемую преподавателем, бессмыслен в этих условиях. У учителя нет генерализованных ожиданий, что коммуникация будет принята автоматически, он ищет формы дополнительного, внешнего для системы стимулирования.

Другими словами, основная причина дефицита рациональности в современном обществе вытекает из того, что в отношении важнейшей предпосылки специализированной коммуникации (образования) нет символических средств, мотивирующих и оптимизирующих образовательную коммуникацию, таких, как власть в политике, истина в науке, деньги в экономике. Эта система образования досталась нам в наследство от первичных форм социальной дифференциации – от интерактивного, т. е. неопосредованного, общения, от семейных и цеховых форм коммуникации, т. е. недалеко ушла от традиционных форм социализации, где еще отсутствовала системная рефлексия как базовое основание рациональности.

Вопрос коммуникативной рациональности требует в том числе структурного ответа, т. е. рассмотрения этого свойства в отношении структурных составляющих коммуникации. Феноменологически, или, так сказать, фенотипически, мы можем представлять коммуникацию всего лишь как письменный, устный и другие типы разговора или диалога. Проблема же в том, чтобы распознать внутреннюю структуру общения, элементы, из которых выстраивается акт общения. Если мы знаем внутреннюю структуру общения, то можем поставить вопрос и о

рациональности применительно к каждому элементу, входящему в любую коммуникацию.

Первой составляющей коммуникативной структуры является экспрессия, или знаковая манифестация коммуникации. Любая коммуникация состоит из экспрессивного, или выразительного, начала. Только это позволяет коммуникацию как-то воспринимать, и только в этом состоит ее эмпирически фиксируемая реальность. Сообщение можно прокричать, можно прошептать, можно использовать вербальные или невербальные формы. Речь на этом уровне идет о проблеме рациональности той или иной коммуникативной экспрессии.

Выбор типа экспрессии эволюционно шел в направлении отказа от жестового общения, т. е. от общения через восприятие чужого восприятия (так, животное встает в угрожающую позу и по чужой реакции на свою собственную позу усиливает или ослабляет свою собственную реакцию). Эти формы экспрессии хотя и сохранились, но оказались эволюционно менее успешными, нежели экспрессия вербальная. Только в этом смысле вербальная экспрессия более рациональна, чем невербальная.

Эволюционным преимуществом вербальной экспрессии, или языка, стало обогащение коммуникации новым элементом – интерпретацией, т. е. последующим и независимым от способа ее выражения преобразованием посланного манифеста. Все, что сказано, может быть проинтерпретировано, между тем как раньше угрожающая поза как знак угрозы и сама угроза как смысл угрожающей позы совпадали в пространстве и времени. Где была поза, там была и угроза. С появлением языковой экспрессии коммуникации последняя раздвоилась на непосредственное проявление, или знаковую манифестацию коммуникации, т. е. собственно речь, и интенции манифестирующего, которые образовали собственную закрытую, или субъективно-интерпретативную, реальность коммуникативного выражения.

Основным приобретением в степени рациональности явилась возможность и необходимость уточнений, т. е. возможность задать вопрос и уточнить интенцию, смысл сказанного. Ведь вне языка не было возможности как-то специфицировать или проблематизировать смысл телесной манифестации сообщения. Рациональность на этом уровне связана с непрерывным решением коммуникантами проблемы смысловой интерпретации. Любая коммуникация теперь сталкивается с проблемой того, насколько рациональна интерпретация произнесенного.

Именно на этом уровне возникает второй элемент коммуникативной структуры – информация, т. е. придание некоторой определенной формы некоторой телесной или знаковой экспрессии, или манифестации коммуникации.

Очевидно, однако, что интерпретация как выявление внутренней интенции, собственного смысла сказанного безотносительно к его экспрессивной форме крайне проблематична, причем именно в силу возникающей раздвоенности коммуникативной экспрессии (речи) и потока сопровождающих эту речь переживаний, замкнутых в сознании произносящего. Вследствие этого встает ключевая проблема рациональности коммуникации – проблема связи сознания и речи.

Иначе говоря, основной проблемой рациональности коммуникации является проблема сравнения гипотетических интенций участника коммуника-

ции и манифестируемых им знаковых форм. Речь здесь идет о проблеме понимания как третьего фундаментального элемента коммуникативной структуры. Каждая коммуникация должна решить ключевую для себя проблему – соответствует ли одно другому, решить, как связаны и коррелируют скрытые мотивы и знаковые формы, выражающие эти мотивы.

Если коммуникация решает эту проблему понимания, если участники понимают связь первых двух фундаментальных элементов (экспрессии и интерпретации), т. е. согласуют скрытые от них интенции и наличную речь, коммуникация и является рациональной.

Подведем итог. Внешняя рациональность коммуникации, как правило, зависит от ее принадлежности к тем или иным глобальным формам социальности – к политике, религии, науке и т. д. Данная рациональность универсальна для каждой формы, но и специфична, поскольку ограничена рамками этой формы. Внутренняя же рациональность общения не зависит от глобальных форм социальности. Каждая коммуникация по-своему решает проблему своей рациональности. Это рациональность, во-первых, выбора той или формы экспрессии, или проявления коммуникации. Во-вторых, это рациональность той или иной интерпретации этой знаковой манифестации на предмет выявления внутренних интенций или мотивов. И наконец, в-третьих, это рациональность понимания, т. е. сравнения и понимания различности того, что сказано, и того, для чего это сказано.

Если такая различность зафиксирована, коммуникация понята, и теперь на основе этого понимания может быть акцептирован (или, напротив, отклонен) предложенный запрос на контакт. Если участники общения все три выбора осуществили рационально, в соответствии с принятыми стандартами, говорили, когда надо говорить, и писали, когда надо писать, интерпретировали в согласии с принятыми правилами интерпретации и удачно выявили связь и различность сказанного и его скрытого смысла, т. е. еще и поняли, зачем это было сказано, причем именно в данной форме, а не по-другому, коммуникация является рациональной.

Коммуникация и intersубъективность. Ответ на тезис Н. М. Смирновой

Общим местом в понимании и определении рациональной коммуникации является попытка объяснить ее свойствами «intersубъективности», призванная одним махом объяснить и все иные проблемы – коммуникативного понимания, консенсуса, рациональности, воспроизводимости, системности, экспликации условия ее возможности и т. д. Одним из примеров служит нижеследующая цитата:

«Наличная тенденция деградации социальных коммуникаций, представленная в метафорике «смерть социального», «закат социальности», «индивидуализированное общество» и т. п., актуализирует проблему поиска новых «цивилизационных скреп» и адекватных им концептуальных средств теоретической репрезентации социального. В подобной ситуации анализ предельных («трансцендентально чистых») оснований социальности, поиск ее жизнемировых констант становится важнейшей философской предпосылкой решения жизнепрактической задачи – социальной пропедевтики «новой атомизации» (З. Бауман) и деструктивной индивидуализации (Н. Элиас) социальных коммуникаций. По-

этому важнейшей социально-философской составляющей проблемы является экспликация теоретических оснований intersубъективности высшего порядка – «логоса социальности» (Э. Гуссерль) как условия возможности коммуникативного консенсуса» (Ю. Хабермас)» – пишет Н.М. Смирнова¹⁰³.

В целом трудно спорить с общим утверждением Н. М. Смирновой, что у коммуникативной программы обоснования знания есть серьезный эвристический потенциал в области эпистемологии. Для большей понятности мы даже хотели бы кратко развить и радикализовать этот тезис, а потом высказаться по существу развиваемого Смирновой социально-феноменологического подхода.

С нашей точки зрения, коммуникативная теория и эпистемология в некотором смысле характеризуются структурным изоморфизмом в отношении их предметов – структуры знания и структуры коммуникации. Знание – в его пропозициональной форме и согласно его «стандартному определению» – манифестировано в виде истинных, обоснованных убеждений, включенных в особую пропозициональную установку. Скажем, предложение «Я знаю, что идет дождь», очевидно, состоит из пропозиции «идет дождь» и обрамляющей установки «я знаю (убежден), что...».

И то, и другое (полюс пропозиции, имеющей истинностное значение, либо полюс факта убежденности в этом) может извлекаться в ходе коммуникации в качестве информации и далее проблематизироваться.

Но ведь и коммуникация состоит из сообщения, т. е. некоторого целостного предложения «Я убежден, я надеюсь, я желаю, чтобы шел дождь» и извлекаемой из него информации. И исключительно делом вкуса или конкретного исследовательского интереса является то, следует ли включать в эпистемологические исследования более широкие – значимые для коммуникативной теории – пропозициональные установки, такие модусы презентации знания, как надежда, страх, желание («я надеюсь, что...», «я желаю, что...», «я опасюсь, что...»), или ограничиться объективистскими модусами презентации знания («я знаю...», «я убежден, что...»).

Собственно, эти многочисленные коммуникативные формы презентации знания, которые можно назвать сообщениями знания, и есть те культурные универсалии, составляющие комплекс, который Н. М. Смирнова и называет intersубъективностью. Понять своего собеседника по коммуникации и означает реконструировать такую установку применительно к его сообщению.

Однако, в отличие Смирновой, мы не считаем, что «реконструкция Другого» есть результат «вчувствования» в чужое сознание, чего зачастую требуют феноменологи. Реконструкция «intersубъективного» понимания обеспечивается через обращение к культурным, зачастую латентным паттернам, жестко фиксированным в языке. И именно поэтому коммуникация (и значит, социальные связи) все-таки как-то явлена в эмпирической, чувственной форме: я слышу или читаю коммуникативное сообщение, хотя подлинный смысл, т. е. информация, извлекаемая сознанием второго коммуниканта, остается непрозрачной, поскольку таковым остается для меня само его сознание.

¹⁰³ Смирнова Н.М. Возможна ли междисциплинарная модель intersубъективности? // Эпистемология и философия науки. 2011. № 1. С. 55–63.

У этой дуальности эмпирически доступного сообщения (установки) и привлекаемой из него и всегда неустойчивой информации есть своя особая функция. Ведь в противоположном случае «доступности чужого сознания» каждое сознание имело бы возможность «продолжаться» в другом сознании. Что исключало бы контингентность коммуникации – свободное, но понятное (т. е. согласованное с ожиданиями) извлечение информации из сообщения (= приписывание смысла, мотива, установки тому или иному прозвучавшему предложению). Если бы у одного сознания наличествовал доступ к другому сознанию, понимание как различение возможностей было бы невозможно: означающее и означаемое совпадали бы, смысл знака (как единственно реализующаяся из огромного массива его избыточных интерпретаций) не отличался бы от самого знака. Все сказанное, подуманное и воспринятое составляло бы неразрывное единство, не допускало бы отклонения и не требовало бы понимания (= различения и связи сообщения и информации).

Именно непрозрачность сознания оказывается фундаментальным условием понимания и общей флексибельности общения, а вовсе не его прозрачность и доступность для интерпретаций, как это кажется на первый взгляд.

На наш взгляд, требует обсуждения второй тезис Н. М. Смирновой: о том, что общество, социальные связи (степени солидарности) не доступны наблюдению, и в этом действительно кроется ключевая трудность коммуникативной программы обоснования знания. В этом смысле Н. М. Смирнова, следуя за Ч. Х. Кули, полагает, что социальные связи не даны в чувственном опыте, но «живут в социальном воображении людей», занимающих различные позиции в социальном пространстве.

И среди этих позиций, как полагает Н. М. Смирнова, нет «привилегированной позиции абсолютного наблюдателя – социального теоретика. И чем глубже его укорененность в массиве определенных социальных практик, тем выше зависимость теоретического описания от социально детерминированного ракурса интерпретации». Соглашаясь с фактом наличия равноправных позиций наблюдения, мы сделаем лишь одно уточнение. Наблюдателем должен выступать не (только) человек или его сознание, а скорее специфический тип коммуникаций. Таким наблюдателем выступают, например, в том числе и научно-социологические коммуникации, в ходе которых описывается общество, или религиозные коммуникации, которые под иным углом зрения описывают то же самое общество.

Мы подошли к третьему тезису Натальи Михайловны, точнее – к выдвигаемому ею требованию «эксплицировать теоретические основания репрезентации социального как интерсубъективности высшего порядка». Как нам представляется, Н. М. Смирнова под теоретическими основаниями имеет в виду своего рода кантовские условия возможности рецепции объектов, в данном случае условия возможности наблюдать общество. Интерсубъективность и есть такое условие возможности наблюдения (репрезентации) общества. Оно-де должно заменить (опосредовать) противопоставление субъектного и объектного.

Если у Канта в качестве таковых выступали пространство и время, то у Н. М. Смирновой это гуссерлевские «трансцендентальные предпосылки понимания в социальном мире, когнитивные основания коммуникаций, система со-

вместно разделяемых социально-групповых значений». «Именно это “само собой разумеющееся”, неявное знание (tacit knowledge) составляет когнитивную основу взаимопонимания, как и интеграции локальных социокультурных сообществ», да и общества как такового, – добавим мы.

Здесь бы мы хотели занять особую позицию. Представляется, что пришло время отказаться от разделяемого Смирновой традиционного (гуссерлевско-шюцевского) понимания социальности (конституирования «Альтер Эго», «Ты-субъективности»), согласно которому человек в его восприятии вначале вступает в когнитивный контакт с внешним миром, в котором, помимо прочих вещей, обнаруживает «объекты» особого рода, отличные от вещей и похожие на Эго, и теперь каждый раз учитывает это различие. Ведь теперь его познание будто бы получает двойную гарантию и достоверность: как собственное и как повторяющееся из перспективы другого, Альтера, который тоже учитывает это различие, в свою очередь повторяющееся в перспективе Эго. Когнитивный контроль над внешним миром восприятия обеспечивается-де полнее через «удвоенное» восприятие. Пусть даже эту «вторую» перспективу Альтера конструирует для себя все-таки сам Эго.

Но вопрос в том, как же все-таки Эго может пережить то, что переживает Другой? Ведь он в лучшем случае может пережить лишь то, что Другой что-то переживает, но никак не то, что переживает Другой. В вопросе так называемой интерсубъективности традиционным исходным пунктом был факт сознания, вчувствования, переживания чужого переживания. Но если системно-коммуникативная теория берет за исходный пункт коммуникацию, то важнейшим различием является различие сообщения и информации сообщения.

Сознание Эго, его переживание реконструируется Другим через «гипостазирование» типовых сообщений – «пропозициональных установок» страха, желания, знания, веры, выкристаллизовавшихся и утвердившихся в процессе длительных коммуникаций. Мы различаем фактически прозвучавшее предложение (выборку слов, означающее, характер экспрессии) и его индивидуальный распознаваемый в сообщении смысл (информацию, мотив, интерпретацию, действительное положение дел, означаемое). Этот смысл мы – без каких бы то ни было гарантий – можем лишь приписать переживанию Альтера. Но в действительности это остается конструкцией Эго, а фактически – самой коммуникации, потому что уже миллионы раз до этого имели место коммуникации в виде предложений «я боюсь», «я хочу», «я знаю», которые «сконденсировались» в виде народной психологии и установок «страха», «желания», «полагания», «надежды».

Такая психология, как показал Д. Деннет, именно потому и является «народной», что оказывается стихийно возникшей «теорией» чужого поведения, приписывания ему устоявшихся коммуникативно-акцептируемых оценок. Несмотря на очевидность «народной психологии» в приписывании чужому сознанию знания и установок, именно здесь возникает «двойная контингенция» – ненужный характер в интерпретации переживаний чужого сознания при коммуникации Эго и Альтера.

Всегда имеет место фактическое сравнение предложения (сообщения) и ненужно извлекаемого из него смысла на предмет их согласованности и, как следствие, понятности, причем всегда в контексте той или иной актуальной

коммуникации. Лишь тот или иной характер коммуникации делает понятным сообщение «предложения» и его информативную интерпретацию. Страх приписывается сообщению на войне, а желание – в системе интимных коммуникаций. Понятность определяется не вчувствованием в сознание, а коммуникативным контекстом прозвучавшего предложения, т. е. тем, в какой системе коммуникаций осуществляется сообщение информации.

Поэтому появление Альтер Эго (то, что когда-то назвали интерсубъективностью) не является следствием эмфатических способностей «переживания чужого переживания». Оно вытекает из коммуникативного различения сообщения и информации. Сознание Другого реконструируется Эго в виде набора диспозиций, установок, понятных только через коммуникацию и возникших (сконденсировавшихся) только через коммуникацию. Понимание Другого Эго становится возможным через различение сообщения и информации. Эго понимает Другого, если сравнивает на предмет согласованности то, что является общим для Эго и Альтера (т. е. пропозициональную установку, сообщение, языковую реальность, означающее, выражение), и то, что непрозрачно и, следовательно, допускает различение, а именно, извлекаемую информацию или смысл сказанного. Различение сообщения и извлекаемой информации есть первичное основание для различения Эго и Альтера.

Но эта же структура коммуникации «сообщение/информация» диктует условия познания. Ведь различение вещи и человека, субъекта и объекта возможно только потому, что раньше в коммуникации уже осуществилось различение «с кем / о чем», различение между человеком (а фактически – набором диспозиций, установок, возможных сообщений) и смыслом, или содержанием этих сообщений.

РАЗДЕЛ III. ОТ НАБЛЮДЕНИЙ К ОПИСАНИЯМ. СТАРОЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМАНТИКА И ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

Теория самоописаний Никласа Лумана

В этой главе мы попробуем реконструировать системно-коммуникативное понятие самоописания, разработанное Никласом Луманом в последней книге, имеющей одноименное название, входящей в корпус трудов «Общество общества». Эту книгу Луман заканчивает тем, чем ученые, как правило, начинают свои исследования – обзором смыслов, понятий, подходов, «предшествующих» или конкурирующих с авторским концептом.

Зачем же понадобилось это возвращение – ведь основные положения теории общества (коммуникативно-системный характер общества, эволюционный тип его развития, дифференциация социальных систем) уже сформулированы? И что означает это загадочное понятие «самоописание»?

Луман совсем не случайно решил обратиться здесь к истории своей дисциплины, истоки которой он ищет в особой корреляции текстов об обществе и особенностях самого общества¹⁰⁴, в сопряжении письменной культуры и социальной структуры. Критерии исторических стадий развития общества, проблема идентификации общественных эпох, определенность исторического времени как медиума измерения общества – все это, оказывается, напрямую связано со спецификой предмета социологии. Ведь последняя кардинальным образом отличается от предметностей «сопредельных» дисциплин, в особенности от предметов биологии и психологии, с их легко фиксируемыми определенностями времени «жизни» организма или «сознания».

Так, в биологии и, с некоторыми оговорками, в психологии границы идентичности их объектов жестко определены возможностью смерти. Это и позволяет любому наблюдателю решить, жив или мертв объект его наблюдения. Но что же делать с обществом? Какие трансформации должны произойти, чтобы одно общество рассматривать как исчезнувшее, а другое – как родившееся? И трудности лишь возрастают, когда текстуальные – и системно-специфические – самоистолкования общества прямо противоречат друг другу в этом вопросе. Насколько Священная Римская империя все еще является «Римской», а насколько – «Священной»?

Выводы о «кончине», «закате», «угасании», «смерти» можно было делать применительно к первобытным племенам, отчасти – к великим цивилизациям прошлого, да и в этом случае всегда найдется возможность предположить, что культурная диффузия обеспечила трансляцию типов коммуникаций, артефактов, материальных и духовных практик во времени и пространстве, пусть даже и соплеменники, и цивилизации физически исчезли (потеряли название, территорию, а их дома были разрушены).

Особую актуальность этот вопрос воспроизводства идентичности и экспликации критериев идентичности приобретает в Новое время. Насколько радикально трансформировалось российское общество после Петра Первого?

¹⁰⁴ Избавиться от самообоснования не получается, ведь особенности общества могут реципироваться лишь в виде текстов. И зависимость социальной структуры («базиса») и самоописаний общества («надстройки») в любом случае выглядит самореференциально – как тексты, порождающие тексты.

В одних исторических текстах обнаруживаются утверждения, что ключевые предпосылки модернизации (армия европейского образца, мануфактуры, морские амбиции, возникновение монетарной экономики etc.) явным образом были заложены еще в эпоху Алексея Михайловича. В других будет утверждаться, что феодально-аристократический фундамент российского общества сохранял свою силу до и после 1861 года, а общинно-крепостническое сознание господствовало и после 1917 г. Могут ли вообще быть сформулированы доказательства в пользу тех или иных самоописаний, или они всегда остаются производными от той или иной наблюдательной позиции?

Эта проблема не допускает удовлетворительного решения, поскольку не удастся выйти за пределы коммуникации, в данном случае – коммуникации исторических текстов. А значит, рассматривая критерии сохранения идентичности обществ (= коммуникативных систем), основной фигурой становится тот, кто выносит суждения о такой идентичности, т. е. наблюдатель, историк, сама историческая коммуникация, тексты, которые, впрочем, и сами, в конечном счете, составят историю и будут изучаться метанаблюдающей инстанцией, некой метаисторической наукой, скажем, историографией. Но к какой же дисциплине тогда относятся исследования этих – теперь уже историографических – текстов?

Итак, вопрос идентичности исторических эпох и обществ с необходимостью влечет за собой проблему идентичности наблюдателя, описывающего тексты о «специфических эпохах».

Есть ли выход из этого нагнетания метаописывающих метаинстанций, и можно ли найти какую-то общую рамку обсуждения? Может быть, признать то, что в любом случае невозможно покинуть пределы текста, а значит, общества, ведь текст, печатный или рукописный, – это всего лишь специфическая форма письменной коммуникации, из которых в том числе и выстраивается общество. Общество через свои самоописания – без какой бы то ни было обязательности или необходимости – само решает, трансформировалось ли оно радикально или осталось тем же самым, причем не обращаясь к объективным (т. е. лежащим вне текста-общества) критериям.

В этом смысле общество словно не существует само по себе – вне формы своего текстуального выражения, неотлично от его текстовых описаний с уже включенными в него идентификационными утверждениями. Ведь вне своих описаний общество нам недоступно, по крайней мере, в его прежних исторических формах.

Вопрос, следовательно, состоит не в том, каковы критерии идентичности общественного состояния, а в том, кто и как наблюдает (обозначает, отличает) эти критерии. Именно это и составляет – социально-эпистемологический – тезис Никласа Лумана в его понимании социального (коммуникативного) познания.

Главный социологически релевантный вопрос о природе реальности в этом случае меняет формулировку. Вопрос о природе социальной реальности (о природе консенсуса, социального порядка etc.) трансформируется в новый радикальный вопрос – о наблюдении и описании этой реальности. Наблюдение создает наблюдаемое в той мере, в какой эффекты наблюдения неизбежно сказываются на его предмете. Здесь вспоминаются и парадоксы квантовой физики, и самосбывающиеся пророчества Р. Мертона, и тезис У. Матураны о том, что условием наблюдения живых систем является жизнь наблюдающего.

Собственно, и само это последнее произведение Лумана есть наблюдение над тем, как наблюдают наблюдатели; и именно этим рефлексивным вниманием к собственному метастатусу, требующему переосмысления природы социального, оно претендует на оригинальность и новизну. Но, даже претендуя на роль последней и глобальной теории общества, она все-таки признает важное самореференциальное обстоятельство: она и себя обнаруживает в качестве предмета своих описаний – всего лишь как печатную массмедийную коммуникацию, пусть и в форме научной публикации, всего лишь как одну наряду с бесчисленными и равноправными другими.

И поэтому, выражая глобальные притязания на единственно адекватное постижение мирового общества, ей в то же время приходится и умерять свои амбиции, поскольку даже и она не способна вырваться из ограниченных рамок письменного текста, предложенного для прочтения, сравнения, трансформации. Единственным позвольным (и одновременно высшим) успехом реализации этого претенциозного проекта стало бы подсоединение к этому тексту его новых продолжений и приложений и – что в научном мире ценится больше всего – цитирование в других научных текстах, обеспечивающее системообразование, т. е. новое описание самоописаний.

Из вышеизложенного и проистекает такое внимание социальной теории к проблеме времени, к модернизации и, в особенности, к его семантике, т. е. к меняющимся во времени критериям идентичности тех или иных времен. Но эта заикленность на поиске условий идентичности тех или иных общественных состояний, в конечном счете, на проблеме, которую в общество привносит само время, странным образом непременно оказывалось предметом критики именно в отношении структурного функционализма, к которому с оговорками можно отнести и системно-коммуникативную теорию.

За это немало критиковали парсонсовский функционализм и поставленный им, по сути кантовский, вопрос об условиях возможности «стабильного» действия. Ведь именно у Парсонса, учителя Лумана, время как условие возможности действия является ключевым измерением.

Парсонс, как известно, вложил теорию времени в свою AGIL-схему – четырех функций – условий возможности осуществления действия. Вспомним здесь ориентированное на будущее инструментальное измерение действия и консумматорное измерение действия, ориентированное на достигаемую лишь в настоящем фиксацию личностью завершенности действия.

В первом – инструментальном – измерении можно констатировать ту или иную меру, в которой возможна трансляция из прошлого в будущее латентных (в настоящем) образцов или стандартов культуры, без чего «стабильность» действия была бы невозможна. С другой стороны, в этом же инструментальном измерении фиксируются процессы адаптации действия к внешней среде, инструментализация среды, подготовка внешнего мира действия для будущей консуммации. Наконец, только в настоящем может осуществиться и функция целедостижения, осуществляемая психикой во внешнем мире действия, которая, как некий регистратор удовлетворенности, только и может быть в состоянии «пережить» – всегда исключительно в настоящем – это состояние законченности осуществленного действия. Семантика времени – ключевая проблема структурного функционализма.

За эти поиски условий сохранения состояния идентичности (или так называемое «стабилизационное сознание») структурно-функционалистская теория подвергалась критике со стороны критически ориентированной социологии, поскольку предполагалось, что фиксация таких условий стабильности идеологически оправдывает современность и препятствует модернизации.

Модерное общество должно модернизироваться. Но как модернизировать то, что не только не допускает четкой идентификации во времени, но даже и непротиворечивого и непарадоксального самоописания?

Семантика как периодически воспроизводимый «культурный запас понятий»

Смыслы прошлых описаний не уходят безвозвратно, но образуют некий «культурный запас» общественно значимых понятий, которые и получают название семантики. С одной стороны, семантика может описываться как множество форм (некий список возможных тематик коммуникаций), которые делают возможным отбор в коммуникации тех или иных смысловых содержаний.

Если тема нашей коммуникации – социальная теория, то и всякий отбор дальнейшего содержания обсуждения ориентирован на семантику этого понятия. Эти формы по тем или иным причинам сохраняются, а не утрачиваются в процессе общественной эволюции. Семантика включает в себя сконденсированные и снова и снова задействуемые смыслы, вокруг которых, словно вокруг некоего семантического «центра», организуются менее «притязательные» импликации этих смыслов. Набор тематик обсуждения – это всегда воспроизводимый, т. е. «культурный», базис, под которым легко угадывается парсонсовская функция «поддержание латентных стандартов» (Latent Pattern Maintenance).

Речь в этой связи может идти о любом типизированном смысле, который способен употребляться относительно независимо от конкретных ситуаций. Его функция состоит в том, чтобы сделать незнакомое и неожиданное сообщение сравнительно знакомым и ожидаемым, чтобы связать прошлое и будущее, понятное и новое, показать в будущем кое-что из прошлого (ведь даже когда утверждается, что в современности ничего не осталось из прошлого, как раз и требуется интенсивная референция к прошлому, его изучение на предмет отличности от современности).

Именно благодаря тому, что семантика типизирует ситуацию, она нуждается в текстах: ее содержание составляют самые разные понятия или идеи, мировоззрения, научные теории, мнения, газетные публикации, – все, что способно принять текстовую форму и в этой форме повторно воспроизводиться. Функция семантики – сделать общество более восприимчивым к одним темам (принадлежащим к понимаемой в таком смысле культуре, запасу смыслов) и игнорировать весь остальной внешний мир.

Такая семантика имеет двухплоскостной характер, поскольку как смысл «перерабатывается» на двух уровнях. На первом уровне смысл включает в себя все, что может стать темой коммуникации словно само по себе, как бы теперь сказали, без внимания к методологии его переработки (относительно случайно генерируемые темы и смыслы, пословицы, бранные выражения,

идиомы, в которых тоже происходит некоторое как бы нерелексивное самописание в виде своего рода «народной мудрости»).

На втором уровне она интегрирует уже не только воспроизводимые смыслы и темы коммуникаций, но и включает сами процессы разработки и переработки коммуникационных тем. Здесь имеет место более «серьезные» и выверенные самоописания: научные теории, историко-культурные исследования и, особенно, специальные рефлексии в рамках самоописаний больших социальных систем – науки, религии, политики, искусства и т. д. Эти тексты и составляют ядро традиции.

Характер и содержание самоописаний в первую очередь коррелируют с двумя факторами: во-первых, с развитием и эволюцией коммуникативных медиа успеха (властью, истиной, верой и т. д.), а также и медиа распространения коммуникации (письменность, печать, электронные средства распространения описаний); и, во-вторых, с появлением самостоятельных агентов описаний – отдифференцированных частей общества, социальных систем, организаций.

Семантика прошлых, например, сегментированных обществ традировалась главным образом устно и соотносилась с ресурсами психических систем, главным образом – с памятью сознания. В более поздних, стратифицированных обществах – благодаря появлению письменности – семантика сделала возможным некое предвосхищение будущих состояний, событий и процессов (например, преступлений, войн и т. д.), их провоцирование и противостояние им, и при этом главной опорой новых типов коммуникаций становятся письменные тексты (скажем, законы, письменные распоряжения военачальников и т. д.).

Но лишь появление печати сделало возможным окончательную отдифференциацию социальных систем и соответственно – их собственных самоописаний: системных научных, религиозных, политических рефлексий. Благодаря чему эти системы приобретают свойства рациональности – способности осуществлять самонаблюдения, сопоставлять свой собственный системный характер и единство с системными свойствами иных сопредельных систем.

Измерения самоописаний

В реконструкции самоописаний Луман использует ранее развитый им «трехмерный» подход к анализу коммуникации. В любом описании общества задействованы три измерения, в которых и «описываются» все коммуникативно значимые события. Речь идет о предметном, временном и социальном горизонтах-измерениях и соответствующих каждому переменных: актуальном/периферийном, прошлом/будущем, индивидуальном/коллективном. Любое описание требует приписывать то или иное значение в рамках каждой из этих дистинкций: выбирать между тем, что фактически описывается, и тем, что остается за скобками описаний; локализовать описываемое в прошлом или в будущем; решать, в чьей перспективе лежит описание – описывающего наблюдателя или наблюдаемого наблюдателя.

(Семантики трансформируются «вдоль» этих измерений, так или иначе меняя полюса в рамках своих измерений: так, например, возникает особая «семантика революции». Этот способ самописания, во-первых, подразумевает такое различие прошлого и будущего, где и само это различие (т. е. современность)

описывается как ориентированное на вариации, т. е. на будущее в рамках временного измерения; во-вторых, он «экстериоризирует» все внешнее – принимает лишь собственные описания и априорно отклоняет иные – внешние и «чуждые» описания в рамках измерения предметного. И в-третьих, революционные само-описания видят себя в качестве коллективного, а не индивидуального предприятия, т. е. выбирают полюс Альтер-ориентации в социальном измерении.)

В рамках социального измерения с переходом к дифференцированному обществу трансформируется семантика «инклюзии» – включения индивида в общество. Если применительно к сегментарному обществу можно было локализовать индивида в одном сегменте и исключать из другого, выделять доступные для него места в структурах иерархий, то в дифференцированном обществе он в некотором смысле «присутствует» повсеместно: в религиозной и политической системах, в системе науки и образования.

Вместе с тем по отношению к самому обществу – к обществу как таковому – его позиция отныне становится чрезвычайно неопределенной. Он, подобно богу Николая Кузанского, присутствует отныне везде и нигде. С определенностью можно утверждать лишь о том, что человек, его организм и психика (наряду с природой и другими живыми и неживыми системами) суть внешние миры системы общества.

В своей последней книге Луман анализирует самые разные семантики, претендовавшие на роль теории общества: от теории трансцендентального субъекта, семантики прав и свобод человека до теории классового общества и теории государства всеобщего благоденствия, – но все это он называет «переходными», или «перехватывающими» семантиками, развиваемыми в то время, когда социальная структура – как фундамент семантики – еще не окончательно сформировалась в виде множества отдифференцировавшихся коммуникационных систем.

В рамках «староевропейской семантики» основное значение получили понятия каузальности, природы, необходимости, инвариантности анализируемых объектов и процессов, позиции акторов, определяющие их мотивации и интересы. Но эта семантика должна, по мысли Лумана, на современном этапе развития социальной теории дополняться понятиями, в которых и при помощи которых осуществляется наблюдение второго порядка. Речь идет об (относительно) произвольных атрибуциях каузальности наблюдателями (что, впрочем, не отменяет саму причинность, но оказывается вынужденной стратегией наблюдателя в силу огромных массивов причин и факторов по отношению даже к самому незначительному событию), о контингентности (ненеобходимом характере всякой коммуникации), о выявлении латентных функций и структур, различении своей и чужой реальностей через экспликацию «эпистемологических» барьеров, ограничивающих обзор (= реальность) наблюдаемого наблюдателя. В этом случае не наблюдение мира самого по себе определяет возможности его наблюдения, а наблюдение мира определяет возможности самого мира.

И все-таки и во всех этих «переходных» и современных семантиках доминирует семантика времени, семантика модернизации, семантика утопий и идеологий – начиная от идеалов французской революции с ее семантикой будущей минимизации неравенства и вплоть до семантик устойчивого развития, где основной проблемой становится модернизация отстающих регионов, как будто

они еще находятся в прошлом, а не «локализованы» в своей собственной современности.

Здесь Луман продолжает парсонсовскую традицию поиска временных оснований семантики описания и самоописаний общества. Причем последнее слово можно убрать, т. к. в мире нет ничего, что бы умело описывать, кроме общества. (Если сознание и было бы способно к таким достижениям, оно не смогло бы поделиться своим описанием, не оформив его как коммуникативный вклад в ту или иную коммуникативную систему.)

Всякое описание, являясь особым типом наблюдения, сталкивается с теми же парадоксами и процессами, что и простое наблюдение: с самореференцией, инореференцией, наблюдением как различием, переходом границ различения и повторным вхождением (re-entry). Ведь, описывая свой внешний мир (инореференция), концентрируясь на нем, «обозначая» его как тему своих описаний, любая система коммуникаций вынуждена отличать себя от него, от своих коммуникативных тем, в первую очередь от природы (экологический внешний мир) и человека (психический внешний мир), и, конечно, от любых других социальных систем (внутренние внешние миры общества).

Но именно благодаря этому самоотличению, т. е. отличению собственно коммуникативных описаний от того, что в них описывается и тематизируется, только и возникает сама описывающая система, которая это свое системобразование (самореференциальное подсоединение текстов друг к другу) поначалу словно не замечает – как «слепое пятно» всякого наблюдения.

Собственно, именно так обстоит дело и в отношении самого «Общества общества» Никласа Лумана. Четыре первые главы-книги и были характерным примером текстового системобразования с инореференцией «общество», и лишь пятая представляет из себя re-entry, повторное вхождение и самого непрерывно осуществляемого, но до поры до времени нерелексируемого описания в поле зрения самого этого описания, т. е. в то, что с помощью этого описания первоначально и было обозначено как объект исследования, – в саму теорию «общество». Самореференция реферируется как инореференция, само описание становится темой описания, в теорию общества входит и сама теория; при этом и в само анализируемое общество приходится включать его теоретический анализ, поскольку и последний есть коммуникативный акт и, следовательно, принадлежит коммуникативной системе «общество».

И все-таки, как уже говорилось, у этого описания есть и своя специфичность: это описание, главным образом, временное; ведь общество описывает себя преимущественно как современное, а уже не как мировое, политическое, гражданское, христианское, либеральное. Может показаться, что это описание не по существу. Почему не гражданское, не либеральное, не технологическое или информационное? Разве не с этими описаниями главным образом и связываются позитивные самооценки общества? Но, может быть, во многом и потому, что всего этого в обществе как раз и не хватает. Чем больше в обществе коммуникативно-системных достижений (знаний, прав, свобод, демократии, технологий), тем больше требуется знаний, прав, свобод и технологий, и чтобы обезопасить себя от последних – еще больше технологий. Любое самописание имеет в виду некоторый недостаток, но этот столь разнообразный дефицит обнаружива-

ет под собой общий знаменатель – дефицит времени. В описание вступает время как ответ на рост сложности внешнего мира сложных социальных систем.

В обществе стало больше всего, и поэтому требуется больше всего: большее богатство предполагает больше бедности, и умножающаяся помощь бедным не уменьшает, а генерирует бедность. (Благодаря гуманитарной помощи растет население и пропорционально – число бедных и больных.) Умножаемое знание означает в том числе и умножение знаний о том, что еще неизвестно и требует открытия или объяснения. Но эта количественная степень сравнения системных достижений предполагает общий вопрос: больше или меньше, чем когда? Ответ возможен только один – больше или меньше, чем прежде.

Семантика количества и недостачи произведенных ресурсов в рамках коммуникативных систем (науки, политики, экономики etc.) предполагает в качестве основания компаративистскую семантику времени. Причем время повторно вводится во временное измерение в форме вопроса ускорения: прежние «количественные» вопросы о массивах истин, денег, полномочий, сопоставимых с современным уровнем, теряют свою актуальность. Сравнить следует не объемы знания и т. д., а прошлые и современные скорости аккумуляции и переработки знаний, инвестиций, решений.

Так общество описывает себя как современное и связывает с этим позитивную оценку. Поэтому в содержаниях самоописаний наблюдателям приходится определяться и с тем, как они наблюдают и описывают время. Отсюда вытекает и специфическая рациональность. Рациональным признается все то, что соответствует «современной» семантике, а выходы за границы такой семантики, ориентации на прошлые ценности или стандарты словно естественным образом оказываются иррациональными.

Но для этого и приходится (и в этом состоит замысел последней книги) возвращаться к прошлым семантикам или, что то же самое, – реконструировать прошлых наблюдателей или описателей этих семантик.

«Общество общества» как автологическое самописание

Любое самописание, как уже говорилось, всегда остается описанием в континууме трех смысловых измерений или горизонтов наблюдения: предметного, социального, временного. Всякое социально значимое событие, всякий текст, чтобы быть герменевтически понятным, должны получить смысловую интерпретацию, т. е. подвергнуться анализу на предмет их встроенности соответственно в контекст времени, контекст той или иной тематики обсуждения, контекст собственного или чужого авторства.

Все, что обсуждается, актуально или неактуально для современности, актуально или неактуально тематически, принадлежит и(ли) не принадлежит тому, кто осуществляет описание. Но парадокс состоит в том, что и сама концепция, анализирующая этот универсально-тройкий контекст любого самоописания, в свою очередь оказывается всего лишь описанием и поэтому должна встраиваться в тот же самый контекст тех же самых смысловых измерений. Отсюда – автологические парадоксы, которые должны быть прояснены, поскольку именно такая восприимчивость к парадоксам существенным образом

отличает семантику системно-теоретического самоописания общества от иных типов – староевропейской – семантики.

В этом смысле теория коммуникации (первая книга «Общества общества») анализировала коммуникацию, разлагая ее на ее компоненты: сообщение Альтера (знаковое, текстовое содержание) и информацию (вменяемый сообщению, но актуально не данный его смысл). Но ведь и сама теория коммуникации входит в научную коммуникацию как один из указанных элементов, ведь и эта лумановская теория коммуникации есть всего лишь научное сообщение, предлагаемое в рамках ученой коммуникации, и, следовательно, требует экспликации заложенной в нее латентной информации или смысла. А если бы этого не требовалось, можно было бы обойтись и первым томом.

Последняя книга («Самоописания») выступает попыткой извлечь из этого сообщения его смысл, информацию, интенцию, требующие сопоставления с прочими, не системно-теоретическими самоописаниями общества, и образующие горизонт иных возможностей, иных сообщений. Теория коммуникации, предложенная в первой книге, исследует социальное измерение, горизонт Эго/Альтер, но при этом она и сама предстает как интегрированная в социальное измерение, как сообщение, понять которое в последнем томе пытается Альтер Эго – уже другой Луман.

Этот другой Луман словно извлекает информацию из ранее им же самим предложенного сообщения, сравнивая ее с иными возможностями самоописаний, с иными семантиками общества, которые он отклоняет, но не может без них обойтись.

В свою очередь, теория обобщенных символических медиа коммуникации (вторая книга «Общества общества») анализирует средства образования отдифференцировавшихся научных, массмедийных, политических, экономических и иных систем, а именно – истинность, информативную новизну, власть, деньги и т. д. Но при этом и сама данная теория реферируется посредством медиа истины, медиа информации, получает монетарное выражение и оценку в книжных магазинах и имплементируется в политических дискуссиях как властный ресурс. Социальная теория коммуникации анализирует истину – как один из механизмов трансляции коммуникаций, – но она же и регулируется этим кодом или медиумом коммуникации. И свое утверждение о своей ориентированности на истину делает научным предложением, а значит, предметом истинностной оценки и – парадоксом.

Теория эволюции коммуникаций (третья книга «Общества общества») анализирует механизмы и структуру времени, задаваясь вопросом о невероятном характере новых типов коммуникаций, не объяснимых с точки зрения развития их прошлых типов, реконструирует эволюционные механизмы коммуникаций (принципы их внутренней изменчивости – мутации, трансформаций путем селекции, стабилизации типов коммуникаций, гарантируемой отдифференциацией социальных систем). Но ведь и сама социальная теория эволюции явилась результатом эволюции коммуникаций и следствием возникновения системы науки; и эволюционная концепция социальной изменчивости, селекции и стабилизации сама подверглась селекции и, доказав свою «научность», в конечном счете стабилизировалась как непреходящее научное

достижение исключительно благодаря тому, что воспроизводство («рестабилизация») научной системы коммуникации сделало это возможным. В этом смысле и понятие эволюции оказывается таким же – автологически парадоксальным – результатом эволюции.

И, наконец, предметное измерение социальной теории анализируется теорией дифференциации коммуникации (четвертая книга «Общества общества»). Предметом или темой социологической теории являются процессы системной дифференциации, возникновение мирового общества в виде социальных систем, организаций и интеракции. Социология описывает процесс обособления политики, религии, науки, любви, экономики, искусства внутри общества; физики, математики, биологии, социологии и т. д. – внутри науки; теории коммуникации, теории эволюции коммуникаций, теории дифференциации коммуникаций – внутри социологии. Но в конечном счете и сам этот дифференциалистский подход обнаруживает себя как предмет описания теории дифференциации.

В этом смысле и теория дифференции коммуникативных систем в конечном счете может быть понята как следствие процессов дифференциации коммуникаций.

Онтология как предметное измерение смысла в староевропейских семантиках

Одной из первоначальных семантик в области предметного измерения была онтология, или схема наблюдения «бытие/небытие», приписывающая то или иное значение тому или иному – пусть даже гипотетическому – предмету наблюдения. Если признать универсальную применимость этой схемы, то следовало поставить вопрос и о том, на какой из сторон этой формы «локализован» тот, кто ее применяет, т. е. наблюдатель.

Очевидно, что он пребывает лишь в «области» бытия, т. е. «существует», а область небытия, что бы под ней ни понимать, оказывается вне зоны его наблюдений.

Эта схема наблюдения, по мысли Лумана, проигрывает иной наблюдательной схеме или средству, а именно дистрикции «система / внешний мир», где наблюдатель, собственно, и представляет собой систему, и, в свою очередь, локализован на внутренней стороне формы. Но поскольку система одновременно локализуется и во внешнем мире, обнаруживая там в том числе и себя, а внешний мир, со своей стороны, – оказывается внутренне произведенной конструкцией системы, то другая, «негативная» сторона указанного различения – в отличие от «небытия» – уже не ускользает от наблюдения и осмысления, но допускает некоторый модус обращения с ней, т. н. crossing – переход границы различения.

В мысли о том, что мышление констатирует бытие, это мышление, по мысли Лумана, достигает своего естественного завершения. Со времени Парменида и, особенно, Декарта становится своего рода аксиомой утверждение, что вне бытия нет и мышления. Мышление непременно есть, пусть даже на основании простого факта сомнения в этом факте. И в этом смысле мышление «ограничено» бытием.

Однако вторая сторона этой формы (абстрактное небытие, или ничто), будучи инструментализированной в качестве средства наблюдения мира, тем не менее не получила какого-то ясного онтологического статуса. Ведь «небытия

нет», но от него каким-то странным образом все-таки отлично бытие. Это отличие небытия не давало достаточной наглядности, не позволяло идентифицировать бытие, хотя именно для этого и было придумано. Для такой идентификации приходилось вводить дополнительные идентификационные предикаты – такие, как, например, «материя», «целое», «неделимое». Первичное различие мира на бытие и ничто давало какую-то опору мифической установке на целостность мира: «мир – все, что есть». Однако эта форма различения и наблюдения мира (через его идентификацию как целого и неделимого) оказалась недостаточно убедительной.

Даже в «целостное бытие» в смысле Парменида все-таки оказалось возможным повторно ввести (re-entry) различия бытия и небытия. Ведь и внутри мира его части могут различаться на предмет их существования. Кроме того, они могли портиться, «коррумповаться», постепенно как бы утрачивая свой статус – сначала «совершенных», а затем и существующих. Так из мифически удостоверяемой мировой целостности «выделяются» отдельные части.

Такое «выделение» (из тела мира, общества или человека) всегда сопровождалось негативными коннотациями. Со времени Аристотеля они называются «категориями» (пришедшими в философию из судебной практики), т. е. буквально «обвинениями» миру в том, что он потерял то единство, которое прежде гарантировалось первичным разделением бытия и небытия.

Излишне говорить, что за этой семантической схемой онтологии Луман разглядывает социально-структурное основание; речь идет о некоем «аллегорическом» самоописании разрушающихся сегментарных обществ, о «выделении» из равноправных сегментов, образующих прежде целое и неделимое общество, слоя аристократических семей, вынужденных так или иначе оправдывать свою «выделенность» и оберегать свой статус «совершенных» от коррумпирующего воздействия времени. Развитие семантики сопровождает, как всегда, и манифестирует изменения в социальной структуре.

Реконструируя онтологическую схему наблюдения, Луман применяет излюбленную и более широкую мыслительную фигуру, указывает на абстрактный инвариант системообразования. Вначале обособляется некий «реальный объект» (скажем, «тип поведения», «социальный слой», «тип коммуникаций» и т. д.), выделяющийся и отличающийся от других и от остального мира лишь тем обстоятельством, что он задействован в некоторых операциях или сам представляет такую операцию. Но эта отличенность, в свою очередь, требует отличения (difference that makes a difference – излюбленное выражение Грегори Бейтсона, восходящее к «исчислению форм» Дж. Спенсера-Брауна). И мы отличаем уже отличное прежде всего тем, что называем его, делая различие семантически эксплицитным.

«Система рефлексивует свое собственное единство как точку отнесения наблюдений, как упорядочивающую точку зрения для текущих референций. Отсюда возникает необходимость производства текстов, которые координируют множество таких, все еще лишь событийно-зависимых и ситуативно-связанных, самонаблюдений. В самой простой форме – система дает себе имя, фиксированное, инвариантное обозначение, которое именно благодаря своей фиксированности может быть воспроизведено также и в непредсказуемо различающихся

ситуациях. На такого рода собственные имена могут потом опираться контрастирования, которые противопоставляют собственную систему некоторой другой, чтобы через этот контраст осуществлять идентификации, – скажем, греков и варваров, христиан и язычников (или, в более современную эпоху и отказываясь от собственных имен: цивилизованных людей и дикарей). ... это дает возможность постепенно дополнить эти контрасты структурными описаниями (например, описывается система разделения труда), что ведет к содержательному обогащению текстов, посредством которых система обозначает саму себя. Подобные тексты, включая имена, мы и будем называть самоописаниями»¹⁰⁵.

Но такое «второе различение», в свою очередь, является операцией или коммуникацией, своим описанием обогащая прежний реальный мир и тем самым – не успевая его описывать. Однако теперь предметом трансформации становятся уже сами название или имя, у которых совсем другие свойства и другие возможности вступать в осетевленные состояния. Лишь за счет такого рода (всегда произвольных в смысле де Соссюра) перекомбинаций слов, предложений, текстов возникают возможности трансформации также и «других сторон» лингвистических реалий или знаков: смыслов, означенных предметов, референций, социальных структур.

Речь идет об очень своеобразном детерминизме, который ни в коем случае нельзя понимать как социальный редукционизм, ведь «произвольность» в обращении с семантикой, зависимость текстов исключительно от прошлых текстов, собственная эволюция идей – все это предполагает независимость самоописаний общества от их референций, хотя эти референции, т. е. реально сложившиеся социальные структуры, и были первоисточником такой семантики.

Онтологическая схема бытия и небытия служила «базисом» для «надстройки» над ней когнитивной схемы, а именно – мышления как различения истинного (того, что есть) и ложного (того, чего нет). Причем само мышление не могло «локализоваться» вне бытия, должно было быть. Этой староевропейской схеме принципиально противоположна схема системно-теоретического наблюдения, состоящая в различении наблюдения и наблюдаемого. Наблюдение может осуществляться и вне наблюдаемого; наблюдению может подвергаться то, что как бы «не существует» для наблюдаемого наблюдателя, поскольку выходит за пределы его «сектора обзора» или является его «слепым пятном», а следовательно – и за пределы конструируемой им реальности.

В предметном измерении прежней, староевропейской, семантики мышление мыслило бытие, не рефлекслируя проблемы небытия и ложности; напротив, в системно-теоретической – и гораздо более содержательной – семантике предметного измерения система наблюдает (мыслит) и внешний мир, и себя в этом внешнем мире; ей доступны и реальное, т. е. то, что локализовано в пределах их собственного ракурса, и как бы «нереальное», прежде всего системные инструменты, коммуникативные различения (например, истины и лжи), делающие возможным подсоединение системных элементов друг к другу (например, научных предложений).

¹⁰⁵ Луман Н. Самоописания. М.: Логос, 2009. С. 22.

Семантика индивидуальности – социальное измерения смысла в староевропейских семантиках

Семантика индивидуальности не сразу становится мерилем социального измерения и главным средством самоописания общества, а принадлежит скорее к так называемым «перехватывающим» семантикам. Первоначально смысл индивидуальности указывал на некие неделимые единицы, составляющие основание тех или иных примитивных социальных структур: классификации людей или семей гарантировали иерархизации общества. Такой смысл может приписываться тому, кто составляет единицу в некотором поселении, племени, социальном сегменте, касте и т. д. (Еще Дюркгейм во многом рассматривал индивидуальность в этом смысле, полагая «классификацию людей» источником «классификаций вещей», т. е. источником когнитивных семантик.)

Впоследствии этот смысл меняется на прямо противоположный: от единичности и неделимости (как базиса воспроизводства коллектива, основы сходства его членов и, как следствие, механической солидарности в смысле Дюркгейма) в пользу уникального и невозпроизводимого своеобразия.

Теперь индивид, пусть даже прислуга или подсобный рабочий, в своей индивидуальности не должен подпадать под какую-либо классификацию. В качестве индивидуальности подсобный рабочий больше не является подсобным рабочим. Ему отныне свойственно нечто, что трансцендирует эту его социальную дистинкцию; и именно в этом смысле индивидуальность становится базовым измерением «правильного» общества, несмотря на всю парадоксальность того, что стремление к уникальности оказывается самым распространенным и типичным свойством современного человека.

Современное общество описывает себя не только как «современное» (во временном измерении) и «дифференцированное» (в предметном измерении), но и как «коллектив свободных индивидуальностей» (в измерении социальном). В этом смысле индивидуальность становится горизонтом любой социальной ситуации или коммуникации. Ситуация может рассматриваться как стандартизированная, если не нарушены индивидуальные особенности и прежде всего, как пишет Луман, – «измеряемое свободой равенство индивидов».

Таким образом, неповторимость есть вторая (после традиционных неделимости и единичности) семантическая составляющая описания индивидуальности. В качестве третьей составляющей семантики индивидуальности может быть названа личность или персональность.

Все индивиды являются личностями. Это – почти тавтологическое – высказывание указывает на то, что индивиды-личности тем или иным образом репрезентируют неизвестное будущее. Личность непредсказуема, поскольку персональное сознание (лицо, персона, маска) получает, почти по Ирвингу Гофману, здесь свою ключевую характеристику – непроницаемость и закрытость для возможностей достоверных коммуникативных интерпретаций.

Личность есть то, что скрыто, и в этом существо закрыто-самореференциально оперирующих систем сознания, недоступных внешним миров коммуникации, обладающих привилегированным доступом к собственным содержаниям. Личность в своей биографии словно накапливает и ин-

тегрирует прошлое, но когнитивная недоступность этого аккумулированного прошлого символизирует неизвестное будущее.

Фигура личности как когнитивно недоступный внешний мир коммуникации и делает возможным недетерминированный характер последней, определяет способности коммуникации произвольно атрибутировать причины тех или иных событий и процессов как себе самой (социальному порядку, логике коммуникативных систем – науки, политики, экономики), так и своему внешнему миру – неизвестным мотивам, целям, диспозициям, аффектам закрытых от коммуникации личностей.

И, наконец, последним по счету, но при этом не менее значимым смыслом семантики индивидуальности становится субъект – определяемый во времени как лишенный начала и конца, бессмертный и вечный индивид.

Семантика субъекта, по мысли Лумана, в свою очередь, является переходной, поскольку в своей априорности и трансцендентальности претендовала на описания «мирового общества», структуры которого еще не приняли к моменту ее формулирования «современных» дифференцированных форм.

Временное измерение смысла: от староевропейской семантики к системно-теоретическим самоописаниям

Понимание времени, с точки зрения, предложенной Луманом теории наблюдения, означает понимание того, кто наблюдает время. Современное общество наблюдает себя и приписывает себе позитивное значение современного. Общество, таким образом, делит свою историю на прошлое, настоящее, будущее, на старое и новое. Напротив, в староевропейской семантике время понималось онтологически: будущее и прошлое действительно «существуют», воспроизводятся, повторяются, в отличие от эфемерного и текущего настоящего, выступающего всего лишь – почти пространственной – границей между прошлым и будущим.

Эта староевропейская семантика переосмысливается в теории коммуникативных систем, где речь идет не столько о существовании объектов, природы, сущностей, идей, но преимущественно о различениях, осуществляемых наблюдателем. Следует анализировать не движение по оси времени, а наблюдателя, разделяющего мир на прошлое и будущее. Ведь все, что происходит, происходит в современности и одновременно со всеми остальными событиями. Эта современность лишь иногда получает (и производит) индексы прошлого и будущего.

Речь идет, очевидно, о совсем иной семантике времени. Время уже не предстает в виде прошлого, перетекающего в будущее через настоящее. Теперь это бесконечная смена моментов настоящего, непрерывная пульсация современности. В этой новой семантике выражены общие характеристики системно-теоретической эпистемологии: подлинно реальными могут быть лишь различения. К таковым относится и настоящее как различение прошлого и будущего.

Но если все, что происходит, происходит сейчас, моментально и одновременно, то ключевым различением времени оказывается дистинкция «одновременное/неодновременное», «коммуникативно актуальное и еще/уже – не актуальное». Эта новая (и спровоцированная трансформациями социальной структуры современного общества) семантика радикальным образом отличается от семантики староевропейской, с ее различениями

циклического/линейного, подвижного/неподвижного, начального/конечного.

Социальная структура и семантика времени

Если требуется наблюдать наблюдателя, то и его временные различия, или семантику времени, следует выводить из специфики социальной структуры. Таким социально-структурным различием являлось, например, различие «полис/ойкос», городской и сельской жизни. Письменная военная и гражданская история города, как его самописание, подразумевало уникальность событий и, соответственно, линейность времени. Битвы при Марафоне не происходят периодически, тогда как сельскохозяйственная деятельность, репрезентировавшаяся в устных мифических наблюдениях (скажем, в мифах о пробуждающейся и умирающей природе), замыкается на природные циклы.

В этом смысле можно утверждать, что циклическое время наблюдала система хозяйства, линейное же время наблюдала система политическая (при том, что об их дифференциации в современном смысле говорить не приходится).

Дистинкция «подвижное/неподвижное», в свою очередь, вытекала из теологических наблюдений системы религии, «наблюдающей» бога – неподвижного двигателя, приводящего в движение поднебесные сферы.

И временное различие «начальное/конечное» проистекало из наблюдения социальной структуры. Начальное, или изначальное, – как, например, благородное происхождение аристократических семей, – имело определяющее значение, не зависело от заслуг и продолжало сказываться во всех коленах.

Однако трансформация социальных структур проявляется и в самоописаниях общества, в новой семантике, где уже нечто конечное, итоговое, скажем, заслуги, теперь получает определяющее значение, а начала вещей и семей словно теряются в прошлом. Теряет значение то обстоятельство, кто являлся действительным родоначальником, кто придумал и учредил законы и институты. Важно лишь то, какое конечное значение они получают в случае их реализации, т. е. то, насколько они актуальны в настоящее время и к каким последствиям приводит правоприменение.

В отличие от временных семантик прошлого, современное общество описывает себя при помощи временного различия «прежде/после». Это базовое различие уже не основывается на онтологической логике, где господствует связка «есть» или «быть», где реальными полагались прошлое и будущее, а настоящее воспринималось как нечто неподлинное, поскольку оно течет, меняется, неустойчиво, все время проходит и, значит, не может претендовать на роль сущего в платоновском смысле.

В системной логике различий, где реальны лишь различия (а система и есть различие системы и внешнего мира), напротив, «прежде» и «после» суть функции от настоящего, фикции и конструкции, индексы, которые приписываются происходящим именно в данный момент событиям. Настоящее уже не сводится исключительно к своему пограничному статусу; теперь оно определяется как то, что требует принятия неотложных решений, поскольку «мгновенная», быстро проходящая структура современности такова, что решать приходится именно в данное мгновение, а завтра будет поздно.

Настоящее понимается как кратчайший период времени, когда еще сохраняются шансы и возможности, а в противоположном случае можно

остаться в прошлом (т. е. в том настоящем, которому будет приписан индекс прошлого). Настоящее в обществе, господствующие ожидания (= социальная структура) которого репрезентированы ориентациями на успех, определяется дистинкцией «успеть/опоздать», дистинкцией «еще невозможно / уже невозможно». Время определяет и предмет интереса, и контент коммуникации. (Если ученый желает вовремя успеть защитить диссертацию, он и тему возьмет менее объемную и менее фундаментальную).

Наиболее существенное в новой семантике времени (как медиума измерения коммуникации) составляет то обстоятельство, что оно словно по совместительству оказывается измерением смысла. Если кто-то в рамках устной речи произносит «теперь» или «в данный момент», то эти – как и все дейксисные – выражения привязаны во времени к моменту говорения и понятны или самопонятны лишь в момент произнесения. Не нужно уточнять, когда это «теперь» имеет место.

Однако в письменных описаниях это «теперь» способно субстантивироваться – как момент, мгновение. В письменных текстах это «теперь» теряет свою самопонятность, контекстуальную определенность временем устной беседы. Именно в этом состоит значение письменности для семантики времени. Поскольку это «теперь» постоянно проходит, вопрос об утрате времени, утрате настоящего как чего-то подлинного и невозполнимого, в современном обществе, больше всего ценящем настоящее, может формулироваться как вопрос об утрате смысла.

В самом общем виде смысл понимается в системно-коммуникативной теории как смысл, который будущие события имеют по отношению к событиям прошлым, как принцип и основание коннекции системных операций, главным образом коммуникаций и переживаний. Другими словами, вопрос о смысле звучит так: какой смысл в том, что на смену прошлому приходит будущее?

Староевропейская семантика времени (скажем, в религиозно-теологических самоописаниях) пыталась дать ответ на вопрос о смысле утрачиваемого настоящего, связывающего прошлое и будущее, утверждая, что это «теперь» никуда не исчезает, оно сохраняется в вечности бога, для которого все моменты времени, прошлого и будущего, даны одновременно (Августин).

Настоящее не переходит в прошлое, с точки зрения теологии, поскольку прошлое никуда не исчезает, оно остается в бессмертной душе, ведь душа проста и, следовательно, бессмертна. Это решение сохранить настоящее и, следовательно, смысл прошедших событий достигалось за счет отказа от принципа сложности наблюдателя.

Самоописание как социоэпистемологическая рефлексия и массмедийное событие

Мир в староевропейской семантике описывался как природа или творение и получал пространственную определенность: как множество сущностных форм бытия, как совершенство природы, как тяготеющий к завершению, покою на естественных местах; и эти завершение и совершенство определялись распадением мира на пространственные сферы, внутри которых сохранялась возможность движения в заданных направлениях, вне которых «располагался» неподвижный двигатель – бог.

История и время, со своей стороны, описывались и переописывались, сначала с помощью понятия прогресса, потом полезности, пока, наконец, от поня-

тия времени¹⁰⁶ не приходят к переописанию времени; история начинает пониматься эволюционно, как образующаяся под воздействием случайных, акцидентальных факторов.

Это облегчается тем обстоятельством, что письменность теперь дает возможность включить в историю несколько историй нескольких социальных систем. Ведь всякая случайность или контингентность (как противопонятие к староевропейской необходимости) оказываются возможными благодаря тому, что историю словно «наполняют» – структурно сопряженные, но закрыто оперирующие социальные системы, которые в своих рефлексиях возводят воображаемые конструкции единства своей истории и формулируют свои собственные семантики и самоописания, которые уже не допускают их редукцию друг к другу (скажем, политической рефлексии к рефлексии хозяйственной и т. д.).

Среди множества описываемых Луманом самоописаний для нас важнейшее значение получает самописание научное. В рамках системы науки системно-коммуникативная теория берет на себя роль своего рода аналитической эпистемологии общества (вспомним, «аналитический реализм» Т. Парсонса), анализирует (и деконструирует) философские (и научные) понятия: субъекта, объекта, целого и части, бытия, общества; показывает историю их семантики, принципы эволюции, но главное – развивает принцип зависимости социальной структуры (ожиданий) и семантики и именно в этом обнаруживает принцип единства социальной теории или социологии как научной дисциплины.

И именно эпистемология, по Луману, оказывается особой рефлексивной инстанцией в области социологии, обеспечивающей ее дополнительными рефлексивными способностями, прежде всего в отношении анализа ее собственных предпосылок.

Можно говорить о новой попытке сформулировать принципы осмысленности научных понятий, о «квазиэмпирической» проверке той или иной научной семантики на предмет ее работоспособности, возможностей инструментализации, функциональности научных и философских понятий. Об осмысленности семантик можно утверждать постольку, поскольку они, не теряя в своей автономности, выступают неким «отражением» или самописаниями той или иной социальной структуры.

Итак, возможности осмысления научных и философских понятий открываются в области эпистемологии как рефлексивной инстанции, отдифференцировавшейся внутри социологии или социальной теории. Именно в ее рамках ставится ключевой социологически релевантный вопрос о том, кто осуществляет познание (т. е. наблюдает, а значит – различает/обозначает).

Но кто осуществляет такое познание и наблюдение? Если это субъект, то следует выяснить потенциал, адекватность, условия применения этого понятия, эволюцию его семантики, его силу и слабости в функции общественного самоописания, т. е. поставить вопрос об адекватности использования этой семантики для описания социальных структур.

Здесь мы сталкиваемся с особым подходом к смыслу научных предложений. Критерии научности уже не определяются заданием условий истинности

¹⁰⁶ В основе которого лежало понятие пространства, в свою очередь, утверждавшее идею совершенства как завершения движения на своем естественном месте (Аристотель), соответствующем некоторой сущности, движение к которому и с необходимостью определялось этой сущностью.

квантифицированных предложений, куда претендующие на осмысленность понятия входили бы как переменные.

Осмысленность понятия или некоторой семантики определяется тем, как они фактически функционировали в той или иной коммуникации, в прошлых общественных самоописаниях (если рассматривать случай социологии); тем, что с их помощью удалось достичь, а чего нет. Так, например, семантика субъекта (точнее говоря, дистинкции субъекта, отличающего себя лишь от себя – Я от Не-Я) почти потеряла «рефлексивность применительно к первичным различениям», т. е. к фактическим различениям между реальными индивидами.

И именно эта неспособность служить средством самоописания делает его неадекватным – но не бессмысленным – понятием, ведь его фактический прототип, реальный человек или индивид, уже не может с помощью данного понятия осознать свои собственные свойства: собственную контингентность, единичность и уникальность. С помощью такой семантики субъект способен «встретить» вокруг себя лишь одного себя – в виде не-Я, куда он, очевидно, входит как составная часть данной дистинкции.

Казалось бы, установив это обстоятельство, теперь можно было бы избавиться от неадекватной – для эффективных самоописаний – семантики субъекта. Но таковая делегитимация понятия субъекта всегда остается лишь одним из возможных самоописаний, и к тому же в этом отрицании субъекта, в этом Не-Я, субъект сохраняется, а не исчезает.

Отрицая субъект, различая в нем важность «Не-Я», будь это бессознательное, природа или общество, мы лишь подтверждаем самоописание, само различение, просто переходя от одной стороны, к другой. Делегитимируя субъект, мы лишь углубляем, утверждаем и подтверждаем это различение. Мы наблюдаем общество, отличая его от сознания, но сознание (и все его корреляты, как то: человек, личность, психическая система) от этого не исчезает.

В этом смысле все не системно-коммуникативные самоописания сохраняют свою силу, пока они сохраняют свою силу, ведь они формулируются в рамках социологической рефлексии или эпистемологии, задача которой состоит в поисках и конструкции системного единства, а значит – как раз и требуют рефлексировать все то, от чего более широкая система должна себя отличать и дистанцироваться, от чуждых для системной теории семантик.

Это «повторное вхождение» чужих семантик в ракурс социологического рассмотрения является не единственной проблемой и угрозой для чистоты и адекватности правильного социологического описания. И сама системно-коммуникативная теория в виде особого самоописания общества, представленная в своей комплексной форме в книге «Общество общества», является не только предметом коммуникации в социологии, но и массмедийным событием (а возможно – и событием в историях и рефлексиях других социальных систем, в первую очередь политики).

Ведь в современности лишь система массмедиа способна осуществлять сколько-нибудь резонансные самоописания современного общества, выделяя информацию и превращая ее в избыточный (рефлексивный, т. е. требующийся для нового отбора) фон всякой новой информации. Лишь массмедиа определяют, что на самом деле происходит, и в этом смысле получают значение социальной реальности.

РАЗДЕЛ IV. СИСТЕМНО-КОММУНИКАТИВНОЕ ПОНИМАНИЕ НАУКИ И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ

Начало системно-коммуникативного подхода к исследованию науки: «Наука как призвание» Макса Вебера и староевропейская семантика

В этой главе мы рассмотрим коммуникативные и социальные условия современной науки в интерпретации Макса Вебера, который – отчасти явно, отчасти неявно – сформулировал основную проблему смысла современной науки: зачем ученому наука в условиях (1) внешнего отчуждения и (2) недоступности научного объекта? С помощью анализа заданных Вебером идеально-типических условий современной науки мы сосредоточимся на парадоксе «инвариантной современности» науки Вебера и попытаемся обосновать, как веберовское понятие «научного познания» связывает в один концептуальный узел другие фундаментальные понятия системно-коммуникативной теории, прежде всего понятия социального времени, (научного) объекта, социальности, истины и ценностей. При этом мы специально рассмотрим рецепцию веберовского концепта современности науки в ряде работ классиков континентальной философской мысли и их попытки модернизировать фундаментальную веберовскую дистинкцию «истина/ценности» как принцип инклюзии в научное сообщество.

Программная статья Вебера «Wissenschaft als Beruf» традиционно использовалась как методологическая установка на очищение и демаркацию науки сначала в неокантианском, а затем – в неопозитивистском и фальсификационистском духе. В то же время она сохраняет значение как диагноз немецкой, американской, отчасти французской науки того времени.

Как известно, в первой – не переведенной на русский язык – части статьи концептуализировались «внешнесоциальные» условия науки как профессии. Формулируется «идеальный тип» современной науки, вектор развития которой задает, по Веберу, американский образец университетского дела как «государственно-капиталистического» предприятия. «Работник науки» «отчуждается от средств производства» (кабинета, библиотеки, должности). Это общее направление американизации / бюрократизации / рационализации / коммерциализации университетского дела как внешнего условия успеха современной науки дополняется требованием ее дифференциации и специализации (в перспективе один ученый – одна тема – одна проблема).

Во второй части статьи представлены «внутренние социальные» условия современной Веберу науки, личностные смыслы научного действия и переживания ученого. Внутренние условия научного познания, существенно трансформирующие мотивации и установки современных исследователей, определяются Вебером словно «апофатически», т. е. указанием на некоторый список «исчезающих иллюзий», ранее конституировавших научное познание «как призвание», но теперь утратившие свою мотивационную силу. Реестр этих «закрытых путей» («путь к истинному бытию», «путь к истинному искусству», «путь к истинному Богу», «путь к истинному счастью», «к истинной природе») призван показать студенту, определяющемуся с выбором своей профессии, что у его научного исследования (что бы ни писали в исследовательских планах) не будет никаких «конечных результатов».

Правда, и во второй части речь, безусловно, идет не столько о каких-то субъективно-мотивационных, но о коммуникативных, а значит, социальных условиях науки, пусть и понимаемой как индивидуальное призвание. Конечно, это «призвание» (в веберовских терминах как «переживание полноты», «страсть» и «опьянение» наукой) всегда предстает как некая индивидуальная идиосинкразия¹⁰⁷. Однако это «внутреннее переживание» ученого социально в том смысле, что характеризует не столько личность ученого, но связано с фундаментальным временным характером современной науки как института. Наука, по Веберу, в отличие от других форм социальности и культуры, представляет особого типа современность. Эту современность науки (в отличие от произведения искусства) Вебер связывает с принципиальной недостижимостью вечного «истинного бытия» и, как следствие (почти по Попперу), – с временностью любого научного достижения, что, собственно, только и делает это достижение актуальным, т. е. значимым, лишь в некоторый данный момент времени.

В результате Вебер (отчасти явно, отчасти неявно) сформулировал основную проблему смысла современной науки: зачем ученому наука в условиях внешнего отчуждения и недоступности научного объекта?

Можем ли мы с помощью анализа двух заданных Вебером идеально-типических условий современной науки сформулировать образ «инвариантной современности» науки? Этому препятствует два обстоятельства. С одной стороны, возникнет очевидное противоречие и даже парадокс¹⁰⁸. С другой стороны, эта современность науки представлена как нечто самопонятное, как «своеобразие текущего момента», но сама как таковая, по крайней мере, самими учеными, никак не концептуализируется, является «слепым пятном» научного наблюдения¹⁰⁹.

Чтобы как-то проследить эволюцию представлений о внешнесоциальных (наука как профессия) и внутреннесоциальных (наука как призвание) условиях современной науки, рассмотрим ряд ответов на «вызов Вебера», сформулированных в дискуссии, развернувшейся в ответ эту статью в работах Э. фон Калера, Г. Риккерта, М. Шелера, К. Лёвита и других.

Об измерениях научной коммуникации

Может ли наука, как занятие и сфера деятельности, предложить какие-то другие – собственные – достижения взамен «утраченных иллюзий»? И если с

¹⁰⁷ Как мы покажем ниже, Вебер эксплицитно не различает внутреннюю сложность *первой* стороны его фундаментальной дистинкции «субъективные ценности/объективная истина», призванной демаркировать область науки, т. е. не различает *объективную* сферу ценностей и их *субъективное* переживание индивидом. Именно это неразличение стало одним из предметов критики его подхода.

¹⁰⁸ Ведь при утверждении универсального и общевалидного (и в этом смысле *вневременного*) принципа современности от самого этого принципа современности (= временности, актуальности) приходится отказываться как от самопроверяющего понятия.

¹⁰⁹ «Современные государства – вот что было настоящей темой. Современность современного общества широко обсуждается в социологии. О том, что есть современное искусство, спрашивают и сегодня. Что касается области науки, это, видимо, даже не ставится под вопрос, не говоря уже о том, чтобы тратить время на аргументацию» [Luhmann 1992, 702]. А те, кто пытается ее эксплицитно сформулировать, не выходят за рамки диффузных и паушальных определений: например, современная наука понимается как «особая интеграция абстрактных понятийно-теоретических конструкций, дедуктивно-логического доказательства, рационально-эмпирического экспериментирования и практической технологии» [Muench 1984, 200].

прежними установками и мотивациями ученого (и шире – всякого рационально мыслящего современника) приходится расстаться, если все прежние фундаментальные смыслы человека, интересующегося устройством мира, оказываются распределенными, то что в этом случае могло бы выступить компенсаторным механизмом для мотивирования научного поиска?

Мы, конечно, не можем не обратить внимание на то, что все перечисленные иллюзии и соответствующие – отныне недоступные – объекты познания (бог, природа, счастье, искусство, бытие) снабжены индексом «истинности». В этом смысле Вебер явно и неявно ставит проблему истины. И это понятие, собственно говоря, и проходит красной линией в веберовской статье, и парадоксальным образом образует существо нового собственного значения и (нового призвания) научной коммуникации. Лишившись своих «выделенных референтов» (бога, природы, красоты и счастья), этот истинностный индекс теперь из предиката сам оказывается выделенным объектом поиска, становится референтом, а не подчиненным ему свойством. Теперь истина не зависит от того, к каким референтам она прилагается, а значит, может прилагаться и к самой себе, и к своим фундаментальным контрагентам – ценностям и вере.

Именно здесь коренится социальная функция истины. Оказывается, что дистинкция «истина/ценность» определяет критерии принадлежности науке того или иного высказывания и одновременно – в форме дистинкции «Lehrer/Fuehrer» определяет профессиональную инклюзию высказывающих эти суждения в научное сообщество.

В общем смысле мы можем сказать, что Вебер впервые определяет коммуникативные границы науки через обобществляющий научное сообщество медиум истины в ее сопряжении с ценностью. Позднее это сопряжение истины/ценности получит теоретическую разработку в системно-коммуникативном подходе Н. Лумана¹¹⁰, который, как известно, выделял за истинной и ценностями особую структуру атрибуций (т. е. инвариантного приписывания некоторому Эго и некоторому Другому тех или иных переживаний или действий в соответствующих коммуникативных системах: хозяйства, политики, науки, искусства и т. д.). Ведь и в случае коммуникации истины, и в случае коммуникации ценности (несмотря на все противоречие между ценностными и истинностными суждениями) коммуникация стилизуется под взаимное подтверждение общих переживаний¹¹¹. В этом смысле «истина» не только генерализирует высказывания, но и почти, в соответствии с аксиомой Дюркгейма¹¹², обобщает индивидов в рамках научного сообщества и эксклудирует тех, кто высказывает ценностные суждения.

Иллюстрируя свой дифференциалистский подход на конкретных примерах, Вебер фиксирует недостаточную обособленность немецкой науки, карьеры в

¹¹⁰ Луман Н. Истина, знание, наука как система / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Логос, 2016. 410 с. Антоновский А.Ю. Наука как общественная подсистема. Никлас Луман о механизмах социальной эволюции знания и истины // Вопросы философии. 2017. № 7. С. 154–167. Антоновский А.Ю., Бараш П.Э. Хьюэлл против Конта, или возможна ли коммуникация между априоризмом и позитивизмом? // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 54. № 4. С. 202–208.

¹¹¹ В отличие, скажем, от политики, где действие некоторого Другого каузирует (подчиняет) действие некоторого Эго безотносительно к его переживаниям. Или в отличие от искусства, где действие Другого вызывает «чистое» (не деятельностное) переживание некоторого Эго. Или в отличие от любви и дружбы (системы интимности), где уже Эго своими действиями стремится вызвать переживания у некоторого Другого.

¹¹² Согласно которой, «классификации вещей воспроизводят классификации людей».

которой базированы на «предпосылках плутократии»¹¹³. И это, по его мнению, существенно отличает немецкую науку от более «современной» североамериканской науки, автономия которой связана с финансовой независимостью молодых американских исследователей. Напротив, молодой немецкий ученый, принимая решение о карьере, вынужден учитывать не только предметные мотивации (научный интерес и т. д.), но и свои печальные финансовые перспективы все еще не может выносить за скобки¹¹⁴.

В этом смысле Вебер диагностирует слабую коммуникативную обособленность научного познания, все еще ориентированного на коммуникативную значимость обобщающего медиа денег, если и не при определении истинностного значения высказывания, то, по крайней мере, в вопросе инклюзии в научное общество. Уже здесь мы получаем неявное понятие современной науки как дифференцированного предприятия, коммуникация в котором определяется исключительно в предметном измерении (истинностными высказываниями об объекте научного познания и интереса), и эти притязания на истину не зависят от социального и временного измерений: ни должностное положение исследователя в социальных иерархиях, ни принадлежность научного высказывания тому или иному времени (в особенности сакрализованному прошлому традиции и ссылкой на его *origo*) не могут и не должны служить критерием при определении истинностных значений.

Это понятие современной науки как обособленной коммуникации, мотивированной исключительно истиной, по Веберу, несовместимо с немецкой ситуацией, где «длительность нахождения на должности» с точки зрения карьерных перспектив как бы эквивалентна действительным научным заслугам и достижениям и все еще обуславливает, словами Вебера, «моральное право на ее замещение». Временное измерение научной коммуникации в этом смысле еще не обособилось от предметного и социального измерений. Такая «несовременная» немецкая наука выказывает архаические, аристократические и цеховые черты. Авторитет времени (прошлые заслуги) оказывается важнее актуальных достижений и определяет положение в должностных иерархиях. Впрочем, тут мы можем сослаться и на нашу российскую ситуацию. Напротив, подлинно научное достижение в современной науке должно быть исключительно актуальным, что значит – моментальным, если не мгновенным и тотчас же устаревающим¹¹⁵.

Научное познание во временном измерении – наука не искусство?

Остановимся на проблеме специфически-научного времени и тех ограничений, которые накладывает на призвание и профессию ученого характер временного измерения научной коммуникации. Эта тема с необходимостью требует обсуждения понятия научного прогресса¹¹⁶. Так, в науке, в отличие от искусс-

¹¹³ Weber M. Schriften 1894–1922. Stuttgart: Kröner, 2002. Band 233. S. 475.

¹¹⁴ «Было бы чрезвычайно смелым для молодого ученого, не имеющего никакого состояния, вообще делать академическую карьеру». Напротив, американский ученый «начинает с надежной должности, ведь он получает установленный оклад» [Weber 2002].

¹¹⁵ «Каждый из нас знает, что сделанное им в области науки устареет... Такова судьба, более того, таков смысл научной работы... и это как раз составляет ее специфическое отличие от всех остальных элементов культуры» [Вебер 1990, 707–735].

¹¹⁶ «Судьба [научной работы] глубоко отлична от судьбы художественного творчества. Научная работа вплетена в движение прогресса. Напротив, в области искусства в этом смысле не существует никакого прогресса» [Вебер 1990].

ва, имеет место прогресс, который Вебер понимает в попперовском смысле, как некую «аппроксимацию», т. е. приближение к истине, которое, однако, предполагает и неизбежный отказ от старых истин, и, как следствие, недостоверность каких-то абсолютных утверждений, значимых во все времена. Другими словами, произведение искусства как коммуникативный акт принадлежит вечности, и никакой прогресс не может поколебать значимости прошлых достижений. Напротив, научное свершение принадлежит сугубо определенному моменту времени и в этом смысле обречено со временем утратить актуальность. Но именно поэтому эту актуальность и новизну приходится фиксировать в научной коммуникации как главный (пусть и остаточный) критерий научного успеха.

Поэтому именно для науки – для фиксации подлинно научного вклада научного утверждения в развитие системы науки – временное измерение оказывается самым существенным и как бы и удостоверяет, и лишает значимости конституирующее науку измерение предметное. Какое бы значение ни имело то, является ли исследователь авторитетным специалистом или дилетантом, руководителем или ассистентом (в социальном измерении), какая бы область научных исследований ни выходила на первый план, теория или метод, фундаментальное или прикладное исследование (в предметном измерении), – все эти критерии актуальности и аутентичности научного достижения в любом случае затем нивелируются во временном измерении. Время безжалостно ко всем социальным и предметным горизонтам и контекстам. И именно это обстоятельство разрушило, по Веберу, те самые традиционные мотивационные основы научного поиска (путь к истинному богу, путь истинному благу и т. д.), которые в прошлом и обеспечивали системные основания и самодвижение научной коммуникации.

Отсюда, добавим мы от себя, проистекает новая семантика проектного научного успеха. Именно современную науку определяют формы ограничения исследовательского времени – проекты. В прошлое ушли долгосрочные фундаментальные и глобальные теории мироздания, успех которых не может быть оценен в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе. Финансирование научного исследования в рамках университета как государственно-капиталистического предприятия должно программироваться, а значит, почти по Тюрингу, требует своевременной остановки (не только в случае успеха, но и в случае фиаско) и заранее определенных временных рамок, что существенно уменьшает высокие риски неудачи в реализации научного проекта.

Впрочем, и здесь не обходится без парадокса. Ведь эта максима «преходящего характера всякого научного утверждения» должна была бы применяться и к самому веберовскому утверждению о фундаментальности времени для науки? И значит, снято. Но Вебер все-таки оставляет себе поле для маневра, используя кунштюк. Вневременное значение веберовского утверждения в принципе может быть сохранено, если его – странное для ученого-релятивиста – притязание на абсолютность связывать с неким «качеством искусства», согласно Веберу, свойственным в том числе и научному познанию.

Итак, именно во временном измерении возникает проблема смысла современной науки. Именно здесь проходит тот водораздел, или граница между нау-

кой староевропейской¹¹⁷ и наукой современной, а вместе с тем предметно разграничивается область научных утверждений и ценностных высказываний в рамках других «культурных форм».

Предметное измерение научного познания. Больше знания или меньше?

Проблема научного времени есть, таким образом, главная проблема смысла научного действия и соответствующего призвания. В чем собственная ценность науки для ученого? Она не может определяться внешним предметным контекстом, например, успехом новой техники как результирующего научного продукта, ведь и она, как всякое предметное достижение, во временном измерении обречена на «деконструкцию».

Впрочем, и кумулятивистское понимание успеха научного познания, предполагающее индивидуальное обогащение полезным знанием, не выдерживает, по мнению Вебера, критики на предмет искомого условия научного призвания. Ведь со временем в предметном отношении мы усваиваем все «меньше» знаний, по крайней мере, несравнимо меньше, чем человек традиционного общества¹¹⁸. Но это все-таки не накладывает на научное познание принципиальных ограничений. Здесь была бы уместна аналогия с релятивистски понимаемым пространством: всякое знание конечно по объему, но беспредельно в том смысле, что всякое определение этого объема указывает на границу, преодолеваемую в ходе научного прогресса («исчисления, интеллектуализации, расколдовывания»). Это преодоление границы, или фальсификация всего имеющегося знания, теперь – парадоксальным образом – и составляет смысл современного научного познания.

Парадокс здесь вытекает из общего представления Вебера о том смысле, который – с точки зрения всей европейской культуры – всегда подразумевал некую конечность во времени. Ведь бесконечность научного поиска и, шире, вся культура, ориентированная на бесконечный прогресс и бесконечное усовершенствование, имеют смысл только в вечности (поскольку и должны продолжаться вечно). Это лишает всякое ограниченное во времени событие и достижение (проект, изобретение, открытие), и, шире, – жизнь человека, как ограниченный проект, и смерть, как границу этой жизни, какого бы то ни было смысла¹¹⁹.

Итак, с точки зрения и предметного измерения научного познания, никакой научный продукт не принесет ни большего, ни окончательного знания и, как следствие, никакого индивидуального удовлетворения и, значит, лишен мотивационного смысла. Так зачем тогда заниматься наукой, служение которой оказывается бессмысленным? Суждения, направленные на поиск подлинного бытия,

¹¹⁷ Здесь мы используем понятие староевропейской традиции (семантики и социальных структур) в смысле Н. Лумана, позаимствованное им у Отто Бауэра.

¹¹⁸ Каждый ... из специалистов по политической экономии ... по-своему ответит на вопрос: как получается, что за деньги можно что-нибудь купить? Дикарь знает, каким образом он обеспечивает себе ежедневное пропитание и какие институты оказывают ему при этом услугу. Следовательно, возрастающая интеллектуализация и рационализация не означают роста знаний о жизненных условиях» [Вебер 1990].

¹¹⁹ «Авраам или какой-нибудь крестьянин в прежние эпохи умирал «стар и насытившись жизнью», для него не оставалось загадок, которые ему хотелось бы разрешить... Напротив, человек культуры ... постоянно обогащающейся идеями, знанием, проблемами, может «устать от жизни», но не может насытиться ею. ... А так как бессмысленна смерть, то бессмысленна и культурная жизнь как таковая – ведь именно она своим бессмысленным «прогрессом» обрекает на бессмысленность и самое смерть. В поздних романах Толстого эта мысль составляет основное настроение его творчества» [Вебер].

которые в согласии со всей платоновско-пифагорейской (староевропейской) традицией мотивировали Кеплера, Галилея и Ньютона, теперь воспринимаются как «отвлечение от бытия». То, что в древности считалось реальностью, теперь воспринимается как «чистая теория» и абстракция и не способно, по мнению обывателей, ухватить жизнь во всей ее повседневной полноте.

Социальное измерение научного познания – призвание без признания?

Специфика предметного и временного измерений староевропейской науки, т. е. открывавшаяся ученому и философу глубинная реальность, мир неизменных истин и вещей, определяла и социальное измерение науки. Полагалось, что в науке имеет место особый тип добровольного принуждения, или, лучше сказать, консенсуса без принуждения. Это принуждение осуществлялось, по Веберу, при помощи «понятия», открытого Платоном и Аристотелем и реализующего двойную функцию: обеспечить научное познание надежным инструментом и задать жесткие ориентиры для согласия по итогам научной коммуникации. Понятие, словами Вебера, захватывает оппонента «в логические тиски», из которых он не может вырваться, не согласившись.

Именно это понятие «понятия», казалось, обеспечило успех аксиомы староевропейской научной традиции: «найти понятие – значит обнаружить подлинное бытие». Отсюда, кстати говоря, проистекал общественный запрос на науку, на социальную теорию о политике. Подлинный социальный порядок может быть создан лишь согласно правильному понятию общества и понятию правильного политического действия¹²⁰. На втором шаге развития «староевропейской традиции» был открыт эксперимент – с функцией контроля понятия с помощью опыта. Ведь понятия оказались неконтролируемыми (их смысл во многом конвенционален, а силлогизм, как известно, контролирует лишь синтаксис, безразлично к содержательному наполнению понятия). Но и эксперимент, согласно Веберу, существенно не поколебал староевропейского императива «поиска подлинной природы, в согласии с божественным замыслом», и все еще не определял характера современной научности.

Лишь особые трансформации социального измерения научного познания, связанные с превращением науки в «производительную силу общества», явились тем «разочаровывающим обстоятельством», которое подорвало староевропейскую традицию поисков подлинного бытия. Фатальным для староевропейской науки стали некоторые другие вызовы со стороны противостоящего ей – рационализирующегося – общества, прежде всего со стороны политики и хозяйства. «Очевидно, что новейшее развитие университетского дела ... идет по американскому пути. Наши большие институты медицинского и естественнонаучного типа уже давно – «государственно-капиталистические» предприятия»¹²¹, со всеми следствиями «отчуждения рабочего от средств производства». (Вебер эксплицитно

¹²⁰ С высоты нашего времени мы, безусловно, понимаем, что всякая, в особенности социальная, теория остается самописанием общества, и никакая окончательная «правильная» теория не может быть сформулирована, поскольку само описывающее себя общество эволюционирует вместе с таким сообществом, специализированным на самоописаниях. Именно к обществу менее всего применимы аксиомы староевропейской традиции, в особенности ее жесткая корреляция «истина-понятие-бытие».

¹²¹ Weber M. Schriften 1894–1922. Stuttgart: Kröner, 2002. Band 233. S. 477.

использует эти понятия К. Маркса). Рядовой ученый и есть тот самый эксплуатируемый рабочий, а отчуждаемые «средства производства» (рабочее место, кабинет, библиотека, кафедра) находятся в распоряжении бизнеса и бюрократии. Директор института «превращается в сущности в его владельца». Не правда ли, знакомая ситуация? Какой же продуктивности и мотивации можем мы ожидать от ученого, если теперь уже «человеческая природа» оказывается отчужденной и может быть добавлена в реестр «утраченных иллюзий»?

После того, как мы кратко обрисовали существо веберовского манифеста, рассмотрим некоторые непосредственно и опосредованно следовавшие отклики.

Староевропейская традиция дает отпор

Первый удар Вебер получает, как и следовало ожидать, от самой «староевропейской традиции», которая, однако, маскирует себя под некую «новую науку». Старая наука, словно отвечая на вызов Вебера, ощущает импульс самообновления и возвращается «к самой себе» (своему «эллинскому прототипу») в виде обновленной «жизненной науки» Эриха фон Калера. Последний, в своей критике Вебера и (парадоксальным образом неререфлексивно следуя самой веберовской методологии «неизбежной ревизии» научных истин) уже само веберовское понимание науки рассматривает как естественным образом устаревшее. Речь прежде всего идет о веберовских «натурализме и позитивизме», подразумевающих «каузальный монизм» – единство каузальных объяснений в социальных науках и в естествознании, а также о «трагической» специализации и обособлении науки от всех других форм жизни.

Черты «новой науки» видятся ему в союзе с сильной личностью (пророка) и реконнекции науки и жизни (практического интереса индивида), т. е. как раз в том, что решительно отклонял Вебер, но что должно было результировать в исходе Калером объединении мира сущего и мира значимого, бытия и обязательств в рамках единого закона жизни, как это было-де свойственно эллинскому миру, конечно, с учетом нововременных корректировок.

Существо аргумента Калера в том, что веберовская концепция несовместима с органическим пониманием мира, где всякая специализация органов все-таки подразумевает и единство организма. И наука не должна быть в этом случае исключением, поскольку не терпит ни пространственных разрывов (с другими сообществами), ни временных разрывов со своими предшествующими стадиями – наукой Платона и эллинов.

Несмотря на весь поэтический пафос и идеологичность суждений, этот немецкий историк, с одной стороны, поднимает (далеко не новую в том, что касается биологии и социальных наук) проблему единства и специфичности научного познания в ее конкретной форме: существует ли нечто инвариантное и воспроизводимое в непрерывном потоке сменяющихся друг друга истин? Этот «аргумент от целого» (как целостности самой науки, так и ее органической связанности с обществом)¹²² стал серьезным вызовом и требовал ответа.

¹²² Или, словами фон Калера: «the people must become accustomed to absorbing only real knowledge, only formations that are perfect, round, whole and published with complete assurance... The true ideal is to grasp with its

Поскольку Вебер уже не мог этого осуществить, то за него это сделали другие путем деконструкции ключевой веберовской дихотомии, с помощью которой он демаркирует нововременную науку: объективной истины / субъективной ценности. И на это были некоторые основания, ведь Вебер не указал эксплицитно на относительность и самого этого различения, однако, неявно допускал переходы с одной стороны различения на другую (поскольку и сама истина в конечном итоге становилась соразмерной ценностям «конечной целью» научного познания). Это различие, как всякая граница, должно не только разделять, но и как-то связывать разделенные ею стороны, и в этом смысле презентировать (искомое Калером) единство ценностей и истины. Ниже мы покажем, как это единство ценностей и научных первопринципов в своей работе о Вебере детально артикулирует Карл Лёвит, а пока перейдем к ответу на веберовский тезис из самого стана Вебера, неокантианцев Баденской школы.

Генрих Риккерт спасает априоризм

Априоризму неокантианства, конечно, была чуждо утверждение эпистемологического релятивизма в отношении научного знания и понятия современной науки. Последняя в рамках априористской картины мира, по крайней мере, в неких выделенных областях (аналитических суждениях, математике, теоретических основаниях физики¹²³) находилась в некоторой вневременной или надвременной позиции. В этих областях понятие современного знания утратило бы силу.

В этом контексте коллега Вебера Г. Риккерт также усматривает конститутивную проблему современности науки (*vita contemplativa*) в ее отношении с «практической жизнью» (*vita activa*), прежде всего – с политикой¹²⁴. Но за этими общими словами стоит попытка сохранить островки необходимого знания, а значит (независимо от размеров этих островков) – фальсифицировать весь релятивистский пафос Вебера и защитить априоризм. Риккерт, как ранее Калер, использует силу, аргументы и даже личный активизм Вебера как пример и иллюстрацию того, как может быть преодолена – непреодолимая, по Веберу, – дихотомия между объективным знанием и ценностно-ориентированным (прежде всего политическим) активизмом. Рассмотрим критику Риккерта по пунктам.

Риккерт начинает с того, что привлекает собственные свидетельства и описывает веберовскую идиосинкразию – видимое «отвращение ко всякому политическому действию». Однако после душевной болезни отношение Вебера к политическому действию существенно меняется. В 1916 г. Риккерт и Вебер начи-

method whole people, cultural areas, biological species, and then to “overarch” the whole, to unify in their spheres ideas in their various strata, types and dispositions ... up to the highest sphere, gathering together our entire whirling-but-still metaphysical everlasting heaven of ideas. Then youth will be redeemed from the old science under which it suffers so infinitely. ... It will be liberated from intellectualism, the result of the dissolution of Hellenic and church worlds» [Kahler 1920, 35].

¹²³ Априоризм в отношении самой науки, начиная с Хьюэлла, пытался примирить релятивистскую идею движущейся современности (в том, что касается сменяющих друг друга формулировок законов природы) и кантовское представление об априорных истинах (прежде всего в отношении идеи причинности), т. е. формы знания и содержания знания. Так, необходимость законов Ньютона связывалось с тем, что законы движения «экземплифицируют» идею каузации, или, словами Хьюэлла: законы движения представляют одну из эмпирических интерпретаций законов причинности [Whewell 1847, 245–254, Хьюэлл 2016, 143–148].

¹²⁴ Вебер «did not solve the problem, but ... anyone can learn that the ancient question of the relation of the *vita contemplativa* to the *vita activa* is also the most modern question imaginable» [Rickert 1989, 86].

нают совместную работу в Хайдельберге. Этот новый, потерявший свой «золотой юмор» Вебер демонстрирует «мрачный и аскетичный» образ жизни и лишь с прежними друзьями сохраняет добрые отношения¹²⁵. Что же случилось? Риккерт предлагает свое психосоциологическое объяснение и утверждает, что за эти годы произошла некая травмирующая персональная трансформация Вебера из «индивидуализирующего историка» в «генерализирующего социолога». Именно это дало ему возможность предложить гипотетическому политику «правила» и «законы», которые не в состоянии был дать Вебер в своей прежней ипостаси бытия «индивидуализирующего историка»¹²⁶.

Действие политика / созерцательность ученого – дистинкция или единство?

Именно эта персональная трансформация дает в руки Риккерта первый критический аргумент в отношении веберовского концепта науки. Вопреки тому то, что Вебер провозглашает непреодолимую дистинкцию «теория (созерцание) / практика (действие)», сам он – в риккертовской интерпретации – своим собственным действием (и не в последнюю очередь – научным высказыванием) не следует жесткости этого разделения, но перформативно опровергает свое собственное разделение. Используя терминологию системно-коммуникативной теории, мы можем сказать, что Вебер осуществляет кроссинг: переход от одной – позитивной – стороны некоего фундаментального различения к другой – негативной; от характеризующей науку объективности знания и истины, предполагающей созерцательную пассивность ученого-наблюдателя, к «конечной цели-ценности», и вытекающему волевому акту человека действия, и, как следствие, к единству различенного (действия и созерцания)¹²⁷. Эту же мысль о «структурном сопряжении» в самой личности Вебера двух обособленных системно-коммуникативных ориентаций проводит А. Ф. Филиппов¹²⁸.

Но все-таки это единство созерцания и активизма, воплотившееся и так травмирующее¹²⁹ персону Вебера, остается крайне напряженным и неустойчивым, по крайней мере, в его сопряжении с главным методологическим различием понимающей социологии – цели/средства, которое, по Веберу, лежит в основании взаимообособления науки и политики. Так, для политики знания являются исключительно средством, в то время как для науки знания и есть искомая «конечная цель» и ценность. В этом смысле политик нуждается в «прозрачности», которого, по Веберу, дефинитивно лишена и методологически не до-

¹²⁵ Rickert H. Max Weber's View of Science. In: Lassman P., Velody I. Max Weber's Science as a Vocation. London, 1989. P. 78.

¹²⁶ Именно здесь возникает это волнующее Вебера требование *времени и современности*, занимающее важное место в его работе о науке как призвании. Эти передаваемые «генерализирующим социологом» политику «правила» должны быть *современными*, тогда как «индивидуализирующий историк» смотрит в прошлое, которое – конечно, в его наблюдательной позиции, – не допускает своего воспроизводства. Напротив, именно политик-практик смотрит в будущее и, не имея возможности его определить, нуждается в методических правилах, которые бы предложил ему социальный теоретик и которые способны ограничить произвол политика.

¹²⁷ Rickert H. Max Weber's View of Science. In: Lassman P., Velody I. Max Weber's Science as a Vocation. London, 1989. P. 85.

¹²⁸ «... не с университетской кафедры, но в публичной политике – он с полной решимостью представляет не научную, объективную, но именно «немецкую национальную» точку зрения. Здесь, как мы увидим, скрыто важное противоречие, которое и делает его рассуждения столь интригующими» [Филиппов 2017].

¹²⁹ Причину этой веберовской прокрастинации в отношении политического действия Риккерт не объяснил.

пускает современная наука, поскольку – в отличие от доmodерной науки – предоставляет в распоряжение общества исключительно «временные истины».

Несмотря на то, что Риккерт, по-видимому, защищает Вебера и его ключевое различие «истина/ценность», все-таки эта апология лишь слегка маскирует его главные инвективы и критический мотив – защитить «староевропейскую традицию» и нивелировать гипертрофированный Вебером разрыв между прошлой и современной наукой (и это было вполне естественным для неокантианства Риккерта с его априоризмом вечных истин). Отсюда второй критический аргумент и тезис о «современности Платона»¹³⁰, призванные проиллюстрировать, по крайней мере, некоторые области «необходимого знания», прежде всего методологического, куда включается и знание математическое, составляющие корпус знания, истинного во всех возможных временных мирах.

Третий критический аргумент Риккерта состоит в указании на то, что «принцип логоса» (= «понятия») не утратил, как полагал Вебер, своего значения в качестве социально-контролирующей и принуждающей к согласию инстанции в том смысле, в каком его использовал Сократ, как принуждение, воспринимаемое со страстью, восхищением и переживанием счастья. И здесь снова научная дисциплинированность и личная увлеченность Вебера (как примера из и для многих) выступают доказательными иллюстрациями означенной «принудительности научного понятия» и результирующих из этого «счастья» и «страсти»¹³¹.

Наконец, в-четвертых, комментируя список «утраченных иллюзий», Риккерт полагает, что задачей теоретического осмысления («истинно научной философии») все-таки остается прояснение соответствующих понятий – природы, счастья, искусства, блага и бога. И, надо полагать, такое прояснение понятий, в свою очередь, можно было бы включить в утверждаемый Риккертом и отвергаемый Вебером корпус «необходимого знания». И опять работу по этому прояснению Риккерт приписывает самому Веберу, в его теоретическом прояснении значения ценностей: «and here again ... Weber himself is closer to what he seems to be opposing»¹³².

Как видно, существо критической аргументации Риккерта отсылало к самой фигуре и работе Вебера, т. е. представляло некоторую практическую фальсификацию теоретического высказывания, что, конечно, лишь подтверждало эпистемологический релятивизм Вебера в отношении «абсолютных» научных утверждений. Требовался теоретический ответ на поставленный Риккертом вопрос о том, как возможно сопряжение в одной персоне двух взаимоисключающих установок – политического ценностного активизма и пассивной научной

¹³⁰ «... the cave-dweller does not simply need. As Weber would have it, to ... turn around in order to see the sun. He needs to submit to the effort of a long and difficult climb if he wants to come out of the illusion. Thus in Plato, too, there is awareness of ... the self-abnegatory labour that no scientist is spared nowadays. ... Plato too does not believe that the ultimate and “absolute” can be attained by man through ... the highest thing pure theory can give to man. Rather, there still remains “beyond” that is inaccessible. ... In this respect Plato’s thoughts are thoroughly “modern”» [Rickert 1989, 82]

¹³¹ «For did not self Weber himself have this delight in Logos?» [Rickert 1989, 82] Тут уж сам Риккерт чувствует себя задетым, посвятивший «понятиям» свой главный методологический труд. Впрочем, «истинное счастье», включенное Вебером в реестр «исчезающих иллюзий», прежде мотивировавших классические исследования, вовсе не является тем счастьем, которое имеет в виду Риккерт: рождающимся в дискуссии, научной работе и «открытии логоса». Речь у Вебера идет об ожиданиях новых научных результатов, которые будут востребованы вовне науки, призванной «осчастливить человечество».

¹³² Rickert H. Max Weber’s View of Science. In: *Lassman P., Velody I. Max Weber’s Science as a Vocation*. London, 1989. P.83, 84.

созерцательности: «although he wanted to keep things separate he remained the same Max Weber, whether he was scientifically “disenchanted” the world or captivating people with his personality in his political role. His own existence refutes that ... the division of theoretical and practical life is ... the last word about the man and meaning of life»¹³³.

То, как возможно обосновать это единство и различность научно-созерцательной пассивности с одновременным притязанием на политическую эффективность, мы представим в Заключении – в понятии «стилизации» научного действия под взаимно-удостоверяемую созерцательность.

Субъективное тоже объективно. Критика Вебера в философской антропологии

Макс Шелер, отвечая на вызовы староевропейской традиции, прежде всего на апелляцию фон Калера к аргументу «от органического целого», считает необходимым модернизировать ключевую веберовскую дилемму. Не различие «субъективная ценность / объективное знание», но дилемма «мировоззренческое/общезначимое» должна послужить водоразделом современной и домодерной науки, которая на своем современном этапе должна, по Шелеру, дистанцироваться от всякого мировоззрения. При этом мировоззрение по своей принудительности, безусловно, превосходит и значение субъективной ценности для индивида, и объективной истинности для науки.

И действительно, Вебер, иллюстрируя понятие ценностного суждения, не различает четко две реальности – индивидуальную ценностную убежденность, т. е. субъективность, и собственно саму квазиобъективную (по Шелеру и Риккерту) сферу ценностей. Мировоззрение есть особое – философское или идеологическое (и здесь возможны дальнейшие членения) знание, фундированное интересом: «интересом эпохи» в первом и «интересом сообщества» во втором. Специально не рассматривая эту комплексность «другой стороны науки», Шелер все-таки резервирует за ней «Weltanschauung» и именно в этом отграничении науки от мировоззрения усматривает принцип современности науки.

Как мы видим, критика Вебера Шелером и Риккертом в части своеобразия современности науки в основном сводится к попыткам дать то или иное определение внешнего мира науки, т. е. того, от чего она должна рефлексивно дистанцироваться и этим определить себя как современную. Если конкретизировать, то Шелер устанавливает водораздел современной и традиционной науки по принципу ее неангажированности «программами действия», т. е. в согласии с принципом ее свободы от ценностей и идеологий. Принцип разделения задается дилеммой науки и мировоззрения¹³⁴, и в формировании последнего она принци-

¹³³ Rickert H. Max Weber's View of Science. In: Lassman P., Velody I. Max Weber's Science as a Vocation. London, 1989. P. 85.

¹³⁴ Это различие конкретизируется далее путем перечисления «сущностных характеристик науки», которые «preclude for all time the possibility of science yielding a Weltanschauung: (1) Multiplicity resulting from the division of labour is an essential part of science. 'Science' as an abstract, unitary phenomenon does not exist. ... A Weltanschauung, by contrast, demands unity, and there is no division of labour in its acquisition. (2) Science is involved in a limitless process; each of its result is only probable (doxa and not episteme) and always subject to correction by new experiments. Weltanschauung wants to incorporate in its convictions something evident and uncontroversial... self-evident a priori knowledge which is... fundamentally different from 'belief' of the revealed truth of religion; ... is holistic view of the world that reproduces the eternal structures forms of the world» [Scheler 1989, 88].

пиальным образом и дефинитивно не задействована. Такое квазиобъективное мировоззрение характеризует холизм или «вечные структурные формы мира». Напротив, современная наука выступает полной противоположностью такому холизму и в своем дисциплинарном членении, по Шелеру, «принципиально множественна».

Но эта ее научная «свобода от ценностей мировоззрения» обосновывается Риккертом по-другому. Если у Вебера ценности вступают в неразрешимую борьбу друг с другом и не способны к образованию когерентной системы или иерархии, поскольку лишены объективного базиса, то Шелер, напротив, полагает мировоззрения чем-то самоочевидным и структурно единым. Наука же свободна от этих самоочевидных ценностей, поскольку «...voluntary disregards all values... all particular objectives of divine or human will in order to preserve its own object. ... it investigates the world as if there existed no free individuals or causes»¹³⁵.

Бытие науки, лучше сказать, ее локацию, Шелер связывает не с «бытием человека» («антропоцентричным миром естественного мировоззрения») и не с «абсолютной экзистенцией» объективного мира как такового, данного в мировоззрении, а неким промежуточным бытием – неким «центром витальной чувственности», из которого можно двигаться в направлении определенных регионов внешнего мира и контролировать его, попросту говоря, в направлении тех мест (внутри, вверх, под землю), куда можно смотреть, двигаться, слышать, и, как следствие, их контролировать. Эти сенсорные и моторные способности (результатирующие не из «человеческой организации», а как бы из самих объективных возможностей и ресурсов наблюдения») и обеспечивает «сверхнормальную объективность» и «general validity» науки, принудительность ее наблюдений, независимо от «культуры, нации, расы или личностных предрасположенностей». Такая «сверхнормальная» объективность существенно отлична от принудительности и квазиобъективности мировоззрения.

Итак, Вебер, с точки зрения Шелера, ошибается во второй стороне своей дилеммы. Не субъективное представление ценности противостоит истинности, а некое личностное начало (философа-метафизика, политика, мудреца), несводимое к субъективности. И только это «личностная форма познания» может генерировать «тотальность мира» и «получать доступ к абсолютному уровню экзистенции вещей». Другими словами, в каком-то смысле мировоззрение еще более необходимо и объективно, чем множество разрозненных научных дисциплин с их «общей значимостью», не способной, однако, сгенерировать сколь-нибудь целостную картину мира. «Только относительно истинное может быть общезначимым», утверждает Шелер, а «абсолютная истина и абсолютное благо даны только как истина и благо отдельного индивида» и «превосходят как духовная суперструктура» всякое притязание науки на «общезначимость».

В этом смысле Шелеру удастся ответить Калеру, найти ответственную инстанцию, которая будет отвечать за построение органически-целостной картины мира. Правда, отвечать за это будет не наука, а философия. Итак, Шелер не принимает позитивистское отклонение Вебером всякой философии, но резервирует

¹³⁵ Scheler M. *Sociology and the Study and Formulation of Weltanschauung*. In: Lassman P., Volody I. *Max Weber's Science as a Vocation*. London, 1989. P. 88.

за ней функцию изучения мировоззрений и судебские функции выбора наилучшего.

Карл Лёвит: объективное тоже субъективно

Карл Лёвит в своей критике Вебера сосредотачивается на тезисе о смысле науки в условиях научного прогресса, его разочаровывающего и демотивирующего воздействия на современного ученого. Этот вопрос К. Лёвит называет философским и тем самым словно «спасает» отвергнутую Вебером философию [Levit 1989, 140].

Но Лёвит, в отличие от Шелера, сохраняя веберовскую дистинкцию в целостности и, следуя концепту понимающей социологии, реконструирует субъективный мотив и импульс самого Вебера. Это позволяет обосновать тезис о субъективном источнике объективного знания. Так, пафос Вебера, по Лёвиту, имеет своим источником некое субъективное переживание двух обстоятельств. Во-первых, веберовскую разочарованность в том, что суждения ценности утратили свою – коренящуюся в традиции – мировоззренческую принудительность и необходимость и стали делом свободного выбора индивида и его решением. И, во-вторых, его разочарование тем обстоятельством, что наука-де не способна стать таковым фундаментом для притязающих на абсолютный смысл суждений.

Анализируя веберовскую идею ценностного фундамента самой науки (ее открытости, ценностную свободу), Лёвит указывает на экстранаучный характер данных критериев, определяющих первопринципы функционирования науки (объективность, саморефлексивность, логическая непротиворечивость). Но ведь и они и сами требуют научного анализа и теоретического осмысления. Однако у этих первопринципов нет какого-то самоочевидного или онтологического приоритета, все они – суть производные от соответствующих различий (объективность/субъективность, рефлексивность/автоматизм и т. д.) и в этом смысле представляют те или иные «другие стороны» соответствующих противоположностей. И значит, не могут доказываться или обосновываться научно по аналогии с эмпирическими фактами или генерализациями. Они – тоже ценности. Поэтому-то объективность научного знания – парадоксальным образом – выводится Лёвитом из субъективности¹³⁶, что весьма напоминает принцип симметрии Д. Блура.

Лёвит – в прямую противоположность Шелеру – приписывает Веберу идею и возможность подмены другой стороны его ключевой дистинкции, а именно – объективного знания, на некую противоположную. «Crossing» осуществляется здесь противоположным образом: и объективная истинность, по мнению Лёвита (в его интерпретации Вебера), в свою очередь, базируется на неких субъективных ценностях. Впрочем, это не сближает дифференцирующуюся науку с ценностно-фундированными религией или искусством. Критерий демаркации – это способность к саморефлексивному прояснению своих ценностных предпосылок и принципов¹³⁷.

¹³⁶ В качестве обоснования Лёвит цитирует другую работу Вебера [Weber 1904]: «So-called objectivity rests on one foundation and one alone, namely, the ordering of reality which is given according to certain subjective categories – subjective in the specific sense that they represent the presupposition on which our knowledge is based, ... a preconception of the value of the truth».

¹³⁷ «...yet it can certainly demonstrate what is logically possible to desire... given certain specific means and a certain preordained goal; it makes it possible to *know* what it is we actually *desire*» [Levit 1989, 147]. Правда, это ставит проблему,

Заключение

Возможен ли перевод концепта науки Вебера на язык современной социальной теории науки? Соизмерима ли веберовская концепция «современной науки» с бытующими ныне «современными подходами» в социальной философии науки? Или веберовский концепт современности и сам уже утратил само это свойство и, значит, подтверждает веберовский принцип временного релятивизма научных истин? Можем ли мы в этом случае перевести понятия Вебера на современный язык, скажем, инкорпорировать веберовские идеи в системно-коммуникативную философию науки, без чрезмерной потери их содержания в соответствии с обобщенным принципом корреспонденции Н. Бора?

Представляется, что в первую очередь в современной социальной философии науки сохраняет свое значение принципиальная идея «сепарация знания и действия» как основание коммуникативной выделенности науки. Если научные коммуникации мы понимаем как действия (= сообщения), стилизующиеся под переживания или созерцательную активность, то концепт понимающей социологии действия можно рассматривать как приближение к коммуникативной (социальной) теории науки. Другими словами, научная коммуникация предполагает такие действия, которые лишь в том случае могут подсоединяться к действиям предшествующим и образовывать коммуникативную систему науки, если причины этих действий «исчисляются» участниками коммуникации особым образом: атрибутируются исключительно переживаниям внешнего мира, а автономная «воля к действию» полагается как недопустимая в рамках научного дискурса, как идеологически обусловленная, профит-ориентированная и т. д.

Мы можем говорить о такой стилизации научной коммуникации как особом «алгоритме атрибуции причин».

Если мы готовы принять эти предпосылки «корреспонденции» теорий, то находит объяснение общая для Вебера и современных теоретиков (Лумана, Мертона, Полани и др.) эмпирическая констатация: наука «хочет» выглядеть «незапятнанной» посторонними причинами и мотивами, ценностями, «последними целями» и дистанцируется от таких импактов как от «идеологий». Этот аргумент «чистоты науки» отчасти воспроизводит архетип катарсиса мудреца, который уже своим праведным «образом жизни» гарантирует истину своего высказывания. Так, и Вебер утверждает этот идеал ученого уже своим собственным образом ученого-аскета¹³⁸ («внутринаучная аскеза») и, конечно, тем «образом ученого», который он рисует в своей работе о науке.

«Человек знания» эксплицитно заявляет об отсутствии у него «конечных целей» и этим противопоставляет себя «человеку действий». И здесь мы можем признать правоту Риккерта в том, что подобный идеал все-таки допустимо рассматривать и как некую латентную апелляцию человека знания к человеку дей-

должна ли научная коммуникация исключаться из той «ужасной борьбы», которую провоцируют ценности (Карл Шмитт «Тирания ценностей» цит.), и почему она должна быть исключена, если ценности конститутивны для первопринципов науки и, более того, должны рефлексироваться и критиковаться, а значит, «борьба всех против всех» ведется не только между научными и другими сообществами, но и внутри сообщества. И если наука нашла в себе ресурс институционализации и даже операционализации внутренних конфликтов (не менее страстных и разочаровывающих, чем в иных областях), то почему этот стандарт толерантности к другим ценностям не может быть воспринят в других сообществах?

¹³⁸ Об этой аскетической метаморфозе Вебера, произошедшей с ним после болезни, с некоторой трагической иронией свидетельствует Риккерт.

ствия, ученого, в особенности теоретика общества, к общественному деятелю: «используй мои знания, они чисты, ведь за ними нет воли к действию, нет тайных помыслов, они представляют мир, не каким он должен быть по моему желанию, а в соответствии с тем, каков он есть. И при этом ты можешь не бояться меня как политического конкурента, ведь у меня нет политических амбиций».

Конечно, Вебер обречен как-то разрешать парадокс, ведь, с его собственной точки зрения, «человек знания» не может утверждать о том, каков мир сам по себе, в силу тех временных ограничений, которые сам Вебер накладывает на все научные достижения, и социальная теория не должна быть здесь исключением. Другими словами, притязание человека знания на «объективность» в этом смысле ничем не лучше «идеологических высказываний» «человека действия» (политика), призванных реализовать его волю в соответствии с ценностно-обусловленными конечными целями и представлениями о «лучшем мире» и «лучшем будущем». Вебер попадает в ту же ловушку, что и Поппер с фатальным для его концепта вопросом: а чем же «выжившие» и успешно проходящие тесты на фальсификацию теории лучше отклоненных и ошибочных, если и в отношении первых не являются валидными никакие индуктивно добываемые гарантии истинности? Может ли некая модернизированная (например, «системно-коммуникативная») теория избежать этой ловушки, связанной с равной «наблюдательной ограниченностью» как людей знания, так и людей действия, и сохранить дифференциалистские постулаты Вебера?

На наш взгляд, это возможно, если отказаться от веберовского концепта обособления научной коммуникации как системно-динамической последовательности сменяющих друг друга знаний, «созерцаний» или «переживаний объективного мира», как и от того, чтобы инклюзию в науку рассматривать через призму соответствия этосу ученого или «людей знания» (специфической аскезы, отрешенности от мира, пассивности и отрицания политического активизма, и т. д.). Система научной коммуникации не может рассматриваться как состоящая из специфического типа индивидов, но лишь «стилизуется» (Луман Н.) под последовательность переживаний, импульсом которых является исключительно «внешний мир». Наука выделена из общества, т. к. в своих коммуникативных актах (сопряжениях «действие-переживание») интерпретирует себя как процесс взаимоподтверждения одних переживаний другими переживаниями, но при этом действие как конститутивный для науки акт научного высказывания, конечно, из научной коммуникации никуда не исчезает. В этом смысле ученый действительно сохраняет свойства «человека действия», который своими действиями-высказываниями лишь приписывает другим действиям-высказываниям их некий взаимоуверенный переживательно-созерцательный характер (знания).

Другими словами, веберовская дистинкция «истина/ценность» (= переживание/действие) как конститутивная для всех – в ее разных конstellациях – обособляющихся коммуникаций (в терминах Риккерта, «человек действия / человек знания») сохраняет свое значение в системно-коммуникативной теории науки, но допускает кроссинг, т. е. переход этой границы, ведь именно в своей последней ипостаси подразумевает единство связанных сторон. В этом смысле и политика может и должна, по Веберу, «быть деловой» и «отвечать сути вещей» [Филиппов 2017, 36], т. е. реализовать не проективно-перспективную (во-

левою), но предметную перспективу именно научного исследования. А с другой стороны, наука «как страсть» выказывает аналогии с ценностно-рациональным и аффективным идеально-типическим характером политического активизма¹³⁹.

Конечно, мы пока не ответили на вопрос о том, насколько реализовались тенденции, сформулированные Вебером, как и о том, оправдался ли веберовский диагноз в течение ста прошедших лет, и если да, то в каких частях. В частности, видимо, не оправдались прогнозы о том, что судьба науки связана с бесконечной внутренней дифференциацией, не допускающей создания специализированных междисциплинарных штудий; как и о том, что пифагорейский идеал поиска «подлинного бытия» окончательно исчезнет из реестра мотиваций ученого. (Так, в исследовании частички Бога в бозоне Хиггса ученый эксплицитно претендует на «раскрывание» замысла бога и вовсе не склонен понимать науку как «Gottfremde Macht» в смысле Вебера). Видимо, должно измениться и представление о том, что различие «ценность/истинность» должно оставаться ключевым и единственным демаркатором науки и не-науки. Так, новые концептуализации современной науки (коммуникативный проект науки Н. Лумана, СТС и социальная эпистемология в лице ее «Сильной программы») показывают фактическое схождение полюсов этой дистинкции, по крайней мере, на некоторых уровнях наблюдения. Впрочем, это не отменяет ее «регулятивного» и «коммуникативного» системного смысла.

Системно-коммуникативная интерпретация науки в контексте классических эпистемологических проблем

Макс Вебер – явным или неявным образом – подверг радикальной критике основания староевропейской семантики в том, что касается ее притязаний на раскрывание истинного бытия. Конечно, это не было осуществлено в систематической форме и не получило разработанного системно-коммуникативного оформления. Тем не менее, в конце предыдущей главы мы указали на возможности переинтерпретировать веберовский концепт в системно-коммуникативном ключе. Теперь же рассмотрим системно-коммуникативный подход к анализу науки, как он в систематической форме разрабатывался Никласом Луманом. Однако мы не будем ограничиваться реконструкцией концепции науки Лумана. Мы позволим себе собственную интерпретацию, представим не проговариваемый Луманом контекст, а также привлечем собственный иллюстративный материал, поскольку сам Луман не балует читателя наглядными подтверждениями своей теории. Такая реконструкция, безусловно, потребует и существенного сокращения, упрощения, а кое-где и тривиализации, и в целом – крайне избирательного отношения к этой в высшей степени комплексной теории.

Об автономии науки в коммуникативном смысле

Наука – это коммуникативная система¹⁴⁰, т. е. внутренне закрытая последовательность сообщений (т. е. действий), распределяемых по своему смыслу или

¹³⁹ Об этом структурно-сопрягающем смысле *страсти* пишет Филиппов А.В.: «подвижник научного труда больше всего схож, по Веберу, с харизматичным политиком. Политик, также отрицая себя, за счет этого получает власть мобилизовать массы, тем самым являясь «практическим» аналогом ученого-теоретика» [Филлипов 2007].

значению на истинные или ложные, что и гарантирует системную замкнутость. И хотя она состоит из сообщений (действий), их смысл определяется интересубъективно – достоверяемыми переживаниями (восприятиями) внешней реальности. Поэтому система демонстрирует свойства открытой системы.

Критерий подлинной науки – ее автономия. Но автономия науки отличается от обособленности политических коммуникаций, замкнутых, прежде всего, на основе их самореференциальности. Замкнутость и автономия политики определяется тем, что при принятии политических решений в большей степени учитываются не столько «своеобразие текущего момента» и актуальные внешние вызовы извне, сколько принятые ранее решения, утвержденные политические программы партий, находящихся у власти. Напротив, открытый характер политики обеспечивается сменой программ и партий, ведь у пришедшей к власти оппозиции, прежде не задействованной в машинерии текущих решений по воплощению предыдущих программных решений, было время и возможность аккумуляции импульсы из внешнего мира политики.

Автономия науки иного рода; она не совпадает с ее самореференциальностью во временном измерении, т. е. простым подсоединением одной научной операции к другой. Она автономна, поскольку она рефлексивна, т. е. фиксирует тот факт, что является и автономной, и зависимой, и инореференциальной, и самореференциальной. Ведь в науке хорошо известен тот факт (!), что ее внешнее состояние (факты) и есть ее внутренний способ (теоретический и понятийный) представления этого внешнего мира. Одновременно она исходит из такого понятия (!) науки, согласно которому ее понятия (внутреннее состояние наук) есть реакция и переработка внешних раздражителей и их фиксаций (факты).

Проще говоря, тот факт, что факты суть микротеоории и теоретически нагружены, хорошо известен и оформлен в понятия и даже теории (см. теории познания Дюгема и Куайна). Но и в самой практикующей науке факты и теории (внешние и внутренние условия коммуникации) взаимоопределяемы и рефлексивно формулируются в самих исследованиях. Напротив, в политической коммуникации внутренние условия ее функционирования (т. е. правовые и конституционные основы политики) не так легко меняются вслед за политической конъюнктурой. В этом смысле политика не способна легко различать между самореференцией и инореференцией. На то, что она видит, она всегда смотрит глазами начальства, а значит, не видит того, что оно не видит.

О фундаменте науки, наблюдении второго порядка и перспективах социальной теории

Но наука автономна не только в силу своих способностей к особому – рефлексивному – наблюдению, но и в силу особого устройства ее фундамента, кото-

¹⁴⁰ Коммуникация понимается Луманом как единство сообщения (= действия) Другого и реакции на него в виде извлечения информации (в процессе переживания Эго данного сообщения), приводящее к пониманию, т. е. к осознанию того, что за сообщением стоит нечто не являющееся сообщением, но несущее какой-то смысл для Эго. Разные сочетания действий и переживаний задают все типы известных коммуникаций: коммуникации, стилизованные под связь действий (действие Другого, вызывающее действие Эго, без учета его переживаний), образуют элементы политической системы коммуникаций. Коммуникации, стилизованные под связь действий и переживаний (действие художника генерирует переживания Эго, без того, чтобы он действовал в ответ), образуют элементы коммуникативной системы искусства, и т. д. (Луман Н. Общество общества. Том второй. М., 2011).

рый сохраняет свою однородность, несмотря на то, что наука детерминирована самыми разными факторами и определена в трех вышеозначенных измерениях.

Ее обоснование сохраняет некую «абсолютную симметричность» всех ее детерминационных оснований. Неважно, социальное ли влияние, психическая предрасположенность или научный интерес, очевидные аксиоматические основания, государственное финансирование или карьерные перспективы рассматриваются как источники, мотивации или импульсы научных сообщений, – в любом случае ко всем этим, тем или иным образом порожденным, сообщениям должен быть применен код «истина/ложь», который словно «снимает» экстерналистский источник научных сообщений, подводя их под общий – внутринаучный – знаменатель.

Наука, как уже говорилось, четко различает между своим внешним миром (фактами) и самой собой (понятиями, теориями, методами). И в то же время наука отдает себе отчет в том, что всякий факт представляет собой мини-теорию¹⁴¹, т. е. определен лишь в контексте некоторой теории. Поэтому различие «научная система / внешний мир» производится внутри науки, а не определено внешними обстоятельствами, которые бы заставляли проводить это различие так, а не иначе. Но почему за фактами в этом случае все-таки приходится закреплять значение проверяющих инстанций теорий? Ведь в таком случае они оказываются в каком-то смысле «более необходимыми» или более реальными.

Это нарушение симметрии Луман разрешает через различие разнопорядковых наблюдений. В наблюдении первого порядка наблюдатель (практикующий ученый) не различает между своим знанием фактов и миром, между фактами как событиями во внешнем мире, и фактами – научными фиксациями этих событий. Все, что он знает, и есть мир, все знание оказывается истинным (коррелятивным миру) знанием. Лишь в наблюдении второго порядка неожиданно обнаруживается, что не все в знании соответствует миру (например, некоторые теоретические переменные не обнаруживают коррелятов в мире¹⁴²), что не всякое знание является истинным, и значит, и знание того, как обстоят дела на самом деле, отлично от этого «на самом деле».

Отсюда проистекают (как минимум) три модуса возможных наблюдательных констатаций: «А есть»; «я знаю, что А есть»; «истинно, что (я знаю, что) А есть». В каждом следующем высказывании добавляется некоторая дополнительная наблюдательная перспектива.

При этом наблюдение второго порядка реализуется в науке как минимум дважды. В первом случае оно имеет место при определении действительной ценности научного результата, когда одни исследователи наблюдают то, что

¹⁴¹ Стандартная иллюстрация: проверка Карлом Гауссом фактической суммы углов большого треугольника, образуемого тремя соседними горными вершинами посредством лучей, испускаемых из каждой из них. Зафиксированный *факт* (полученная по итогам измерений сумма углов треугольника, равная 180 градусам) должен был в этом случае подтвердить неискривленность физического пространства и верность евклидовой геометрии. Однако сам этот факт предполагал именно *теоретическое* допущение и был определен в контексте теории – тем обстоятельством, что прямая является кратчайшим расстоянием между точками и луч распространяется по прямой.

¹⁴² Скажем, такая переменная, как индивидуальные скорости молекул, присутствует в молекулярно-кинетической теории и учитывается в переменных средней квадратичной скорости движения молекул и средней кинетической энергии (температуры). Но ведь у переменных индивидуальных скоростей нет никаких коррелятов в измеряемой реальности, никакого эмпирического значения. См.: *Campbell N.R. Foundations of Science*. New York, 1957. P. 150.

как нечто «то же самое» наблюдают другие (в повторении экспериментов в других лабораториях, в экспертной оценке научных публикаций, на диссоветах, на научных конференциях и т. д.). Во втором случае наблюдение второго порядка надстраивается над обоими первыми наблюдениями: когда обособляется особая подсистема в научной системе с функцией рефлексии (эпистемология, теория познания), способная генерировать критерии оценки «лучших теорий», причем и сами теории второго порядка могут и должны оцениваться с точки зрения провозглашаемых ими критериев¹⁴³. Для естествознания же такого рода иерархичность наблюдательных инстанций не представляет особой проблемы, поскольку все они, являясь также и первопорядковыми наблюдениями, в конечном счете оказываются равноправными, и никто из них не претендует на статус суперкомпетентного внешнего наблюдателя.

Конечно, наука всегда оценивается и с точки зрения ее внешнего наблюдения: политики, церкви, хозяйства, массмедиа и т. д. Но все они не обладают компетенциями, сравнимыми с научным наблюдением. Если наука не может наблюдаться наблюдателем, достаточно компетентным в своих способностях адекватно фиксировать научную комплексность, приходится учитывать возможности внутреннего наблюдения, искать внутренние компетентные инстанции, способные оценить научную теорию с собственных дисциплинарных перспектив. Именно это обстоятельство требует междисциплинарных исследований.

Таким внутренним второпорядковым наблюдателем науки выступает социальная теория (и, конечно, сама теория коммуникативных систем). Но наблюдательные перспективы науки как таковой и социальной теории и идентичны, и различны. Социальная теория, конечно, и сама остается наукой, но, в отличие от классической науки, вынужденно имеет дело с некими «неразложимыми» очевидностями – ценностями, нормами, смыслами, институтами. Ведь она, странным образом, должна оставаться понятной и своему объекту – обществу, а не только ученым, и ее цель состоит в объяснении и описании оснований социального порядка и человеческого общежития.

Между тем стандартная наука не может не осуществлять аналитический метод: осуществляет деконструкции и редукции очевидностей к ненаблюдаемым реалиям, но, главное, подвергает сомнению любые позитивные суждения по поводу своего предмета. Этот метод требует от науки образовывать особый мир, существенно отличный от повседневных человекоразмерных реалий. Поэтому социальная теория оказывается между Сциллой сохранения базисных очевидностей – фундаментальных «объединяющих сообщества» смыслов действий (ведь она ведет речь о хорошо и широко известных обстоятельствах), но, претендуя на научность, вынуждена их редуцировать, перекомбинировать, релятивировать, подменять другими, столь же возможными, рассматривать их как

¹⁴³ См.: требования «нормативного натурализма» Отто Нейрата о том, что никакое множество суждений не может иметь статуса первичных «надэмпирических» («supraempirical») оснований, но должно входить в корпус равноправных суждений и, в свою очередь, требовать обоснований (Нейрат О. Протокольные предложения // Журнал «Erkenntnis» («Познание»). Избранное. М., 2006. С. 310–319). Эту идею, как и общий принцип «эпистемологического натурализма» (Куайн У. Две догмы эмпиризма), разделяет Н. Луман, полагая, что рефлексивные суждения наблюдателя второго порядка (социолога, психолога, философа науки) в свою очередь (применительно к перечисленным наблюдателям) остаются наблюдением первого порядка, т. е. остаются равноправными «операциями системы науки».

переменные, а не константы, искать их функциональные эквиваленты или альтернативы¹⁴⁴.

Здесь мы сталкиваемся с некоторым вариантом парадокса фальсификационизма К. Поппера, если его применять в социальной теории. С одной стороны, неограниченная научная критика и открытость научного дискурса к критике легитимизируют такие же установки в рамках воспроизводящего науку политического либерального порядка. Но ведь это предполагает релятивизм в отношении считающихся самоочевидными и абсолютными по своему значению человеческих прав и свобод и прочих либеральных ценностей. Всякий отказ от догматизма (утверждения тех или иных фундаментальных оснований науки) предполагает перенос процесса фальсификации и на утверждения об основаниях общественного устройства, а значит – и сами базовые демократические и ценностные основания релятивируются.

Другими словами, если наука (в форме социальной теории), основываясь на антидогматических установках, желает стать фундаментом или ориентиром общества, то она, одновременно, должна требовать и признания того, что у общества вообще нет фундамента или каких-то надежных ориентиров.

Один из способов разрешения этого противоречия предлагает системная теория общества, ведь она поступает как настоящая наука, постулирует то, что, собственно, от прямого наблюдения ускользает, фиксирует некое слепое пятно в том числе и научного типа наблюдений. Собственно, сам код истинного/ложного является таким «слепым пятном» в сфере научной повседневности и практикующих ученых не заботит.

Парадокс Лумана: единство автономии и гетерономии науки

Но как наука может быть автономной, если она в своих суждениях так или иначе зависит от внешнего мира – определена своим предметом (предметным измерением), вынуждена ему следовать в своих описаниях? Источники научной автономии (*Selbstgesetzgebung*) обнаруживаются в социальном измерении, ведь наука не может избавиться от экстерналистских эффектов¹⁴⁵, и эти экспансии из внешнего мира науки действительно определяют многие внутренние структурные ориентиры научного исследования: выбор тем (тема должна быть компактной, иначе проект не поддержат), инструментов (инструменты должны укладываться в смету), методов и т. д. Но они не определяют вопрос истинности/ложности научных предложений, с которым эти внешние воздействия на науку справиться не в состоянии.

¹⁴⁴ Мертон Р.К. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль. М., 1996

¹⁴⁵ «Финансированием науки, безусловно, можно заниматься извне, свобода мнений может регламентироваться политически, операции системы могут допускать их эффективные ограничения и даже – в пограничном случае – полное их запрещение. Задействованные лица могут привносить собственные интересы, к примеру – интересы карьеры или репутации. Задействованные организации могут смещать приоритеты с исследования в направлении на учебный процесс и наоборот. «Общественное мнение» и – на заднем плане – массмедиа способны фаворизировать определенные исследовательские темы и отказывать другим темам в праве на общественный резонанс. Все это вполне может быть очень важным для успеха науки (как бы его ни измерять), но ничего не меняет в том, что наука, если она осуществляет свои операции как система, оперирует автономно; ведь ни в каком ином месте, кроме науки, не может сформироваться никаких специфических уверенностей в том, что что-то является истинным, а что-то – ложным», – пишет Н. Луман (*Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellschaft. Suhrkamp, 1992. S. 267*).

В этом смысле то, что делает науку зависимой от внешнего мира (истинность суждения о предмете), как раз и делает ее независимой (автономной) от внешнего мира. Социоэпистемологический тезис состоял бы тогда не в том, что те или иные социальные факторы определяют значения научных суждений (истинность и ложность), а в том, что значение научных суждений (истинность и ложность) определяет автономный характер научной коммуникации, ее дифференцированный характер.

И именно этот специфический характер, не в последнюю очередь, проявляется в ее способностях – разлагать и перекомбинировать свои содержания – факты и понятия (= инореференции и самореференции). Это в какой-то степени разрешает парадокс одновременной зависимости и независимости от внешнего мира (автономии и гетерономии). Ведь наука способна на метареференцию – понимает, что инореференция и самореференция образуют парадоксальное единство. Ученые осознают, что понятия науки «превращают» контингентный мир в нечто устойчивое, а факты – это внутренние представления (микротеории) внешнего мира. Сам мир тогда предстает как совокупность свободно сцепленных элементов, на которую наука накладывает жесткие сцепления. В том смысле, что может в качестве объектов выделять то, что само по себе (вне наблюдательных перспектив тех или иных дисциплин) объективными свойствами бы не обладало. Очевидно, например, что в самом мире нет разделения на физические и химические объекты, лишь сами соответствующие дисциплины «высвечивают» собственные предметные области интереса.

Но не только сам тип научного кодирования выделяет науку из ее внешнего мира и в контексте других – хозяйственных, политических и иных – типов коммуникаций. Речь идет и о других структурных особенностях этой коммуникативной системы, в особенности об особом – рефлексивном – характере научного знания.

Стандартное понимание знания как обоснованного и истинного убеждения не учитывало его исторические трансформации и оставалось чрезмерно универсальным. Системно-коммуникативная теория науки требует понимать знание в более узком, или собственном его смысле. Но такое знание появляется лишь тогда, когда и процедура обоснования знания, в свою очередь, превращается в знание!

Другими словами – подлинное знание начинается там, где наука оказывается рефлексивной, самообращенной, ретроспективной (рекурсивной), т. е. осознанно обращается к своим основаниям, к процедуре самоуверения. Речь здесь идет все о том же самом единстве инореференции и самореференции (описания предмета научного интереса и самоописания теории). В этом единстве и состоит рефлексия. (Что несколько напоминает превращение самореференции в инореференции в системе религиозных коммуникаций, в которой мир социальных связей проецируется на сферу потустороннего.) И теперь, когда процедура обоснования знания, состоящая в особом рода исследованиях об исследованиях, и сама понимается как знание, ее и саму, эту процедуру, можно – инореференциально – отнести к познаваемой реальности, или предмету исследования науки. И благодаря этой инореференциальной перспективе наука приобретает и одновременно утрачивает свою автономность.

Другими словами, наука полностью автономна, если она полностью рефлексивна. Если же еще не проводятся исследования об исследовании (например, по вопросу, действительно ли военные – лучшие ученые в военной области), то еще нельзя утверждать о полной дифференциации науки. Таким процедурам удостоверения знания посвящена специальная глава «Правильные основания науки».

Правильные основания науки

Ключевая проблема любой теоретизации состоит в вопросах о началах. С чего следует начинать конструирование теории? Что лежит в основе предмета теоретизации? Является ли такое начинание произвольным, или все-таки сам предмет определяет последовательность шагов по реконструкции его теоретического описания? С каких понятий и слов нужно начинать исследование? Со свойств предметов или свойств наблюдателя, наблюдающего этот предмет? С сущностей или самих вещей? Начинать ли с родо-видовых определений классической логики, где одно понятие включается в другое, или следует использовать логику взаимно «эксклудирующих» понятий, т. е. диалектику?

Мы можем начинать исследование с рассмотрения стандартных свойств, или предикатов, например, с различия синего и зеленого. Но ведь любая предикация всегда означает очень много предикаций¹⁴⁶. Решение этой проблемы элементарных предметных оснований науки могло состоять в ограничении процесса предикации областью «исторически укоренившихся предикатов» («entrenched predicats»), т. е. теми свойствами, которые образовали «исторические траектории» («track records» в терминологии Н. Гудмена)¹⁴⁷.

Луман занимает в этой дискуссии об основаниях особую позицию. С его точки зрения и следуя конструктивистской методологии¹⁴⁸, в качестве таких начал-оснований исследования следует использовать различия, причем такие различия, в которые встроено некое предпочтение. Например, различие мужчин и женщин само по себе еще не указывает на предпочтения, между тем в различии системы и внешнего мира таковое предполагается. Ведь сама система и есть фактическое различие, или, лучше сказать, различие внешнего мира и системы.

Очевидно, что утверждение о том, что мужчина – это различие мужчины и женщины или что именно он создает это различие, звучало бы странно. Если же признавать встроенный характер предпочтения в пользу мужчины в различии мужчин и женщин, то следствием этого было бы признание контингентности данного различия, что было бы опасно для самой «мужской» идентичности. Ведь в этом случае оно предстает лишь некоторой собственной, но не предсуществующей конструкцией.

¹⁴⁶ Ведь свойству «быть зеленым» логически эквивалентно свойство «зелесинее» (= «зеленое под наблюдением и синее, если не наблюдается»). Дискуссию об этом см.: Гудмен Н. Новая загадка индукции // Гудмен Н. Факт, фантазия и предсказания. Способы создания миров. Перевод с английского А. Л. Никифорова. М., 1992.

¹⁴⁷ Гудмен Н. Новая загадка индукции / Гудмен Н. Факт, фантазия и предсказания. Способы создания миров. Перевод с английского А. Л. Никифорова. М., 1992. С. 73–74.

¹⁴⁸ Прежде всего, следуя «инструкции» Спенсера-Брауна «draw a distinction» и идее Грегори Бейтсона «distinction that makes a distinction».

Напротив, для различения системы и внешнего мира встроенность предпочтения в пользу внутреннего (системного) фокуса различения «система / внешний мир» неопасна, ведь сама система – тем, что она воспроизводится, – и создает (= обсуждает) себе свой внешний мир как такой предмет своего обсуждения. Последний является внешним лишь номинально, ведь он есть результат его информационной переработки в операциях той или иной системы (ментальных актах психики, коммуникациях социальной системы, восприятии, пищеварении и т. д.). Этот мир предстает дефинитивно более сложным, чем то, что в системе коммуникаций (каковой является наука) перерабатывается в виде мира (как тема коммуникации). Отсюда триединый порядок начальных оснований исследования: комплексность-различие-понятие.

Различение выступает средством редукции комплексности внешнего мира, в результате которого единство последнего (с точки зрения системы) предстает в качестве понятия. Понятие есть наблюдательное средство конструировать не только единство вещей внешнего мира, но и единство самой науки, когда формулируют понятие самого понятия.

Луман не считает чем-то неприемлемым понятийное (и, как следствие, круговое) определение понятия, в отличие, скажем, от У. Куайна, который полагал, что понятие синонимии не может быть прояснено, поскольку в определении понятия синонимии уже применяются синонимы¹⁴⁹. Ведь здесь возникает парадокс: сначала нужно прояснить понятие, прежде чем его правильно применять! Но прояснение понятия предполагает его – круговое и недопустимое, с точки зрения Куайна, – применение. Для Лумана круговое обоснование понятий является неизбежным и продуктивным. Так, и понятие системы определяется через понятие системы, понимаемой как процесс различения системы и внешнего мира.

Однако для определения правильности «оснований науки» (как и для определения истины, см. выше), не могут быть применены традиционные критерии соответствия, корреспондентности, адекватности. Как вообще может функционировать этот критерий, если смысл научных операций состоит в разложении данных, их перекомбинировании в поисках и конструировании инноваций? Таковым критерием «правильных оснований науки» может служить когерентность знания в стиле холизма П. Дюгема и У. Куайна. Но и этот критерий когерентности недостаточен. Ведь он и сам не должен пониматься как абсолютное значение, но должен допускать свой анализ и перекомбинирование в новые инновативные критерии. Любой критерий для выделения оснований науки Луман предлагает связывать с комплексностью (комплексностью науки как ответом на комплексность внешнего мира). Очевидно, что и сам этот критерий правильных оснований науки становится правильным основанием науки.

В системно-коммуникативной теории науки комплексность – это критерий отбора базовых единиц (понятий) и комплексных единиц науки (теорий). Та теория должна оцениваться как «лучшая», которая использует понятия, благодаря которым теории создают себе больший наблюдательный обзор¹⁵⁰.

¹⁴⁹ «...дефиниция опирается на синонимию, вместо того чтобы сначала объяснить ее», – пишет Куайн, отрицая тем самым различие аналитических (синонимийных) и синтетических суждений (Куайн У. Слово и объект. М., 2000).

¹⁵⁰ Здесь, очевидно, угадывается куновский критерий акцептации теории «breadth of scope». Так, законы Ньютона

Так, и системно-коммуникативная теория науки видит и саму себя (а не только свой предмет) как свой предмет и, значит, отвечает критерию комплексности.

Спенсер-Браун начинает с «инструкции» «проводи различие» как первого основания построения своей логики форм. Но это различие – как инструмент и «слепое пятно» процесса конструирования – само никак не маркировано, ведь наблюдатели всегда сосредоточены на объектах наблюдения, но не на средствах этого наблюдения¹⁵¹. С каких же различий следует начинать? Как известно, «сначала было слово». Но какие различия здесь приоритетны? «Слов и вещей» или все-таки «начала и конца»? Как избавиться от произвола в запуске того или иного наблюдения (= обозначения посредством различий)? Ответ социолога: узнать, кто же (какая коммуникативная система) проводит различие и, как следствие, – обозначение¹⁵².

Понятие понятия: родовые и видовые свойства

В результате различий образуются понятия¹⁵³. При том что и понятие понятия требует своего различия: научные понятия должны быть отличены от слов, в отличие от последних, смысл понятий не требует контекста, в котором бы они получали свое определение¹⁵⁴; понятия, напротив, сами задают свой собственный контекст. При этом отношения понятий и слов воспроизводят дуальный характер самой науки, которая – благодаря собственному уникальному кодированию – является обособленной системой, но при этом все-таки остается системой общества.

Это макросоциологическое положение дел призвано объяснить то загадочное микросоциологическое обстоятельство, что естественный язык (т. е. слова, но не понятия) всегда в том или ином виде сохраняет свое присутствие в научных текстах, в том числе в – высокоформализованных – логических и математи-

оказались применимы и к движениям планет, и к приливам и отливам, и к движению маятника, и т. д. Но это же понятие комплексности включает и критерий «undesigned scope», т. е. то обстоятельство, что лучшая теория оказывается способной наблюдать и предсказывать явления и решать проблемные ситуации, которые изначально не рассматривались как цель и предмет теоретического объяснения. Так, нулевой результат эксперимента Майкельсона, обосновывавший теорию относительности и объяснявшийся ею, не был проблемной ситуацией, которую эта теория была призвана объяснить. Конечно, в первую очередь, такое понимание комплексности как критерия правильности теорий и методов Луман применяет прежде всего к теории коммуникативных систем, подтверждающейся в самых неожиданных сферах и объясняющей самую гетерогенную реальность: концептуализации истины могут находить аналогии в механизмах власти, денег, веры, любви, прекрасного и т. д.

¹⁵¹ Системы используют различия, но на базовом уровне наблюдения не рефлексуют их, ведь для этого понадобилось бы усложнение систем с отдифференциацией в них особого наблюдателя с функцией рефлексии инструментов системообразования. В науке таким наблюдателем ненаблюдаемых средств научного наблюдения (различия истины и лжи) является эпистемология, в политике – оппозиционные партии, в системе религии – теология, в искусстве – критика; организации лоббирования – в хозяйстве (разного рода «палаты промышленников и предпринимателей»).

¹⁵² Зададимся вопросом, как обозначить человека? В том или ином определении *человека* так или иначе задействуются инструменты из наблюдательной перспективы той или иной коммуникативной системы: обозначение человека как *смертного существа* указывает на использование религиозной дистинкции «смертное/бессмертное» («греховное/безгрешное», людей и ангелов и т. д.), но это же различие человека может уточняться через понятие человека, обремененного болезнями, что указывает на научное (медицинское) наблюдение средствами различия «болезнь/здоровье». При этом встроенная позитивная преференция в пользу одной из сторон различия (см. выше) в первом случае относится ко второму полюсу, а во втором – к первому.

¹⁵³ См. сноской выше – образование понятия человека посредством различий.

¹⁵⁴ Речь, очевидно, о том понятии слова, которое предложил Л. Витгенштейн в теории языковых игр (Витгенштейн Л. *Философские исследования*. М., 2011).

ческих исследованиях. Именно слова естественного языка, а не понятия, связывают науку с ее внутренним внешним миром – обществом в целом¹⁵⁵.

Но, помимо родовой функции понятий (отличить научные тексты от непонятийного использования языка), большее значение несет другая, более специфическая функция. Она состоит в том, чтобы регулировать область предложений, способных быть истинными. Именно понятия выступают главными условиями истинности, а вовсе не опыт, или сам предмет, или первичные опытные данные, представленные в виде разного рода протокольных предложений. Эта функция понятий, ограничивающая истинностные условия предложений науки и определяющая условия возможности истины (почти в кантовском смысле), и сама является еще одним элементарным основанием науки, которое Луман называется лимитацией. Все предложения науки должны быть ограничены с помощью вопроса о том, чего мы не можем знать.

Лимитация как функция коммуникативного запрета

Принцип лимитации обнаруживает свои функциональные аналогии (и тем самым поясняющую метафору) в других коммуникативных системах. Например, в экономике мы имеем дело с ограниченностью ресурсов и, как следствие, с конкуренцией. В политической системе взаимоотношения ветвей власти имеют конститутивное значение, как условие возможности коллективно-обязательных политических решений. В философии этот вопрос ставится применительно к условиям возможности познания. Мы можем что-то знать, поскольку знаем, что что-то знать не можем.

В науке принцип лимитации задает общую рамку возможности истинностных суждений. Речь, например, может идти о принципе ограничения скорости света как запрете на теоретизацию и физическое моделирование физических систем, движущихся быстрее скорости света. Все, кто не соблюдает этот принцип, исключаются из научного дискурса и не акцептируются как участники коммуникации. Законы термодинамики (принцип энтропии) ограничивают не только коммуникацию, но и практические попытки создания вечного двигателя, и тем самым оптимизируют ресурсы науки.

Посредством лимитаций генерируется память системы, в которую вводится – словно своеобразные табу – то, что запрещено к истинностному определению, но именно поэтому все-таки тематизируется и хранится в памяти системы. Речь снова идет о процедуре re-entry (повторного включения исключенного¹⁵⁶) как способе сохранить другую сторону различения, чтобы вообще мочь осуществлять различения со встроенными преференциями. Такая лимитация обеспечивает системность коммуницирования, облегчает подсоединение (выбор и акцептацию) научных предложений. Ведь без такой общей рамки (лимитации) возможностей подсоединения претендующих на истинность высказываний было бы слишком много.

¹⁵⁵ И вновь мы сталкиваемся с фигурой re-entry (Спенсер-Браун), «повторного вхождения» отличенного в то, что благодаря этому отличению было отличено. Различение (и единство) слов и понятий повторно вводится в ограниченную благодаря этому различению сферу науки.

¹⁵⁶ См. ссылку выше.

Вспомним старый парадокс ворона¹⁵⁷. Как лимитировать нам в этом случае поиски истины? Отправляться в поле в поисках птиц и лимитировать все остальные возможности исследования или практиковать орнитологию за письменным столом, рассматривая все остальные не черные предметы (ботинки, перчатки и т. д.)? Ответ, казалось бы, очевиден. Но возможность логически эквивалентной процедуры, вытесненной из научной практики посредством лимитации, говорит о многом. О том, например, что, как только вводится лимитация «ищи не черного ворона и только ворона», вводится и понятие мира – как необходимое следствие научных лимитаций, как горизонт лимитации, как совокупный мир всех черных и не черных объектов.

В этом смысле именно процедура лимитации порождает то, что можно назвать миром, а вовсе не мир сам по себе обладает свойством самоограничений, или лимитации. Лимитация – это некое внутрисистемное ограничение, накладываемое на массивы возможностей поведения и коммуникации. В своем самом широком понимании это принимает вид принципа двойной контингентности. Из этого вполне банального общекоммуникативного принципа¹⁵⁸ в рамках каждой коммуникативной подсистемы возникают его спецификации. В политике формулируется принцип всеобщего блага, ограничивающий произвол власти, в экономике ограничены возможности распределения ресурсов, в религии понятие Бога, предоставляя свободу воли, одновременно накладывает ограничения на его теологические интерпретации.

Лимитация как общее название специфических формул контингентности, собственно, и служит разделительной чертой между комплексностью самой системы и неопределенной сложностью, которую принято называть миром. Лимитация – это то состояние, в которое вступают системы, выстраивая свои отношения с так называемой реальностью. Вопрос лишь в определении того, кто же участвует в этой двойной контингенции. И ответ опять очевиден: теории и методы. Именно они в их отношениях к реальности до некоторой степени формулируются произвольно, но, «встречаясь друг с другом», лимитируют собственные и чужие ресурсы и возможности наблюдения этой реальности.

Методы как медиа, теории как формы

Ключевое различие науки, дистинкция «теории/методы», обеспечивает главную функцию научной системы – редукцию наукой комплексности внешнего мира. Доступ к реальности внешнего мира опосредован взаимной лимитацией, которую теории и методы накладывают друг на друга.

Для интерпретации этих отношений Луман привлекает теорию медиа восприятия¹⁵⁹ Фрица Хайдера. Медиа определяются как совокупность сво-

¹⁵⁷ Гипотеза «все вороны черные» эквивалентна предложению «или ворон, или не черный». Это означает, что для обоснования или фальсификации первого обобщения можно перебирать не только ограниченное число черных воронов в поиске не черного экземпляра, но и все не черные предметы, что чрезвычайно затруднило саму по себе логически адекватную процедуру фальсификации гипотезы. См.: *Hempel C.G. Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science.* New York, 1965.

¹⁵⁸ При взаимном маневрировании двух кораблей возможности маневра произвольны. Но каждое произвольное (контингентное) движение влево или вправо делает встречное движение необходимым, «das Erste steht uns frei, beim Zweiten sind wir Knechte».

¹⁵⁹ Ф. Хайдер обратил внимание на то обстоятельство, что свет или электромагнитные волны являются посредниками восприятия, но доступны лишь в виде цветов, как *оформленные* манифестации медиа. Звуковые

бодно сцепленных элементов, на который наблюдателем накладывается форма – некое жесткое сцепление отобранных элементов, делающее доступным в каком-то оформленном виде сам ненаблюдаемый и недоступный медиум.

Так, слова образуют медиум языка, который во всем своем массиве коммуникативному наблюдению был бы недоступен. Кто и когда предлагал в виде содержания сообщения весь язык? Но всякая актуализация языка в виде конкретной речи предстает в форме жестко связанных в предложении слов. Но и предложения предстают в роли медиа в отношении форм более высокого порядка – текстов.

Медиа всегда предстают в виде имеющего некий «зернистый» или количественный характер субстрата (числа, атомы химические элементы, клетки, действия, слова – в математике, физике, химии, биологии, социологии, лингвистике), на которые наука первоначально разлагает реальность (первая лимитация), а потом комбинирует эти элементы в формы (вторая лимитация).

Означенные лимитации (медиа и формы) специфичны для каждой коммуникативной системы (в политической системе это огромные массивы потенциальных коллективно-обязательных решений, оформляемые в конкретные распоряжения власти; в системе хозяйства это массивы возможных платежей, получающие оформление в виде конкретных транзакций, осуществляющихся с помощью денег).

В науке медиум и форма предстают в виде функции разложения исследуемых предметов на их элементарные единства, а затем – их комбинирования в соответствующие формы согласно теоретическим различиям (клетки/органы, атомы/молекулы, звуки/слова, слова/предложения, действия/мотивы, коммуникации/системы, числа/операции).

Но в каждой научной дисциплине (в распоряжении кода «истина/ложь»), даже после наложения форм на медиа, остается слишком много потенциальных форм (комбинаций или сочетаний этого медиального субстрата, «зернистой материи»). Само формообразование еще не означает правильного (истинного) формообразования. Какие же формы следует предпочитать как истинные, а какие – как ложные – H₂O или H₃O?

Для дополнительного лимитирования уже предварительно отобранных лимитаций требуется некое подобие программирования. Наука, с точки зрения ее теорий и методов, предстает как совокупность программ по определению истинности/ложности предположений. Это можно интерпретировать так. Программы (теории и методы) лимитируют научный интерес в некоторой узкой области (например, в отношении молекулярной структуры вещества) и, исходя из знаний об этой ограниченной области и словно следуя определенным алгоритмам, отсеивают истинное от неистинного и т. д.

Строчки программы могут выглядеть, например, так: «если предложенная к наблюдению форма жидкой смачивающей субстанции без вкуса и запаха, растворяющая соли и т. д., имеет внутреннюю структуру H₂O (теория), мы имеем дело с истиной, и следует перейти к следующей строчке программы с использованием методов эмпирической проверки этого предположения; если предложенная форма, после эмпирической проверки, имеет структуру,

волны тоже сами по себе никак не доступны для восприятия, но предстают в виде шумов, как их форм этого медиума. Heider F. Ding und Medium. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2005.

отличную от H₂O, мы имеем дело с ложностью, и следует остановить вычислительную машину». В эту же программу входят строчки с отнесением к таким признакам, как «научное», «интересное», «актуальное», «новое» (название научным, интересным, актуальным, новым). Так, некоторые формы – в предварительных строчках программы, еще до решения по поводу молекулярной структуры, – будут признаны «ненаучными», «неинтересными», «неактуальными», «неновыми», и машина исчисления и соответствующий алгоритм будут остановлены, еще до признания (или непризнания) той или иной формы истинной. Поэтому в каком-то смысле нетривиальная ложность формы имеет большее значение, чем тривиальная истинность формы.

При этом данные программы, как уже говорилось, всегда имеют бинарную форму: если программа предстает в виде теорий, то всегда конфронтирует с соответствующими методами.

Но почему недостаточно только теорий, редуцирующих описаний реальности в понятиях? Или только методов – удостоверенных и надежных практик получения (измерения) научного результата? Ответ Лумана в следующем: такая бинаризация в конечном счете делает возможным снятие лимитаций, т. е. приращение нового знания! И это характерно именно для науки в ее отличии от других коммуникативных систем, где программы (политические программы в виде партийных программ¹⁶⁰, экономические программы в виде ожиданий на цены¹⁶¹, ориентация на господствующие стили в искусстве) не имеют таких взаимных сдержек «теория vs. метод».

От себя заметим, что в других коммуникативных программах кодирования коммуникации всегда доминируют методы (политтехнологии в политике, мастерство стилиа в искусстве, быстрая реакция на изменение предпочтений потребителя в экономике), а концептуализации и теоретизации объектов не имеют самостоятельного значения и ценности для этих систем (художественный метод в данном стиле при всем высочайшем мастерстве еще не определяет художественного статуса произведения как произведения искусства; если политтехнологии работают, нет смысла искать причину их функциональности в правильном понимании (теории) источников электоральных предпочтений; если цены растут на товар, вкладывать нужно в данный товар, неважно, что он собой представляет и как его понимать, с точки зрения теории).

В научной коммуникации, напротив, методы существуют не просто ради успешного продвижения продукта (знания) и увеличения его объемов, т. е. в виде технологии производства знания. (Так, метод спектрального анализа делает возможным приобретение все больших массивов знания о химическом составе звездного вещества.) Методы еще и обеспечивают проверку теорий, и делают возможным новые теории. Теории же, в особенности новые теории, в свою очередь, требуют всё новых методов.

Мы вернулись к той самой двойной контингенции, определяющей поведение в повседневной ситуации. Лимитации (ограничения новых высказываний знанием прошлых и удостоверенных положений) определяются не самим

¹⁶⁰ «Если власть предлагает увеличения расходов, требуй снижения расходов», «если внешняя политика власти успешна, критикуй внутреннюю».

¹⁶¹ «Если цены растут, покупай и переходи на строчку, соответствующую ожиданию падения цен; если цены падают, продавай и переходи на строчку, соответствующую ожиданию повышения цен».

предметом в его функции truth-maker. Они определяются соотношением теорий и методов. Каждый полюс этого отношения относительно произволен. Можно создавать теоретические описания и модели (и общества, и солнечной системы – любой сложности и уровня абстракции, добавляя и удаляя переменные), но лишь некоторые из них можно обосновать методологически, применив соответствующие подтверждающие измерения, а вместе, в виде взаимоотношения, они образуют необходимость¹⁶².

Социоэпистемологический тезис Лумана состоит в том, что базовая коммуникативная структура двойной контингенции¹⁶³, определяющая взаимоотношения повседневного общения, проявляется и в основании функционирования высококомплексной коммуникации как дистинкция «научные теории / научные методы».

С другой стороны, и другая фундаментальная коммуникативная дистинкция, инореференции/самореференции, в свою очередь, получает выражение в том же самом различии методов и теорий. Коммуникация всегда стоит перед выбором: сосредоточивается либо (и) на обсуждении внешнего мира, либо (и) на самом коммуникативном обсуждении, на характере его протекания, на его причинах (скрытых интенциях)¹⁶⁴. Эта дистинкция выражается в том, что теории отвечают за программирование исследований внешнего мира, а методы – программируют само научное обсуждение, ограничивая его возможности.

Компаративистский интерес науки и проблема социального неравенства

Однако этим не ограничивается присутствие общества в науке общества. Третий социально-коммуникативный фактор теоретического интереса – интерес сравнения. Уже субъект-предикатная форма предложения естественного языка в какой-то степени это выражает, поскольку в нем субъект сравнивается с предикатом. Ведь всякий предикат в конечном счете представляет лишь множество объектов, наделенных сопоставимым свойством. Эта базовая языковая структура получает рафинированное развитие в науке, собственно и состоящей из бесконечного сопоставления свойств и характеристик. При этом проблема в конечном итоге заключается в поисках условий возможностей тех или иных равновесных состояний (химических соединений, организмов, обществ и т. д.), или, в другой терминологии, – устойчивости тех или иных форм (комбинаций, органов) того или иного медиа (субстрата, образующего формы). Равновесия сравниваются с неравновесиями.

¹⁶² Так, мы можем произвольно избирать метод измерения углов треугольника. Например, вслед за Гауссом, испускать световой луч с трех горных вершин, замерять получившиеся углы и на основании этого решать вопрос о соответствующей (т. е. вытекающей из результатов применения метода измерения) теории искривления пространства (соответственно отрицательной кривизны (псевдосфера), если сумма углов меньше 180 градусов, и положительной кривизны, если сумма углов больше 180 градусов). Но мы можем начать с теории – решить теоретический вопрос – о том, является ли луч действительно кратчайшим расстоянием между точками? И соответственно этому теоретическому решению мы уже будем выбирать соответствующие методы измерения.

¹⁶³ Т. е. произвольности начинания коммуникации любым из двух гипотетических участников коммуникации и ограничений (необходимостей), которые проявляются в реакциях Другого на это начинание (Парсонс Т. Структура социального действия. М., 2000. С. 434). О современной интерпретации принципа двойной контингенции см. Бараш Р.Э. Культура и мультикультурализм: от философского к системно-теоретическому осмыслению // Вопросы философии. 2016, № 1. С. 36–40.

¹⁶⁴ Когда некоторый Эго говорит о погоде (инореференциальный модус), Другой всегда может подумать, что речь не о погоде, но о восприятии Другого как неинтересного собеседника (самореференциальный модус), и соответственно отвечает.

Эта сравнительная форма «равновесное/неравновесное» может быть легко обращена к любым динамичным процессам. Так, в античности проблему видели в объяснении стабильности движения без внешнего источника (почему летит копьё, после того как его отпустили?). А наука нового времени ставит вопрос о равновесии иначе: что является внешним источником нарушения равновесия (равномерности) самого движущегося тела? Само автономное равномерное движение уже понимается как нечто стабильное и пример равновесного состояния, а нестабильность связывается с воздействием внешних сил. В этом смысле форма «равновесие/неравновесие» (стабильное/нестабильное) существует независимо от фактической устойчивости и текучести субстрата (медиума).

Эта независимость сравнительных форм от самих сравниваемых процессов особенно четко проявляется в социологии. Лумана сравнительные исследования, разумеется, интересуют применительно к социальным наукам. Именно в них в такой компаративистской перспективе возникают сложнейшие исследования социального неравенства, отвечающие потребности восстановить поколебленное равенство (Ungleichheitsfeststellungsbeklagungsbedarf). Но независимость научного инструментария (применяемых форм) от исследуемого субстрата сказывается в том, что практическая польза от этих сравнительных исследований остается нулевой, поскольку любой результат сравнительных исследований неравенства (неравновесности) может использоваться и для восстановления равенства, и для оправдания фактического состояния. В этом смысле даже самые ангажированные (обществом) дисциплины всегда сохраняют автономию, т. к. их фактические результаты в практическом плане остаются амбивалентными, и, с другой стороны, эта базовая социальная потребность сравнения не требует от науки теории!

Наука, таким образом, ориентируется на свой собственный, внутренний сравнительный (= теоретический) интерес. Он состоит в том, чтобы сравнивать то, что с практической точки зрения кажется несопоставимым. Ее задача – гомогенизировать гетерогенное. Так, увеличение давления оказывается пропорциональным (т. е. сравнимым) увеличению температуры? Но ведь давление не похоже на тепло! Так, и звук не очень похож на свет, но в столь непохожих друг на друга феноменах наука (через накладываемые ею формы) выявляет гомогенные (в данном случае волновые) свойства. И в социологической перспективе – и тут Луман указывает на собственное достижение – наука общества допускает родовые аналогии, что позволяет сравнивать ее, например, с политической коммуникацией, а экономика выглядит гомогенной искусству¹⁶⁵. Здесь Луман вписывает свое достижение в число парадных примеров научно-теоретических прорывов. Но тут же выводит свой подход за рамки этих прорывов указанием еще и на дополнительный признак «универсальности» своей теории – на способность системно-коммуникативной теории и саму себя реферировать как один из своих объектов – как особый, теоретический способ коммуникации.

¹⁶⁵ Ведь в обоих случаях предполагается, что посредством денег *Другой* может осуществлять даже и самое вызывающее потребление, а *Эго*, исключительно как переживающий зритель, при всем своем внутреннем возмущении может лишь переживать, деятельно не вмешиваясь в происходящее. В этом смысле, несмотря на вопиющие различия между экономикой и искусством, базовая коммуникативная структура у них идентичная: *Альтер действует – Эго (в случае искусства – простой зритель) переживает.*

Социально-коммуникативные основания науки Никласа Лумана

В предыдущей главе системно-коммуникативную теорию науки мы рассматривали прежде всего в контексте классических эпистемологических подходов. Теперь же мы попытаемся реконструировать эпистемологическое содержание понятия научной коммуникации в ее собственном смысле.

Это подразумевает прежде всего классический вопрос об основаниях науки, под которыми будут пониматься особого рода лимитации человеческого общения в рамках научной коммуникации, а именно: понятия, теории, методы. Эти основания мы будем рассматривать как особого рода программы, делающие возможным осуществление алгоритмических процедур проверки теории, их сравнений и научных объяснений. Особое внимание мы уделим понятию научной проблемы и ее решения в коммуникативной перспективе, анализу процедуры публикации научных текстов, понятиям дисциплинарности и междисциплинарности, рассмотренным в системно-коммуникативном контексте.

Ключевая проблема любой научной теоретизации состоит в проблеме начал конструирования теории. Ученый задается вопросами о том, что же лежит в основе предмета теоретизации. Является ли такое начинание произвольным, или все-таки сам предмет определяет последовательность шагов по реконструкции его теоретического описания? С каких понятий и слов нужно начинать исследование? Со свойств предметов или свойств наблюдателя, наблюдающего этот предмет? С сущностей или самих вещей? Начинать ли с родо-видовых определений по классической логике включающих друг друга понятий или использовать логику взаимно исключающих понятий, т. е. диалектику¹⁶⁶?

В этой дискуссии особую позицию занимает немецкий социолог Никлас Луман, который, собственно, и разработал современный системно-коммуникативный подход не только к исследованию общества, но и к изучению социальной системы науки. С его точки зрения, а также следуя конструктивистской методологии¹⁶⁷, в качестве таких начал-оснований исследования следует использовать различия, причем такие различия, в которые встроено некое предпочтение. Например, различие мужчин и женщин само по себе еще не указывает на предпочтения, между тем, в различии системы и внешнего мира таковое предполагается. Ведь сама система и есть фактическое различие, или, лучше сказать, различие внешнего мира и системы. В таком различии встроена предпочтения в пользу внутреннего (системного) фокуса различия «система / внешний мир» представляется нормальным, ведь сама система самим фактом того, что она воспроизводится, создает себе (то есть наблюдает, обсуждает) свой внешний мир как предмет своего обсуждения.

Последний является внешним лишь номинально, ведь он есть результат его информационной переработки в операциях той или иной системы (ментальных актах психики, коммуникациях социальной системы, восприятии,

¹⁶⁶ Решение этой проблемы элементарных предметных оснований науки могло состоять в ограничении процесса предикации областью «исторически укоренившихся предикатов» («entrenched predicats»), т. е. теми свойствами, которые образовали «исторические траектории» («track records» в терминологии Н. Гудмена) [Гудмен 2011. С. 73–74].

¹⁶⁷ Прежде всего следуя «инструкции» Спенсера-Брауна «draw a distinction» и идее Грегори Бейтсона «distinction that makes a distinction».

пищеварении и т. д.). Этот мир предстает дефинитивно более сложным, чем тот, что в системе коммуникаций (каковой является наука) перерабатывается в виде мира (как тема коммуникации). Отсюда триединый порядок начальных оснований научного исследования.

Комплексность-различие-понятие

Различение выступает средством редукции комплексности внешнего мира, в результате которого единство последнего (с точки зрения системы) предстает в качестве понятия. Понятие есть наблюдательное средство конструировать не только единство вещей внешнего мира, но и единство самой науки, когда формулируют понятие самого понятия. Луман не считает чем-то неприемлемым понятийное (и, как следствие, круговое) определение понятия, в отличие, скажем, от У. Куайна, который полагал, что понятие синонимии не может быть прояснено, поскольку в определении понятия синонимии уже применяются синонимы¹⁶⁸. Ведь здесь возникает парадокс: сначала нужно прояснить понятие, прежде чем его правильно применять! Но прояснение понятия предполагает его круговое и недопустимое, с точки зрения Куайна, применение. Для Лумана круговое обоснование понятий является неизбежным и продуктивным. Так и понятие системы определяется через понятие системы, понимаемой как процесс различения системы и внешнего мира [Луман 2007].

Однако для определения правильности «оснований науки» (как и для определения истины) не могут быть применены традиционные критерии соответствия, корреспондентности, адекватности. Как вообще может функционировать этот критерий, если смысл научных операций состоит в разложении данных, их перекомбинировании в поисках и конструировании инноваций? Таковым критерием «правильных оснований науки» может служить когерентность знания в стиле холизма П. Дюгема и У. Куайна. Но и этот критерий когерентности недостаточен. Ведь он и сам не должен пониматься как абсолютное значение, но должен допускать свой анализ и перекомбинирование в новые инновативные критерии. Для выделения оснований науки Луман предлагает ориентироваться на комплексность, полагая комплексность науки ответом на комплексность внешнего мира. Очевидно, что и сам этот критерий правильных оснований науки становится правильным основанием науки.

В системно-коммуникативной теории науки комплексность – это критерий отбора базовых единиц (понятий) и комплексных единиц науки (теорий). Оцениваться как «лучшая» должна та теория, которая использует понятия, благодаря которым теории создают себе больший наблюдательный обзор¹⁶⁹. Так, и сис-

¹⁶⁸ Как пишет Куайн, «дефиниция опирается на синонимиию, вместо того чтобы сначала объяснить ее», отрицая тем самым различие аналитических (синонимийных) и синтетических суждений [Куайн 2000].

¹⁶⁹ Здесь, очевидно, угадывается куновский критерий акцептации теории «breadth of score». Так, законы Ньютона оказались применимы и к движениям планет, и к приливам и отливам, и к движению маятника, и т. д. Но это же понятие комплексности включает и критерий «undesigned score», т. е. то обстоятельство, что лучшая теория оказывается способной наблюдать и предсказывать явления и решать проблемные ситуации, которые изначально не рассматривались как цель и предмет теоретического объяснения. Так, нулевой результат эксперимента Майкельсона, обосновывавший теорию относительности и объяснявшийся ею, не был проблемной ситуацией, которую эта теория была призвана объяснить. Конечно, в первую очередь, такое понимание комплексности как критерия правильности теорий и методов Луман применяет прежде всего к теории коммуникативных систем, подтверждающейся в самых неожиданных сферах и объясняющей самую гетерогенную реальность: концептуализации истины могут находить аналогии в механизмах власти, денег,

темно-коммуникативная теория науки видит и саму себя (а не только свой предмет) как свой предмет и, значит, отвечает критерию комплексности.

Основанием построения своей логики форм Спенсер-Браун обозначает «инструкцию» «проводи различие». Но это различие как инструмент и «слепое пятно» процесса конструирования само никак не маркировано, ведь наблюдатели всегда сосредоточены на объектах наблюдения, но не на средствах этого наблюдения¹⁷⁰. С каких же различий следует начинать? Какие различия должны быть приоритетны: «слов и вещей» или все-таки «начала и конца»? Как избавиться от произвола в запуске того или иного наблюдения (то есть обозначения посредством различий)? Спенсер-Браун полагает, что в первую очередь необходимо узнать, кто же (какая коммуникативная система) проводит различие и, как следствие, обозначение¹⁷¹.

Понятие понятия: родовые и видовые свойства

В результате различий образуются понятия¹⁷². При том что и понятие понятия требует своего различия: научные понятия должны быть отличены от слов. В отличие от слов, смысл понятий не требует контекста, в котором они бы получали свое определение¹⁷³. Понятия, напротив, сами задают свой собственный контекст. При этом отношения понятий и слов воспроизводят дуальный характер самой науки, которая благодаря собственному уникальному кодированию является обособленной системой, но при этом все-таки остается системой общества. Это макросоциологическое положение дел призвано объяснить то загадочное микросоциологическое обстоятельство, что естественный язык (т. е. слова, но не понятия) всегда в том или ином виде сохраняет свое присутствие в научных текстах, в том числе в высокоформализованных логических и математических исследованиях. Именно слова естественного языка, а не понятия, связывают науку с ее внутренним внешним миром – обществом в целом¹⁷⁴.

Но, помимо родовой функции понятий (отличить научные тексты от непонятийного использования языка), большее значение несет другая, более

веры, любви, прекрасного и т. д.

¹⁷⁰ Системы используют различения, но на базовом уровне наблюдения не рефлексируют их, ведь для этого понадобилось бы усложнение систем с отдифференциацией в них особого наблюдателя с функцией рефлексии инструментов системообразования. В науке таким наблюдателем ненаблюдаемых средств научного наблюдения (различения истины и лжи) является эпистемология, в политике – оппозиционные партии, в системе религии – теология, в искусстве – критика; организации лоббирования – в хозяйстве (разного рода «палаты промышленников и предпринимателей»).

¹⁷¹ Зададимся вопросом, как обозначить человека? В том или ином определении *человека* так или иначе задействуются инструменты из наблюдательной перспективы той или иной коммуникативной системы: обозначение человека как *смертного существа* указывает на использование религиозной дистинкции «смертное/бессмертное» («греховное/безгрешное», людей и ангелов и т. д.), но это же различие человека может уточняться через понятие человека, обремененного болезнями, что указывает на научное (медицинское) наблюдение средствами различия «болезнь/здоровье». При этом встроенная позитивная преференция в пользу одной из сторон различия (см. выше) в первом случае относится ко второму полюсу, а во втором – к первому.

¹⁷² См. сноску выше – образование понятия человека посредством различий.

¹⁷³ Речь, очевидно, о том понятии слова, которое предложил Л. Витгенштейн в теории языковых игр [Витгенштейн 2011].

¹⁷⁴ И вновь мы сталкиваемся с фигурой *re-entry* (Спенсер-Браун), «повторного вхождения» отличенного в то, что благодаря этому отличению было отличено. Различение (и единство) слов и понятий повторно вводится в ограниченную благодаря этому различению сферу науки.

специфическая функция. Она состоит в том, чтобы регулировать область предложений, способных быть истинными. Именно понятия выступают главными условиями истинности, а вовсе не опыт, или сам предмет, или первичные опытные данные, представленные в виде разного рода протокольных предложений. Эта функция понятий, ограничивающая истинностные условия предложений науки и определяющая условия возможности истины (почти в кантовском смысле), и сама является еще одним элементарным основанием науки, которое Луман называется лимитацией. Все предложения науки должны быть ограничены с помощью вопроса о том, чего мы не можем знать.

Лимитация как функция коммуникативного запрета

Принцип лимитации обнаруживает свои функциональные аналогии (и тем самым обнаруживает поясняющую метафору) и в других коммуникативных системах. Например, в экономике мы имеем дело с ограниченностью ресурсов и, как следствие, с конкуренцией. В политической системе взаимоотношения ветвей власти имеют конститутивное значение как условие возможности коллективно-обязательных политических решений. В философии этот вопрос ставится применительно к условиям возможности познания. Мы можем что-то знать, поскольку знаем, что что-то знать не можем.

В науке принцип лимитации задает общую рамку возможности истинностных суждений. Речь, например, может идти о принципе ограничения скорости света как запрете на теоретизацию и физическое моделирование физических систем, движущихся быстрее скорости света. Все, кто не соблюдает этот принцип, исключаются из научного дискурса и не акцептируются как участники коммуникации. Законы термодинамики (принцип энтропии) ограничивают не только коммуникацию, но и практические попытки создания вечного двигателя, тем самым оптимизируя ресурсы науки.

Посредством лимитаций генерируется память социальной системы. Через память, словно своеобразные табу, вводится то, что запрещено к истинностному определению, но именно поэтому все-таки тематизируется и хранится в памяти системы. Речь снова идет о процедуре re-entry (повторного включения исключенного) как способе сохранить другую сторону различения, чтобы вообще мочь осуществлять различения со встроенными предпочтениями. Такая лимитация обеспечивает системность коммуницирования, облегчает подсоединение (выбор и акцептацию) научных предложений. Ведь без такой общей рамки (лимитации) возможностей подсоединения претендующих на истинность высказываний было бы слишком много.

Вспомним старый парадокс ворона¹⁷⁵. Как лимитировать нам в этом случае поиски истины? Отправляться в поле в поисках птиц и лимитировать все остальные возможности исследования или практиковать орнитологию за письменным столом, рассматривая все остальные нечерные предметы (ботинки, перчатки и т. д.)? Ответ, казалось бы, очевиден. Но возможность логически эк-

¹⁷⁵ Гипотеза «все вороны черные» эквивалентна предложению «или ворон, или не черный». Это означает, что для обоснования или фальсификации первого обобщения можно перебирать не только ограниченное число черных воронов в поиске не черного экземпляра, но и все не черные предметы, что чрезвычайно затруднило саму по себе логически адекватную процедуру фальсификации гипотезы [Nempe 1965].

вивалентной процедуры, вытесненной из научной практики посредством лимитации, говорит о многом. О том, например, что, как только вводится лимитация «ищи не черного ворона и только ворона», вводится и понятие мира – как необходимое следствие научных лимитаций, как горизонт лимитации, как совокупный мир всех черных и не черных объектов. В этом смысле именно процедура лимитации порождает то, что можно назвать миром, а вовсе не мир сам по себе обладает свойствам лимитации. Лимитация – это некое внутрисистемное ограничение, накладываемое на массивы возможностей поведения и коммуникации. В своем самом широком понимании принимает вид принципа двойной контингентности. Из этого вполне банального общекоммуникативного принципа¹⁷⁶ в рамках каждой коммуникативной подсистемы возникают его спецификации. В политике формулируется принцип всеобщего блага, ограничивающий произвол власти, в экономике ограничены возможности распределения ресурсов, в религии понятие Бога, предоставляя свободу воли, одновременно накладывает ограничения на теологические интерпретации.

Лимитация как общее название специфических формул контингентности, собственно, и служит разделительной чертой между комплексностью самой системы и неопределенной сложностью, которую принято называть миром. Лимитация – это то состояние, в которое вступают системы, выстраивая свои отношения с так называемой реальностью. Вопрос лишь в определении того, кто же участвует в этой двойной контингентности? И ответ опять очевиден: теории и методы. Именно последние, будучи сами по себе произвольными в их отношениях с реальностью, встречаясь друг с другом, лимитируют собственные и чужие ресурсы и возможности наблюдения этой реальности.

Методы как медиа, теории как формы

Ключевое различие науки, дистинкция «теории/методы», обеспечивает главную функцию научной системы – редукцию наукой комплексности внешнего мира. Доступ к реальности внешнего мира опосредован взаимной лимитацией, которую теории и методы накладывают друг на друга. Для интерпретации этих отношений Луман использует теорию медиа восприятия¹⁷⁷ Фрица Хайдера. Медиа определяются как совокупность свободно сцепленных элементов, на которую наблюдателем накладывается форма – некое жесткое сцепление отобранных элементов, делающее доступным в каком-то оформленном виде сам ненаблюдаемый и недоступный медиум. Так, слова образуют медиум языка, который во всем своем массиве был бы недоступен коммуникативному наблюдению, поскольку никто не рассматривает в виде содержания сообщения весь язык. Но всякая актуализация языка в виде конкретной речи предстает в форме жестко связанных в предложения слов. Но и предложения предстают в роли медиа в отношении форм более высокого порядка – текстов.

¹⁷⁶ При взаимном маневрировании двух кораблей возможности маневра произвольны. Но каждое произвольное (контингентное) движение влево или вправо делает встречное движение необходимым, «das Erste steht uns frei, beim Zweiten sind wir Knechte».

¹⁷⁷ Ф. Хайдер обратил внимание на то обстоятельство, что свет или электромагнитные волны являются посредниками восприятия, но доступны лишь в виде цветов, как *оформленные* манифестации медиа. Звуковые волны тоже сами по себе никак не доступны для восприятия, но предстают в виде шумов, как их форм этого медиума [Heider 2005].

Медиа всегда предстают в виде субстрата, имеющего количественный характер (числа, атомы химические элементы, клетки, действия, слова – в математике, физике, химии, биологии, социологии, лингвистике), на которые наука первоначально разлагает реальность (первая лимитация), а потом комбинирует эти элементы в формы (вторая лимитация). Означенные лимитации (медиа и формы) специфичны для каждой коммуникативной системы (в политической системе это огромные массивы потенциальных коллективно-обязательных решений, оформляемые в конкретные распоряжения власти; в системе хозяйства это массивы возможных платежей, получающие оформление в виде конкретных транзакций, осуществляющихся с помощью денег). В науке медиум и форма предстают в виде функции разложения исследуемых предметов на их элементарные единицы, а затем – их комбинирования в соответствующие формы согласно теоретическим различиям (клетки/органы, атомы/молекулы, звуки/слова, слова/предложения, действия/мотивы, коммуникации/системы, числа/операции).

Но в каждой научной дисциплине (в распоряжении кода «истина/ложь»), даже после наложения форм на медиа, остается слишком много потенциальных форм (комбинаций или сочетаний этого медиального субстрата, «зернистой материи»). Само формообразование еще не означает правильного (истинного) формообразования. Какие же формы следует предпочитать как истинные, а какие – как ложные – H_2O или H_3O ?

Для дополнительного лимитирования уже предварительно отобранных лимитаций требуется некое подобие программирования. Наука, с точки зрения ее теорий и методов, предстает как совокупность программ по определению истинности/ложности предположений. Это можно интерпретировать следующим образом. Программы (теории и методы) лимитируют научный интерес в некоторой узкой области (молекулярной структуры вещества) и, исходя из знаний об этой ограниченной области, словно следуя определенным алгоритмам, отсеивают истинное от неистинного и т. д. Номинально программа может выглядеть, например, так: «если предложенная к наблюдению форма жидкой смачивающей субстанции без вкуса и запаха, растворяющая соли и т. д., имеет внутреннюю структуру H_2O (теория), следовательно, мы имеем дело с истиной, и следует перейти к следующей строчке программы с использованием методов эмпирической проверки этого предположения; если предложенная форма, после эмпирической проверки, имеет структуру, отличную от H_2O , мы имеем дело с ложностью, и следует остановить вычислительную машину». В эту же программу входят строчки с отнесением к таким признакам, как «научное», «интересное», «актуальное», «новое» (название научным, интересным, актуальным, новым). Так, некоторые формы в предварительных строчках своей программы, еще до решения по поводу молекулярной структуры, будут признаны «ненаучными», «неинтересными», «неактуальными», «неновыми», и машина исчисления и соответствующий алгоритм будут остановлены, еще до признания (или непризнания) той или иной формы истинной. Поэтому в каком-то смысле нетривиальная ложность формы имеет большее значение, чем тривиальная истинность формы. При этом данные программы, как уже говорилось, всегда имеют бинарную форму:

если программа предстает в виде теорий, то всегда конфронтует с соответствующими методами.

Но почему недостаточно только теорий, редуцирующих описаний реальности в понятиях? Или только методов как удостоверенных и надежных практик получения (измерения) научного результата? Ответ Лумана в следующем: такая бинаризация в конечном счете делает возможным снятие лимитаций, т. е. приращение нового знания. И это характерно именно для науки в ее отличии от других коммуникативных систем, где программы (политические программы в виде партийных программ¹⁷⁸, экономические программы в виде ожиданий на цены¹⁷⁹, ориентация на господствующие стили в искусстве) не имеют таких взаимных сдержек «теория vs. метод». От себя заметим, что в других коммуникативных программах кодирования коммуникации всегда доминируют методы (политтехнологии в политике, мастерство стиля в искусстве, быстрая реакция на изменение предпочтений потребителя в экономике), а концептуализации и теоретизации объектов не имеют самостоятельного значения и ценности для этих систем (художественный метод в данном стиле при всем высочайшем мастерстве еще не определяет художественного статуса произведения как произведения искусства). Если политтехнологии работают, нет смысла искать причину их функциональности в правильном понимании (теории) источников электоральных предпочтений; если растут цены на товар, вкладывать нужно в данный товар, неважно, что он собой представляет и как его понимать, с точки зрения теории.

В научной коммуникации, напротив, методы существуют не просто ради успешного продвижения продукта (знания) и увеличения его объемов, т. е. в виде технологии производства знания. Так, метод спектрального анализа делает возможным приобретение все больших массивов знания о химическом составе звездного вещества. Методы еще и обеспечивают проверку теорий, и делают возможным новые теории. Теории же, в особенности новые, в свою очередь, требуют всё новых методов.

Мы вернулись к той самой двойной контингенции, определяющей поведение в повседневной ситуации. Лимитации (ограничения новых высказываний знанием прошлых и удостоверенных положений) определяются не самим предметом в его функции truth-maker. Они определяются соотношением теорий и методов. Каждый полюс этого отношения относительно произволен. Можно создавать теоретические описания и модели (и общества, и солнечной системы – любой сложности и уровня абстракции), добавляя и удаляя переменные, но лишь некоторые из них можно обосновать методологически, применив соответствующие подтверждающие измерения и замеры, а вместе, в виде взаимоотношения, они образуют необходимость¹⁸⁰.

¹⁷⁸ Среди примеров подобных программ можно привести следующие: «если власть предлагает увеличения расходов, требуй снижения расходов», «если внешняя политика власти успешна, критикуй внутреннюю».

¹⁷⁹ «Если цены растут, покупай и переходи на строчку, соответствующую ожиданию падения цен; если цены падают, продавай и переходи на строчку, соответствующую ожиданию повышения цен».

¹⁸⁰ Так, мы можем произвольно избирать метод измерения углов треугольника. Как и Гаусс, испускать световой луч с трех горных вершин, замерять получившиеся углы и на основании этого решать вопрос о соответствующей, т. е. вытекающей из результатов измерительного метода измерения теории искривления пространства (соответственно отрицательной кривизны (псевдосфера), если сумма углов меньше 180, и положительной кривизны, если сумма углов больше 180). Но мы можем начать с теории – решить теоретический вопрос – о том, является ли луч действительно кратчайшим расстоянием между точками? И уже соответственно этому теоретическому решению мы будем выбирать соответствующие методы измерения.

Социоэпистемологический тезис Лумана состоит в том, что базовая коммуникативная структура двойной контингенции¹⁸¹, определяющая взаимоотношения повседневного общения, проявляется и в основании функционирования высококомплексной коммуникации как дистинкция «научные теории / научные методы». С другой стороны, и другая фундаментальная коммуникативная дистинкция, инореференции/самореференции, в свою очередь, получает выражение в том же самом различии методов и теорий. Коммуникация всегда стоит перед выбором: сосредоточивается либо (и) на обсуждении внешнего мира, либо (и) на самом коммуникативном обсуждении, на характере его протекания, на его причинах (скрытых интенциях)¹⁸². Эта дистинкция выражается в том, что теории отвечают за программирование исследований внешнего мира, а методы программируют само научное обсуждение, ограничивая его возможности.

Компаративистский интерес науки и проблема социального неравенства

Однако этим не ограничивается присутствие общества в науке общества. Третий социально-коммуникативный фактор теоретического интереса – интерес сравнения. Уже субъект-предикатная форма предложения естественного языка в какой-то степени это выражает, поскольку в нем субъект сравнивается с предикатом. Ведь всякий предикат в конечном счете представляет лишь множество объектов, наделенных сопоставимым свойством. Эта базовая языковая структура получает рафинированное развитие в науке, собственно и состоящей из бесконечного сопоставления свойств и характеристик. Проблема в конечном счете заключается в поисках условий возможностей тех или иных равновесных состояний (химических соединений, организмов, обществ и т. д.), или, в другой терминологии, – устойчивости тех или иных форм (комбинаций, органов) того или иного медиа (субстрата, образующего формы). Равновесия сравниваются с неравновесиями.

Эта сравнительная форма «равновесие/неравновесие» может быть легко обращена к любым динамичным процессам. Так, в античности проблему видели в объяснении стабильности движения без внешнего источника (почему летит копье, после того как его отпустили?). Тогда как наука Нового времени ставит вопрос о равновесии иначе: что является внешним источником нарушения равновесия (равномерности) самого движущегося тела? Само автономное равномерное движение уже понимается как нечто стабильное и пример равновесного состояния, а нестабильность связывается с воздействием внешних сил. В этом смысле форма «равновесие/неравновесие» (стабильное/нестабильное) существует независимо от фактической устойчивости и текучести субстрата (медиума).

Эта независимость сравнительных форм от самих сравниваемых процессов особенно четко проявляется в социологии. Лумана сравнительные исследования, разумеется, интересуют применительно к социальным наукам. Именно в

¹⁸¹ Т. е. произвольности начинания коммуникации любым из двух гипотетических участников коммуникации и ограничений (необходимостей), которые проявляются в реакциях Другого на это начинание [Парсонс 2000. С. 434]. О современной интерпретации принципа двойной контингенции см. [Бараш 2016].

¹⁸² Когда некоторый Эго говорит о погоде (инореференциальный модус), Другой всегда может подумать, что речь не о погоде, но о восприятии Другого как неинтересного собеседника (самореференциальный модус), и соответственно отвечает.

них в такой компаративистской перспективе возникают сложнейшие исследования социального неравенства, отвечающие потребности восстановить поколебленное равенство (Ungleichheitsfeststellungsbeklagungsbedarf). Но независимость научного инструментария (применяемых форм) от исследуемого субстрата сказывается в том, что практическая польза от этих сравнительных исследований остается нулевой, поскольку любой результат сравнительных исследований неравенства (неравновесности) может использоваться и для восстановления равенства, и для оправдания фактического состояния. В этом смысле даже самые ангажированные (обществом) дисциплины всегда сохраняют автономию, т. к. их фактические результаты в практическом плане остаются амбивалентными, и, с другой стороны, эта базовая социальная потребность сравнения не требует от науки теории.

Наука, таким образом, ориентируется на свой собственный, внутренний сравнительный (т. е. теоретический) интерес. Он состоит в том, чтобы сравнивать то, что с практической точки зрения кажется несопоставимым. Задача науки – гомогенизировать гетерогенное. К примеру, наука утверждает, что увеличение давления оказывается пропорциональным (т. е. сравнимым) увеличению температуры. При этом давление не похоже на тепло. Так, и звук не очень похож на свет, но наука в столь непохожих друг на друга феноменах (через накладываемые ею формы) выявляет гомогенные (в данном случае волновые) свойства. И в социологической перспективе (тут Луман указывает на собственное достижение) наука общества допускает родовые аналогии, что позволяет сравнивать ее, например, с политической коммуникацией, а экономика выглядит гомогенной искусству¹⁸³. Здесь Луман вписывает свое достижение в число парадных примеров научно-теоретических прорывов. Но тут же выводит свой подход за рамки этих прорывов указанием еще и на дополнительный признак «универсальности» своей теории – на способность системно-коммуникативной теории и саму себя реферировать как один из своих объектов – как особый, теоретический способ коммуникации.

Научное объяснение – коммуникативный смысл

Однако чем больше в науке эмпирических данных, то есть той самой однородной «зернистой реальности», чем больше введено в исследования «медиального субстрата», тем труднее сравнивать полученные материалы, расширять область сравнений и накладывать на те или иные медиа универсальные формы в перспективе некой «теории всего». В научных дисциплинах возникают непреодолимые уровневые перепады. Так, в социологии возникает непреодолимое различие макро- и микросоциологических уровней; в философии сознания фиксируются уровни в рамках mind-body problem, т. е. теоретически непреодолимых (не допускающих сравнения, единства, гомогенности) уровня переживания и уровня их телесно-физиологического обеспечения; в философии языка фиксируются непреодолимые различия между эмпирическими и аналитическими суждениями. Чем больше исследователи прилагают усилий по перекрытию

¹⁸³ Ведь в обоих случаях предполагается, что посредством денег *Другой* может осуществлять даже и самое вызывающее потребление, а *Эго*, исключительно как переживающий зритель, при всем своем внутреннем возмущении может лишь переживать, деятельно не вмешиваясь в происходящее. В этом смысле, несмотря на вопиющие различия между экономикой и искусством, базовая коммуникативная структура у них идентичная: *Альтер действует – Эго (в случае искусства – простой зритель) переживает.*

этих различий, тем яснее осознаются препятствия на пути такой «гомогенизации гетерогенного». И именно здесь, в этом осознании и формулировании познавательных препятствий в сравнении разнородного, возникает некое третье значение в распределении знания согласно коду на истинное и ложное, а именно — формулируется научная проблема.

Проблема состоит в необъяснимой (т. е. не истинной и не ложной) комбинации данных (фактов). При этом теория должна, разумеется, объяснять факты, но делает ли она это путем накладывания каузальной формы (К. Гемпель) и тем самым апеллируя к временному и предметному измерению научной коммуникации? Действительно ли сам предмет, помещенный в измерение времени, должен помочь исследователю? Луман, напротив, полагает, что каузальная схема объяснения и сортировка на воспроизводящиеся причины и следствия всегда содержит элемент произвольности, поскольку является следствием выбора, осуществляемого тем или иным наблюдателем по собственной схеме наблюдения¹⁸⁴. Но объяснение также не может апеллировать и к успешному научному прогнозу, к предсказанию, т. е. временной схеме объяснения события, оправдывая законы их постоянным воспроизводством во времени. Тогда подлинные характеристики предмета были бы не столь существенны, если оправдываются научные предсказания (Д. Юм). Луман аргументирует в стиле Фейерабенда: последним объяснением факта является любое объяснение, которое «лучше подсоединяется» в контексте в коммуникативном обсуждении, и в этом смысле — *anything goes*.

Эта подсоединительная функция объяснения фактов, которую предлагает «лучшая» теория, вмещает все три перспективы объяснения: и предметную (каузальную через ссылку на причину, вписанную в закон), и временную (указание на предсказательную силу закона), и социальную перспективу, т. е. перспективу того, что научное сообщество согласно принимать данное объяснение.

Функция объяснения всегда шире каждого из своих горизонтов (предметного, временного, социального), с другой стороны, это возможность выйти за пределы теории, связать ее более широким контекстом (объяснить, почему весло, погруженное в воду, выглядит изогнутым). Здесь не только теория (предметное объяснение через отсылку к законам и моделям преломления света и отражения на границе двух сред) входит в эксплананс, не только уверенность в будущем воспроизводстве опыта и не только интерсубъективность восприятия и понимания проблемы, но и сами обстоятельства, некоторый мир (весло, вода), которые как таковые (как весло и как вода) в теории специально не предусматривались и не должны предусматриваться, ведь иначе данная регулярность теряет характер закона и теории¹⁸⁵. Поэтому-то любая теория всегда может указать на эти внешние реалии для описываемой ею модели как на источник возможного сбоя в объяснении и тем самым спасти предлагаемую модель.

¹⁸⁴ В чем причина пожара? В поджоге или в том, что кислород поддерживает горение?

¹⁸⁵ Исключение из научных законов регулярностей, связанных с конкретными регионами пространства-времени, позволяет, как известно, отличить подлинные (а значит, контрфактические!) научные законы («соединения бария горят зеленым цветом») от так называемых акцидентальных генерализаций («все в этой комнате — третьи сыновья»). Ведь этот закон не зависит от того, поджигают соединения бария или нет, цвет горения вытекает уже из *теории* его атомного строения!

Итак, объяснение – это коммуникативный смысл¹⁸⁶ теории, т. е. одна (и наиболее осмысленная в данном контексте) из множества подсоединяющихся возможностей продолжать коммуникацию, включая и возможность ее переформулирования в случае сбоя. Одновременно объяснение есть результат сопряжения теории и методов или следствие двойной контингенции как общей коммуникативной характеристики совместного поведения. Другими словами, это теоретическое описание предмета в контексте времени (последовательностей шагов по проверке старых и получению новых данных, подтверждающих или опровергающих теории).

Но если архитектура науки выказывает симметрию двойной контингенции, то можно задаться вопросом о специальном смысле методов. Смысл методов состоит в количественных измерениях эффектов, вытекающих из предсказаний теории. Мы определенным методом измеряем те или иные параметры взаимодействий или процессов (например, энергетические¹⁸⁷), вытекающих из теоретической модели гипотетического объекта, и эти новые данные позволяют судить об истинности или ложности первоначального тезиса или требуют его новой формулировки, т. е. отвечают тому же самому системному требованию – коннективности.

Теории всегда имеют некоторую референцию: описывают предмет теоретического интереса, образуют модель или некую структуру связанных друг с другом переменных. Методы же не имеют прямой референции, предмета метода¹⁸⁸, но имеют дело с временным измерением исследования, «связывают время» (в смысле Э. Гидденса¹⁸⁹), т. е. устанавливают «расписание» научных операций. И в этом смысле они аналогичны религиозным ритуалам, которые не имеют референциальности в рамках системы религии, в отличие от мифонаративов, неких теорий трансцендентного мира, который должен быть ритуально удостоверен путем установления временной последовательностей обрядов. Коммуникативная функция научного метода состоит в устранении эпистемологического риска, связанного с формулированием чрезмерно смелых теорий. Точно так же, как коммуникативная функция религиозных ритуалов состоит в устранении опасности неконтролируемой коммуникации, которая бы могла расшатать коллективные представления религиозного сообщества в случае умножения мифов о творении, верховном божестве и т. д.

¹⁸⁶ Смысл в более общем системно-коммуникативном контексте – ресурс подсоединения. Смысл каждого следующего предложения в том, что оно связано с предыдущим или как-то указывает на будущие предложения, а иначе оно бессмысленно (т. е. не вписано в систему следующих друг за другом предложений).

¹⁸⁷ Скажем, факт – теоретически предсказанного – существования нейтрино подтверждается путем измерений: есть вероятность, что, проходя через раствор хлорида кадмия, нейтрино коллидирует с атомом водорода в молекуле воды, породив при этом нейтрон и позитрон, который тотчас аннигилирует в столкновении с электроном, в результате чего возникнут два противоположно направленных гамма-луча с энергией 0,51 МэВ, нейтрон пролетит чуть дальше и будет поглощен ионом кадмия, что приведет к испусканию 4 гамма-лучей с общей энергией 9 МэВ [Nagé 1986. P. 70–72]. Этот пример показывает, что не требуется какого-то прямого доступа наблюдателя к наблюдаемой реальности. Нейтрино невозможно наблюдать непосредственно или при помощи разного рода микроскопов. *Реальность возникает в результате взаимной лимитации теоретической модели и методов измерения*, эффектов событий, которые являются следствиями теоретически предсказанного процесса.

¹⁸⁸ Ниже показано, что непрямым референцией методов оказывается – научная проблема. Непрямой в том смысле, что методы сами по себе и изначально не направлены на ее решение.

¹⁸⁹ У Э. Гидденса мы находим сходный же принцип «медиации», предполагающий «проводника» (медиум), который связывает участников системы, «связывая» тем самым прошлое и будущее их активности. Методы в этом широком коммуникативном смысле представляют некую логику социальной системы, своего рода ее «расписание» [Giddens 1979. P. 103].

Методы при этом разделяются на дедуктивные (воспроизводящие аксиомы или основания в новых утверждениях) и кибернетические (обновляющие основания, если они не удовлетворительны). Наука, таким образом, не может рассматриваться только фундаменталистски (в стиле логического позитивизма) или только холистски (в стиле Дюгема и Куайна). Ученый сохраняет свободу в выборе между тем, чтобы отказаться от опыта или от теоретической схемы (П. Дюгем), но теперь этот выбор оказывается сложнее (эта дилемма и сама, уже как нечто единое, становится частью другой дилеммы – комплексность). Он выбирает между свободой выбирать между опытом и теорией и свободой выбирать разные методы (дедуктивные или кибернетические).

Проблема научной проблемы и ее коммуникативное решение

Но метод является неполным обозначением, пока не будет уточнена его парадоксальная референция. Речь идет о научной проблеме, представляющей собой парадокс, ведь проблема характеризует нечто как неизвестное. Как же его можно знать? Другими словами, метод не просто организует медиальный субстрат количественно и накладывает на него правила проверки или измерений с целью подтвердить или опровергнуть значения истины и ложности качественных суждений, но еще и приписывает некоторым суждениям значение проблемности. Последнее предстает в виде некоего исключенного третьего в дилемме «истина/ложь». Ведь метод как «связывание времени» добавляет в предметное измерение горизонт будущего, куда и «переносится» решение об истинностном статусе некоторого утверждения. Теория не может что-то отложить на потом, т. к. направлена на предмет теоретизации, она не может не предлагать актуального решения (описание чего-то как именно этого – температуры как средней кинетической энергии молекул, света как волны и т. д.)¹⁹⁰. Но как же быть в некоторый данный момент с проблемой, если проблемное суждение не может быть признано истинным или ложным, а значит, и знанием?

Решить эту проблему проблемы Луман предлагает через обращение к процедуре ее решения. В каком-то смысле именно решение проблемы открывает проблему, которая потом, через поиск функционально эквивалентных решений, делает проблему все более абстрактной. Всякая проблема циклична: решение проблемы создает проблему, которую надо решить. Вспомним, что именно интерпретации (решения) проблемы света как волны и как корпускул, собственно, и создали проблему корпускулярно-волнового дуализма.

Во всяком случае, даже в случае самых специфических внутринаучных контrovers или проблем в их основании все-таки лежит диалогическая практика вопросов и ответов, которая потом маскируется под теорию. Эта практика вопросов и ответов получает импульс к своему продолжению благодаря вышеозначенной темпоральной структуре проблемы, круговому характеру научных проблем: решение проблемы создает проблему, требующую решения. Эта повседневная коммуникативная вопрос-ответная практика в круговом движении

¹⁹⁰ Этот механизм в некотором смысле повторяет трансформацию коммуникации, осуществленную благодаря письменности, которая позволила выносить решение о понимании письменно предлагаемой коммуникации и, как следствие, об акцептации предложенного смысла в далекий горизонт будущего, в то время как устное течение коммуникации требовало решения об акцептации (или отклонения) запроса на контакт здесь и сейчас [Луман Н. 2005. С. 76–121].

от решения проблемы к проблеме решения предполагала наличие как минимум двух участников коммуникации. Другими словами, решение проблемы может претендовать на валидность лишь в том случае, если одно из решений ставит под вопрос и замещает (дает ответ) другое функционально эквивалентное решение проблемы. Так, вихревая теория Декарта решала проблему однонаправленного движения планет Солнечной системы и тем самым получала приоритет перед теорией гравитационного притяжения И. Ньютона, поскольку такое движение представляло в ньютоновой теории как аномалия (проблема). Но эта дилемма была «перерешена» в пользу решения Ньютона, к которому вернулись после ревизии эмпирических оснований (открытие своеобразного движения Урана) и добавления дополнительных гипотез (небулярной гипотезы Лапласа), что стало ответом на вопрос об означенной аномалии¹⁹¹.

О проекте проектной лимитации науки

Описанная таким образом сопряженность методов и теорий (причем ради теорий можно трансформировать методы, а на основе методов менять теории) определяет «игровое пространство» науки, где игра и состоит в опробовании и «подсоединении» разных объяснений, которые, в свою очередь, понимаются как некое моментальное сцепление конкретной теории и с конкретным методом. Смысл объяснения, как уже говорилось, состоит в текущей проверке валидности данного сцепления на то, что в каком-то, обязательно претендующем на новизну высказывании соблюдены требования и метода, и теории.

Но ведь всякая верификация состоит в повторении уже осуществленных ранее операций. При том что в науке как раз и неинтересно повторение, ведь истинное знание актуально и востребованно лишь как новое истинное знание. Достоверность (проверяемость) научного знания оказывается в некотором напряженном отношении с ожиданием научной новизны. В условиях ограниченности системных ресурсов (прежде всего финансовых и временных) науке приходится находить промежуточные решения так, чтобы не заостриваться в бесконечных перепроверках и одновременно не постулировать чрезмерно много новых (т. е. рискованных, неустойчивых) предположений. Одних лишь методов и теорий, т. е. измерений и описаний, недостаточно для того, чтобы в условиях этих рамочных ограничений – новизны и достоверности – гарантировать системную функцию коннекции.

Решением дилеммы новизны/достоверности становится особая организация научного знания, т. е. распределение его на проекты. Смысл проектно-грантового типа науки состоит в снижении эпистемического риска через ограничение исследования во времени, риска того, что задействованные ресурсы не будут потрачены в больших количествах в случае неуспеха гипотезы. Расплатой же за такие гарантии становится недофинансирование фундаментальных исследований и, как следствие, отсутствие глобальных достижений (в борьбе с раком, СПИДом и т. д.), а в социологии – отсутствие всеохватывающей теории общества и его подсистем. Это существенно трансформирует все временное измерение научной коммуникации, предполагавшей ранее неограниченный ресурс ожида-

¹⁹¹ Laudan L. Progress and Its Problems. Toward a Theory of Scientific Growth. Berkeley and Los Angeles: The University of California Press, 1977. P. 23–29.

ния конечных достижений¹⁹². Проект словно предстает обратной стороной системной коннекции и реализует функцию отграничить от подсоединения операции, не обещающие близкого успеха. Проект в этом смысле выступает все той же лимитацией научной коммуникации, о которой мы говорили выше.

Публикации и дисциплины

И все-таки число потенциальных коннекций (обещающих успех научных тем) остается слишком большим, чтобы их можно было бы путем грантово-проектной лимитации и методико-теоретической проверки распределить наконец согласно коду «истинность/ложность».

Последней предпосылкой «инклюзии» в мир научной коммуникации является публикация. Публикация – это прежде всего изложение знания, а не его изготовление. Здесь коммуникативные условия науки явлены особенно очевидно. Собственно, лишь на этом этапе коммуникативные сообщения, претендующие на истинность и новизну, превращаются в знание. Чтобы превратиться в знание, некие изначально чрезвычайно комплексные¹⁹³ сообщения, полученные в результате изготовления знания, должны быть редуцированы (сокращаться, упрощаться, излагаться в высшей степени избирательно) до такой степени, чтобы быть ограниченными рамками научной статьи, и лишь так они могут быть сколько-нибудь адекватно поняты и акцептированы. А в противном случае так и не станут знанием.

Во многом именно этот процесс «публикационного отбора» выступает одним из факторов научной дисциплинарности. В некоторых дисциплинах (в особенности в гуманитарных и некоторых социальных науках) изложение знания и есть его изготовление. При этом именно на этапе изложения чаще всего осуществляется его обоснование – ретроспективный поиск основ того, что уже и так сформулировано как истинностное сужение.

Обоснование поэтому, опять же ретроспективно, делает сам обосновываемый тезис избыточным. Ведь он есть всего лишь следствие (теперь уже очевидное) известного. Если же у знания не обнаруживаются таких оснований, привлекается процедура аргументации. Процесс изложения, в свою очередь, осциллирует между Сциллой избыточности (где одно знание указывает на другое, где уже нет места новому и интересному) и Харибдой вариативности (открытия новых эмпирических данных, не предсказанных ранее и несводимых к известному).

Именно эта рамка ограничивает индивидуальную исследовательскую свободу. Эта рамка «избыточность/изменчивость» обобщает в себе все традиционные дистинкции философии науки (между эмпиризмом и рационализмом, между тавтологиями и суждениями эмпирическими, между теорией и фактами) и

¹⁹² Это четко высветила дискуссия между И. Лакатосом и П. Фейерабендом о времени ожидания окончательных решений в пользу исследовательских программ. По Лакатосу, программа Проута предполагала, что «атомные веса всех чистых химических элементов являются целыми числами», «химики, не выдерживая напряжения, отказывались от новой исследовательской программы», поскольку атомные веса многих элементов (скажем, хлора) оказывались дробными. Программа, очевидно, деградировала, пока неожиданно не были открыты вещества, представляющие собой смешанные изотопы таких элементов, что привело к новому утверждению программы Проута [Лакатос 1995. С. 90]. На что П. Фейерабенд обоснованно указал, что всякое правило оценки «победившей теории» бессмысленно без задания временных лимитов: «if you are permitted to wait, why not wait a little longer?» [Feuerabend 1965. P. 215].

¹⁹³ Ведь речь идет о сообщениях, аккумулированных за годы реализации научного проекта.

выполняет означенную выше программную функцию лимитации как предпосылки отбора научных суждений ради их конечного распределения на истинные и ложные. Другими словами, эта последняя предпосылка, которая должна быть выполнена перед тем, как уже в процессе рецепции публикации решить вопрос о том, действительно ли изготовленный для публикации текст является знанием. Всем защищающим диссертационные работы эта предпосылка известна как требование указания актуальности (новизны) и степени разработанности темы.

Но эта последняя лимитация изменчивости/избыточности позволяет проиллюстрировать и неслучайное (и в то же время не определяемое самими предметами наук) дисциплинарное деление науки. Дисциплинарное многообразие, по мысли Лумана, есть результат внутренней дифференциации и никак не следствие предметного разнообразия. Если бы внешний мир сам определял дисциплинарную структуру науки, различение «наук о человеке», «социальных наук» и «естествознания» было бы затруднительным, поскольку человек сохраняет все свойства и физического тела, и биологического организма, и социального существа, и психической системы. Единственное, что у него отсутствует, – это собственно человеческие характеристики.

Поэтому критерии дисциплинарной принадлежности приходится определять исключительно социоэпистемологически, и не в последнюю очередь связью тех или иных дисциплин с общественными профессиями (теология, педагогика, психология, медицина, юриспруденция и т. д.), с образовательными потребностями (филология, лингвистика).

Таким образом (и это последний аргумент в пользу понимания науки как автономной социальной системы), дисциплинарное деление науки легитимируется общественно, а не интерналистски. На уровне обособившейся дисциплины выражено присутствуют потребности дифференцирующегося общества и формулируются общественные требования и ожидания от науки. Собственно же наука присутствует в науке лишь на уровне дальнейшей дифференциации на дисциплинарные сектора или лаборатории. Лишь в секторах и лабораториях наука и общества наконец расцепляются, и наука обретает свою полную автономию.

Несколько упрощая, можно сказать, что секторальная наука отвечает за изменчивость, а дисциплины (разного рода НИИ или факультеты) – за избыточность, т. е. за воспроизводство известного, достоверного, воспроизводимого знания. Мы вернулись к теме, с которой начали этот обзор. Именно конкретное структурное сцепление науки и ее внешнего мира (общества, переживаний сознания), предстающее в виде фактического отношения сектора (лаборатории) с руководством, осуществляющим управление дисциплиной, обеспечивают соответственно внутренний и внешний успех научной коммуникации.

Истина и знание в системно-коммуникативном подходе к анализу науки

В этом разделе мы представим некоторые соображения о возможностях системно-коммуникативной интерпретации истины и знания как обобщающих символических медиа коммуникации ученых; как и о возможности компаративистского анализа интерпретации истины в медиа других коммуникативных систем.

Что есть знание? Этот вопрос до сих пор не достиг той степени сакральности, какую обрел вопрос об истине. Данный вопрос всегда формулировался как вопрос о границах познания – так, как будто само знание есть нечто очевидное и естественно-понятное, а мера его неопределенности касается лишь его модальностей (что мы можем знать, спрашивает Кант). И действительно, знание в его повседневном и интуитивном истолковании легко позволяет представить себя как некоторое множество представлений о действительности, накапливающихся как некий резервуар сознательных реакций на типичные ситуации, или, лучше сказать, память. Эта память востребуется в ситуациях, которые нами распознаются как известные. Знание в этом смысле представляется чем-то, чем можно запастись и что способно пригодиться для того, чтобы ориентироваться в пространстве с помощью обращения со временем – черпая из накопленного «прошлого», преодолевать «будущие» препятствия, которые распознаются как внешняя реальность.

Философы, начиная с «Тезета» Платона, не сильно поколебали это интуитивное представление о знании как памяти, но лишь формализовали его. В современном рафинированном, так называемом «стандартном определении»¹⁹⁴ знание представало как обоснованное, истинное убеждение. Но в сущности это не изменило интуитивного представления о знании как памяти. За связь знания с реальностью отвечал признак истинности, мера укоренения знания в знающем регулировалась фактом его личной убежденности, а признак обоснованности отвечал за процедуру его приобретения (неважно, самостоятельное или образовательное).

И все же, несмотря на такую очевидность и универсальную применимость, это «стандартное определение» погрязло в бесчисленных парадоксах. Эти так называемые «геттиеро-парадоксы»¹⁹⁵ имели дело с несоизмеримостью означенных фундаментальных конститuent знания: известности, истинности и обоснованности. Поскольку слишком много в нашей практической жизни, но не в последнюю очередь и в науке, присутствует убедительного и, как позднее оказывается, истинного, к чему мы пришли без какой-либо сколько-нибудь строгой процедуры обоснования, а случайно или даже на основании ложных посылок.

Парадокс знания может формулироваться двояко. Во-первых, как известность неизвестного, и понятие научной проблемы здесь представляется парадным примером (см. ниже анализ Луманом дистинкции «проблема/решение»). И, во-вторых, как неизвестность известного, как это бывает в случаях, когда к истинному знанию мы приходим в результате его случайных или ложных формулировок¹⁹⁶. Именно эта парадоксальность и некоторая аналитическая перегруженность данного понятия заставляет некоторых исследователей (и Никлас Луман, безусловно, из их числа¹⁹⁷) попытаться не идти от означенных выше абст-

¹⁹⁴ Современные варианты стандартного определения см.: *Chisholm R. Theory of Knowledge*. Englewood Cliffs, 1989.

¹⁹⁵ По имени одного из открывателей парадоксальности стандартного определения – Эдмунда Геттиера. *Gettier E. Is Justified True Belief Knowledge? // Analysis*. 1963. № 23. P. 121–123.

¹⁹⁶ Этот принцип случайной истинности суждений с некоторых пор принято называть «серендипностью»: *Merton R.K., Barber E. The Travels and Adventures of Serendipity: A Study in Sociological Semantics and the Sociology of Science*. Princeton, 2006.

¹⁹⁷ К направлениям, работающим с такими «работающими», или, лучше сказать, «лабораторными» понятиями истины и знания, помимо акторно-сетевой теории Бруно Латура, можно отнести прежде всего подходы STS, теорию социомиров, социальную эпистемологию науки.

рактных определений знания и истины, а оттолкнуться от них самих: выйти «в поле» (что значит – в практически работающую науку) и посмотреть, как понятия знания и истины фактически «операционализируются» в лаборатории, это значит – реализуются в простейших «операциях» ученых.

Знание в структурном сцеплении коммуникации и сознания

Однако еще до такого выхода «в поле» Луман предлагает некое родовое определение знания. В самом общем смысле в этом качестве выступает некий эпифеномен. Знание не является стандартным функциональным решением с собственным генезисом (историей), но скорее предстает как продукт сцепления (всегда спорадического) двух автономных процессов: последовательностей коммуникаций (социальные системы¹⁹⁸) и последовательностей переживаний (системы сознания). Знанием становится событие, одновременно актуализирующееся в обеих структурах, при всем том, что истории обеих этих систем определены исключительно внутренним образом. Переживания (т. е. любые ментальные акты во всем их многообразии) осмысленны и соответственно провоцируются другими (прошлыми и будущими) переживаниями, а коммуникации вписаны в историю (и значит – осмысленны) лишь в череде подсоединяющихся друг к другу коммуникативных актов.

Итак, собственно знание возникает в процессе обсуждения и в виде обсуждения, а значит – по своей материальной форме (звукам, чернилам) несколько не похоже на внешний (= обсуждаемый) мир, сколько-нибудь полно «отражаемый» лишь в виде восприятий сознания. Восприятие – это аналоговая (пространственная) редукция внешнего мира, обсуждение – его цифровая (временная) редукция.

Лишь структурное сопряжение обсуждения воспринятого события с его ментальной переработкой дает возможность создавать иллюзию преодоления внутрисистемной закрытости коммуникативных и психических систем и тем самым – иллюзию доступа к реальности. Ведь и само сознание, с его аналоговой (фотографической) картинкой внешнего мира, для коммуникации в сущности недоступно. Ведь коммуникативные системы состоят лишь из подсоединяющихся друг к другу сообщений, и сам внешний мир как таковой, в виде его переживания сознаниями, не способен «подсоединяться» к коммуникации в качестве элементов самой этой системы сообщений.

Речь, таким образом, идет лишь о том, что событие знания одновременно наблюдается (и этим наблюдением только и производится) с двух системных

¹⁹⁸ Напомним, что система понимается Луманом предельно просто. Это последовательность следующих друг за другом операций (событий), именно в (и благодаря) своей сцепленности (системности) отличающих себя от внешнего мира, т. е. от того, что в этих операциях перерабатывается как тема коммуникации или предмет переживаний. То, что перерабатывается, не идентично самому процессу переработки, но оно «процессируется» как результат *конструирующей* активности систем. Система (и это финальное определение) есть текущее *воспроизводство различия* между системой и конструируемым ей внешним миром. Несмотря на тавтологичность такого определения, от него не удастся избавиться. Простейший пример: коммуникация – это последовательность *сообщений* (первая и важная конституента системы). И каждое высказывание предстает как различность того, что произносится (само сообщение), и того, о чем это сообщение (*информация*). *Понимание* (третья конституента коммуникации) выступает завершением элементарного коммуникативного акта по экспликации информации в сообщения, после чего следует акцептация или отклонение «заявки на контакт». Мы действительно *понимаем* другого, когда *отличаем* его слова (сообщение) от той информации, которую мы извлекаем, того, «о чем» говорят, от того, «как» и «зачем» это было произнесено.

наблюдательных перспектив: точки зрения обсуждения и точки зрения восприятия, – и только поэтому обретает некоторую собственную эмерджентную идентичность («объективность»), словно выходящую за пределы обеих систем.

Знание в структурном сцеплении коммуникативных систем

Но научная коммуникация не только структурно сцеплена с переживающими внешний мир психическими системами (сознаниями), но и выказывает структурные аналогии с другими коммуникативными системами, от дифференцировавшимися¹⁹⁹ параллельно науке в ходе общественной эволюции²⁰⁰. Отношение науки и политики – особенно интересный случай, поскольку эти системы оказываются в некоем зеркальном отношении. Смыслы политических событий определяются сцеплением действий с действиями. И как иначе можно установить неслучайные и – главное – достаточно долговременные последовательности событий вокруг значимых коллективно-обязательных (но в большинстве случаев совершенно невероятных, как, например, строительство пирамид²⁰¹) целей, как не с помощью специального символического инструмента – власти, однозначно скрепляющей действия акторов друг с другом? Напротив, смыслы познавательных (научных) достижений состоят в сцеплении переживаний с переживаниями. И как иначе можно удостовериться во взаимной доказательности научных утверждений, как не с помощью взаимоудостоверения восприятий (прежде всего в воспроизведении опытов и экспериментов) с помощью собственного медиа-инструмента науки – символического средства коммуникации – истины?

Истина, таким образом, выступает инструментом кодирования невероятных предложений смысла. Невероятных в силу сложности или поразительности, как, например, гелиоцентрический тезис Коперника. Кодирование здесь понимается как процесс распределения предложений по их смыслам или значениям – истинности и ложности.

В этом смысле кодироваться может всякая коммуникация, не обязательно тематизирующая научное знание. И утверждение «идет дождь» может быть истинным и ложным. Но истина как устойчиво воспроизводимый и, значит, системно-коммуникативный код возникает только вместе с обособлением соответствующей коммуникационной системы – системы научных коммуникаций.

Истина в этом собственном смысле возникает только благодаря особым требованиям, предъявляемым к знанию. В этом и состоит социальная проблемность, или невероятность истины как программы легитимации специфического и самого по себе невероятного общения. Ведь должна была возникнуть невероятная мотивация к чтению сотен не очень понятных текстов и проведению тысяч опытов, и чаще всего с негативным результатом. Такая легитимационная задача истины была связана с ее особой функцией – ответственностью за социаль-

¹⁹⁹ Специально о процессе общественной дифференциации см.: Луман Н. Дифференциация. М.: Логос, 2006.

²⁰⁰ Специально о механизмах такой общественной эволюции см.: Луман Н. Эволюция. М.: Логос, 2005.

²⁰¹ Функция любого символического средства коммуникации (власти, истины, веры, любви, денег и т. д.) в том, чтобы сделать вероятными (и тем самым мотивировать) сами по себе невероятные типы общения, как, например, приобретение материальных благ за необеспеченные бумажки, называемые деньгами, которые – невероятным образом именно через эти необеспеченные бумажки – в транзакциях получают свое материальное обеспечение.

ную позитивную (!) оценку нового знания и – как следствие – за его демаркацию от других типов знания! Иные возможные типы знания (традиционное, уже известное, ненаучное, интуитивное, религиозное, мужское, тайное и т. д.) специально не оцениваются и не распределяются с помощью специальных программ по их легитимации (см. ниже) на позитивные или негативные значения.

В этом состояло существенное отличие социологического взгляда Лумана на истину как на легитимирующую инстанцию нового знания от более ранней социально-эпистемологической интерпретации истины в социологии знания, представляющей другой полюс атаки на традиционное представление об истине как соответствии знания и предмета (Д. Блур и Б. Барнс). Последних не устраивала традиционная асимметричность в подходе к истине: различие социальной лжи и натуральности истины.

Собственно, это различие восходит к древнейшей асимметрии – несоизмеримости требования удержания от забвения знания о предмете в некоем нескрытом состоянии (истина как алетейя) и очевидно социального требования «не лги».

Эта античная идея асимметричности значений истинности и ложности, определяемых соответственно свойствами «объективно» познаваемого предмета и социальным императивом запрета на ложь, в каком-то смысле воспроизводится и в современной философии²⁰². Ведь истина натуралистична, естественна в той мере, в какой основой общности суждений и научного консенсуса является сам внешний мир, в то время как ложь – социальна, поскольку имеет социальные предпосылки, а следовательно, требует социологического объяснения, под которым бы подписались и адепты всех оттенков позитивизма с его попытками избавиться от языковых и иных (обусловленных интересами, идеологией, необразованностью и т. д.) внешних экспансий в научные (= аналитически проясненные) смыслы слов.

Считалось, что корни ошибок следовало искать в обществе, ведь сам предмет предлагает себя со всей откровенностью, на которую способен.

Д. Блур и Б. Барнс возвращают симметричность двум разделенным сторонам, показывая, что истинность так же конструктивна, как и ложь, и не может обозначать знание, определенное исключительно его предметом.

И все-таки эта асимметрия истины и ложности имела под собой и реалистические основания. Она действительно указывает на некое фундаментальное различие, делающее истинность и ложность неравноправными сторонами. Речь идет о различности действий (сообщений) и переживаний (восприятий, воображений, желаний, убеждений).

Именно к первым предъявляются соответствующие нормативные требования: «нельзя лгать»; и именно ко вторым – требования когнитивные, запрет на забывание. Ложность тогда оказывается социально обусловленной в некотором более глубоком смысле, нежели это предполагалось в связи с ее обусловленностью интересами, языком, предрассудками и т. д. Ведь она соразмерна действию (= сообщению). Напротив, истина хотя и представлена в сообщении, но своим источником имеет восприятие, которое лишь в высшей степени избирательно представляется в сообщении. Именно поэтому истинность не определяется

²⁰² Хайдеггер М. Исток художественного творения. М., 2008.

свойствами сообщений, т. е. действиями, и, как следствие, разного рода манипуляциями и фабрикациями²⁰³.

Итак, путем использования особой формы (различение действия и переживания) мы можем различить, с одной стороны, науки и, с другой стороны, все те системы, которые регулируются нормативно. Это, однако, не означает, что нормативность не следует изучать. Луман здесь использует свой стандартный метод анализа, заимствуемый из особой «логики форм» Дж. Спенсера-Брауна²⁰⁴. Всякое применяемое в коммуникации различение (= форму с двумя сторонами) следует понимать как инструмент общения с особым системным действием. Различение делает возможным коммуникацию по поводу некоторой одной (позитивной) стороны формы и – как следствие – создание системы коммуникации вокруг именно данного (позитивного) фокуса различения. Но затем эта же самая форма или инструмент снова воспроизводится на одной из сторон, которую мы с помощью этой формы ранее позитивно оценили²⁰⁵. Так, и дистинкция «действие/переживание», послужившая основанием для демаркации между коммуникацией научного знания и коммуникацией политических решений, воспроизводится затем внутри наук для проведения внутренней демаркации науки, с целью введения в науку гуманитарных и социальных дисциплин – наук о человеческих действиях.

Системный смысл знания в структуре ожиданий

Родовым для понятия знания является понятие смысла. Под смыслом, в свою очередь, обозначаются способы и средства коннекции системных элементов, образующих стабильно воспроизводящиеся их последовательности (= системы). Элементы системы (конкретные научные операции), лишь актуализируясь в контексте такой последовательности, могут приобретать свой контекстуально определенный смысл, т. е. могут быть соотнесены с прошлыми и будущими элементами системы.

При этом тот или иной смысл, отвечая своей общей функции коннекции, должен реагировать на ожидания, что именно такой, а не иной элемент («операция системы») «подсоединится» к предшествующим элементам. Так, для определения кислотности раствора бросают именно лакмусовую бумажку, ведь именно с изменением ее цвета связаны типовые ожидания (= коммуникативные структуры системы). И всякий элемент (операция), очевидно, может тем или иным способом либо отвечать структуре ожиданий и подтверждать ее, либо

²⁰³ В этом смысле системно-коммуникативная теория порывает с «практическим» определением истины Джамбаттисты Вико: *verum et factum convertuntur* («истинное и сделанное совпадают»), нашедшее применение в марксизме.

²⁰⁴ *Spencer-Brown G. Laws of Form. New York, 1979.*

²⁰⁵ Так, различение между властью и безвластием, конечно, ориентирует политиков и бюрократию в принятии решений и заставляет выполнять коллективно-обязательные распоряжения начальства. Оно, очевидно, исключает из области значимых ориентиров все остальные основания принятия решений: требования экологии, настроения общества, личностные установки подчиненного и т. д. Ведь не за них несет ответственность подчиненный, а за выполнение распоряжений вышестоящего начальства. Но это же различение «*власть/безвластие*» потом снова воспроизводится именно *внутри самой власти*, неважно – происходит ли это в результате выборов или революций. Власть получает оппозиция, и именно она возвращает в поле зрения новообразованной власти все первоначально проигнорированные внешнемировые перспективы принятия решения, ранее отличенные и отклоненные посредством формы «*власть/безвластие*».

вступать в противоречие с ожиданиями и в перспективе трансформировать их типовые структуры (пересматривать научные регулярности или законы)²⁰⁶.

В науке дело обстоит так же, как и в иных системах. Структура ожиданий представлена в науке специальными программами по распределению кодовых значений²⁰⁷, предстающими в виде тех или иных господствующих теорий, частных законов и методов (подробнее см. ниже). То, что в конечном счете признается знанием (здесь уместно будет вспомнить тезис Дюгема-Куайна, как и идею защитного пояса И. Лакатоса), есть то, что разрушает защитный «панцирь ожиданий», создаваемый всеми системами против проникновения в них новых ирритаций из внешнего мира. Но именно система (а не предмет исследования) решает, следует ли признавать новые предложения новым знанием – и, значит, надо отказаться от старых генерализаций, – или же отказаться от нового знания (новых фактов), сохранив защитную структуру ожиданий. Но в любом случае этот панцирь тут же воссоздается за счет новосозданных структур.

Такая бифуркация между актом и структурой (или, можно сказать, структурация, словами Э. Гидденса) в вопросе акцептации нового знания меняет трехэлементное представление о знании в его стандартной модели на более сложную и в то же время более стройную – бинарную – понятийность: на различение когнитивных и нормативных реакций на разочарования в структурах ожиданий.

Несколько упрощая, можно говорить о том, что там, где допускаются когнитивные реакции на разочарование в ожиданиях, т. е. на невыполнение или сбой в какой-то регулярности или законе, на аномию, аномалию, девиантное поведение, мы имеем дело с научным знанием и в конечном счете – с дифференциацией научной системы коммуникаций; там же, где нарушение нормы лишь укрепляет данную норму, создавая резонанс и всеобщее возмущение по поводу порушенных устоев, – там мы сталкиваемся с обособлением политической и правовой систем²⁰⁸.

Когда тексты становятся знанием?

Однако когнитивные реакции на разочарование всего лишь создают условия для акцептации нового знания, но не служат принципом его отбора из всего массива истинных утверждений и не дают гарантий для того, чтобы какие-то конкретные формулировки или тексты были признаны знанием. Главная проблема знания состоит в том, как текст может стать знанием в условиях всемирного потопа текстов²⁰⁹.

²⁰⁶ Применительно к науке речь идет о классических дискуссиях об оценке научных теорий. Принято, вслед за Куном, рассматривать «стандартный набор» критериев оценки: непротиворечивость, согласие с наблюдениями, простота, широта обзора, концептуальная интеграция, плодотворность. См.: *Kuhn T. The Essential Tension: Tradition and Innovation in Scientific Research? // Kuhn T. The Essential Tension. Chicago, 1977. P. 321–331.* Читателю судить, насколько программы истинностного кодирования (оценки) научного знания воспроизводят критерии Куна.

²⁰⁷ В других системах имеются свои программы: скажем, в системе политических коммуникаций аналогом являются партийные программы.

²⁰⁸ Здесь, безусловно, трудно не увидеть реминисценцию дюркгеймова различения реститутивного и репрессивного видов права.

²⁰⁹ «Публикация текста еще не гарантирует, что книга будет прочитана; и особенно в случаях, когда его покупают библиотеки. Рассылка книг «мультипликаторам» также не является действенным средством достичь публики. Она достигает лишь книжной полки. Ввиду этих трудностей утверждаются обходные пути: они исходят из процесса поиска и решений читателя и поддерживают его с помощью предметной и тематической дифференциации, аннотаций и понятийных регистров, а сегодня – с помощью автоматической переработки данных».

Этот вопрос отношения знания и – претендующего на статус знания – текста выводит нас к вышеозначенной проблеме дисциплинарного деления науки. Если задаться вопросом о том, ради чего вообще производятся тексты, можно сформулировать лишь два самых общих ответа или, скорее, дилемму. Они производятся ради памяти (аккумуляции записей на случай – в нынешних условиях крайне невероятного – более позднего востребования) или ради коммуникации (писем), т. е. ради воспроизводства системы общения. В первом случае речь идет об ино-референции системы, во втором – о самореференции. (И это же разделение служит основанием демаркации между естественными и гуманитарными дисциплинами.) Собственно, эта дилемма появляется вместе с возникновением письменности и лежит в основании дуализма всей коммуникативной теории: все, что говорится и пишется, пишется ради мнемонической функции либо ради коммуникативного сообщения²¹⁰.

Но чтобы текст стал знанием, мнемоническая функция должна была дополниться коммуникативной. И уже упоминавшееся разделение между гуманитарными и естественными науками оказывается следствием той или иной трактовки науками текстов как знания. Так, например, историки, лингвисты, философы, обсуждая не в последнюю очередь именно старые тексты, путем этого обсуждения и превращают их в знание. Не только новые, но и старые тексты в гуманитарных дисциплинах способны актуализироваться в виде знания, тем самым возвращая ему утраченную актуальность. В гуманитарных дисциплинах предметное измерение знания в большей степени дополняется социальным. В каком-то смысле исследователи вступают в письменную коммуникацию со своими предшественниками. При этом социальное измерение словно нейтрализует измерение временное, характерное для актуального естествознания с его встроенным предпочтением в пользу новых истин, а значит – коммуникации с современниками.

В гуманитарном знании специальный пул экспертов (историков, филологов, философов) словно заняты ослаблением давления современности, и, как следствие, значение временного измерения знания, как и решение об акцептации современных текстов в качестве знания, должно согласовываться «древними» текстами и их авторами.

Причем эта социальность знания несколько не релятивирует его. Ведь то, что, казалось бы, должно превращать знание в результат случайного решения небольшого экспертного сообщества и тем самым релятивировать его, на самом деле делает его ультрастабильным.

И это существенно отличает гуманитарное знание от знания естественнонаучного. Такое знание в наибольшей степени мимолетно, а его текстуализация не является существенной для него формой. Именно оно фальсифицируется и верифицируется, а значит – требует мгновенной самосубституции. Его подлинное пространство – измерение временное, а новизна – его критериальное свойство.

Истина как символическая и диа-волическая функция

Но если знание не является истинным обоснованным убеждением, то и истина не может быть свойством этого убеждения, т. е. значением пропозиции в

²¹⁰ См. Луман Н. Медиа коммуникации. Глава «Письменность». С. 76–122. Логос, 2005.

смысле Г. Фреге. Истина функционирует как код операций науки и как программа распределения кодовых значений (то, что логические позитивисты называли условиями возможности истины). Ради прояснения этих абстрактных формулировок Луман вводит это понятие путем его сравнения с – более фундаментальными – медиа восприятия (воздуха и света) и со специфическими медиа коммуникации других коммуникативных систем (деньгами и властью).

Означенные медиа в каком-то смысле аналогичны истине в их инструментальной или медиальной функции (функции посредника). Истина в этом смысле подобна воздуху – незаметному для наблюдателя инструменту (медиуму звуковых волн), благодаря которому мы слышим шумы (формы медиума). Но все-таки и воздух можно услышать, если он «наложит форму» на самого себя (например, в форме ветра). Так же и свет (электромагнитные волны) как невосприимчивый медиум восприятия дает возможность видеть, но только – в форме тех или иных цветов (форм света).

В этом самом абстрактном смысле и истина, сама как медиум, инструмент или символический посредник коммуникации, делает возможным фиксацию того или иного знания, но сама ускользает от непосредственного наблюдателя знания. По крайней мере, практикующий ученый редко задается вопросом о ее понятии. И уж тем более ему не ясны ее собственные социальные функции и предпосылки.

Эти предпосылки состоят в особом символизме и обобществляющем характере истины, что – как всякий символ – обеспечивает коннекцию элементов системы и – как принцип обобщения – инклюзию претендующих на истину в научное сообщество. Через символизацию удостоверенного в своей общезначимости знания обеспечивается интеграция научных коллективов. Символизация и генерализация суть стандартные социальные функции всех коммуникативных систем. И наука, как система, не перестает оставаться коммуникацией такой же, как и коммуникация во всех остальных коммуникативных подсистемах общества.

Но, помимо такой функции «обобществления» как условия социального порядка, всякий медиум должен решить и проблему дифференциации, или обособления собственной, регулируемой им системы. Если истина как *sym-bol* достоверного знания в первом случае обеспечивает коммуникативное единство научной системы и, как следствие, вносит вклад в интеграцию всего общества, поставляя в его распоряжение научное знание, то во втором случае она выступает в некой «диаволической» (*dia-bol*) функции обособления и разделения.

И опять здесь не обходится без парадоксальной метафоры наблюдения единства мира. Если попытаться помыслить то или иное «высшее единство» (единство общества, единство мира и т. д.) как единство различного, то, начиная с Ансельма Кентерберийского, мы непременно столкнемся с парадоксом. Фигура Бога традиционно служит символом некоего самого большого, лучшего, всеохватного. Но как можно наблюдать это единство? Ведь, наблюдая, мы должны обозначить это наблюдаемое, отличив его от всего остального. И если это единство действительно всеохватывающее и его уже не от чего отличить, в любом случае остается сам наблюдатель. Отсюда неизбежным представляется вывод

наблюдателя о том, что он сам есть нечто меньшее, худшее, ограниченное от наблюдаемого совершенного единства.

Наблюдатель дефинитивно отпадает от наблюдаемого им «высшего единства», как «падшей ангел» отпадает от Бога. Так и истина, как генерализированный символ, объединяет ученых, обеспечивает подсоединение истинных сообщений и образование единой системы. Но в результате такого особого типа наблюдения и концентрации истинностных высказываний возникают «диаволические» следствия: все больше и больше ложных суждений и увеличение объемов неизвестного – разумеется, как следствие ограниченности и недостаточности наблюдателя в сравнении с высококомплексным наблюдаемым единством.

*О неадекватности истины как *adekvatio**

Чем же является истина с более конкретной содержательно-понятийной точки зрения? Луман отклоняет распространенную концепцию истинности как адекватности суждения в отношении к внешнему миру (корреспонденции теории истины²¹¹), где внешний мир представал бы гарантом корректности высказываний о нем. И об этом не в последнюю очередь свидетельствует математика, ведь корреспондентская теория требует искать объекты математики где-то вне науки. Но именно при отказе от внешних референций в предметном измерении знания, а вовсе не ссылкой на внешнюю предметность, и обеспечивается внутренняя согласованность и непротиворечивость предложений математики, или, другими словами, подсоединительная способность математических суждений. И что делать с огромным количеством ложных суждений, очевидно, указывающих на необъяснимую «зловредность» предметов данных суждений, почему-то не показывающих себя, по крайней мере, сразу и безоговорочно, наблюдателю? Кроме того, считать ли в этом случае ложные суждения беспредметными? Или же следует гипостазировать некие ложные предметы, показывающие себя в ложных суждениях?

У Лумана же и за ложными суждениями зарезервировано немало позитивных функций (см. ниже), но особенно интересно их рассмотрение в сравнительной системной перспективе. Ложность в научных суждениях в некотором смысле функционально аналогична представлениям оппозиции в политической системе, медиуме кода власти. Оппозиционные суждения, с точки зрения парламентского большинства, признаются ошибочными, но тем не менее не считаются «преступными», несмотря на то, что их конечной целью являются изменение структуры, реформы и наконец – смещение фактической власти.

Такие суждения требовали бы мгновенной нейтрализации, но тем не менее артикулируются, рассматриваются и голосуются. Их невероятную вероятность следует объяснить, как следует объяснить и невероятную вероятность ошибочных суждений в науке. Почему тот, кто ошибается, толерируется, а не объявля-

²¹¹ Конечно, речь не идет о более рафинированной теории корреспонденции Бруно Латура, где корреспонденция понимается как «корреспонденция» (в смысле пересадочных связей на станциях метрополитена) между векторами развития тех или иных актантов, например, вектором эволюции лошадей и вектором эволюции иппологии (науки о лошадях). Иногда та или иная ископаемая лошадь «случается» к тому или иному иппологу, но вектора этих эволюций не соотносятся друг с другом в терминах адекватности. См. *Latour B. A Textbook Case Revisited – Knowledge as a Mode of Existence // Hackett E.J., Amsterdamska O., Lynch M., Wajcman J. (eds.) The Handbook of Science and Technology Studies. MIT Press, 2007.*

ется лжецом или, по крайней мере, не эксклудируется из научного сообщества как его неуспешный участник? Все эти соображения требуют комплексного рассмотрения истины во всем многообразии ее измерений, или горизонтов: предметного, временного, социального.

Измерения истины

Предметное измерение истинности (традиционные теории) Луман дополняет временным и социальным. Релевантность предметного измерения существенно снижена из-за «молчаливого» и, главное, – внутренне-неопределенного характера самого предмета:

«Ко всему, что происходит, система может сказать как «А», так и «не-А». И в этом нет никакого противоречия. В отношении традиционной концепции знания такое противоречие проистекало из предположения о существовании некоторого независимого от высказываний предмета, которому нельзя было бы одновременно приписать «А» и «не-А». Если же эта «онтологическая» предпосылка отпадает, то сам код должен регулировать этот вопрос... Никак нельзя попросить «предмет» вынести по этому поводу решение»²¹².

Не предмет, но сам код в его символической функции призван выносить соответствующее решение. Но механизмы этого решения оставались бы непроясненными без исторического экскурса в их формирование. Луман реконструирует некий глобальный тренд в развитии истины: от представлений о совершенной истине, призванной отразить полноту бытия путем ее логификации (посредством логики и ее различения истинного и неистинного как коррелятов бытия и небытия), в направлении операциональной истины. В последнем случае истина показывает себя в механизмах удостоверения конкретного знания в конкретных научных операциях (специфических научных коммуникациях: измерениях, экспериментах, объяснениях; более подробно см. ниже). Этот механизм состоит в системном (= коннективном) характере истины.

Истина интересна и получает резонанс в том случае, если формулируется новое знание, причем непременно в контрасте со старым. Именно такая новизна знания запускает его объяснительные процессы другим, еще не осведомленным о нем наблюдателям и поэтому провоцирует подсоединение новых когнитивно-ориентированных коммуникаций и, как следствие, образование системы научных коммуникаций.

При этом если предлагаемое знание не дополняет, а замещает старое, то уже это показывает ненужность дополнительных деятельностных усилий для акцептации такого рода запроса на контакт. Самого этого истинного (= нового, поразительного и замещающего старое знание) притязания (конечно, если оно достаточно убедительно) на отклонение и замещение старого знания будет достаточно, чтобы спровоцировать тот или иной ответ оппонентов²¹³.

²¹² Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellschaft. Suhrkamp, 1993. S. 211.

²¹³ В этом идеи Лумана существенно отличаются от представлений Томаса Куна о «несоизмеримости» старой и новой парадигм, которые (несмотря на весь заявленный социологизм) как раз в известной мере *декоммуницировали* представление об эволюции научного знания, выводили из социального измерения в предметное, в котором и осуществлялось *геитальт-переключение* (но не обсуждение!) с одной парадигмы на другую. Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975. С. 145.

То же самое касается и коммуникативного ответа на предложение «замещающего знания». Этот ответ не предполагает специальных деятельностных усилий по нейтрализации отклонения, как это имеет место в политике и праве. (Одними) действиями с новым знанием уже не справиться. Однако можно обратиться к специальным удостоверяющим функциям сознания – общему для всех участников системы аппарату восприятия, делающему возможным удостовериться в истине нового знания. Итак, истина в ее функции придания коннективного смысла тем или иным научным сообщениям в этом смысле действительно стилизована под «переживание», а не под действие.

Знание как результат действия, как правило, критикуется под ярлыком идеологии (целенаправленной, а значит, произвольной реализации тех или иных целей). Правда, знание как действие остается возможным также и во – всегда очень ограниченном – контексте открытия, но не в контексте обоснования. Открытие – случайно и именно поэтому может зависеть от действия. Обоснование же знания – необходимо, т. е. может быть проверено во всех лабораториях и в этом смысле действительно определяется внешними миром, «объективно» (= одинаково) данным сознаниям исследователей.

Собственно, здесь уже предложено решение парадокса знания неизвестной истины (Э. Геттиер). На стадии открытия знания последнее в некотором смысле действительно остается неизвестным, ведь открытие возможно и без достаточного его обоснования, и в этом смысле знание в процессе его открытия (как результат случайных действий, *trials and errors* в смысле К. Поппера) еще не актуализирует полного смысла понятия знания, методологически и теоретически обоснованного знания (подробнее о теориях и методах в коммуникативном смысле см. ниже).

Истина в компаративистской коммуникативной перспективе: социальное измерение

Истина, с точки зрения ее функции медиума²¹⁴ научной коммуникации, сохраняет некоторые свойства, общие и для других коммуникативных медиа (власти, денег, любви, веры, права и т. д.). Она столь же невероятна по своему генезису, как и они. И действительно, насколько же невероятны эти колоссальные усилия по затратам собственного времени на чтение и создание высокоспециализированных текстов! Она способна инфляционировать и дефляционировать, т. е. приобретать или утрачивать в своем значении с точки зрения наблюдателей истины из других систем²¹⁵; она столь же абстрактна, как и другие медиа, и по-

²¹⁴ В том смысле, что возможности и объемы потенциальных научных сообщений безграничны и поэтому требуют наложения на них определенных форм, фильтрующих эти сообщения и допускающих в науку лишь некоторые. Так же и возможные употребления слов определены в *медиуме* языка и получают свою *форму* в виде конкретных предложений.

²¹⁵ *Инфляция* в науке, экономике, политике предстает как гипертрофированная вера в возможности науки или власти, в возможности денег, в воспитательные функции образования и в консенсусные функции искусства («красота спасет мир»). С такой *инфляцией* мы имели дело, веря в безграничные возможности марксистской теории, с такой *инфляцией* мы имеем дело в случае безграничной веры в возможности «национального лидера». Напротив, *дефляция* связана с разочарованиями в завышенных ожиданиях от коммуникативных медиа, например, в случаях, когда *собственное значение теории и фундаментальных исследований утрачивается* и раздаются призывы к внешнему контролю, к самофинансированию науки, к ее ответственности, к ее подчинению так называемым национальным или общественным интересам. В этом случае значение истины как *симво-*

этому вынуждена опираться на механизмы удостоверения своей значимости, т. е. способна образовывать некие симбиотические²¹⁶ механизмы, использовать телесные свойства организма (прежде всего его способности восприятия) для контроля процесса распределения истинностных значений в случае сомнений в истине. Примерно так же, как коммуникативный медиум власти способен опереться на механизмы ее удостоверения и контроля через телесное насилие, а коммуникативный медиум любви использует симбиотический механизм сексуальности для удостоверения абстрактного и поэтому ненадежного символического значения этого медиума.

Но истина способна опираться на свои функциональные эквиваленты, скажем, на научную репутацию. Тем самым она осуществляет функции разгрузки и избавляет себя от (чрезвычайно затратных с точки зрения времени) текущих проверок претендующих на истину научных сообщений. Примерно так же, как в политической коммуникации власть способна опереться на – функционально эквивалентный власти – авторитет политиков, интеллектуалов или массмедиа.

Невероятность генезиса медиума истины прежде всего выражена в том, что тот, кто предлагает новые истины, все-таки не рассматривается как лжец или фальсификатор! Ведь он подрывает прошлое, а значит, надежное и удостоверенное знание и, как следствие, основания согласия в научном сообществе (консенсусная функция медиа). В системе правовых коммуникаций это эквивалентно ситуации, когда реформатор, предлагающий изменения в законодательство и тем самым подрывающий «устой» фактически функционирующего государства, все-таки не воспринимается как преступник. (А если он интерпретируется как таковой, следовательно, коммуникативная система права не достигла зрелости.) Все коммуникативные системы сталкиваются с таковой несогласованностью коннективной функции медиа (отбора сообщений через кодирование посредством медиа) и задачей медиума утверждать консенсус. Коннекция коммуникативных вкладов (и образование коммуникативных систем) необязательно требуют консенсуса и даже вполне могут обходиться без него.

Тем самым приходится расставаться с давней надеждой, что истины объединяют, а ложь разъединяет, с тем, что в самой структуре коммуникативной аргументации, согласно правилам рационального использования языка (в смысле Ю. Хабермаса²¹⁷), обнаруживаются средства принуждать оппонента соглашаться с доводом посредством самого довода. Так, дилемма консенсуса-конфликта в науке расцепляется с дилеммой истины и лжи, что принуждает отказываться от деятельностного понимания истины. Отклонение ложного предложения теперь не должно рассматриваться как «произвольно-целевой» акт, как свободное действие; такое утверждение истины и отклонение прежней ложной позиции теперь стилизовано под «вынужденное» решение на основе объективности и intersubjectивности восприятия. Как следствие, эти расщепления обеих дилемм («истинное/ложное» и «консенсус/конфликт») умножают вариации: конфликт

ла самостоятельности научного исследования и автономии науки, вера в ее неманипулируемость существенно уменьшается. (О принципах автономии науки подробнее см. ниже.)

²¹⁶ Симбиотические в смысле образования симбиоза между абстрактными символами и их телесными выражениями.

²¹⁷ О возражениях Хабермаса Луману и его рецепции см.: Хабермас Ю. О присвоении наследия философии субъекта (установки системной теории Н. Лумана) // Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2003. С. 221–233.

(или полемика) может организовываться и вокруг ложности, и вокруг истинности, и ни то, ни другое не гарантирует согласия.

На социальный характер истины указывает и механизм репутации, служащий дополнением (и одновременно неким замещением) к основному, но чрезмерно громоздкому механизму ее симбиотического удостоверения (опоре на симбиоз с телесностью). Так, при всем педалировании коммуникативных автоматизмов в вынесении истинностных оценок, Луману приходится возвращаться к роли личности в науке, подобно тому, как, несмотря на автоматизмы функционирования власти, все-таки и политической системе приходится говорить об авторитете конкретной личности, усиливающей механизм власти.

При этом авторитет в политике в большей степени является результатом произвольных действий²¹⁸, как бы присваивается конкретными людьми, назначается начальством (награды, ордена) и поэтому всегда неубедителен и подвергается критике оппозицией. Репутация же в науке как бы возникает сама по себе и присваивается «невидимой рукой». Репутация выступает неким вторичным кодом, который способен облегчить фиксацию и наблюдение – самого по себе в нормальной ситуации научного исследования ненаблюдаемого – кода истины/лжи, всегда остающегося слепым пятном научной коммуникации. Ведь теперь мы видим человека, открывшего и сформулировавшего истинное знание и в этом смысле словно несущего истину.

При этом вопрос о мотивациях, о том, что, собственно, желает истинный ученый – истины или славы (репутации) – утрачивает значение. Это стремление к репутации лишь служит наглядным выражением стремления к истине.

Функция такого вторичного кодирования знания с помощью репутации состоит в выходе за пределы предметного и временного измерений науки через измерение социальное, что ускоряет, расширяет и в целом оптимизирует научную коммуникацию: обладая репутацией, личность может претендовать на внимание, даже если она в своих научных интересах выходит за пределы однажды успешно реализованной темы или дисциплины.²¹⁹

Та же функция может быть обозначена как функция рекурсивности научной коммуникации. Ведь именно те исследователи заслуживают репутаций, кто своими достижениями сделали возможным генерацию новых репутаций (научные школы). Эта рекурсивность генерирует и своеобразные круговые отношения: репутация ученого является условием акцептации его публикаций во влия-

²¹⁸ В самом общем смысле политика понимается как стилизуемая как системное подсоединение одних коллективно-обязательных решений к другим на основе перепада власти как раз *безотносительно* к личным диспозициям и переживаниям в сознании трансляторов этих решений. Механистичность власти выражается в том, что акцептация выше принятых решений плохо совместима со способностью политики реагировать на импульсы из ее внешнего мира, т. е. на требования других систем – науки, экономики, на экологические вызовы и личностные предпочтения избирателей. Ведь все эти внешние перспективы не сравнимы по значению с неприятными последствиями, связанными с отказом повиноваться власти, как бы ни были велики экологические и иные риски игнорирования внешнемировых опасностей и вызовов. Но не только политика, но все системы равным образом *закрываются* в своих коммуникациях от их внешнего мира. И наука здесь не является исключением, т. к. все рецепции (переживания) внешнего мира она тем не менее представляет в собственных – научных – понятиях. Но, несмотря на эту закрытость, «стилизована» она как специализирующаяся на переработке именно внешнего мира. Политика же не только фактически замкнута в своих действиях, но и воспринимается как специализирующаяся на приведение решений (действий) в жизнь, на целереализациях (действиях), а не на рецепциях и перцепциях внешнего мира.

²¹⁹ Р. Докинз, У. Матурана, Ф. Варела представляют примеры биологов, успешно «вторгающихся» в социальную теорию, как и эпистемологию, и вносящих в эти дисциплины трансформированные биологические концепты. Успех их социальных теоретизаций не в последнюю очередь вытекает из их успеха и заслуженной репутации в области биологии.

тельных журналах без дополнительных тематических и квалификационных проверок. Но такие публикации, в свою очередь, способствуют формированию его репутации. Один раз возникнув, этот круг уже, как правило, не разрывается, что, конечно, ускоряет процесс развития науки, но платой за него является ограничения свободной научной конкуренции.

К понятию эволюции научной коммуникации

Системно-коммуникативный подход как методология исследований социальных изменений

Современная эволюционная теория, которую применяет Никлас Луман в своей модели развития науки, – это всем знакомая синтетическая теория, где под синтезом понимается единство генетической теории и дарвинизма. Так, генетическая теория описывает молекулярные механизмы изменений на микроуровне – структуру ДНК (описание, программу строительства организма) и РНК, которые обеспечивают перенос информации, считывания информации, ее материализацию (катализ пептидов, которые связывают молекулы белка). Используя эти результаты исследований органической эволюции, мы действительно можем задаться аналогичными вопросами применительно к обществу и науке. Например, поставить вопрос о том, что отвечает за аналогичные функции в научной коммуникации. Что представляют собой социальные гены, которые бы выступали информационными программами строительства научной теории и метода? И что обеспечивает перенос информации, синтез на макроуровне «социальных организмов», «социальных популяций» ученых и исследователей?

Мы можем осуществить такие сравнения, если рассмотрим коммуникацию как некое минимальное макропроявление общества. Тогда следует поставить вопрос, какова внутренняя структура общества (= коммуникации), каков механизм мутаций (изменчивости, вариативности) на микроуровне. Что является социальным ДНК и социальным РНК, что является предметом отбора, или селекции, на макроуровне? Что является социальным аналогом популяции? Если обобщать идеи Лумана, механизмы изменчивости в обществе предстают в следующем виде. Это:

1. символические медиа трансляции коммуникации;
2. символические медиа коммуникативного успеха.

К первым можно относить ресурсы восприятия, язык, письменность, печать, электрические медиа (кино, телевидение, радио), социальные сети. Это, собственно, и есть своего рода социальные РНК, т. е. медиа и средства, переносящие значимую для воспроизводства общества информацию о том, как должно выстраиваться общество.

Ко вторым можно отнести символические средства строительства и воспроизводства общества, медиа-коды: власть, истина, деньги, любовь, прекрасное, вера, собственность, которые служат ориентирами и мотиваторами, канализирующими коммуникативную активность в соответствующих социальных системах общества (политике, науке, семье, искусстве, религии, экономике и т. д.). Речь в этом случае идет о неких сокращениях или символах

для комплексных программ строительства коммуникаций, алгоритмах для алгоритмов отбора, или селекции удачных сообщений или предложений информации.

Мы можем привести примеры такого рода эволюционного отбора коммуникативно значимых сообщений информации:

1. коллективно-обязательное распоряжение (приказ) может приниматься или не приниматься (отбираться или отклоняться) в зависимости от целого ряда факторов (властного уровня инстанции, выпустившей приказ, формальности и неформальности власти, и т. д. и т. п.);

2. притязание на истинность (публикация) может отбираться или отклоняться, если реализуются комплексные программы по оценке, методической проверке нового знания;

3. предложения товара и притязание на товар (транзакции) могут отбираться или отклоняться, если наличествуют деньги и если известны цены (как своего рода программы покупки и продаж). «Если цены низкие, покупай, если цены высокие – продавай». Такова программа отбора экономических предложений информации.

Но и одного лишь успешного отбора сообщений (выполненные приказы, признанные публикации, проданные товары) недостаточно для закрепления успешных и жизнеспособных свойств и признаков²²⁰. Так же и типичные коммуникации должны образовать некое подобие популяций, чтобы в их рамках иметь возможность воспроизводиться. Применительно к обществу в функции квазипопуляции, видимо, выступают социальные системы, в которых однажды реализовавшийся успешный запрос на контакт и акцептацию посылаемого сообщения имеет не одноразовый и уникальный характер, но воспроизводится теперь снова и снова.

Если же не образовалась такой обособленной популяции (как, например, система хозяйства), то сегодня некоторая экономическая коммуникация покупки/платежа может демонстрировать успех, но завтра эту же покупку объявляют спекуляцией, несовместимой с доминирующими в обществе установками в отношении распределения и обмена продукцией.

Здесь мы можем подвести некоторый промежуточный итог сравнительного анализа эволюции в биологии и обществе.

Эволюционные механизмы общей теории эволюции:

1. генные мутации;
2. отбор или фиаско новых комбинаций генов, обеспечивающих жизнеспособность и воспроизводство фенотипов;
3. закрепление фенотипических признаков в популяции – универсальны и характеризуют также социальную эволюцию.

²²⁰ Здесь полезно вернуться к особенностям органической эволюции. Удачный отбор свойств, характеризующий перспективы воспроизводства конкретного индивида, не обеспечивает распространения этих свойств на всю популяцию. Вне отсутствия достаточного количества *уже ранее* сформированных свойств аналогичного типа новые и удачные жизнеспособные комбинации генов быстро растворятся и не смогут утвердиться и стабилизироваться среди еще преобладающих в данной популяции фенотипов предыдущего типа. Отбор, осуществляющийся на уровне индивидов (фенотипов), должен перейти на уровень популяций, где реализуется третий этап эволюции – *стабилизация*, или закрепление удачных признаков, характеризующих не только конкретный более жизнеспособный и более продуктивный организм, но всю *популяцию* такого рода индивидов.

Для социальной эволюции характерны те же механизмы трансформации иных, социально-коммуникативных содержаний:

1. вариативность (инновативность) сообщений;
2. акцептация (отклонение) новых сообщений;
3. обособление коммуникативных систем хозяйства, политики, науки (квазипопуляций) на основе системных медиа успеха, или социальных ДНК (денег, власти, истины), посредством социальной РНК (языка, письменности, печати, электронных медиа).

Мы можем на примере самых разных конкретных случаев, скажем, эволюции религиозной коммуникации и морали или эволюции научной коммуникации, проследить эволюцию структуры коммуникации на микроуровне, т. е. там, где осуществляются мутации и изменения.

Однако сначала следует определиться с тем, из чего, собственно, состоит внутренняя, инвариантная структура коммуникации. С точки зрения системно-коммуникативной теории, любая коммуникация может описываться как комбинация из четырех переменных: «Эго», «Другой», «действие» (сообщение), «переживание» (информация).

Коммуникация состоит, таким образом, из:

- (1) сообщения Другого;
- (2) извлечения информации некоторым Эго;
- (3) их синтеза – этапа понимания – того, каким способом информация связана с сообщением.

Теперь мы можем указать на то, что, собственно, может меняться в структуре коммуникации. Меняться (мутировать и комбинироваться) может связь сообщения и информации.

Эта связь может выглядеть как преимущественно инореференциальная (сообщение об ином) и самореференциальная (сообщение о самом характере сообщения). Соответственно возникают два комбинаторных варианта.

1. Основную роль играет информация. В этом случае публичное представление объективного положения дел является основной целью общения.
2. Основную роль играет сам факт производства сообщения, информационное же «содержание сообщения» вторично.

Скажем, примитивные сообщества практикуют коммуникативный ритуал вызова дождя, но латентным содержанием сообщения служит удостоверение во внутриплеменной сплоченности. Инореференция (информация о внешнем мире) есть лишь маскировка для самореференции, или самообсуждения (идея латентных функций Р. Мертона). Эволюция коммуникации тогда может представлять как эволюция от информационно закрытой (примитивно-религиозной) мотивационно-интеграционной коммуникации в направлении к коммуникации, ориентированной на предметно-ориентированное публичное представление информации. Речь идет о переходе от религиозно-морально-фундированной коммуникации к коммуникации в рамках обособленных сфер, где коммуникация ориентируется на публичность, а не на тайну и сакрализацию. Очевидно, что политические решения, научные знания, цены и курсы денег должны быть известны, т. е. публичны²²¹.

²²¹ Религия и мораль представляют собой эволюционный ответ на эволюционные вызовы, проистекающие из

Рассмотрим этот эволюционный подход применительно к специальному случаю эволюции научной коммуникации.

Универсальный дарвинизм и эволюция науки

Эволюционный подход к науке не является чем-то новым. Общие идеи в явном виде были заложены К. Поппером и развиты Д. Кэмпбеллом. Существенный вклад в развитие дарвинистской модели эволюции внесли С. Тулмин и Д. Халл. Важные критические замечания были высказаны Л. Коэном. В целом этот подход является лишь одним из расширений так называемого универсального дарвинизма (наряду с эволюционной антропологией, эволюционной психологией²²², эволюционной лингвистикой²²³ и другими многочисленными расширениями, вплоть до квантового дарвинизма, настаивающего на появлении мира классической физики на основании из квантового мира посредством естественного отбора²²⁴) и может быть отнесен к эволюционной эпистемологии²²⁵.

Идея такого универсального дарвинизма получила систематическую разработку в работах Кэмпбелла и, сохраняя общую ориентацию на неodarвинистскую модель эволюции биологического организма, включала три независимых эволюционных механизма – вариацию, селекцию, наследственность (ретенцию).

Еще раньше, в менее отчетливой форме, эволюционная схема реконструкции знания была предложена К. Поппером, у которого Кэмпбелл заимствует многие из своих идей. Поппер применил эволюционный концепт «репродуктивной жизнеспособности» организма к эволюции научных теорий. По мнению Поппера, их не требуется «спасать» путем добавления к ним разного рода *ad hoc* модификаций с целью объяснения аномалий. Напротив, они должны были пройти тест на жизнеспособность (и в известном смысле – на фертильность), подвергаясь фальсификациям как функциональному аналогу естественного отбора.

В этом смысле сама эволюция концептов представляла как процесс *trial and error*, в результате которого выживал наиболее приспособленный. И все же прохождение таких проверок на фальсифицируемость косвенно указывало на некое постепенное приближение к истине – или *verisimilitude*. В этом обстоятельстве и сам Поппер чувствовал противоречивость своего эволюционного подхода, ведь повторные тесты, которые преодолевала та или иная тео-

особенностей языкового кодирования коммуникации. Всякая вербальная коммуникация кодируется с помощью частички «нет». Этот код «*да/нет*» представляет главный эволюционный ресурс, ведь все, что сказано, может отрицаться и отклоняться, что резко повышает мутационность и вариативность коммуникации. Но с таким ресурсом простые общества справиться не в состоянии. Ведь всякое отрицание ставит под вопрос сплоченность небольшого коллектива. Религия и мораль своими запретами, табу, ритуализацией в этом случае приходят им на помощь. Более подробно см.: *Луман Н.* Медиа коммуникации. М.: Логос, 2006.

²²² Buss D.M. (Ed.) The Handbook of Evolutionary Psychology. John Wiley & Sons, Inc., 2005.

²²³ Oudeyer P-Y, Kaplan F Language Evolution as a Darwinian Process: Computational Studies. Cognitive Processing, 2007. №8. Pp. 21–35.

²²⁴ Zurek W. Quantum Darwinism. Nature Physics. 2009. № 5 Pp. 181–188.

²²⁵ Эволюционная эпистемология в этом смысле есть более широкое течение, поскольку рассматривает не только эволюцию научного знания, но и эволюцию познавательных способностей, восприятия и т. д., которые – усиливая репродуктивный потенциал своих носителей – в конечном счете оказались конститутивными условиями возникновения науки. Таковыми эволюционно-адаптивными приобретениями стали, среди прочего, диспозиции избегать противоречий, проверять высказывания, распознавать паттерны, делать успешные предсказания, запрещать обман. Для *homo sapiens* такие эпигенетические правила поведения стали базовыми условиями выживания и репродукции. Более подробно см.: *Ruse M.* Evolutionary Naturalism. London: Routledge, 1995.

рия, подводили к индуктивному выводу о некой лучшей приспособленности данной теории²²⁶.

И этот «налет индукции» был несовместим с общим антииндукционизмом Поппера. Ведь всякий «выживший» в конкуренции концепт тем не менее, по Попперу, не должен претендовать на приоритет, поскольку никакое приближение к истине (*verisimilitude*) не должно было апеллировать к такому ненадежному средству обоснования, как индуктивный ряд удачно пройденных тестов. Ведь никакая индукция, с точки зрения Поппера, не уменьшала вероятность возможных в будущем фальсификаций и никак не смягчала жесткость соответствующего логического закона *modus tollens*, которому-де подчинялось развитие науки²²⁷.

То, что «приближение к истине» подразумевало некую – пусть недостижимую – конечную цель научного развития, указывало на то, что Поппер до конца не избавился от «телеологического» понимания науки или от влияния так называемой «староевропейской семантики» (Н. Луман), основу которой составляло представление о том, что после обнаружения окончательных истин эволюция знания придет-де к своему завершению – покою или «состоянию перфекции».

Собственно, проблема и состояла в определении этой последней стадии эволюции – стадии ретенции, на которой приобретенные и обеспечивающие репродуктивное выживание новые свойства закреплялись в поколениях и популяциях. Насколько вообще оправданно выделять эту стадию как отдельный и независимый механизм, ведь уже селекция (без всякой стабилизации) сама по себе в каком-то смысле и представляла собой отбор именно того, что должно быть закреплено и стабилизировано?

Напротив, подход Кэмпбелла, в отличие от идей Поппера, предполагал большую дифференцированность механизмов эволюции, состоящих, по его мнению, из двух независимых этапов: «слепой вариации и селективной ретенции»²²⁸. Луман же, в противовес Кэмпбеллу, настаивает на том, что и последняя стадия – стабилизации – в свою очередь должна получить дополнительную автономность и функционировать как отдельный механизм. (Применительно к частному случаю эволюции знания это, например, означает, что селекция научного знания осуществляется на уровне «журнальных публикаций», которые претендуют на то, что обосновывают истины, в то время как ретенция-стабилизация представляет собой этап составления справочников, учебных пособий, словарей, дисциплинарных антологий и т. д., которые служат неким избыточным фоном, на котором профилируют новые вариации и селекции.)

Дисциплины, где эволюция механизмов эволюции не привела к этому обособлению и ретенция, т. е. закрепление новых стабилизовавшихся

²²⁶ Вообще тезис о «лучшей» адаптации не выдерживает критики, т. к. все приспособившиеся виды адаптировались очень хорошо или не адаптировались совсем. В этом смысле наличие концептов, которые дают лучшее или худшее объяснение, выглядит аномалией в контексте общей теории эволюции.

²²⁷ Забегая вперед, укажем, что Луман отказывается от идеи «постепенного приближения к истине» на ее последней стадии ретенции – аутопоззиса. Стабильность состоит лишь в стабильности переформулирований и рекомбинирований предложений истины.

²²⁸ *Campbell D.T. Blind variation and selective retentions in creative thought as in other knowledge processes // Psychological Review. 1960. Vol. 67. Iss. 6. Pp. 380–400.*

свойств не может быть отличена от их отбора в виде журнальных публикаций, не могут считаться зрелыми²²⁹.

Понятийное оформление этих трех стадий в рамках эволюции науки обнаруживаем у Д. Халла. В его подходе за первый и самый нижний этаж эволюции отвечают некие репликаторы (гены в рамках органической эволюции; понятия, полагания, исследовательские техники в рамках эволюции науки), представляющие собой единицы вариативности, способные к самокопированию. На втором «этаже» эволюции действуют интеракторы (фенотипы в органическом мире; исследователи и группы ученых в науке) как субъекты и одновременно объекты эволюционного отбора. И наконец, на третьей стадии некоторые отобранные свойства стабилизируются в виде популяций (виды в органическом мире) и в виде развивающихся научных концептов с меняющейся, но сохраняющей временную континуальность семантикой («концептуальные линии» в науке).

И опять сомнения вызывает третий эволюционный механизм. Ведь «концептуальные линии» в развитии научных понятий или научных теорий несколько не похожи на свой биологический аналог или прототип, а именно – на биологический вид. (Эту претензию озвучил Коэн²³⁰.) Впрочем, для Лумана же главным недостатком этого подхода выступает представление науки в виде коллектива, поскольку науку, по его мнению, следует понимать как систему коммуникаций, но не людей.

Стивен Тулмин, в свою очередь и по-своему, применяет идеи Дарвина к анализу истории науки, причем ему, видимо, удается преодолеть опасности индуктивизма, с которыми столкнулся Поппер. Тулмин, исповедовавший дескриптивный подход к истории науки и в целом призывавший отказаться от понимания развития науки как истории логически связанных пропозиций, рассматривает истории научных теорий по аналогии с развитием эволюционирующего организма²³¹. Природный отбор, с его точки зрения, воздействует на множества «концептуальных вариантов». И выживают лишь «наиболее приспособленные» к «давлению со стороны объяснительных требований» к аномалиям. Появляющиеся и требующие объяснений аномалии и есть те самые энвиронментальные условия, которые характеризуют меняющиеся условия среды, к которым должна приспособиться парадигма (сумма «концептуальных популяций»).

Мы представили краткую предысторию эволюционного подхода к развитию науки. Рассмотрим в этой связи тот новый вклад, который в это развитие вносит коммуникативная теория (с особым вниманием к ее версии, пред-

²²⁹ Здесь нужно указать, что публикация учебных пособий и справочников есть свидетельство и институционализации данных дисциплин. Так, фундаментальный труд «Социальная философия науки. Российская перспектива» (М.: Кнорус, 2016) мог быть выпущен только после институционализации сектора социальной эпистемологии в Институте философии РАН, появления соответствующих курсов лекций в МГУ и НГУ.

²³⁰ Впрочем, Коэн не соглашается и с первой аналогией – различением независимых *вариаций* и *селекций*, как оно имеет место в органической эволюции и развитии знания, поскольку «the gamete has no clairvoyant capacity to mutate preferentially in directions preadapted to the novel ecological demands which the resulting organisms are going to encounter at some later time», между тем в науке понятия, исследовательские техники, методологические правила и т. д. создаются осознанно и осмысленно – с прицелом на их последующий отбор или селекцию (т. е. признание правильными или истинными). *Cohen L.J. Is the Progress of Science Evolutionary? // The British Journal for the Philosophy of Science. 1973. Vol. 24. P. 47.*

²³¹ Долгосрочные крупномасштабные изменения в науке, как и везде, происходят не в результате внезапных «скачков», а благодаря накоплению мелких изменений, каждое из которых сохранилось в процессе отбора в какой-либо локальной и непосредственной проблемной ситуации. *Тулмин С. Человеческое понимание. М., 1984. С. 41.*

ставленной в работах Н. Лумана), и в этой связи попробуем предложить несколько выводов в отношении эволюционной зрелости отечественной науки.

Все рассуждения Лумана подчиняются некоторой общей идее: если вообще возможно зафиксировать действительное различие между означенными эволюционными стадиями, то можно будет говорить и об эволюционной зрелости самого научного типа коммуникации. С одной стороны, современная наука не знает границ в аспекте акцептации истин; с другой стороны, некоторая развивающаяся национальная наука в какой-то момент «преодолеывает» таковые национальные рамки и границы и, соответственно, утрачивает национальную специфику в акцептации инноваций (варьирование), в принципах отбора истинных предложений (селекция) и в характере ее стабилизации знания (в виде учебников, справочников и т. д.). В этом случае мы можем судить о зрелости либо неразвитости той или иной национальной или региональной науки.

Избыточное/вариативное в обществе и науке

Основная дистинкция, с помощью которой Луман «описывает» содержание научной коммуникации, представлена различием «вариация/избыточность». Она восходит к фундаментальной структуре самой коммуникации, которая, по его мнению, выказывает принципиально бинарный характер: в том смысле, что всякая коммуникация либо сообщает нечто новое, неизвестное ее участникам (вариативное), и в этом смысле является инореференциально-ориентированной; или же сообщает лишь о том, что сообщение вообще состоялось и обращено именно к данным участникам коммуникации, а могло бы их проигнорировать.

Информационное содержание такой коммуникации не имеет большого значения, оно может быть хорошо известным, старым, утвердившимся ранее как нечто очевидное. В этом случае речь идет о самореференциальном типе коммуникации, смысл которой состоит лишь в утверждении солидарности или его латентной тематизации. В целом этот избыточный (редундантный) нарратив отвечает нормативному типу ожиданий и характеризует главным образом правовую систему, где любое прегрешение против нормы в силу вызываемого этим нарушением резонанса и санкций лишь укрепляет ее (т. е. избыточным образом подтверждает). Несколько огрубляя, можно сказать, что коммуникацию в науке отличает именно ориентированность на сообщение нового, подготовку новых вариантов знания в соответствии с иным, когнитивным типом ожиданий.

В рамках этого типа высказывание, противоречащее норме или закону (например, некоторой научной генерализации), не отклоняется сразу, но должно быть взвешено на предмет того, что же в данном контексте важнее — сохранить норму или «спасти явление» за счет отказа от закона, топоса и т. д.

Основанная на нормативных ожиданиях избыточность, однако, никуда не исчезает и в научном дискурсе, но является фундаментальным условием любой, а значит, и научной, эволюции. Избыточность в смысле Лумана представляет тот контекст и массив проблематичного и удостоверенного знания, которое повторно воспроизводится в любой научной коммуникации. (Это понятие избыточности хорошо коррелирует с понятием «жизненного

мира» Ю. Хабермаса, описывающего некий комплементарный феномен к коммуникативному действию и рациональной коммуникации.)

Всякая коммуникация, претендующая на новизну и вариативность, профилируется на фоне такой избыточности. Но что является условием возможности новизны и вариативности, если утвердились и господствуют проверенные и подтвержденные факты и теории?

Интерпенетрация сознания и коммуникации как источник инновативности научного знания

На эволюционной стадии варьирования ключевая роль такого источника изменчивости отводится Луманом индивидуальному сознанию и его способности вступать в отношения взаимопроникновения с коммуникацией. Сознание ученого (как внешняя по отношению к науке система, полученные в образовании компетенции и квалификации) выступает в функции прерывателя взаимозависимостей коммуникации, де-формализует коммуникацию.

В целом возможность такого прерывания формализованных коммуникативных потоков характеризует современное зрелое дифференцированное общество, где сознание участников коммуникации, с одной стороны, существенно специализированно, а с другой, по причине своей специализации, в своих реакциях на внешний мир не испытывает необходимости учитывать внешние, не специальные контексты (т. е. семейные, политические, конъюнктурные, экономические, в особенности – требования групповой интеграции и социальной солидарности, которые ориентируют коммуникацию на групповые ожидания).

И именно такая автономная специализация делает возможными сбои в утвердившихся и формализованных типах общения и, как следствие, прерывания коммуникативных взаимозависимостей, требующих уважения к текущим законам (неважно, правовым или научным).

И здесь мы можем задать вопрос о наличии такого источника инноваций в отечественной науке, в рамках которой ощущается известный дефицит вариативности. Сознание российских ученых, скованных иерархическими и социальными условностями и установками, не допускает возможности прерывания формальных коммуникативных взаимозависимостей. Парадный случай представляет, например, ситуация с диссертацией В. Р. Мединского, формально соответствующей всем заданным нормативно-коммуникативным условиям научного аутопоззиса (достаточное количество публикаций в рецензированных журналах, отсутствие некорректных заимствований, поддержка со стороны большинства диссовета).

Возмущения «недовольных» этой работой участников научной коммуникации в этом случае не должны препятствовать взаимозависимостям аутопоззиса, и все же такое «вторжение» оказалось бы очень продуктивным именно как условие «инновативности», что, возможно, со временем привело бы к расшатыванию установившегося нормативного порядка, сегодня формально допускающего и пропускающего такие диссертации. В дифференцированном обществе (именно в силу очень большой профессиональной спецификации сознаний участников) участники обособленной коммуникации, словами Лумана, «способны заявить о том, что думают». И это, безусловно, может застопорить отдельную

линию коммуникации, но не разрушает и не стопорит коммуникации в других частях системы. Очевидно, что диссовет, где была защищена диссертация Мединского, столкнулся бы с трудностями своего аутопоззиса, но это существенно не затруднило работу других диссоветов того же ВУЗа. В этом смысле интерпенетрация (взаимопроникновение) социальной системы науки и системы сознания друг в друга не осуществляется в России должным образом. Сознания недостаточно специализированны профессионально, поскольку участники отечественной научной коммуникации (в особенности это касается гуманитариев) вынужденно учитывают последствия своих высказываний не столько для специализированной профессиональной области (в данном случае – науки), но и для других коммуникативных сфер – например, карьерных перспектив, возможностей экономического или финансового ущерба для них и т. д.).

Другой стороной такой искаженной интерпенетрации становится гипертрофированно раздутый личностный фактор. Ни для кого не секрет, что слишком много в российской науке зависит от личных связей (стандартные примеры: директора НИИ «фаворизируют» отдельные сектора или лаборатории и т. д., ученые советы находятся под личным ручным управлением дирекции; аспиранты более влиятельных руководителей получают несравнимые преференции в публикациях во влиятельных журналах и т. д.).

В целом, если использовать терминологию Лумана, сознания ученых не выступают достаточно независимыми «случай-сортировочными-машинами», фильтрами, которые на предварительной стадии эволюции должны отфильтровывать ненаучные, сомнительно-научные, идеологически ангажированные и иные «притязания на коммуникацию», которые в системе науки выглядят как притязания на публикации или диссертационные работы. Именно незрелость этой функции фильтрующего сознания сделала возможной публикацию диссертации Мединского, а теперь неспособна остановить запущенные взаимозависимости, которые, как в «Процессе» Кафки, делают необратимым аутопоэтический системный процесс.

Личностный характер инноваций на эволюционном этапе варьирования не реализуется в российской науке именно в силу гипертрофированного влияния фигуры администратора. Если роль личности в мировой науке связана с пиететом перед культовыми фигурами ученых («герои духа» и «научные гении»), выступающими маркерами случайного характера «мутаций» в научных коммуникациях, то у нас эволюционная стадия варьирования определена воздействием со сторон неких контркультовых фигур, которые, однако, в свою очередь, высвечивают случайностный характер этой стадии, правда, с противоположным знаком. И такая контркультовая фигура Мединского лучше всего символизирует незрелость данной эволюционной стадии развития отечественной науки. Не научная репутация как функциональный эквивалент истинности и научности маркирует случайный характер науки на стадии варьирования (раньше бы сказали, на этапе «стадии открытия»), но низвержение репутаций отдельными энтузиастами (диссернет и т. д.), которые, правда, не способны осуществить свою сверхзадачу.

Проблема/решение как источник вариативности научной эволюции

Другой признак зрелости науки на стадии варьирования (и одновременно – ускоренной инновативности) Луман связывает с использованием схемы «про-

блема/решение», т. е. с тем обстоятельством, что всякое решение только и заостряет (и даже, собственно, и высвечивает) проблему. Ведь всякое предложенное решение провоцирует иные – вариативные и альтернативные – возможности решений проблемы. (Вспомним, что корпускулярное решение проблемы света Ньютоном как раз и спровоцировало полемику и альтернативные решения, предложенные Гуком и Гюйгенсом.) Именно эта дистинкция «проблема/решение» отвечает за инореференциальный характер научной коммуникации, выводит науку за пределы самой себя, не дает ей погрязнуть в бесконечных уточнениях и выверениях методологических требований, схоластических интерпретациях и переинтерпретациях собственных понятий.

Если в этой связи попробовать охарактеризовать отечественную науку, то как минимум в отношении социально-гуманитарных дисциплин можно утверждать о существенной произвольности в постановке проблем и, шире, – в обращении с исследовательским материалом и применяемыми подходами. В особенности в региональных вузах, как правило, создается собственный массив понятий и общих мест (за авторством местного научного администратора), к которым снова и снова ритуально отсылают в статьях и особенно диссертациях подчиненные исследователи. Таким топосом стал, например, пресловутый тезис о «постнеклассической» стадии развития науки, давно занявший место цитат из классиков марксизма и к месту и не к месту цитируемый во всех без исключения диссертациях по философии науки.

Другой тип подмены фактических проблем представляют, безусловно, уже практически институализировавшийся обычай ссылаться на работы членов диссоветов, без чего в эпоху ссылок и индексов вообще трудно ожидать от соответствующего совета лояльного отношения к диссертанту. Сюда же можно отнести и специфический подбор оппонентов и ведущей организации по признаку личной лояльности, на который никак не влияют требования Минобрнауки по нейтрализации конфликта интересов путем ограничений выбора оппонентов и ведущей организации. В этой связи совсем не удивляет отсутствие какой бы то ни было эквививальности (независимых открытий в разных лабораториях) в научных исследованиях, которая, согласно Луману, характеризует всепроникающую универсальность мировой науки в отношении научных проблем и их решений.

Конечно, судить о «качестве» постановки проблем паушальным образом довольно трудно. В конечном счете лишь сама коммуникация о значимости проблемы для обособленной дисциплины является последним критерием этой значимости. Но все-таки, особенно если рассматривать социально-гуманитарную сферу (списки поддержанных проектов РНФ и РФФИ здесь особенно красноречивы), бросается в глаза произвольность выбора поставленных проблем, и не в последнюю очередь потому, что финансовую поддержку в российских условиях недофинансирования получает чаще всего не соответствующая проблема, а квалификация исследователя, наработанная им научная репутация, участие иностранных коллег и многое другое.

Паранаука

Паранаука, с точки зрения Лумана, тоже должна быть включена в реестр источников эволюционной вариативности. Ведь именно паранаука обращает-

ся к рискованному знанию, которое в некоторый данный момент не может быть акцептировано научным истеблишментом. Но такое знание, в свою очередь, «шлифуется» и методологизируется по образцу научного и зачастую в коммуникативных рамках самой науки. Выдающиеся примеры – это теория психоанализа в психологии, теория литосферных плит Вегенера, космонавтика Циолковского. И в российской науке известен выдающийся пример паранаучного предуготовления научных открытий и изобретений, а именно традиция русского космизма. Достаточно вспомнить имена представителей русского космизма (К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, А. Л. Чижевского, П. Г. Кузнецова), который и сегодня является одним из ведущих отечественных философских брендов.

Однако функционирование такого рода условия предполагает, что паранаучная линия исследований, хотя и является маргинальной и периферийной, но все-таки локализована на внутренней границе науки. Так, раскопки Шлимана были сделаны с большими ошибками (уничтожены верхние археологические слои – как раз той самой гомеровской Трои), но все-таки эти результаты были признаны как ошибочные внутри науки, а не как ненаучная фикция. Можно предположить, что в отечественной науке такая паранаучная линия эволюционного варьирования практически отсутствует или – в том, что касается социально-гуманитарной мысли, – проблемные линии настолько бесформенны и сами по себе маргинальны, что на их фоне просто не могут профилировать паранаучные исследования. С другой стороны, то, что в России фигурирует в виде паранауки, движимо не научным интересом, а иными финансовыми и политическими мотивациями, используется как политический капитал и в принципе не может быть акцептировано внутри науки (фильтры Петрика, нооскоп Вайно – здесь особенно комичные примеры).

Если эволюционная стадия варьирования может быть сопоставлена с этапом научного открытия, как это представлено в традиционной философии науки, то стадия «естественного» отбора предложенных к публикации материалов представляет собственно научную стадию, которую можно соотнести с этапом обоснования знания. Эволюционная селекция, по мысли Лумана, есть акцептация научного знания через исключение неконсистентного, отклонение ложного, т. е. распределение истинностных значений путем проверки знания, предложенного для коммуникации в рецензируемых журналах. За недостатком места не будем специально останавливаться на этом ключевом этапе научной эволюции, но перейдем к дистинкции «селекция/стабилизация» как важнейшему маркеру зрелости современной науки.

Стабилизация знания указывает на степень утверждения научных результатов в памяти системы научных коммуникаций, на его вхождение в научную традицию. Это может выглядеть как включение опубликованных ранее исследовательских результатов в учебники, словари-справочники, разного рода ридеры и дисциплинарные антологии. Степень зрелости дисциплины выражена в степени формализации этого процесса и известной анонимизации результата. Если журнальная публикация выражает авторство, то информация в учебнике деперсонифицирована и представляет собой как бы уже акцептированный коммуникативный запрос. Если цитирование (неважно, призна-

тельное или полемическое) публикации выражает успех эволюционного отбора (всегда «внутреннего», а не внешнего или «естественного») этой публикации, то включение результатов исследований в научные обзоры диссертаций и затем – в случае успеха – в учебники и справочники выражает успех эволюционной стабилизации научного знания.

И здесь можно указать на отечественную специфику этой стадии эволюции, состоящую в том, что отечественные диссертационные обзоры литературы все-таки не выражают в достаточной мере эту «общезначимость» достигнутых результатов (конечно, эта ситуация характеризует в большей степени социально-гуманитарные дисциплины). Как уже говорилось, здесь ссылки носят ритуальный характер, и, собственно, эти разделы диссертаций, как правило, не интересуют ни ВАК, ни оппонентов.

Если означенное различие между процессом отбора публикации в журнал и аккумуляцией наличного (т. е. собранного в учебники и справочники) является явным и практикуемым и если это различие действительно тематизируется и фиксируется в диссертациях как различие между новизной и актуальностью, или, говоря словами Лумана, между вариативностью и избыточностью, то дисциплина может претендовать на статус зрелой обособленной области знания.

Некоторые выводы

В целом представляется, что в отношении стабилизации (образования системной памяти дисциплины через закрепление значения истинного за определенным знанием на некоторое осмысленно длительное время) эволюция отечественной науки не достигла мирового уровня автономности стабилизационного процесса, поскольку не до конца утвердился самосубститутивный порядок приращения знания, характерный для научного аутопоэзиса – процесса коммуникативно непроблематичной смены одних утвердившихся истин другими. Факторы, мешающие утверждению такого самозамещающего процесса, лежат на поверхности.

1. Вторжение ненаучных (телеология, политика, экономика) форм коммуникации в науку.
2. Непрерывная смена селективных критериев, определяющих то, что же следует аккумулировать в виде в памяти научной системы. В отечественной науке административным решением принято считать таковой памятью не фундаментальные труды (монографии, энциклопедии, антологии, справочники), но публикации в журналах Web of Science и Scopus. Такое принятие в печать понимается как венец развития и критерий успеха исследования (закрепления его истинности). Между тем в современной западной науке публикации этого уровня соотносятся скорее со стадией эволюционной селекции, т. е. со стадией обоснования истинности и распределения значений истины/лжи, никак не гарантирующей длительность и устойчивость таких распределений.
3. Создание альтернативных научным, исключительно образовательно, политически и финансово-экономически обоснованных форм фиксации научного признания и научной репутации (система «Истина», «РИНЦ»),

«карта российской науки»), которые в сущности лишь маскируют попытки определения эффективности одной системы средствами других коммуникативных систем, что существенно ограничивает автономный характер науки.

Впрочем, различие между российским пониманием стабильности и эволюционной стабильностью современной мировой науки даже более фундаментально, поскольку российское общество, сохраняющее определенные признаки традиционности, ищет в результатах научных исследований некие вековые основания, вечные истины. Между тем стабильность современной науки в терминах системно-коммуникативной теории Лумана есть стабильность прежде всего динамическая, предполагающая непрерывное обращение («ликвидность») истин. Эта «ликвидность» должна пониматься как способность научной коммуникации к тому, чтобы своевременно «сбывать» старые знания в обмен на новые по некоторому относительно приемлемому курсу, а не формулировать окончательные мироописания в поисках «абсолютных достоверностей».

Case study: социальная философия науки Фридриха Шлейермахера – системно-коммуникативная интерпретация

От сведений к знаниям: к вопросу о прикладной герменевтике

Книга «Идея немецкого университета», появившаяся в 1808 г., была написана в особую историческую эпоху – период наполеоновских войн, ликвидации Священной Римской империи и создания Рейнского союза немецких государств, достигших к этому году своего наибольшего расцвета, пусть и под патронажем наполеоновской Франции. Французская оккупация еще сильнее обострила вопрос консолидации немецких земель, не объединяемых отныне произвольно проводимыми границами, диктуемыми реальным соотношением сил и аппетитами серьезных игроков, а получающих некоторую культурную основу – языковую общность.

Новые формы государственности влекут за собой трансформацию иных институтов и прежде всего научных и образовательных учреждений, что ставит проблему их отношений к новообразовавшимся государственным структурам, вопросы степени их автономии и средств достижения и утверждения такой автономии.

Этот вопрос позднее принимает вид дилеммы экстернализма/интернализма, а у Шлейермахера имеет форму более конкретной проблемы отношения академии наук и университетов, с одной стороны, и их реакции на потребности государственного управления и государственного строительства, осуществления, как бы мы сказали теперь, информационного контроля над обществом, с другой. Должен ли этот национально-консолидирующий культурно-языковой контекст научных исследований сказываться на структуре науки, определять выбор научных тематик, квалификационные стандарты отбора ученых и студентов, требовать контроля над академическими организациями, или же наука должна представлять собой автономное образование, самостоятельно определять свои цели, социальный состав и структуру? И применительно к этим

проблемам Шлейермахер обращается к разработанному им герменевтическому методу текстовой интерпретации.

Интерес Шлейермахера к теории интерпретации и, шире, к герменевтически понимаемым проблемам культурно-языковых контекстов далеко не случаен. Здесь сказывается и погруженность автора в протестантскую библейскую экзегетику, и его происхождение из семьи протестантского священника, а также первое образование, полученное им у моравских братьев, в одной из пиетистских сект, и не в последнюю очередь его работа в качестве переводчика платоновских диалогов, которые и по сей день считаются образцовыми переводами древних текстов. Итак, протестантское религиозное воспитание, где интерпретация религиозных текстов является фундаментальной для формирования личного религиозного опыта, а также личностно воспринимаемые проблемы и трудности становления немецкого государства, убежденность в ключевой роли немецкого языка как хребта немецкой государственности и, наконец, личный переводческий опыт и осознание необходимости поиска каузальных детерминаций не только в области естественных наук, но и в науках о человеке, о его языке и морали²³², – все это и образует тот фон, на котором начинается формирование новой гуманитарной дисциплины – филологической и философской герменевтики, науки о контекстуальной определенности всякого понимания и интерпретации текстов, и даже шире – всей человеческой деятельности.

Этот многообразный биографически, исторически и религиозно определенный контекст трудов мыслителя, конечно же, не являлся его личной особенностью, но представлял собой доминирующее и очень широкое умонастроение, которое известно нам под именем немецкого романтизма. Шлейермахер всей своей жизнью и трудами воплощал «романтическую аксиому», которая получает у него научно-филологическое выражение. Смысл этой «аксиомы» – в дополнении концепции «общего духа» нации Монтескье, Руссо и других представителей французского Просвещения концепцией «божественной идеи человечества», суть которой состоит в таком понимании равноценности наций, народов и лежащих в ее основе языков, которая бы вытекала не столько из всеобщности человеческой природы, сколько из «многообразия форм выражения идеи бесконечного творения Богом человечества»²³³.

Речь шла о «возвращении» национальной самобытности и богатства конкретного языка, утерянной-де в абстрактности идеи Просвещения. Именно нация с ее конкретным языком полагалась единственно возможным конкретным воплощением любой универсальной или абсолютной идеи, тогда как «универсальное человечество» и «универсальный язык» полагались лишеными какой бы то ни было «чувственной» реальности.

Эта идея наиболее отчетливо была озвучена Фихте в его концепции языка как природной силы, как средства восприятия нацией конкретных условий ее

²³²В противовес Канту, разводившему возможную лишь в трансцендентном и ноуменальном мире мораль, и свободу, и необходимый, а следовательно, не оставляющий свободного выбора характер мира вещей для нас, Шлейермахер создал концепцию, сопрягающую возможность морали и каузальных связей. Применительно к науке это означало одно – науки естественно-математические и науки гуманитарные не могут быть разведены по разным мирам, а обращены к общему предмету – миру, включающему как человека с его моралью и свободной волей, так и каузальные детерминации в законах природы.

²³³О Шлейермахере и «романтической аксиоме» см.: *Хюбнер К.* Нация. Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Канон+ Реабилитация, 2001.

жизни (читателю судить, насколько это похоже на тезис Сепира и Уорфа). И поскольку условия существования различных народов значительно различаются в пространстве и времени, то и вопрос об «универсальном языке» (*lingua generalis* в смысле Лейбница) или об общем протоязыке теряет всякий смысл.

В своей философии языка, в особенности в «Лекциях по психологии», Шлейермахер выдвигает в сущности социоэпистемический тезис о социальной природе языка (и как следствие – мышления, поскольку последнее, по его мнению, является фактически идентичным его лингвистическим выражениям).

Смысл лингвистических выражений, как позднее у Л. Витгенштейна, может определяться через «употребление» слов, в особенности через социально детерминированные правила употребления слов и предложений. Эти представления о языке базируются на его диалектике целого и части (как философского обоснования герменевтики), где именно целое определяет смысл своих составляющих. В этом смысле его философию языка можно характеризовать как «семантический холизм», где каждое слово входит в некоторое множество членов языковой «семьи» (целое), где каждый член представляет тот или иной его способ употребления. Например, «работать» как волк, «работать» в поле, «работать» в поте лица и т. д. составляют такого рода семью. Эта комплексная семантическая единица, в свою очередь, входит и определяется некоторым большим целым, скажем, суммой грамматически возможных модусов слова (склонения, однокоренные слова и т. д.). Семейство расширяется, включая в себя «работника», «работу» и т. д. Идентичный подход несколько раньше разрабатывается и близким другом мыслителя, немецким романтиком Шлегелем, и тотчас подхватывается В. фон Гумбольдтом.

Эта диалектика целого и части, с одной стороны, применяется им в качестве метода к конкретным проблемам взаимоотношения науки, образования и государства, а также вытекающим из них проблемам внутренних демаркаций между гуманитарным и естественнонаучным знанием, а с другой – была положена в основание герменевтического метода анализа текстов, которые можно понимать в самом широком смысле.

Герменевтика понималась мыслителем как универсальная наука, призванная обеспечить понимание повседневной речи, научных, религиозных и священных текстов, законов и иных нормативных установлений, текстов на иностранных языках. Все тексты могут быть отнесены к самым разным контекстам, т. е. некоторым типам целостности, в которые бы они входили как ее части. Среди этих контекстов мыслитель выделяет два основных – собственно лингвистический, о котором шла речь выше, и психологический.

Если первый тип интеграции требующего осмысления высказывания в некоторое целое относительно непроблематичен и речь фактически идет об «объективно заданном» и всем известном множестве словоупотреблений, регулируемых теми или иными нормами и правилами, скажем, грамматическими и синтаксическими, то психологический контекст создает проблему для понимания. Причина этого, по мнению Шлейермахера, прежде всего кроется в чрезвычайном разнообразии психических задатков, в различиях в интеллектуальной мощи высказывающихся.

Другими словами, лингвистическое понимание покоится на общем и универсальном, психологическое же понимание – на чем-то индивидуальном и своеобразном. Факт выбора того или иного словоупотребления является очевидным, однако далеко не очевидными оказываются психически обусловленные причины выбора именно этого словоупотребления. Если мне говорят: «Эта пицца невкусная и немного подгорела», – помимо прозрачного грамматического смысла задействованных слов, мне нужно понять и психологическую мотивацию произнесенного высказывания (предостережение, сочувствие, жадность и т. д.), т. е. то, что в современной философии языка называют «иллокутивной силой».

Понять что-то – означает реконструировать такую интегрированность высказываний в иерархию многообразных контекстов методом «дивинации» (от фр. *deviner* – предполагать, догадываться), который, как видно из этимологии, не предполагает достижения подлинного понимания, а всегда сохраняет статус проблематичной интерпретации. Фрагмент текста может быть понят только в контексте целого произведения, а само произведение – в контексте всех созданных данным автором трудов, которые, в свою очередь, определяются спецификой жанра или стиля, психологическими особенностями их создателя, в свою очередь определяемого его личной историей – авторской биографией – и более широким историческим контекстом. Поняв часть текста из него самого, где обнаружить смысл нам помогают лингвистический контекст, грамматические правила и универсально принятые стандарты словоупотребления и смыслы, мы, продолжая чтение и расширяя контекстуальные перспективы, впоследствии возвращаемся к этой части, переинтерпретируя первоначально возникший смысл, исходя из приобретенных знаний, таким образом, замыкая знаменитый «герменевтический круг».

Все эти общие и с современной точки зрения уже несколько тривиальные положения приобретают интерес в рамках того, что мы можем условно назвать прикладной герменевтикой с ее особым интересом к самим институтам, которые тоже можно рассматривать как квазитексты, как объекты приложения герменевтического метода.

В целом речь идет о трех проблемных комплексах, которые мы можем подразделить на следующие:

1. о том, должна ли (и если да, в какой степени) наука подвергаться «огосударствлению» и, соответственно, каково вообще отношение академической науки и государства;
2. о дифференциации научного знания на гуманитарное и естественнонаучное и об основаниях такой дифференциации и, значит, границах науки;
3. об оправданности создания подразделения философии в рамках структуры академии.

Фундаментальным различием, на основании которого можно судить и о различиях в деятельности таких глобальных форм, как наука и государство, является оппозиция «сведения/знания». Сведения суть относительно произвольные классификации, необходимые для систематизации управления дифференцированным обществом, для осуществления функций государственного управ-

ления. Именно государство, словно ощущая дефицит собственных способностей в квалифицированной переработке информации, пытается наделить этой функцией некую когорту профессионалов и здесь-то обращает внимание на научные учреждения, пытаясь вобрать их в себя и заорганизовать, направив их активность на переработку государственно необходимых данных. Наука же, напротив, стремится к автономии, и именно потому, что работает не со сведениями, а со знаниями, так сказать, превращает сведения в знания.

Наука именно потому стремится к автономии, что, создавая свой собственный «внутренний» продукт, знания, она способна выйти за собственные границы – обратиться к реальности самой по себе, идет ли речь о природе как таковой или человеческой природе. Наука, если пользоваться более современным языком, является институтом, развивающимся интерналистски, именно потому, что сама по себе она не нуждается в наличии какого-то внешнего управления, внешних – институционально-коммуникативных – ориентиров своей деятельности, поскольку сама природа и истина являются таковыми ориентирами. При этом ее институциональная замкнутость, как показано ниже, определяется двумя факторами: едиными стандартами университетского образования и ее «созерцательностью», т. е. чувственным (а не языковым) характером удостоверения ее положений.

Сведения же, в отличие от знаний, создаются и комбинируются произвольно самой государственно ангажированной наукой ради внешних для нее государственных нужд. Под ними, видимо, нужно понимать простой бюрократический учет и контроль, фискальные функции, знакомство с иерархическими компетенциями чиновников, распределение разного рода иерархических, сословных и иных привилегий, дипломатические навыки и иные организационные умения.

В целом эту работу можно назвать манифестом свободной науки и свободного образования, требующим освобождения науки и университетов от опеки государства. При этом Шлейермахер стремится развеять миф о том, что науке не хватает-де деятельностной способности, что наука будто бы только руководствуется и вдохновляется чистой любознательностью и лишь государственный надзор делает возможным ее полезное применение.

Различение «любознательность/деятельность» полагается Шлейермахером неприменимым для демаркации науки и государства.

Однако реальная ситуация далека от идеальной, и дело даже не в неправомерной чиновничьей экспансии в неподведомственную им научную сферу, а в самой «языковой» природе науки. Именно «язык» науки – вспомним здесь «романтическую аксиому» – нерушимо связывает ее с тем или иным наличным государством. Шлейермахер ставит проблему языка, а точнее, проблему языковых границ как основания для внутренней демаркации наук по линии «наука – государства». Гуманитарные науки, оказывается, действительно вынуждены замыкаться в рамках государственных границ, поскольку возможны лишь в рамках некоторого единого языка, и их достижения соответственно не могут быть переведены на иностранные языки без существенной потери их содержания.

Поэтому-то они гораздо легче ангажируются государством, в то время как науки естественные, напротив, – ускользают из-под государственного контроля, поскольку их результаты практически не связаны с языковыми,

а значит, государственными границами, и допускают чувственное («созерцательное») удостоверение в любой точке земного шара.

Здесь ученый-гуманитарий вынужден мыслить свою науку экстерналистски. Собственно, и сам Шлейермахер, являясь гуманитарием, задает превосходящий образец экстерналистской рефлексии науки. Рефлексия ученого выходит за пределы своей узкой области и обращает свой взор на внешние реалии науки, и внешние условия ее существования, и прежде всего на государственную раздробленность, свойственную немецким государственным образованиям в начале XIX ст., и, как следствие, раздробленность самой науки.

Отсюда проистекает и основная мотивация этой рефлексии: поиск некоторого единства, некоторой целостности, т. е. того, что могло бы явиться – герменевтически реконструируемым – контекстом научной деятельности и организационным основанием для упорядочивания науки. Пока это единство видится Шлейермахеру в такой институционализации науки, которая свою наглядность получила бы в учреждении единой академии, которая бы обеспечила единство научной деятельности, или, словами мыслителя, «коллективность авторства научного труда».

Эта «коллективность авторства» проявляется в том, что наука образует некоторую целостность, широкий контекст для работы конкретного исследователя уже в силу специфичности самой научной деятельности и научного продукта, состоящего не в отдельном труде ученого, а в «общем труде» поколений над тем или иным предметом. И здесь возникает парадокс. Чтобы каждая ветвь знания могла быть сконцентрирована вокруг ее собственного предмета, чтобы наука, следовательно, получила внутреннюю предметно определенную дифференциацию, требуется обособление всей науки от всего остального общества, т. е. объединение всех ученых под эгидой чего-то общего, их объединяющего. Для обособления знания от всех остальных сведений одновременно требуется и универсализация всех отраслей знания.

Но что же обеспечивает такое обособление внутренне дифференцированной науки и универсализацию всех ее самых разнообразных предметов? На этот вопрос у Шлейермахера есть как минимум два ответа: эмпирический и теоретический. Первый указывает на специфическую научную организацию – университет, наличие которого в схеме Шлейермахера поначалу выглядит избыточным. Ведь и вправду, зачем нужны университеты, если функции исследований (получение знаний) и функции образования (получение сведений) полностью распределены соответственно между академиями и школами?

Тут-то и всплывает потребность придания науке искомого единства. Функция университетского образования как раз и состоит в обеспечении общезначимости научной точки зрения. Именно благодаря университету ученые всех академий мира обладают «единым основанием суждения». Ведь чтобы отсеивать ложное и тривиальное, академия должна уже обладать некоторыми принципами отклонения ложного, ненаучного или неинтересного науке знания. Говоря современным языком, в университетах должны не насаждать знание, а учить скорее работе со знаниями. Лишь научившись работать со знанием, отсеивать его от сведений (т. е. от информации, необходимой внеш-

ним для науки институтам), позднее в академиях можно приступить и к подлинным научным исследованиям.

Теоретический же ответ на вопрос о единстве научной деятельности связан с редукцией к более глубинному ее основанию – созерцанию реальности, в его противоположности государственно ангажированному действию. И так, в основании оппозиции знания/сведения лежит более глубокая дифференция «созерцание/действие», где под созерцанием следует понимать скорее чувственное познание, делающее возможным удостоверение любого знания безотносительно к его языковой, пространственно-временной, национально-государственной или любой другой контекстуальности. У действия же, видимо, не обнаруживается такого критерия убедительности, каковым обладает созерцательно удостоверяемое знание.

Но такое «онтическое» разделение двух типов активностей, характерных для ученого и государственного деятеля, все-таки не делает непреодолимой границу между ними, хотя движение осуществляется скорее в одну сторону: «Ведь об этом говорят испокон веков, но и испокон веков эти молодые люди, учась у мудрых учителей, из школ устремлялись непосредственно в залы судов и управляющие палаты для оказания помощи во властных делах. Созерцание и действие, если они и противоречат друг другу, все-таки неизменно действуют рука об руку; отношение между теми, кто посвящает себя чистой науке, и всеми остальными определяет сама природа, неизменно правильно и соразмерно». Это различие подразумевает глубинную идею дифференции между переживанием, деятельностью сознания, с одной стороны, и действием или деятельностной активностью, организационным началом, с другой.

Это различие на уровне элементарном определяет, как бы сказали теперь, макроструктуры – структуру академических и государственных организаций. Собственно, эта задача является во многом основной для социальных теоретиков – объяснить институты, такие, как наука, образование, государство, через функционирование их элементарных составляющих, таких, как действие, переживание, ожидание, нормы и ценности.

При этом замыкание герменевтического круга получает здесь «образовательное» (конструктивистское!) звучание: наука «образовывает» человека, в свою очередь «образующего» науку. Конечно, эта взаимность этих двух контекстов «образования» в каком-то смысле базируется на двух значениях этого слова: «Наука, в том виде, как она наличествует – как общее дело и владение – в целом множестве образованных народов, должна дать образование конкретному человеку, конкретному же человеку – в его собственной части – в свою очередь надлежит содействовать дальнейшему образованию науки».

Средством такого «образования» науки является университет, который Шлейермахер понимает как институциональное средство, обеспечивающее единство и целостность, т. е. герменевтически понимаемый контекст научной деятельности, что для академий оказывается чем-то уже данным и, следовательно, не требует специального внимания. Диалектика Шлейермахера состоит в том, что уже гарантированная университетом целостность знания только и дает возможность детального и конкретного изучения природы,

осуществляемого академической наукой, ее интерналистского замыкания на собственном предмете изучения.

«На это указывает и его (университета) собственное название, ибо именно здесь собираются не просто многие – пусть разнообразные и более высокие – сведения, но должна быть представлена целостность познания благодаря тому, что принципы и равным образом структура всякого знания наглядно представлялись бы таким способом, чтобы из этого возникала способность обращать свои усилия во всякую область знания».

Фактически же здесь выражен лозунг Болонской системы – давать не образование, а формировать компетенции, т. е. формировать лишь умения, делающие возможным получение дальнейшего образования. В университете важно не овладеть знаниями (сведениями), а научиться ими овладевать, причем на примере любого типа знания, ведь в любой отрасли познания проявляются свойства целого. «Именно этим объясняется то короткое время, которое каждый затрачивает на университет в сравнении со школой; речь не о том, что для изучения не всего, а части требуется меньше времени, а о том, что научиться учиться – можно быстрее», – утверждает мыслитель.

Конечно, все это – следы модернизации, нового временного сознания, когда «новое» получает легитимацию безотносительно к его содержанию. Ведь временные определения знания как нового, как правило, даются скорее негативно – определяются тем обстоятельством, что они не являются тем, что имело место прежде. Поэтому-то в университете важно не получить знания, а научиться учиться – самореференциальный процесс, который, очевидно, приводит к утере строгой определенности предмета обучения. Любой тип знания может теперь быть взят в качестве образца для экспликации паттернов обучения обучению:

«Именно этим объясняется то короткое время, которое каждый затрачивает на университет в сравнении со школой; речь не о том, что для изучения не всего, а части требуется меньше времени, а о том, что научиться учиться – можно быстрее; ведь собственно проводимое в университете время есть лишь один момент, один акт, который как раз и пробуждает идею познания, высшее сознание разума как руководящий принцип человека».

Итак, функция университетов – обеспечить взаимосогласованность научной деятельности и принципы согласия ученых. С герменевтической точки зрения, университет, таким образом, оказывается определенным двумя контекстами или целостностями, в которые он одновременно интегрирован как их часть: университет толкуется как временная граница между образованием и наукой, как связь сведений и знаний, как то, благодаря чему сведения превращаются в знания за счет их научной переработки. Университеты придают знанию и познанию общезначимый и универсальный (поэтому и – «университет») характер, так что в любом знании проявляются общие свойства, независимые от его дисциплинарной принадлежности, и это отличает его от «сведений». Но в чем тогда функции школы?

Школы же занимаются исключительно сведениями, а не знанием, – учат тому, что и так давно известно (конечно, с точки зрения наблюдателя второго порядка – университета). В этом смысле неудивительно и то, что «связь зна-

ния», т. е. связь школы, университета и академической науки, является для Шлейермахера всего лишь «внешней», т. е. формальной и поверхностной. В виде такой внешней связи для этих функционально различных институтов выступает человек как последняя целостность и контекст, придающий внешнюю континуальность этим различным ступеням развития знания: от сведений как знания, уже потерявшего характер нового и интересного (школы), через обучение умениям перерабатывать сведения в знания, т. е. придавать им систематичный, общезначимый и необходимый характер (университеты), к конкретным научным исследованиям (академии).

Это представление о «связи знания» разрушало представления об иерархической структуре общественных институтов – науки, школы, университета. Все они, по мнению философа, выполняют равноправные и равно важные для общества функции, и ни одна не может быть поставлена выше другой, что было достаточно новым и необычным для немецкого общества конца XVIII – начала XIX ст. с его бюрократическим и иерархическим патернализмом (скажем, Фридриха Великого в Пруссии) и притязаниями государства на управление всем – от сельского хозяйства до науки и образования.

И именно для такой общей «связи знания» особое значение получает философия. Из этой связи выводится и место философии в структуре знания: «Всякий философский тип мышления, как он выражен в языке, в методе, в способе изложения, присутствует во всяком научном произведении», – полагает мыслитель. Философия как герменевтически-круговая методология науки задает ряд общих «диалектических» представлений, таких, как представления о целом и о части некой системы целого и его частей. При этом философия здесь обращается и к самой себе, пытается встроить себя саму в систему отношений науки, философии, и государства, и языка. Философия, конечно, понимается здесь не столько как научный метод, сколько как контекстно-фоновое, герменевтическое, методологическое знание о способе представления, компоновки и классификации самого знания.

Такой эпистемологический подход указывает на две временные логики, являющиеся следствиями дифференциации научного знания на собственно научное и на методологически-философское: временную логику развития науки и временную логику развития философии.

Логика развития конкретного научного знания, осуществляемого академиями и требующего общественной поддержки, имеет своей предпосылкой уже устоявшееся и зафиксированное знание, доведенное до конечного – истинного – состояния. Таковым «абсолютным» знанием и является спекулятивная философия, которая в силу такого «зафиксированного», не требующего дополнений или трансформаций статуса теперь может быть выведена из-под подобной «общественной опеки». Социальная обусловленность науки в целом (как единства эмпирического и спекулятивно-философского духа) оказывается ограниченной наукой в узком смысле слова, т. е. академической наукой, в то время как философия-де в принципе достигла совершенства и взошла на свой пьедестал «царицы наук».

Но из этого, с современной точки зрения, конечно же, несколько наивно-го в своем оптимизме взгляда на возможности философии выводится и не

столь приятный для академических философов вывод об институциональной ненужности философского подразделения в структуре академии и академической науки. Ведь философия, понимаемая как инструментарий, т. е. как уже «изготовленный» и годный к употреблению общенаучный метод, языковой контекст научной деятельности, в этом инструментальном смысле уже не требует для себя конкретного научного исследования, а поэтому должна быть отдана на откуп университетам, где ей остается участь «быть изученной», но не «быть исследованной».

Этот своеобразный, мягкий позитивизм Шлейермахера допускает философию в качестве готового знания и «впускает» ее в науку, однако строго ограничивает ее рамки социолингвистическим анализом.

Фридрих Шлейермахер и реформа немецкого университета

Эта книга имела исключительное значение для немецкого образования и науки²³⁴. Именно данная работа стала той теоретической основой, на которую опирался Вильгельм фон Гумбольдт²³⁵, на короткое время занявший пост прусского министра культуры и предпринявший фактические шаги по учреждению нового реформированного университета (позднее получившего его имя) как прообраза современного немецкого университета и немецкой науки в целом.

Впрочем, в какой-то мере В. Гумбольдт ориентировался и на два других проекта, которые в конечном счете и результировали в его идею немецкого *Kulturuniversität überhaupt*. Так, помимо проекта Шлейермахера, в какой-то мере проявились и влияние фихтевской идеи²³⁶ «деиндивидуализированного прусского университета в униформе»²³⁷, и проект универсально-христианского университета Хенрика Штеффенса²³⁸.

И все-таки в словах Вильгельма фон Гумбольдта, концентрированно выражающих романтическую идею о науке, без труда угадывается – безусловно, свойственная другим представителям романтизма, – как герменевтически-круговая диалектика части и целого, так и вытекающая из нее идея академической свободы частей этого целого, развитые Фридрихом Шлейермахером: «Наука есть органическое целое; тот, кто стремится к подлинному знанию, тот не может искать чисто профессионального образования, но должен наполнить себя духом целого. <...> Университет же, по самой своей идее, есть научный университет: всякое отдельное не есть нечто готовое, но всегда нечто становящееся, никогда полностью не исчерпанное. Он производится исключительно внутренней самодеятельностью, которая предполагает полную свободу духовного формирования»²³⁹.

²³⁴ Впрочем, и сейчас идеи Шлейермахера выглядят удивительно современно. В каком-то смысле здесь предвосхищаются подходы Макса Вебера (в особенности его понимания «научного духа» в «Науке как профессии»), Эдмунда Гуссерля (с его пониманием кризиса науки как следствия ее специализации), современных концептов STS, требующих демократизации науки (как в отношении языка ее понятий, так и роли ученого не только как исследователя, но и ученого-активиста, рефлексизирующего над внешней, социальной функцией своего исследования).

²³⁵ См.: *Spranger E.* Wilhelm von Humboldt und die Humanitätsidee. Berlin, 1909.

²³⁶ *Fichte J.G.* Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt. 1807.

²³⁷ *Spranger E.* Wilhelm von Humboldt und die Humanitätsidee. Berlin, 1909.

²³⁸ *Steffens H.* Über die Idee der Universitäten: Vorlesungen. Berlin, 1809.

²³⁹ Цит. по: *Spranger E.* Fichte, Schleiermacher, Steffens über das Wesen der Universität. Berlin, 1910. S. XL.

Шлейермахера с полным правом можно назвать первым немецким социальным философом науки.

В центре его замысла – стремление адаптировать и трансформировать традиционную структуру немецкого университета как одной из средневековых цеховых корпораций к новым политическим условиям общества модерна, потребностям централизованного прусского государства. Это была возможность обратиться в последнюю очередь к его внешнеполитическим амбициям, существенно поколебленным наполеоновскими войнами в том, что касается территориальной экспансии, но сделавшим тем более актуальной «экспансию» немецкого духа в области культуры, образования и науки. И концепт герменевтического круга, как мы покажем ниже, здесь оказывается как нельзя кстати.

В этом смысле на современном языке философии науки проект и анализ Шлейермахера можно было бы назвать экстерналистским, что существенно отличает его от интерналистского проекта реформирования науки и образования, предложенного Кантом в знаменитой работе «Спор факультетов».

При этом при всей разности подходов примечательно, что в центре реформационных усилий и объектов критики и Канта, и Шлейермахера стоит положение философского факультета в рамках немецкого университета. Традиционная структура университета, как известно, предполагала разделение на «младший» философский факультет (ранее – факультет «свободных искусств» с его триумфом из грамматики, диалектики и риторики и квадриумом из арифметики, геометрии, астрономии и музыки) и старшие: теологический, медицинский и юридический факультеты. Кант осознал, что роль философского факультета должна существенно поменяться, так как в качестве пропедевтического он не поспевал за стремительной дифференциацией и профессионализацией наук. Причем вызревали новые дисциплины (прежде всего «естественная история» и «натуральная философия») именно в недрах младшего факультета, а значит, сам философский факультет и философия как призванная поставлять фундаментальную методологию исследования должны были занять подобающее и равное, если не первое место в конкуренции со старшими факультетами.

Герменевтический круг и научное сообщество

При этом Кант, конечно, исходит из внутренней дифференциации наук как основания для реформирования научного образования. И в этом интерналистском ключе надо понимать мысль Канта об отделении метафизики, с ее априорными принципами научного познания в целом, от физики, прежде всего, конечно, законов механики Ньютона как неких априорных оснований единства всего естественнонаучного знания²⁴⁰, что существенно отличает его от Шлейермахера, которого интересовал прежде всего, как бы теперь сказали, социально-политический контекст развития науки и образования как особый случай диалектики общего и частного. Применяемый здесь концепт герме-

²⁴⁰ Так, Кант в «Метафизических началах естествознания» в каком-то смысле уравнивал «анalogии опыта» как предшествующие опыту принципы чистого рассудка с «принципами механики» (скажем, принцип причинности соответствовал принципу инерциального движения – «все изменения движения происходят ввиду действия внешних сил») и т.д.

невтического круга (общее присутствует в частном, а частное репрезентирует общее) был, как известно, развит Шлейермахером для целей интерпретации религиозных и литературных текстов и предполагал наличие некоторого центрального феномена (скажем, некой точки пространства, характера личности, биографии, корпуса текстов, общественного явления и т. д.), который обеспечивал бы «единобытие всех частей в их целостности».

На современном теоретическом языке в каком-то смысле и это значит наличие неких структурных сцеплений автономных частей целого, ничуть не теряющих в своей автономии, несмотря на их сопринадлежность. Такими частями научного целого являются, по мысли Шлейермахера, например, академия, университеты и школы. Но и наука, как некоторое целое относительно академий, школ и университетов, в свою очередь, выступает лишь в виде частного феномена, структурно сопрягаясь с государством и потребностями государственного управления как высшей целью, высшим целым и высшим благом.

Впрочем, как некоторый внешний для науки социально-личностный контекст (объединительные задачи политического центра – Берлина, но не в последнюю очередь и фигура ученого-преподавателя²⁴¹), так и внутренний центр (прежде всего философский факультет, репрезентирующий целое в частном, а значит, представляющий единство научного знания в частном, в частности в образовании) – все это выступает средствами структурного сцепления этих независимых, но сопряженных феноменов, ведь такие сопряжения вовсе не означают, что академия, университет или школа объединяют свои функции и задачи.

Более конкретно задача реформирования университета представлена в обеих переведенных нами главах. Первая носит название «О наделении учеными званиями», но это название несколько обманчиво. Речь здесь скорее идет, если использовать современную терминологию, об определении принципов инклюзии в научное сообщество и, значит, о некой внешней или институциональной демаркации науки, о классификации ученых и их подразделениях на отдельные сообщества.

Целый ряд проблем «социальной философии науки» поднимает эта глава. Здесь и «отсутствие доверия» к ученому званию как внутри науки, так и за ее пределами. Но что стоит за этой констатацией? Значит ли это, что развитие немецкой науки, по крайней мере в ее коммуникативно-институциональном аспекте, в начале XIX в. проходило тот же этап, который в России мы переживаем сегодня в связи с очевидной девальвацией научных степеней, научных репутаций и общей деградацией науки в связи с безразличием со стороны государства?

Возможно, Шлейермахер был свидетелем каких-то эксцессов с немецкими медицинскими-чиновниками, которые, с одной стороны, притязали на научные степени, а с другой – неумело вмешивались в научно-образовательную сферу. Возможно, недоверие к ученому званию можно было бы понимать и как

²⁴¹ «Преподаватель университета работает, постепенно переводя результаты работы в академии, и у большей части сотрудников академии остается еще время, которое им хочется посвятить исполнению отдельных функций университетского преподавателя», – пишет Шлейермахер. Это покажется странным для научных сотрудников институтов ФАНО-РАН, которых тотчас переводят на полставки, стоит им заявить о своих преподавательских амбициях, но идея профессиональной специализации ученого исключительно на научном исследовании была чужда романтическому идеалу науки.

вечную проблему науки, как недоверие к чему-то, к чему следует относиться как ко всякому научному утверждению и притязанию, демонстрируя научный скепсис даже и к такому авторитетному подтверждению репутации, как наделение научной степенью?

Ученое звание для Шлейермахера и есть такая точка структурного сопряжения внутринаучной перспективы (точки зрения «научного союза») и внешних для науки государственных резонансов, о котором мы говорили выше. Ведь государство осуществляет своего рода аутсорсинг – использует ученых и для собственных нужд. Но если оно использует ученых, то почему не доверяет внутринаучному определению званий, а вмешивается в процесс и проводит государственные экзамены для чиновников?

Шлейермахер фиксирует здесь замкнутый круг. С одной стороны, он приращивает практику, когда присвоение научных степеней и званий происходит под контролем государства, ведь в этом случае университет утрачивает собственную автономию и, следовательно, не гарантирует действительных научных достижений, символизируемых полученными званиями. И именно поэтому, с другой стороны, государство не считает гарантируемые званием знания чем-то, что дает лицензии на практикование профессий, а требует дополнительных государственных экзаменов, что дополнительным образом уменьшает значимость университетского образования. Здесь легко распознать нашу российскую ситуацию, когда формирование научной репутации и присвоение научных регалий находится под контролем государственных институтов (ВАКа и Минобра).

Какой же выход предлагает Шлейермахер? Как всегда, приходится начинать с самоочищения рядов ученых через изменения правил инклюзии в научное сообщество, и принципов научной коммуникации, и – как следствие – демаркации науки. Среди предлагаемых мер ключевое значение имеет коммуникативный, а не индивидуалистический принцип отбора научных кадров: не научная работа, письменный текст, но диспут, дискуссия, полемика – вот доказательство права исследователя на инклюзию в научное сообщество. Именно этот внутринаучный коммуникативный фильтр призван заменить неэффективный принцип государственного присвоения научных званий, дающих право быть членом научного сообщества.

Но как же при такой минимизации административного контроля «научный союз» сможет обеспечивать потребности государственного управления в «сведениях» и «знаниях»? В качестве его компенсации Шлейермахер помещает социоэпистемологическую перспективу внутрь самой науки, т. е. требует от самого ученого знать не только «собственное поле», но и быть осведомленным о внешней потребности в знании. Здесь без труда угадывается представление Шлейермахера о своей собственной роли – ученого-теолога, не ограничивающегося умозрительной теорией и методами, но практически применяющего их в своем проекте переустройства общества – создания нового современного университета, прописывающего мельчайшие детали его будущего строения.

В итоге «научный союз» должен получить структуру, основанную на следующей классификации ученых: «рабочие на поле науке» суть те, кто наделен талантом, но не воспринял «дух» науки. Подлинными же членами научного

сообщества, объединяющие в себе и дух, и талант, подразделяются в соответствии с особенностями своего таланта на склонных к теоретизациям или к его практическому применению. На современном языке мы бы сказали, к фундаментальным или прикладным исследованиям, где именно последние предполагали бы «объединение науки с жизнью». Что характерно, именно ученые-практики, а не представители фундаментальной науки, должны, по мысли Шлейермахера, занимать в науке ведущее положение.

Другим средством сцепления частей научного целого выступает философский факультет. Функция философского факультета – репрезентация единства научного союза, и эта функция, в свою очередь, объединяет экстерналистское и интерналистское понимание науки. Наука как единое сообщество возможна только при наличии в ней философского факультета. Если использовать современные представления социологии науки²⁴², то, возможно, Шлейермахер на своем языке высказывает идею того, что у науки должна быть особая рефлексивная инстанция, некий наблюдатель второго порядка, ставящие метавопросы (что такое научное знание, истина, научная теория, методология?), объединяющие всю науку, ведь каждая отдельная дисциплина таких вопросов не ставит.

В этом смысле Шлейермахер защищает немецкую идею двух докторских степеней, которая, как известно, по немецким лекалам укоренилась и в России. Более низкая степень доктора философии присваивается как показатель некоторого универсального знания, причастности к единству и общности наук, постепенно утрачиваемый в ходе дифференциации дисциплин и ввергающий науку в известный кризис (Гуссерль). Но именно это общее философское знание делает возможным познание в рамках специальных дисциплин (и здесь применяется идея герменевтического круга).

Другим важным средством демаркации науки и критерием инклюзии в научное сообщество, в свою очередь, соединяющим внешние и внутренние принципы, является идея специального языка науки. Выверенная латинская научная терминология, в прошлом заместившая «ненаучный» родной язык в силу своей терминологической элитарности и недоступности для прочей публики, теперь позволяет «фальсифицировать» научные достижения и поэтому в немалой степени способствует той самой дискредитации звания ученого. И лишь частично сохраняет свое значение языкового демаркатора науки и ненауки, но ее границы сужаются до области филологии, математики и антиковедения. Ведь теперь, когда и национальный язык «дозрел» до «обсуждения научных идей», такая демократизация языка науки делает возможным проверку достижений ученого в том числе и извне. Парадокс: коммуникативное замыкание науки возможно только при ее, не в последнюю очередь, терминологической открытости и доступности.

Красной нитью всего текста является попытка Шлейермахера соединить две фундаментальные идеи: идею автономии «научного союза» и, как следствие, автономию научной коммуникации, где формирование научных квалификаций и репутаций было бы внутренним делом ученых, академий и университетов, а никак не государства. Но, с другой стороны, важнейшее значе-

²⁴² Луман Н. Истина, знание, наука как система. М.: Логос, 2016.

ние для него имела и идея немецкого национализма, которую разделяли многие романтики. Именно она заставляет Шлейермахера формулировать некий аналог «идеи мягкой силы», некой – отчасти реваншистской – идеи культурной экспансии Пруссии после того, как потерпели фиаско проекты военного объединения немецких княжеств под эгидой Пруссии. Наука и образование – вот то, что, по мысли Шлейермахера, должно было вернуть Пруссии былое величие: «Пруссия... не отказалась от призвания, которое она столь долго в себе упражняла, позитивно воздействовать на образование высшего духа и именно в нем искать своей власти».

Именно эти мотивы определяли и амбивалентность в отношении «научного союза» и статуса нового университета. Желание академической свободы словно уравнивается желанием получить особую протекцию, что отражает – отчасти патерналистские – ожидания «господдержки» для нового учреждения. Именно это определяет тему последней главы книги, призванной регламентировать нормативные структуры новообразующегося немецкого университета и обосновать его особое положение.

В контексте означенной амбивалентности, конечно, Шлейермахеру оказывается чуждой столь популярная ныне идея «пространственного обеспечения» автономии нового университета (некоего «города ученых», «кремниевой долины», «академгородка» как ответа на необходимость локализации научно-образовательных функций в некоем уединенном месте, чтобы отвлекающие внешние контексты никак бы не препятствовали научным изысканиям). Функциональная автономия науки вовсе не предполагает удаление из мира на манер религиозного уединения, поскольку (как свидетельствует судьба университета Франкфурта) в централизованном государстве, каковым являлась Пруссия, университет – как привилегированный социальный институт («форма жизни») – вынужден «демонстрировать блеск» и конкурировать с другими политическими институтами и аристократическими сообществами, быть ближе «суверену» и располагаться в столице. «Берлин? – спрашивает Шлейермахер. – И правда, легко увидеть, поскольку это богатейшее в прусских государствах сосредоточие учености, талантов, всевозможных выражений искусства; поскольку он вбирает в себя многие институты, которые поддерживают университет и благодаря связи с ним».

Оправдание университета – от корпорации к организации

В центре проекта Шлейермахера – реформирование университета как образовательной и научной организации нового типа, или, в его собственном словоупотреблении: «главным намерением, без сомнения, было постепенно подорвать готическую форму и цеховое устройство старых университетов, но не лишить вместе с этим сущностной формы “подлинного студенческого духа”». Но решается ли эта задача в принципе, и допускает ли организация как новая форма университетской жизни, с ее жестким уставным регулированием правил членства, т. е. обязанностей, и соответствующих прерогатив, которые они предполагают, сохранение академических свобод?

Такая опасность «утраты научного духа» и, как следствие, «единства корпорации» связывается Шлейермахером с отпадением «реальных наук» от фило-

софии, призванной утверждать единство научного знания, и их «тяготением» к «чистой эмпирии». Здесь интерналистский способ утвердить единство науки и вместе с ним единство и замкнутость научного сообщества, гарантируемые именно философией как некоторой первой – среди равных – дисциплиной, дополняется экстерналистским прописыванием процедуры учреждения современного университета.

В этом экстерналистском ключе Шлейермахер обсуждает важнейшие, с его точки зрения, внешние условия функционирования новой организации: фондирование исследований, предоставление стипендий (которые он предлагает предоставлять не в виде денег, но в виде некоторого «натурального продукта» – еды и жилья), студенческое кредитование, введение университетских судов; здесь же регламентируется и жизнь студенчества, подвергающегося разного рода опасностям, способным подорвать студенческий и научный дух («половое влечение», «театры», «страсти к игре» и т. д.); и среди прочих регламентаций и запретов, конечно же, запрет на разные административные регулирования и запреты.

Многие из предложенных регулятивов научной и студенческой жизни сегодня покажутся смешными, но именно этот свод правил жизни нового университета показывает нам, какие гипертрофированные страхи связывали реформаторы с тем, что научная и образовательная коммуникация – в условиях новых свобод – окажется под властью коммуникативных ориентиров и медиа других социальных систем. Именно страх за чистоту «науки» и «образования» диктует эти компенсационные меры, способные, по мысли Шлейермахера, нейтрализовать опасности, связанные с потерей университетом формы замкнутой цеховой корпорации с ее заурегулированностью и регламентацией всех форм жизни. При этом прописывание условий жизни нового университета (вплоть до мелочей) все-таки осуществляется так, чтобы не предписывать и ритуализировать студенческую жизнь, но определять сами условия жизни. Не предполагается запрещать студентам участвовать в разного рода городских развлечениях, но вместо этого ограничиваются кредиты – так, чтобы денег хватало исключительно на образование, а не театры и прочие увеселения, и т. д.

Эти страхи связываются, безусловно, с расположением университета в политическом и культурном центре страны, но все означенные опасности перевешивает то обстоятельство, что благодаря центральному расположению он станет центром сосредоточения науки, практики, жизни и потребностей управления, что в итоге послужит лучшим оправданием его учреждения. Шлейермахер понимал, что последнее обстоятельство с неизбежностью приведет к конкуренции и столкновениям «научного союза» и университета с другими государственно значимыми институтами. В условиях такой институциональной конкуренции (двора, армии, аристократии, чиновничества и т. д.) проект Шлейермахера ставит себе означенную задачу самооправдания, задачу устранить «тот предрассудок, что тот, кто занимается наукой, – тот одновременно демонстрирует свою неспособность и нежелание заниматься настоящим делом».

И действительно, новый университет требовал высочайшей протекции, ведь наука все еще не понималась как «производительная сила общества», а посему основание нового университета, ориентированного на современное состояние исследований, а не на средневековые схоластические темы, не яв-

лялось чем-то естественно-понятным. Но такое оправдание науки и в последнюю очередь равновысокого – в сравнении с аристократией – социального статуса ученых Шлейермахер осуществляет все-таки не ссылкой на потребности хозяйства, производства, но прежде всего указывает на полезность ученых в государственном управлении. И это, конечно, существенно обостряет ключевой для него вопрос инклюзии в научное сообщество и его автономии. Ведь если научное сообщество рекрутирует исследователей для административного управления, то зачем нужны академические свободы? Учить чиновников свободомыслию?

Case study: О. Конт и У. Хьюэлл – системно-коммуникативная интерпретация

У. Хьюэлл и О. Конт: научная дискуссия как событие межкультурной коммуникации?

В этом разделе мы в системно-коммуникативном ключе попытаемся рассмотреть известную дискуссию между Контом и Хьюэллом и попытаемся обосновать, что идеи Конта рассматриваются Хьюэллом лишь как предлог и повод, чтобы заявить общий протест против набирающей силу в научной и общественной жизни критической установки, как в отношении к эволюции природы и науки, так и в развитии общественного устройства.

Между тем, с предметно-содержательной точки зрения, позиции оппонентов оказываются весьма близкими. Полемический пафос Хьюэлла может получить объяснение лишь в социальном измерении научной коммуникации. Эту работу можно назвать последним манифестом так называемой «староевропейской семантики» с ее доктриной «истинностного перфекционизма», предполагающего достижение состояния развития науки, в котором основные истины будут сформулированы навечно.

Поводом к написанию этой части работы послужило небольшое эссе У. Хьюэлла, в котором он представил несколько, с нашей точки зрения, не всегда справедливых критических инвектив в отношении набирающего силу позитивистского течения в философии в версии Огюста Конта. Резкость этих обвинений, очевидно, выходит за пределы рамок научной полемики. Попробуем ответить на них вместо Конта и попытаемся объяснить мотивы столь жесткой критики, что, как мы надеемся, даст возможность продемонстрировать, с одной стороны, «современность» и актуальность концепта самого Хьюэлла, а с другой – отдать должное идеям О. Конта.

В этом эссе, как нам представляется, требуют объяснения не только предметные основания полемики. Столь эмоциональные эскапады, возможно, провоцируются и общими жизненно-мировыми, и не в последнюю очередь мировоззренческими и религиозными разногласиями. На одной стороне дискуссии – истинно французские «необузданность» (словами Хьюэлла) и радикализм, на другой – педантичность и консерватизм британского профессора «философии морали» викторианской эпохи. Эта полемика представляет нам замечательный случай комплексной научной и философской дискуссии, где социально обусловленные факторы выступают не только как препятствия, идеологически ис-

кажающие предметный научный дискурс, но также и в функции триггера истинных и предметно-обоснованных аргументов и положений дел²⁴³.

Для начала перечислим основные претензии Хьюэлла к Конту.

1. «Ограниченность знаний» и «необузданность» мышления лишают, с точки зрения Хьюэлла, какой-либо ценности рассуждения Конта по поводу философии и истории науки.

2. Хьюэлл не согласен с контовским отрицанием абстрактных «понятий, причин, теорий», и в особенности с тем позитивистским утверждением, что исключительно явления составляют предмет науки.

3. Хьюэлл не разделяет и гиперкритическое отношение Конта к научным терминам и суждениям (в частности, не согласен с тем, что утверждение «природа боится пустоты» превращает природу в активного деятеля).

4. Отклоняет Хьюэлл и универсалистское представление Конта об этапах научного познания, согласно которому все науки должны иметь некий религиозно-метафизический генезис.

5. В противовес эмпиризму Конта Хьюэлл формулирует свой вариант априоризма. В частности, утверждает, что метафизика – важный этап развития науки, поскольку позволяет сформулировать «идеи» и законы, независимо от фактов, тогда как сами факты можно фиксировать исключительно посредством ранее полученных идей.

6. Из неприятия априоризма вытекает отклонение Контом метафизически фундированной «волновой теории». Оспаривая это, Хьюэлл указывает на, что отказ от волновой теории делает факты (дифракцию, интерференцию) «невывразимыми».

7. Особый сарказм вызывает у Хьюэлла признание Контом дарвинизма и, как следствие, отклонение конечных (божественно установленных) причин, что, по мнению Хьюэлла, противоречит сверхкомплексной структуре организмов и органов.

Все означенные претензии суммируются в общий и основной упрек Хьюэлла к Конту: контовская «идея научного прогресса» не учитывает реальную историю науки!

Начнем по порядку рассматривать аргументацию Хьюэлла. Первое обвинение – в необузданности характера и ограниченности – можно было бы оставить без внимания и списать на незрелость коммуникативных практик и «научного этоса»²⁴⁴ первой половины XIX века. И уж, конечно, внутренне противоречивым выглядит утверждение об отсутствии научной ценности опровергаемого Хьюэллом мнения, если само это столь эмоциональное опровержение перформативно утверждает если не ценность, то, по крайней мере, силу и влияние утверждаемого Контом подхода. Почему же Хьюэлл все-

²⁴³ Здесь, безусловно, приходится использовать социально-эпистемологический инструментарий «Сильной программы» в социологии науки, предполагающий рассмотрение социальной обусловленности истинных утверждений. Но особенно важным представляются идеи коммуникативной теории науки Н. Лумана, требующей рассматривать научные контрверзы в трехмерном пространстве, в социальном, предметном и временном измерениях [Луман 2016].

²⁴⁴ Формализацию научного этоса принято связывать с именем Р. Мертона и Ф. Знанецкого, на русском языке см. [Мертон, Бараш 2013], [Бараш 2013].

таким образом принял решение «стрелять из пушек по воробьям» и, кроме того, добрую половину статьи посвящает детальному описанию личности Конта? Думается, что в качестве рабочих объяснений можно предположить, что Хьюэлл учитывает не столько научную ценность позитивистского подхода, сколько его социальные контекст и потенциально революционное значение. В этом смысле Хьюэлл, конечно, дискутирует не столько с Контом, сколько с теми возможностями, которые предоставляет позитивистская картина мира, отрицающая априори любого рода²⁴⁵, касаются ли они науки или общественного устройства²⁴⁶.

Что касается упрека в отрицании общих «понятий, причин, теорий», то здесь Хьюэлл откровенно подменяет тезис. Все-таки эмпиризм Конта не доходит до таких крайностей²⁴⁷, а скорее расширяет ньютоновский тезис «*hypotheses non fingo*».

Этот тезис (также и в изложении Конта, см. цитату в сноске) порывает со схоластическим аристотелизмом «естественных мест» и «финальных причин» как бесплодных в научном отношении гипотез и, очевидно, не несет никакой угрозы общим понятиям, законам и (нефинальным) причинам. Если же, вслед за Хьюэллом, понимать контовский позитивизм исключительно как описательную фактологию, то такой науки (исходя из тезиса Хьюэлла-Дюгема-Куайна) действительно не может быть. Но как в этом случае рассматривать поддержку Контом «эмиссионной теории» и его отклонение волновой теории света, если он, по мнению Хьюэлла, вообще не принимает теоретической формы научного знания?

Продолжая дискуссию с Контом (и неявно с Юмом) и обосновывая важность поиска «причин» явлений, Хьюэлл выдвигает тезис тождества причин и законов:

«...рассмотрение реально прогрессирующей науки говорит нам о том, что первый шаг науки состоит в открытии законов явлений и что, только опираясь на эти законы и восходя от одной степени общности к более высокой, мы можем надеяться открыть те самые общие законы, которые мы называем причинами. Но когда нам открываются такие общие законы, то почему мы не можем назвать их причинами, когда весь мир их так называет?» – пишет Хьюэлл в своем эссе²⁴⁸. И далее, обращаясь к геологии, он указывает на ряд феноменов («огонь,

²⁴⁵ Касавин И.Т. Истоки априорного знания // Эпистемология и философия науки. 2015. Том 38. № 1. С. 223–225.

²⁴⁶ Вспомним, что большинство более поздних позитивистов было настроено радикально скептически и критически по отношению к современному им обществу. Парадный пример здесь представляет Отто Нейрат с его идеей «научного мировоззрения» как орудия преобразования общественного порядка путем замены «ретроградных мировоззрений». Подробнее о социально-революционном значении логического позитивизма [Richardson 2003, 65–90].

²⁴⁷ Здесь достаточно выслушать самого Конта. «Вы спрашиваете, например, у современного физика: почему свинцовая пуля, которую я выпускаю из рук, падает на землю? – Почему, отвечает Вам физик, этого я не знаю, но я могу Вам сказать, что существует общий закон, по которому все тела во всей Вселенной взаимно притягивают друг друга пропорционально массам и обратно пропорционально квадратам расстояния. Так как ваша пуля меньше земного шара, то земной шар и притягивает ее к себе; если бы она была больше земного шара, то случилось бы наоборот, то есть не пуля упала бы на землю, а земля упала бы на пулю. Но почему все это происходит так, а не иначе, почему тела взаимно притягивают друг друга, и притягивают именно так, как я это объяснил, этого я не знаю, этого не знает никто, это останется вечною тайною для всех людей, и поэтому совершенно бесполезно и нелепо задавать себе или другим подобные вопросы» (цитировано в переводе Писарева Д.И. [Писарев 1989]). Конечно, при всей апелляции к ньютоновскому «*hypothesis non fingo*» здесь Конт очевидно разделяет пресловутые декартовские законы движения, согласно которым (четвертое правило) размер тел, а не их масса тела, определял характер их взаимодействия.

²⁴⁸ Хьюэлл У. Конт и позитивизм // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 54. № 4. С. 210.

катастрофы, вода, постепенные изменения»), которые, с одной стороны, как бы маркируют воспроизводимые каузальные связи, т. е. законы, с другой – являются причинами соответствующих процессов – формирования геологических напластований.

Современный философ науки с этим скорее всего не согласится, поскольку, по крайней мере начиная с К. Гемпеля, все-таки принято различать две независимых части эксплананса: (1) контрфактический научный закон²⁴⁹ и (2) антецедент²⁵⁰ как конкретное фактическое явление, как причину некоторого другого, вытекающего из него факта-следствия.

Почему же Хьюэлл отождествляет причину и закон? Думается, не только для того, чтобы «спасти» причины от мнимых угроз со стороны позитивизма Конта, который, напомним, под причинами понимал вовсе не законы, а «гипотезы» в смысле Ньютона – некие скрытые механизмы, лежащие в основании закона тяготения. И в своем отношении к этим скрытым механизмам Хьюэлл, безусловно, выглядит актуальнее Конта. Современная наука и философия науки давно не запрещают себе такого рода «экзистенциальных гипотез», постулирующих фактическое существование скрытой реальности или механизмов, объясняющее наблюдаемые процессы²⁵¹.

Однако Хьюэлл современен не только в отношении этой апелляции к «гипотезам». Его – странное для нас – отождествление причин (т. е. конкретных событий, фактов) и общих законов, возможно, восходит к его ключевой методологической установке – относительности и контекстуальной определенности различий между фактами и теориями, во многом предвосхитившей тезис Дюгема-Куайна.

Факты и теория выступают у Хьюэлла сторонами или аспектами единого феномена, где факт есть нерелексивное использование теоретических принципов, обеспечивающих единство чувственных данных. То, что год состоит из 365 дней, является фактом, однако его констатация предполагает нерелексивное использование теоретических переменных – «идей»: времени, пространства, рекурсивности, коннективности и т. д. Если же мы меняем глубину четкости наблюдения, в фокус последнего попадают и сами эти идеи, интегрирующие факты и концепты (идеи) в некоторое единство.

Согласно этой установке, основанной на кантовском априоризме, «идеи», «теории», «концепты» (и прежде всего пространство, время, причинность и т. д.) понимаются Хьюэллом как предпосылаемые опыту рациональные принципы, имеющие своей функцией связывание фактов. И, соответственно, не могут проистекать из ощущений, а служат условием возможности понимания этого опыта. Поэтому Хьюэлл и отказывает в существовании «чистому факту», хотя при этом де-факто признает, что не существует каких-то объективных различий между фактом и теорией. (Так, например, законы Кеплера, согласно Хьюэллу, на более высоком уровне теоретизации – в рамках теории Ньютона – представляют

²⁴⁹ Контрфактический, поскольку его валидность не зависит от его конкретных проявлений, т. е. от того, действительно ли кто-то опускает лакмусовую бумажку в кислоту (причина) и она меняет цвет (следствие). Закон бы действовал – и действительно действовал – и до изобретения лакмусовой бумаги.

²⁵⁰ В нашем примере – опускание лакмусовой бумажки.

²⁵¹ «Scientific explanation consists in finding or imagining plausible generative mechanisms for the patterns amongst events, for the structures of things, decay or extinction of things and materials, for changes within persisting things and materials» [Harré 1970, 116–125].

собой скорее факты.)

И это, конечно, существенно подрывает его априоризм, вводя существенный конструктивистский элемент в его подход. Ведь дистинкции «факты/теории» выражают лишь различия в наблюдательных перспективах, являются психологическими, существуют в голове наблюдателя, а не в самом мире. Эта дистинкция управляет и направляет познание, а в самом мире у нее не обнаруживается коррелятов. В этом смысле априоризм Хьюэлла вплотную приближается к современному конструктивизму в рамках его радикальных версий.

Требуем разьяснения и социально-эпистемологические основания третьей претензии к Конту. Безусловно, критика контовского требования избыточной (с точки зрения Хьюэлла) понятийной строгости представляется оправданной. Зачем без достаточных на то оснований отказываться от работоспособных и универсально утвердившихся понятий, пусть даже и утративших свой референт, но не свою функцию априорного связывания данных опыта²⁵²? Так, теория и понятие «флогистона», в том, что касается идеи связи горения, окисления и дыхания, должны быть сохранены как некая вечная истина²⁵³. И здесь трудно не зафиксировать общую социально-консервативную установку Хьюэлла, готового сохранять функционирующие институты, – даже и вопреки признанию истинности конкурирующей позиции (теории Лавуазье), – если они продолжают выполнять свои – связывающие опыт – функции.

И все-таки критика позитивистского тезиса и защита «метафизических понятий» проведена Хьюэллом, мягко говоря, своеобразно. Ведь она предполагает отказ и ненужность провозглашаемой Контом редукции научных терминов к ясным и отчетливым понятиям. И правда, почему не отказаться от понятия природы в пользу других, более ясных понятий, лишенных ненужных коннотаций, если у нее нет никакого позитивного содержания, кроме идеи «активного деятеля»? Неужели Хьюэлл отвергает картезианский принцип прояснения понятий? Но как такого можно ждать от ученого и философа науки?

Предположим, что и эта осторожность Хьюэлла объясняется его априористской доктриной, в соответствии с которой ряд метафизических концептов (пространство, время, причинность и т. д.) в известном смысле уже давно утвердились и прояснены (скажем, в функции средства научного познания или в теоретической рефлексии Канта), а значит – не требуют дальнейшей работы над ними²⁵⁴.

²⁵² Априористский постулат Хьюэлла выражается в идее двух истин: «Я уже кратко сформулировал различие между этими двумя видами истин: одни являются такими истинами, которые, как мы видим, должны быть истинными; другие являются истинами, но, насколько мы можем судить, могло бы быть и иначе. Первые истины являются необходимыми и универсальными, вторые получены из опыта и ограничены опытом. Теперь в отношении истин первого рода я хочу показать, что универсальность и необходимость их отличительными чертами, никоим образом не могут быть выведены из опыта; что на самом деле эти особенности вытекают из идей, включенных в эти истины. Необходимость истины выявляется в ходе логического доказательства, опирающегося на определенные фундаментальные принципы (определения и аксиомы), которые можно рассматривать как выражающие в некоторой мере существенные особенности наших идей» [Хьюэлл 2015, 227].

²⁵³ «То, что горение, независимо от того, является ли оно химическим соединением или химическим разделением, имеет ту же природу, что и окисление, было признано Бехером и Шталем и вскоре было обосновано в качестве истины, которая должна войти в каждую успешную физическую теорию» [Хьюэлл 2016, 31].

²⁵⁴ Эти «идеальные понятия» «содержат в себе результаты глубокой и тщательной подготовки к

И все-таки прояснение научных понятий, с его точки зрения, остается важнейшей частью развития науки, но просто не должно быть доверено столь «безрассудным» личностям типа Конта. Так, концепт «инерция», последовательно проясняемый Галилеем, Декартом и, наконец, Ньютоном, приходит к своему последнему – ясному и отчетливому – завершеному состоянию и окончательному определению («necessary cogency», словами Хьюэлла) и больше не требует пояснений.

Четвертый аргумент Хьюэлла не просто выражает его философскую позицию в отношении научных и метафизических понятий, но апеллирует непосредственно к истории науки. И здесь, казалось бы, авторитет Хьюэлла поистине незыблем. Не существует науки, утверждает Хьюэлл, в которой позитивный этап сменяет этап метафизический, где «открытие законов явлений... осуществлялось бы независимо от обсуждения идей, которые должны быть названы метафизическими. ... Открытия Кеплера были бы невозможны без его метафизических понятий»²⁵⁵²⁵⁶.

Проблема лишь в том, что Конт и не думает спорить с этим аргументом, но, собственно, вторит Хьюэллу в том, что все науки и до сих пор частично остаются «под опекой теологии и метафизики», и эта опека давала новым наукам (биологии и социологии) определенные «гарантии»²⁵⁷ в конкуренции с утвердившимися ранее дисциплинами. Как мы увидим дальше, мысли Хьюэлла и Конта удивительно конгениальны: метафизика «помогает» наукам в их становлении (дает «временные объяснения» у Хьюэлла и «гарантии» Конта).

В сущности – освобожденная от терминологической наукообразности – мысль Конта проста: наука начинается со слабо фундированных фантастических представлений и не сразу формирует теоретико-методологические процедуры удостоверения знания. И биология, и особенно социология как раз и есть такие науки, которые позже других пришли к этой последней стадии и поэтому нуждаются в метафизической поддержке в конкурентной борьбе. Науки, таким образом – это своего рода активные агенты, претендующие на чужую дисциплинарную территорию более ранних наук. Эти более ранние науки (астрономия, механика и т. д.) участвуют как фундамент в становлении следующих (по времени) дисциплин, но стремятся редуцировать новые науки к «старому и достоверному» знанию. Социология же, как новейшая (и последняя!) комплексная дисциплина, возвращает единство научному знанию, утраченному ранее на метафизической стадии,

исследовательской работе. Они передают последующим поколениям умственные сокровища какого-то периода и, снабженные точным смыслом, без ущерба для себя проходят через водовороты времени, в которых рушатся империи и уходят в прошлое обыденные языки» [Хьюэлл 2016, 32].

²⁵⁵ Напомним, что Кеплер разделял пифагорейскую картину мира, согласно которой все отношения между движениями и позициями небесных тел должны быть выведены из единой формулы, которую он в конце концов и формулирует, связывая отношения квадратов периодов движения любых двух планет с отношениями кубов больших полуосей их орбит.

²⁵⁶ Хьюэлл У. Конт и позитивизм // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 54. № 4. С. 211.

²⁵⁷ «Так как при своем предварительном развитии, единственно имевшем место до сих пор, положительный метод вынужден был, таким образом, постепенно распространяться от низших знаний к высшим, то последние неизбежно подверглись победному натиску первых, против влияния которых их необходимая самобытность не находила сначала другой гарантии, кроме бесконечного продолжения теолого–метафизической опеки» [Конт 2011, 76]. О чем этот тезис Конта? О том, что метафизика защищала новое и более комплексное «самобытное» (читай – эмерджентное) знание (биологическое и социологическое) в его борьбе с «редукционизмом к низшему» (т. е. более раннему и достоверному знанию из математики, астрономии, механики).

разделившей моральную философию и натуральную философию. И Хьюэлл по существу не спорит с этими тезисами Конта, а ведь именно здесь заканчивается революционный пафос критической установки Огюста Конта, и научное развитие все-таки приводится им к некоему логическому и историческому завершению.

Здесь Конт выступает даже большим консерватором, нежели Хьюэлл, который, напротив, защищая метафизику и, видимо, находясь в состоянии полемического задора, вновь частично отходит от принципов априоризма. (Напомним, что доктрина априоризма позволяла Хьюэллу утверждать необходимый характер части научного знания, прежде всего законов физики, что отличало его от всех иных контингентных видов знания, которое, с одной стороны, впоследствии могло быть пересмотрено, и во-вторых, имеет своим предметом нечто, что могло быть и другим, не таким, каковым оно в настоящее время является. Так, законы Ньютона являются истинными на все времена, поскольку «экземплифицируют» собой априорную идею каузации²⁵⁸.)

И несколько неожиданно и вопреки всему пафосу априорного обоснования необходимости знания – Хьюэлл обращается к метафизике как некоему резервуару «временных» понятий, призванных затыкать «дырки» в теориях²⁵⁹. В устах Хьюэлла это предстает как весьма удивительное утверждение, несовместимое с его априоризмом, согласно которому все достигнутые истины должны сохраниться навсегда. Под этим «утверждением временности», может быть, с оговорками, подписался бы и Поппер.

Впрочем, в своем утверждении того, что реальная история наук вовсе не соответствует строгому членению на три контовских этапа, Хьюэлл все-таки не всегда справедлив. В своем «энциклопедическом законе» развития наук Конт не утверждает какой-то жесткой строгости этапов, где (см. сноску выше) «метафизическая опека» сопровождает науки до последних дней. Речь скорее ведется о неких «идеальных типах» наук, реальная история которых, конечно, не всегда соответствует абстрактной логике их развития. Впрочем, и сам Хьюэлл формулирует собственный «закон трех стадий» развития науки, в котором в чем-то даже дает похожую трехэтапную схему развития наук.

На первой стадии (этап «декомпозиции фактов» и «прояснения понятий») формулируются элементарные факты в рамках ясных и отчетливых идей (пространство, время, число) и основные научные понятия «силы», «поляризации», «биологического вида» и т. д.; на втором, «индуктивном этапе» в результате «коллигации фактов» формулируются теории и законы: скажем, законы Кеплера посредством математических концептов – кубов, квадратов, пропорциональности – сводят воедино факты о положении и движении планет, периодах вращений и расстояниях до солнца. На третьей – дедуктивной – стадии из законов и теорий извлекаются новые факты.

Что касается упрека Хьюэлла в поддержке Контом «эмиссионной» теории

²⁵⁸ Аксиомы каузации: ничто не происходит без воздействия силы, следствия пропорциональны причинам, противодействие равно и противоположно действию. «Основаниями этой науки (механики), – пишет Хьюэлл, – являются... аксиомы относительно причинности» [Хьюэлл 2016, 150].

²⁵⁹ «Кто (кроме метафизики – А.А.) поможет нам... хотя бы временно приемлемому пониманию атомного строения тел и объяснит, почему при любой схеме атомного строения мы неизменно приходим к противоречию, связанному с *полуатомами*, и как этого избежать?» – пишет Хьюэлл в своем эссе о Конте [Хьюэлл 2017, 2011].

света, несовместимой с явлениями дифракции и интерференции, то все-таки и сам Хьюэлл признает некоторую справедливость «эмиссионной» теории в отношении феномена зрения и поглощения света, которые не могла объяснить волновая теория²⁶⁰.

Какое мы можем дать объяснение этому событию научной коммуникации? Можно ли социоэпистемологически объяснить столь резкий полемический настрой при значительном сходстве подходов и явном гипертрофировании разногласий? Здесь, на наш взгляд, следует принимать во внимание всю многомерность коммуникативного акта научной полемики и учитывать – в дополнение к предметному – также временное и социальное измерения научной коммуникации. В этом смысле речь может идти не столько об утверждении своей концепции развития научного знания, сколько о защите временного приоритета в формулировании «паттернов» научной истории (временное измерение научной коммуникации). И, безусловно, эта полемика выражает во многом непримиримые социальные противоречия между консерватором и глубоко религиозным человеком, каковым являлся Хьюэлл, и радикалом и фактическим атеистом Контом (социальное измерение научной коммуникации). В результате контroversы представляются более глубокими, чем они есть на самом деле. Такие «социальные» различия затем сказываются и в сфере предметных дискуссий. И особое место в дискуссии Конта и Хьюэлла занимает вопрос роли в науке «конечных причин».

Интересно и объяснение явлений органического мира, где Хьюэлл придерживается кантовского представления о целесообразном строении организмов как принципа научного объяснения их развития. Так, «наиболее выдающиеся физиологи, – пишет Хьюэлл в своем эссе, – во все времена провозглашали, что на каждом шагу они открывают свидетельства предназначения», «глаз был создан для зрения, указывая на то, что оптическая регулировка глаза опровергает учение о том, будто он возник сам собой»²⁶¹. Но если Кант все-таки придерживался скорее материалистических позиций, и его знаменитая *Zweckmäßigkeit ohne Zweck* имела для него эвристическую функцию, то телеологизм Хьюэлла, конечно, проистекает из его убежденности в факте божественного предустановления. И с высоты современных достижений синтетической теории эволюции, конечно, несколько комично звучит издевательский тон Хьюэлла в отношении дарвинизма, разделяемого Контом:

«Удивительные приспособления для регулировки фокуса к разным расстояниям, для допуска разных количеств света, для коррекции сферической и хроматической аберрации – все это было приобретено на воображаемом пути от кусочка нерва до сложного глаза, следовательно, Природа двигалась по этому пути к сложному глазу. Это выглядит абсурдным, тем не менее, такое учение распространяется»²⁶². Эволюционизм не совместим с идеей конечных причин и, как следствие, с априоризмом в отношении последних, необходимых и вечных истин. Именно в этом пункте

²⁶⁰ Хьюэлл У. Философия индуктивных наук, основанная на их истории. М.: Кнорус, 2015. С. 234.

²⁶¹ Хьюэлл У. Кант и позитивизм // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 54. № 4. С. 209–224. Хьюэлл У. Философия индуктивных наук, основанная на их истории. М.: Кнорус, 2015.

²⁶² Хьюэлл У. Кант и позитивизм // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 54. № 4. С. 216.

разногласия Хьюэлла и Конта выглядят непреодолимыми. Но проистекают ли они действительно из предметных соображений или все-таки обусловлены мировоззренчески и культурно-религиозно?

Читая Хьюэлла, трудно избавиться от впечатления, что идеи Конта рассматриваются в этом эссе лишь как предлог и повод, чтобы заявить общий протест против набирающей силу в научной и общественной жизни критической установки, как в отношении к эволюции природы и науки (Маркс, Спенсер, Дарвин и т. д.), так и в развитии общественного устройства. Эту работу можно назвать последним манифестом так называемой «староевропейской семантики» с ее доктриной «истинностного перфекционизма», предполагающего достижение состояния развития науки, в котором основные истины будут сформулированы навечно²⁶³.

Но как это совместимо с общим пафосом работ Хьюэлла – скрупулезного исследователя текущих научных контроверз и дискуссий? В дискуссии с Контом, как нам кажется, значение социального измерения (жизненно-мировая установка викторианской эпохи в Англии с ее резким неприятием революционного духа Франции) все-таки перевесила предметное измерение научной коммуникации. Этот консерватизм получает и философско-научное обоснование в идее «коллигации фактов» (см. выше), подразумевающей сохранение и консервацию «работающих институтов» и «научных концептов», если они обеспечивают интеграционную функцию вопреки критике и даже наличию иных эффективных решений. Но и временное измерение научной коммуникации играет здесь существенную роль. Ведь не случайно объектом критики выбран Конт, как разработчик конкурирующей и весьма влиятельной системы классификации и концепта стадийного развития наук.

Приложение к главе: Никлас Луман. Эволюция. Глава из книги «Wissenschaft der Gesellschaft». Suhrkamp, 1993 (в сокращении)

I. Эволюционные механизмы: изменчивость, селекция, стабилизация

Знание, и особенно научно удостоверенное знание, есть продукт истории общества. Он принадлежит к тем достижениям, которые могут быть объяснены лишь с помощью теории эволюции. Это понимание уже более ста лет находит всеобщее одобрение. И прежде всего оно получало выгоду от тех импульсов, произведенных идеями Дарвина и Спенсера. Однако тем самым было усвоено слабо разработанное понятие эволюции, и на этом понятии это понимание застряло. Лишь в последние три десятилетия было запущено новое обсуждение этого вопроса, прежде всего благодаря тому, что вопрос об обосновании научного знания дополнился – если не заместился – интересом к объяснению роста и изменению структур (изменению теории). Карл Поппер и Томас Кун оказались здесь выдающимися энтузиастами. Одновременно актуализировался интерес к наследию дарвинизма и неodarвинизму с их акцентуацией случайного

²⁶³ Луман Н. Истина, знание, наука как система / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Логос, 2016. 410 с.

характера изменчивости, принуждающей к эволюционному отбору²⁶⁴. В результате того, что теория эволюции стала необходимой частью эволюции, сегодня именно биологи, интересующиеся эволюционными теориями познания, вносят особый вклад в эту дискуссию²⁶⁵. Но, вопреки всем этим усилиям, до сих пор отсутствует все-таки достаточное эволюционно-теоретическое объяснение знания, которое бы соответствовало как уровню теоретико-познавательных проблем, так и имманентной историчности семантической традиции знания. Может статься, что достаточно было бы и прежних объяснений. Но и самому теоретическому науковедению (*Wissenschaftstheorie*) следовало бы провести необходимые предварительные работы; ведь оно должно было бы объяснить, что это вообще такое, что может быть объяснено лишь эволюционно-теоретически.

Не случайно начало эволюционно-теоретические эпистемологии конца прошлого столетия совпадает по времени со всеобщим кризисом рациональности и согласия. Переориентация теории познания на эволюционную парадигму имеет в виду одновременно несколько различий: речь идет об отказе от рациональности и речь идет об отказе от консенсуса как объяснений морфогенеза (если не сказать: прогресса). Кроме того, речь идет – что выражают часто в алармирующем понятии «случайности» – о некоторой теории, которая не смыкается с непосредственными интенциями исследователей и их верой в истину, но рассматривает их лишь как двигатель (носитель) эволюции. Но ведь эти ограничения навязываются эволюцией самого знания. И в существенной части остается неясным то, какие возможности останутся, если помогать им осуществляться.

Соображения, выдвинутые в предыдущих главах, не делают эту задачу легче. Напротив, они затрудняют ее решение, они, по меньшей мере, переводят это решение на обходной, – но, возможно, плодотворный, – путь. Это значимо в двух аспектах. «Натурализированная эпистемология» (Куайн и компания) искала доступа к эволюционной теории через психологию или биологию, да и современные «когнитивные науки» формируют свои взгляды на основе исследований мозга. Это могло бы пробудить надежду на создание единой эволюционной теории познания, которое, казалось, следовало бы формировать как бы в пандан к биологическим исследованиям. Этому мы противопоставляем тезис о множественности – замкнутых в своих операциях – аутопоэтических системах, каждая из которых проводит соответствующее познание в собственном стиле и поставляет их в распоряжение других видов систем. Поэтому сначала еще только следовало бы создать общую теорию

²⁶⁴ *Campbell D.T.* Blind Variation and Selective Retentions in Creative Thought as in Other Knowledge Processes // *Psychological Review*. 1960. № 67. S. 380–400; ders., Unjustified Variation and Selective Retention in Scientific Discovery, in: *Ayala F.J., Dobzhansky T.* (Hrsg.) *Studies in the Philosophy of Biology: Reduction and Related Problems*. London, 1974. S. 139–161; ders., Evolutionary Epistemology, in: *Schilpp P.A.* (Hrsg.) *The Philosophy of Karl Popper*. La Salle, Ill., 1974. Bd. I. S. 412–463.

²⁶⁵ *Riedl R.* *Biologie der Erkenntnis: Die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Vernunft*. 3. Aufl. Berlin, 1981; *Lorenz K., Wuketits F.M.* (Hrsg.) *Die Evolution des Denkens*. München, 1983. *Vollmer G.* *Evolutionäre Erkenntnistheorie: Angeborene Erkenntnisstrukturen im Kontext von Biologie, Psychologie, Linguistik, Philosophie und Wissenschaftstheorie* (1975). 4. Aufl. Stuttgart, 1987; ders., *Was können wir wissen?* 2 Bde. Stuttgart, 1985 und 1986; *Engels E.-M.* *Erkenntnis als Anpassung? Eine Studie zur Evolutionären Erkenntnistheorie*. Frankfurt, 1989. *Campbell D.T.* Selection Theory and the Sociology of Scientific Validity, in: *Callebaut W., Pinxten R.* (Hrsg.) *Evolutionary Epistemology: A Multiparadigm Program*. Dordrecht, 1987. S. 139–158.

эволюции (наподобие всеобщей теории систем), которая бы абстрагировалась от биологической специфики, к примеру, от специфической генетической ригидности. Но такая теория пока отсутствует, хотя существует достаточное количество поводов ее создать. Всеобщая теория эволюции, правда, довела до успешного завершения некое развитие, начавшееся с требования надприродных вмешательств в элементы (или константы-сущности) через промежуточную теорему «невидимой руки» как гаранта совершенного порядка в направлении к теории подпороговых структурных изменений, причем в качестве фенотипа предстает лишь сам результат, но не собственно процесс изменений. Но это еще не давало ответа на вопрос о «материальном базисе» эволюции. На него можно дать ответ лишь исключительно физикалистски (порядок из шума, синергетические эффекты, диссипативные структуры), или биологически, или также социологически. В каждом случае все это имеет своим результатом тесную кооперацию системной теории и теории эволюции, причем как на уровне всеобщей теории, так и на уровне психических, биологических и социальных систем.

Во-вторых, эволюционную теорию познания до сих пор применяли для того, чтобы разрешить проблему референции. В типичной форме аргумент гласит: если бы глаз не видел бы чего-то, действительно наличествующего в реальности, то он бы едва ли смог утвердиться как эволюционное достижение. Этот аргумент помещает эволюционную теорию на место провиденциалистской теологии, при помощи которой, к примеру, Декарт решал эту проблему референции. Радикальный конструктивизм гласит: проблема даже и не поставлена должным образом. Референция могла бы быть лишь самореференцией или, во всяком случае, вторичным образом представлять в виде опосредованного таким образом различения самореференции и инореференции²⁶⁶. Когнитивные аппараты выживают не потому, что в силу их достаточных или совершенствующихся репрезентационных достижений вносят свой вклад в приспособление системы к внешнему миру. Они выживают, поскольку они способны воспроизводить самих себя. И это имеет место на уровне клеток, мозга, систем сознания и коммуникационных систем – благодаря соответствующему собственному аутопоэзису, который при возможности продуцирует все более невероятные, все более жестко обособляющиеся системы. Последняя реальность, которую – по временной схеме – все еще можно обозначать как физический мир, есть поэтому лишь «медиум», в котором отпечатываются подобные формы.

С аналогичной проблемой самореференции сталкиваются, если отклоняют обычно молчаливо подразумеваемую асимметрию в отношении системы и внешнего мира. Эволюционной теории эти взгляды уже давно известны: система приспособляется не только к внешнему миру, но выбирает или меняет внешний мир, чтобы суметь приспособиться к тому, что она сама предпочитает. Если переносить данный взгляд на уровень эпистемологии, это означает, что знание выбирает то, что оно может знать, на основании того, что оно уже знает²⁶⁷. И именно эта эволюция знания в конечном счете – ради достижения самопротиворечивости – выказывает предпочтение в пользу теории эволюции.

²⁶⁶ Критику этого аргумента см.: *Campbell a. a. O.* (1987)

²⁶⁷ *Löfgren L.* Knowledge of Evolution and Evolution of Knowledge, in: *Jantsch E.* (Hrsg.) *The Evolutionary Vision: Toward a Unifying Paradigm of Physical, Biological, and Sociocultural Evolution.* Boulder, Col., 1981. S. 129–151.

Эти соображения некоторым образом делают понятным то сопротивление «философской» теории познания, которое она оказывает предположениям, проистекающим из биологической теории познания. С другой стороны, теоретические традиции, которые подают себя в виде философии, оказываются подверженными резюмированной нами критике столь же сильно, что и теории биологические. Они, правда, должны оказывать сопротивление. Но они не способны это осуществить. Здесь кажется привлекательным абстрагировать теорию систем и теорию эволюции через вынесение за скобки саморегуляционного образца теории до такой степени, чтобы она здесь могла выполнять лишь некую рамочную функцию. Лишь этим обходным путем можно прийти к пригодной для наших целей теории общественной эволюции коммуницируемого знания и науки.

Далее, именно теория аутопоэтических систем затрудняет понимание постепенной эволюции исходя из начала какого-то иного вида. Как можно мыслить эмерджентность аутопоэзиса, если действует правило «или/или»: ведь система либо является закрытой, либо как раз таковой не является. Здесь поможет лишь очень тщательный анализ исторического развития, который специальным образом учитывает то, как некий процесс операций, всегда осуществляющийся в виде актуальной современности (в нашем случае – всегда доступный как современность познавательный поиск), включает свое собственное прошлое в рекурсивное аутопоэтическое производство, что значит: так его использует, как будто уже тогда это прошлое присутствовало в той же самой системе. Нет сомнений в том, что письменная коммуникация этому благоприятствует и даже вообще только и делает это возможным.

Не является случайностью, что в генезисе науки решающее значение играло сомнение в надежности чувственных восприятий в его комбинации с достоверностью реальности чувственно данного мира²⁶⁸. Это сделало возможным реализовывать одновременно как подключение к знаниям, так и критику знания, а также отведение обособляющейся науки судейской роли. Даже и философия раннего Нового времени все еще должна утверждаться на фоне этой проблемы²⁶⁹. Но если только учитывать структурные условия самоорганизации операционной замкнутости аутопоэтических систем, можно благодаря этому очень точно определить то, как эта эмерджентно возникающая система перерабатывает предоставленные ей свободы в самодетерминацию.

Такого рода комбинация системной теории и теории эволюции требует в конечном счете отказаться от некоторых – рутинных, прежде всего в области социологии, – гипотез в отношении эволюционной теории. Теории эволюции не конструируют никаких фазовых моделей и не являются также теориями процесса; это нужно повторять снова и снова с целью избежать путаницы и гиперинтерпретаций²⁷⁰. Мы, во всяком случае, усматриваем задачу теории эволюции не в периодизации истории и не в изображении типических фаз последовательностей инноваций, построения теории и распада, но в объяснении структурных изменений с помощью различения изменчивости, селекции и за-

²⁶⁸ Древнегреческие источники см. у *Lloyd* а. а. О. (1979) S. 126.

²⁶⁹ Скажем, в различении первичных и вторичных качеств.

²⁷⁰ *Bühl W.L.* Einführung in die Wissenschaftssoziologie. München, 1974. S. 128.

крепления признаков²⁷¹. При этом понятие изменчивости предполагает понятие стабилизации, ибо изменчивость может показывать себя лишь на фоне закрепленных образцов. Если «рассказ об эволюции» начинается с изменения, то он уже, значит, являет собой некую произвольную врезку, обусловленную интересом к новому. Такое отношение понятий следует мыслить круговым образом, однако, изложение эволюции должно же где-то начаться.

Если в основу описания того, что должно получить эволюционно-теоретические описания, положена теория самореференциальных аутопоэтических систем, тогда уже благодаря одному этому обстоятельству меняется и форма проблемопостановки, а вместе с ней – и тип того механизма, который конструирует объяснение, и, значит, – понятие эволюции. Традиционно эволюция знания могла и должна была постигаться как текущее лучшее приспособление знания к миру, каким он действительно является; и тогда само приспособление полагается механизмом эволюционной селекции. Если же, однако, речь идет о том, чтобы объяснить эволюцию некоторого знания, которое вообще не может и знать, что есть то, о котором оно знает, что оно его знает, то это представление утрачивает силу. Или, другими словами: если приходится отказываться от репрезентационной теории знания, то следует отказаться и от адаптационной теории знания²⁷². Как эволюционируют, другими словами, аутопоэтические системы, которые сохраняют свой собственный аутопоэзис и для этого своими внутренними операциями выбирают структуры, не будучи принужденными их внешним миром под давлением необходимости выживания стремиться к «фитнесу»?

Возможно, что эта теория адаптивного и поэтому успешного приращения знания и есть главное препятствие для синтеза эволюционной теории, теории познания и истории научных теорий (в смысле истории идей). Едва ли можно обосновать правдоподобность, что, к примеру, евклидова геометрия потому оказалась успешной, что особенно удачно приспособилась к миру, каков он есть на самом деле; и что, соответственно, отбор неевклидовых геометрий в XIX веке объясняется тем, что они еще лучше адаптировались к внешнему миру. Очевидно: теория эволюции требует понимания приспособления как некой переменной, которая может принимать сравнительно лучшие или худшие значения²⁷³, так что в этом отношении образуется игровое пространство для отбора. Тогда, однако, если теория должна функционировать эмпирически, должно было бы констатироваться сравнительно лучшее или худшее приспособление знания к этой реальности, независимо от притязаний на значимость именно этого знания. И кроме того, следовало бы тогда как-то объяснить, как же так некоторый однажды достигнутый уровень приспособления может быть преодолен и улучшен; ведь в случае эволюции знания нельзя исходить из того, что мир изменится настолько стремительно, что ос-

²⁷¹ Blute M. Sociocultural Evolutionism: An Untried Theory // Behavioral Science. 1979. № 24. S. 46–59.

²⁷² Varela F.J. Living Ways of Sense-Making: A Middle Path for Neuroscience, in: Livingston P. (Hrsg.) Disorder and Order: Proceedings of the Stanford International Symposium (Sept. 14–16, 1981). Saratoga, Cal., 1984. S. 208–224.

²⁷³ Parsons T. Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives. Englewood Cliffs, N. J., 1966. S. 22; его же: The System of Modern Societies. Englewood Cliffs, N. J., 1971. S. 11. 26 f.; его же: Comparative Studies and Evolutionary Change, in: ders., Social Systems and the Evolution of Action Theory. New York, 1977. S. 279–320 (297 ff.).

лабнут те тиски приспособления, которым следует знание через свое разложение или селекцию новоприспособленного знания²⁷⁴.

Возражения этого рода могут быть сформулированы и в отношении теории органической эволюции²⁷⁵. Они оказываются неизбежными, когда теория эволюции сталкивается с вызовом, требующим объяснить как неизменное сохранение знания в течение долгих периодов времени, так и внезапные, радикальные изменения в течение короткого времени, без того чтобы в объяснении указывать на вызывающие их трансформации в эволюционных «нишах», в которых эти знания якобы и формулировались²⁷⁶.

Значительный прогресс уже был достигнут, когда приспособление (вопреки собственному смыслу этого слова) было проинтерпретировано как позитивная обратная связь, т. е. как усиление отклонений²⁷⁷. В этом случае, правда, было бы правильнее говорить об усилении отклонений при сохранении некоторого достигнутого уровня приспособления или, еще более четко, об усилении отклонений, которые допускает внешний мир, и ничего другого не обозначает понятие «отдифференциация». Решающее значение имеет то, что не «способность приспособиться», но «способность обособиться» объясняет ту невиданную стабильность и устойчивость жизни и всех надстраивающихся над ней систем²⁷⁸.

Мы реагируем на это сомнение в классическом дизайне эволюционной теории прежде всего путем осознанного ограничения эволюционно-теоретического инструментария. Решающее значение в пользу этого рода теории (в отличие от теорий творения и теорий развития) мы усматриваем в использовании одной специфической дифференции как средства объяснения структурных изменений. Структурные изменения с эволюционно-теоретической точки зрения объясняются через дифференцию изменчивости и отбора²⁷⁹. Это в обратной перспективе означает, что данная дифференция объясняет исключительно структурные изменения и ничего, кроме них, а следовательно, не предполагает ни каких-то долгосрочных направлений исторических преобразований, ни какого-то более успешного приспособления к внешнему миру. Речь идет о вопросе о том, как некоторая система, которая управляет своими собственными операциями посредством своих собственных операций, способна изменить этими операциями свои собственные структуры, а именно даже тогда, когда система, привязанная к некоторым данным структурам, не может планомерно менять их на некоторые новые.

Кажется очень соблазнительным сохранять это различие и сводить теорию эволюции к двойственной дифференции изменчивости и селективного закрепления признаков. И все-таки это невозможно, и как раз потому, что селекция способна идти по двум путям и в обоих случаях требует решения проблем ее стабилизации. Если мутировавший вариант утверждается, он

²⁷⁴ Rescher N. *Methodological Pragmatism: A System-Theoretic Approach to the Theory of Knowledge*. Oxford, 1977.

²⁷⁵ Maturana H.R. *Evolution: Phylogenetic Drift Through the Conservation of Adaptation*. Ms., 1986.

²⁷⁶ Toulmin S. *Kritik der kollektiven Vernunft*, dt. Übers. Frankfurt, 1978. S. 148.

²⁷⁷ Cloak F. T. *Is a Cultural Ethology Possible?* // *Human Ecology*. 1975. № 3. S. 161–182.

²⁷⁸ Varela F. *Principles of Biological Autonomy*. New York, 1979; Roth G. *Selbstorganisation – Selbsterhaltung – Selbstreferentialität: Prinzipien der Organisation der Lebewesen und ihre Folgen für die Beziehungen* // Dress A., Hendrichs H., Koppers G. (Hrsg.) *Selbstorganisation: Die Entstehung von Ordnung in Natur und Gesellschaft*. München, 1986. S. 149–180.

²⁷⁹ Knorr Cetina K. *Evolutionary Epistemology and Sociology of Science*, in: Callebaut W., Pinxten R. (Hrsg.) *Evolutionary Epistemology: A Multiparadigm Program*. Dordrecht, 1987. S. 179–201 (Zitat S. 194).

должен согласовываться с уже стабилизировавшимся состоянием знания; но даже если этот вариант и отклоняется, это требует некоторой обновленной стабилизации, поскольку то, что до сих пор безальтернативно транслировалось в традиции, теперь должно получить гарантии как предпочтительное решение проблемы. Обе опции, реализуясь, меняют тем самым систему; и лишь форма проблемы, на которую должна реагировать система, обусловлена селекцией в пользу (либо против) инновации. Это объясняет и то, что именно наука длительное время вынуждена ориентироваться на еще не решенные селекции (или на контroversные мнения в этом вопросе) и даже в этом своем состоянии воспроизводит собственные состояния. Мы должны, следовательно, различать функции и механизмы для изменчивости, селекции и стабилизации и поэтому вынуждены считаться с тремя различиями, а именно – вариации/селекции, селекции/стабилизации, стабилизации/вариации. Лишь их взаимодействие дает результатом эволюцию.

Особо выделяя эту дифференциальность (в теоретическом контексте – различение понятий) изменчивости, селекции и стабилизации, мы осуществляем дальнейшую радикальную переинтерпретацию более ранних эволюционных теорий. Этим различием одновременно утверждается, что событие, когда вариация одновременно осуществляется и как успешная селекция, является случайным. Более ранняя эволюционная теория, по меньшей мере, в ее приложении к теоретико-познавательным вопросам, объясняла само появление вариаций как случайность²⁸⁰. От этого сегодня дистанцируются все больше и больше²⁸¹. И действительно, в области как органической, так и общественной эволюции вариации представляют собой тонко регулируемые, пусть и не детерминированные, процессы, обозначение которых как «случайных» выглядит не очень адекватно. Такая «случайность» состоит только лишь в том, что изменчивость и селекция не могут координироваться заблаговременно, но изменчивость, так сказать, высвобождает селективные процессы. Вариация обеспечивает некое дальнейшее «структурное предложение» наряду с уже наличествующими структурами, а дело селекции в том, чтобы принимать затем решение. И именно в том, как в некоей структурно детерминированной системе оказываются возможными подобные прерывания взаимозависимостей, состоит трудность, с которой надо разобраться. Об эволюционной теории говорят тогда, когда данная проблема акцептируется как исследовательская программа. Однако разработанная теория эволюции, конечно же, предполагает, что можно найти объяснение тому, как является возможным и от чего зависит то, что нечто фактически происходит так, как происходит. Если вообще говорить об эволюции знания, требуется определиться с тем, как в случае знания (или, в конечном счете, лишь в случае научного знания) замечаются функции изменчивости и селекции и как осуществляется их разделение – словно за спиной целеустремленного поиска истины.

²⁸⁰ На Дарвина самого здесь сослаться трудно, ведь применительно к вопросу о причинах изменчивости говорил о незнании в условиях данного состояния исследований, но не о случайности.

²⁸¹ См. примечательное изменение название работы Кэмпбелла: *Campbell* a. a. O., 1960, 1974. Zur Kritik der Vorstellung, evolutionäre Variation sei reiner Zufall, vgl. *Blachowicz J.A. Systems Theory and Evolutionary Models of the Development of Science // Philosophy of Science*. 1971. № 38. S. 178–199.

Как уже отмечалось, приходится отказываться от того, чтобы понимать эволюцию в виде упрощенной фазовой модели: сначала изменение, затем селекция, потом закрепление признаков. Решающее значение имеет, напротив, то, что эти механизмы не могут интегрироваться системным образом и взаимодействуют друг с другом одновременно. Это означает, что непрерывно реализуются обратные связи, рекурсивные обращения к будущему и прошлому. Так, вариация может иметь место лишь в стабильных условиях и должна быть совместима со стабильностью. Вариация может также ориентироваться на селекцию, так же, как селекция может иметь место лишь в том случае, если она обращается к вариации и благодаря этому варьирует ее еще раз. И не в последнюю очередь перспективы стабилизации могут служить мотивами для селекции, в то время как уже должно быть предположено ранее стабилизированное знание, если только есть желание уточнить то, о чем вообще идет речь в процессе селекции. Мы описываем это комплексное положение дел при помощи следующей схемы:

стабилизация – только и если только вариация – только и если только
селекция – только и если только стабилизация

Решающее значение во всех этих тонкостях имеет то, что должны быть сохранены дифференции и что невозможен прорыв к некоему телеологическому состоянию эволюции. Методология, правда, может это представлять именно так, редуцировать эволюцию к усилиям по решению некоей проблемы. Однако в действительности системы науки сами методы суть лишь некоторый момент эволюции.

Если эволюция возможна лишь на основе эволюционных различий вариаций, селекций и стабилизации, то можно спросить об условиях возможности этих дифференций. Это требует системно-теоретического объяснения, которое мы здесь ограничим случаем системы общества и его подсистем. Эти системы предлагают различные реперные точки для эволюционных механизмов смотря по тому, идет ли речь об отдельных операциях (коммуникациях), о производимых и воспроизводимых благодаря этому структурах (ожиданиях) или о данной эволюционирующей системе, в отличие от ее внешнего мира. Эти различия одновременно определяют эти различные реперные точки эволюции и запускают – в случае достаточной комплексности системы – процесс эволюции первоначально на уровне общества в целом, а затем, по мере достижения достаточной дифференцированности подсистем, также и в них самих.

Механизм изменчивости касается лишь отдельных операций, т. е. происходят коммуникативные события. Произносится, предлагается, описывается и, возможно, печатается нечто новообразованное (неожиданное, отклоняющееся). Собственная стабильность подобной вариации заключена лишь в ее понятности и ее способности к письменной фиксированности. Она остается некоторым событием, которое можно вспомнить. И уже одно лишь чистое забвение отсортировывает бесчисленные вариации.

Селекция всегда основывается на структурах, что означает – на ожидании новоиспользования смысловых установлений²⁸². Лишь структуры (но к этому

²⁸² В некотором ограниченном смысле можно поэтому говорить о структурной селекции. *Schmid M. Theorie sozialen Wandels. Opladen, 1982. S. 176.*

относится, безусловно, и воспроизводимая референция к событию, которое однажды произошло) могут выделяться символически и благодаря этому становиться объектом селекции. Они попадают в разряд востребованных ожиданий – или же не попадают. В случае науки это означает: они маркируются как истинные – или же как ложные.

Наконец, стабилизация заключена в континуальности аутопоэзиса системы. Последняя еще в состоянии работать в мутировавшем состоянии и за счет запуска внутренних процессов приспособления (будь это произошедшее событие, будет это изменившаяся или все-таки не изменившаяся система) и продолжать собственный аутопоэзис, пусть даже в условиях возросшей вариативности или же с возросшей избыточностью.

Возможность эволюции обнаруживает тем самым, наконец, системно-теоретическое объяснение. Она обусловлена тем, что события еще не являются структурами, а структуры еще не являются системами; однако речь равным образом всегда идет о структурно детерминированных системах, которые способны варьировать свои собственные структуры лишь посредством своих собственных операций и благодаря этим структурированным операциям производят рекурсивную сеть воспроизводства именно этих операций, которая уже только благодаря такой чистой событийности (*Sichereignen* – букв. «тому, что случаются эти события») отграничивает себя от некоторого внешнего мира.

II. Изменчивость

Сначала поговорим о варьировании. Вопрос о том, как запускается процесс эволюции, должен получить ответ через обращение не к «началам», а к «дифференциям», не исходя из неких «причин», но из самой эволюции. Решающее значение здесь имеет то, как интерпретируют процесс изменений. Это и в самых начальных фазах эволюционно-теоретической эпистемологии, в последних декадах XIX века, являлось решающим вопросом, затеняющим все остальные.

Прежде всего, добрые сто лет решающий импульс приписывали (и соответствующим образом чувствовали) великим открывателям и изобретателям. В этой семантической форме атрибуции личностям нововременная наука могла фиксировать и регулировать свое собственное обособление²⁸³. То, что все самое важное относили к индивидам, как раз и означало, что ни сословие, ни религия, ни происхождение, ни нация не имели здесь никакого значения. Тем самым наука отгораживала себя от традиционных социальных детерминаций, не будучи принужденной отказаться при этом от представления о себе как об общественном процессе; ведь это общество мыслилось как группа, как состоящее из индивидов. Лишь к концу XIX века эта семантика начинает разлагаться и возникает потребность в столь же жесткой семантике – семантике случайности.

Если следовать классическим канонам эволюционной теории, то можно предположить, что мутационно-вариационный механизм следовало бы локализовывать во Внутренней системе (так же, как и мутация в живой клетке или гениальная догадка какого-то человека в обществе), что, напротив, отбор – *natural selection* – должен был бы воздействовать на систему извне и использовать при

²⁸³ Schaffer S. Scientific Discoveries and the End of Natural Philosophy // *Social Studies of Science*. 1986. № 16. S. 387–420.

этом механизм предпочитания лучше приспособленного. Различие между варьированием и отбором должно было бы тогда обеспечиваться через системно-теоретическую дифференцию внутреннего и внешнего, благодаря границам этой системы; и чтобы запустить эту эволюцию, нужно лишь кипение внутренних случайностей.

Это представление все же выглядит устаревшим на фоне развития системной теории, во всяком случае, в области социокультурной эволюции. Поиски опосредующего звена, которые примыкают к классической фигуре «маргинального человека» и приписывают инновацию прежде всего *gand*-фигуре научного производства, видимо, не получили эмпирического подтверждения²⁸⁴. Для наших целей и в контексте системной теории это приписывание достижений личностям (чистое подражание требованиям повседневности) в любом случае было бы чрезмерно грубым средством различения. Даже если исходить из индивида как источника импульса к вариациям, все-таки необходимый для этого телесно-ментальный способ существования нельзя рассматривать как внутриобщественную данность. Правда, можно найти достаточно оснований для того, чтобы сводить вариативность в науке к целевым интенциям исследователей; но именно это как раз и означает сводить вариативность к случайности²⁸⁵. Общества состоят не из людей, но из коммуникаций. Всякая соразмерная сознанию реализация мысли, восприятие и воображение, представляет для коммуникации ее внешний мир и поэтому прежде всего нерелевантна – пусть даже и дает импульс к некой понятной коммуникации.

Одновременно концепт такой самореференциально замкнутой системы требует отклонения представления о том, что вообще могли бы существовать факторы, которые специфицировали бы структуры такого рода системы. Как же, согласно этому видению теории, мог бы пониматься механизм эволюционного варьирования знания?

В принципе следовало бы прежде всего обратить классическую диспозицию: именно вариация зависит от импульсов извне, в то время как селекция подходящего теоретического материала следует на основе внутренних процессов²⁸⁶. «Случайность» вариации состоит не в принципиально необъяснимой спонтанности, но в том, что эволюционирующая система (в данном случае общество либо наука) не вступает в координационные отношения (или делает это в очень ограниченном объеме) с системами в своем внешнем мире. В теоретическом плане для дальнейшего прояснения может оказаться полезным отличие внешнего мира системы от систем во внешнем мире этой системы. Всякая система с необходимостью подвергается воздействию некоторого внешнего мира и в этой мере (и здесь должно быть осуществлено еще одно различие) уже изначально приспособлена к своему внешнему миру – или она не существует. Но системы во внешнем мире этой системы, со своей стороны, суть единства с собственной динамикой, и то, согласуют ли они с некоторой другой системой события, которые производятся этой системой, является случайным (пусть даже

²⁸⁴ Gieryn T.F., Hirsch R.F. Marginality and Innovation in Science // *Social Studies of Science*. 1983. № 13. S. 87–106.

²⁸⁵ Knorr Cetina a .a. O. (1987) S. 183. 1971.

²⁸⁶ Toulmin S. Die evolutionäre Entwicklung der Naturwissenschaft, in: *Diederich W.* (Hrsg.) *Theorien der Wissenschaftsgeschichte: Beiträge zur diachronen Wissenschaftstheorie*. Frankfurt, 1974. S. 249–275.

некоторая охватывающая система озабочена поддержанием некоторого уровня общей интеграции). Этот тезис необходимости «состояния приспособленности» к тому, что коррелятивно единству данной системы является данным внешним миром, не противоречит, следовательно, другому тезису – о том, что внутрисистемные отношения выказывают характер случайности. Одновременно различие «внешнего мира» и «систем во внешнем мире» отчетливо показывает то, что (и почему) сохранение приспособления является некоторой проблемой.

Как показывают исследования о значении понятия случайности при осуществлении статистических доказательств²⁸⁷, случайность всегда есть некоторая фикция, пусть и выступающая как реальность, но лишь как реально функционирующая подстанка. Это понятие обозначает, следовательно, не что-то, что «осуществляется в природе», но используется лишь в контексте некоторой системной референции. Кто-либо, кто желает наблюдать или производить случайность, должен знать: случайность для какой системы? Поэтому этот наблюдатель (второго порядка) способен совершенно свободно комбинировать высказывания о каузальности и о структурной детерминированности систем с высказываниями о случайности? Нечто, что для одной определенной структурно детерминированной системы выступает случайным, может быть причинным каузально. И это относится не только к научной методологии (для которой референтной системой является определенное исследовательское намерение), но также и к эволюционной теории.

Понятие «случайности» обозначает поэтому не недетерминированность, но прерывания взаимозависимостей *Interdependenzunterbrechungen*²⁸⁸. Исходя из перспективы системы, случайность тогда есть способность использовать события, которые не могут ни использоваться, ни производиться в системе. Это понятие случайности гармонирует с понятием структурно детерминированной системы. Подобная система может специфицировать свои собственные операции лишь посредством своих собственных структур, а собственные структуры специфицирует лишь посредством собственных операций; но одновременно она способна реагировать на побуждения, ирритации, пертурбации, которые она приписывает своему внешнему миру, – в той мере, в какой таковая реакция оказывается совместимой с продолжением собственного аутопозиса. Точно так же система специфицирует то, что может входить в рассмотрение в качестве раздражающего, вызывающего структурные изменения события. Это не в последнюю очередь означает, что понятие случайности есть понятие-дифференция, которое обозначает нечто, что вне этой хорошо упорядоченной системы было бы вообще невозможно. Словами Пастера: «Случай благоприятствует лишь подготовленному духу»²⁸⁹.

Если эти общие соображения применить к нашей проблеме, следует сначала более точно определить то, в какой степени сознание соучаствует в работе науки. Уже эта вопросопостановка может звучать странно для традиции, которая приписывает знание сознанию как своему субъекту. В теории аутопозитических систем это положение дел выглядит иначе. Само собой разумеется, всякая коммуникация предполагает корреспондирующие процессы в познании, так же,

²⁸⁷ *Spencer-Brown G.* Probability and Scientific Inference. London, 1957.

²⁸⁸ *Atlan H.* Entre le cristal et la fumée. Paris, 1979. S. 167.

²⁸⁹ *Jacob F.* Die Logik des Lebenden: Von der Urzeugung zum genetischen Code, dt. Übers. Frankfurt, 1972. S. 24.

как сознание, в свою очередь, имеет своей предпосылкой процесс жизни (и более того – жизнь собственного организма, который хочет что-то знать), так же, как жизнь, со своей стороны, требует молекулярного упорядочивания материи. Смысловая коммуникация возникает как эмерджентный, аутопоэтический порядок лишь при данных условиях. В этом смысле психические системы задействованы во всех научных операциях. Это, однако, не означает, что системы сознания могли бы специфицировать то, как и в каком направлении система коммуникации изменяет свои собственные структуры, и переводить свои собственные операции из одного состояния в другое. Напротив, задействованное в коммуникации сознание само, как зачарованное, следует за понятием, вслед за этим сказанным, за прочитанным и за вслед всему этому представленном в мысли. Оно, по меньшей мере будучи воспринятым в момент актуального участия в коммуникации, благодаря коммуникативному процессу и его воспроизводству обнаруживает себя под управлением стремительно меняющихся активных и пассивных актов его использования – лишь в той мере, в какой при этом может поддерживаться собственный аутопоэзис, собственное продолжение от мысли к мысли. Поэтому было бы едва ли уместным утверждать, что сознание способно из самого себя определять то, что должно входить в коммуникацию. Коммуникация специфицирует саму себя, будучи ограниченной тем, что соответственно возможно в сознании. Именно поэтому не соответствует реальности то, что сознание (чье сознание?) объявляет себя субъектом коммуникации и знания.

Сознание, впрочем, представляет собой именно то измерение внешнего мира, которое оказывается необходимым для того, чтобы опосредовать импульсы для коммуникации. Сознание и коммуникации, правда, представляют собой совершенно обособленные аутопоэтические системы, не способные пересекаться в своих операциях; но одновременно они являются и структурно-дополнительными системами, благодаря тому, что обладают способностями вызывать друг в друге структурные изменения, что в реальностях мира (как они описываются в науке) ни в коем случае не является правилом, но представляет скорее исключение. Всякий контакт с внешним миром коммуникации должен поэтому осуществляться посредством сознания, а значит – через очень узкий выход в реальность (так же, как сознание, со своей стороны, связано с внешним миром лишь через очень строго редуцированные частоты видения и слышания). Хотя коммуникация вовлекает в себя все уровни реальности, от физических и до ментальных предпосылок его функционирования, она лишь в очень ограниченной степени (и именно благодаря этому в очень комплексной форме) восприимчива к внешнему миру. Она не реагирует непосредственно на физические, химические или биологические положения дел, но предполагает подготовку такого рода положений дел и даже конституирование таких положений как смысловых единиц в сознании. Коммуникация, другими словами, зависит от того, что сознание детривиализирует восприятие²⁹⁰. Лишь сегодняшняя научная концепция мира позволяет четко распознавать, насколько жестко действует это ограничение. Почти ничто из того, что происходит реально, не входит – и именно поэтому коммуникация посредством собственных средств выстраивает очень большую комплексность,

²⁹⁰ *Morin E. La Methode 3 / 1, a. a. O. S. 188.*

которая расширяет условия, в соответствии с которыми она реагирует восприимчиво к внешнему миру.

Если это однажды признано, может быть познано и то, что при запуске в действие эволюционного варьирования и при прерывании нормальной спецификации коммуникативной системы сознание играет особенную роль, которая оправдывает то, чтобы здесь (на стадии варьирования) в большей степени, нежели в процессе эволюционной селекции, отвлекаться от внешних воздействий. Сознание способно воспринимать то, что для него опосредует нейрофизиологическая система. Оно продуцирует данные как мысли, копии восприятий, оно распоряжается фантазией и воображением (какими бы не проясненными ни были фактические состояния, которые мы обозначаем этими понятиями). Оно именно в собственном аутопоэзисе продолжения от мысли к мысли²⁹¹ обнаруживает некое подобие достоверности, которая делает возможными для сознания скачкообразные ассоциации. Оно способно к невербальной переработке мыслей или подключать к вербальной мыслительной работе смутные ассоциации и рефлексии. Сознание чувствует свои мысли, контролирует себя, ориентируясь лишь на – находящуюся в его собственном распоряжении – память, и поэтому со всем тем, что благодаря этому происходит, может поразительным образом вторгаться в коммуникацию. Вместе с тем, с одной стороны, квазиматериальная предпосылка возможности коммуникации и, с другой – ирритирующая, сбивающая с толку, приводящая к беспорядку потенция – неспособная специфицировать актуализирующиеся в коммуникации структуры; зато способная, ирритируя, побуждать коммуникацию к самоспецификации (что в коммуникации потом может удаваться или приводить к фиаско).

Этот анализ должен реконструировать значение того или иного индивидуального сознания в качестве импульса к научной инновации и с легкостью допускает вывод о возрастающем значении варьирования – и, тем самым, сознания – для нововременной науки. Но он, однако, ничего не меняет в том, что процессы сознания тогда и только тогда могут приводить к варьированию знания, когда они обращаются в коммуникацию и понимаются (или неправильно понимаются) как коммуникация. Так же, как в органической эволюции некоторая мутация должна оставаться генетически стабильной, способствует ли она выживанию организма или же нет, так и в научной эволюции некоторая вариация должна по меньшей мере получить успех именно в качестве коммуникации – что бы из этого потом ни следовало. Этот фильтр, однако, обрезает снова почти все, что сознание чувствует²⁹², воспринимает, фантазирует или делает для себя образно-наглядным, – причем все это до всякой эволюционной селекции в самой научной системе. Сверх того, этот импульс, прежде чем ему будет предоставлен вход в коммуникацию, должен в значительной степени подвергнуться психическому декондиционированию. Нельзя просто так заявить: «При засыпании мне внезапно пришла в голову мысль о том, что...» Отфильтровывание очевидных идиосинкразий имеет сходную (хотя гораздо менее дей-

²⁹¹ Luhmann N. Die Autopoiesis des Bewußtseins, in: Hahn A., Kapp V. (Hrsg.) Selbstthematization und Selbstzeugnis: Bekenntnis und Geständnis. Frankfurt, 1987. S. 25–94.

²⁹² Pothast U. Etwas über «Bewußtsein», in: Cramer K. et al. (Hrsg.) Theorie der Subjektivität. Frankfurt, 1987. S. 15–43.

ственную) функцию, что и соответствующие меры предосторожности в ритуалах предсказаний и ордалиях: достаточные нейтральность и непредубежденность, чтобы тем самым обеспечивались случайные возможности и шансы на успех²⁹³. Коммуникация, другими словами, должна уметь акцептировать и оценивать случайные события сознания (которые для самого сознания никоим образом не являются случайными). В этом смысле также и производство случайностей (или, возможно, лучше будет сказать – со-производство случайностей) остается делом самой системы, которая использует эти случайности для варьирования собственных структур. Это понятие случая предоставляет в распоряжение возможность наблюдать и описывать этот процесс внутрисистемно и совершенно независимо от того, представляется ли тому ученому, которому приходит на ум оригинальная идея, характер его догадки адекватно – т. е. как случайность – или же нет.

Наши соображения далее делают более отчетливым то, что сопряжение сознания и коммуникации имеет значение лишь для уровня операций и никоим образом не координирует структуры обеих систем. Это сопряжение остается привязанным к событиям, исчезает вместе с ними и возобновляется вместе с ними. Лишь в этой форме внешнее воздействие может быть допущено на уровень самореференциально закрытой системы общества или системы науки. Механизм вариации может воздействовать лишь на операции, но не на структуры; и именно поэтому коинцидентальный фактор внешнемирового контакта совместим с аутопозисом системы, детерминированной собственными структурами.

Эта теория случайных импульсов к варьирующейся коммуникации ведет, однако, лишь к проблеме, хорошо известной в рамках неodarвинистской теории: как же посредством этого концепта случайности могли бы объясняться построения высококомплексных систем? Простое ожидание подходящего случая было бы слишком долгим, в особенности ввиду необходимости взаимовхождений элементов некоторого множества таких случайностей²⁹⁴. В тем большей степени это относится к современному обществу. С его разрешения и под именем индивида или субъекта нынешнее сознание сверхспециализировано: оно имеет право заявить о том, что оно думает. Так же, как биологическая теория не может обойтись одной только концепцией мутации, но и дополнительно ссылается на двуполое размножение, чтобы объяснить регулярное накопление подходящих случайных вариантов, так и теория социокультурной эволюции в целом и эволюции знания в частности нуждаются в факторе ускорения, который и объясняет, что морфогенетически необходимые случайности накапливаются и, словно будучи предотсортированными, побуждают коммуникативную систему общества к структурным изменениям. Для этого предоставляются две возможности, которые взаимопоглощают друг друга.

Вслед за понятием взаимопроникновения психических и социальных систем можно предположить возможность усиления или уплотнения такого взаи-

²⁹³ *Aubert W.* The Hidden Society. Totowa, N. J., 1965. S. 137; *Alafenish S.* Der Stellenwert der Feuerprobe im Wohnheitsrecht der Beduinen des Negev, in: *Scholz F., Janzen J.* (Hrsg.) Nomadismus – ein Entwicklungsproblem? Berlin, 1982. S. 143–158.

²⁹⁴ *Rescher N.* Methodological Pragmatism, a. a. O. S. 162.

мопроникновения²⁹⁵. Это уплотнение осуществляется в двух направлениях. С одной стороны, ученые получают специфическую социализацию, так что они с большей легкостью подмечают, что какие-то определенные мысли больше соответствуют началам науки. Тем самым предполагается и хабиитуализируется некая высокоспециализированная способность осуществлять различения. С другой стороны, научная коммуникация изначально протекает как психически декондиционированная, т. е. не принимает во внимание особые события в сознании лишь отдельных индивидов, но отсортировывает то, что было бы доступно также и другим людям, даже если сам автор и утверждает себя в качестве гаранта фактичности своих восприятий.

Интерпенетрация не является текущим (и значит, также не инструктивным!) опосредованием системы с ее внешним миром через операции этой системы. Речь идет, следовательно, не о переработке мыслей в психической системе, не о процессе коммуникации в системе науки или между индивидом и обществом.

Интерпенетрация есть не что иное, как подготавливание комплексности некоторой системы для выстраивания некоторой другой системы, и как раз именно в том смысле, что вышколенные способности восприятия и мышления ученого представляют в распоряжение систем собственную комплексность с тем, чтобы провоцировать в коммуникативной системе науки достаточно частые (но из ее собственной перспективы – не программируемые, случайные) ирритации. Это означает, что сознание ученого, направленное на научную коммуникацию, функционирует как случайность-сортировочная машина (*Zufallssortiermaschine*), как такая, которая даже и не позволяет многим догадкам доходить до полного их осознания, но подавляет их в их возникновении, а другие не отмечает и снова забывает; от других вновь отказывается, поскольку не удается придать им ясную формулировку; иные же хотя и отмечает, но не коммуницирует, поскольку для них не удается изготовить подходящий для этого контекст, к примеру, публикацию. Такого рода уплотнение предотсортированных случайностей, со своей стороны, функционирует без всякого рационального удостоверения, вне внутрисистемно управляемой селекции, даже безо всякой целеориентированности. Оно просто осуществляется и в его связи с эволюцией знания остается именно поэтому чистым варьированием, причем решающее значение имеет то, чтобы оно достаточно часто побуждало коммуникации, которые уже достигли некоторой убедительности.

И, без всякого сомнения, неизбежное соучастие в социокультурной эволюции органических и психических систем (и в этом сказывается еще один фактор научного ускорения) переоценивается в его вкладе в отбор случайностей. В процессе отдифференциации инновативно-направленного научного исследования часто возникают конструкции «героев духа» и «научных гениев», а история некоторой дисциплины реконструируется как последовательность индивидуальных достижений²⁹⁶. Коммуникация тем самым как бы дает себе самой право приветствовать свою неутолимую тягу к обновлению. Бла-

²⁹⁵ Luhmann N. *Soziale Systeme*, a. a. O. S. 286.

²⁹⁶ Schaffer S. *Natural Philosophy and Public Spectacle in the Eighteenth Century* // *History of Science*. 1983. № 21. Pp. 1–43.

годаря своим культовым фигурам она получает в свое распоряжение прототипы репутационного производства. Тем самым используются возможности биографических оправданий для того, чтобы переоценивать атрибутирование достижений к личностям (которые ведь всегда остаются искусственными). Случайности переисчисляются в достижения. Так, именно XIX век становится столетием изобретений открывателей и изобретателей; и нынешняя социология науки с трудом все еще пытается продемонстрировать и легитимировать, что сохранение старого знания является успешным²⁹⁷.

Второй механизм усиления частоты случайностей заключен как раз в самой системе науки, а именно – в ее методике. Когда коммуникация по схеме проблемы и проблемного решения становится методической нормой, поиск вариаций стимулируется самой коммуникацией в области наличествующего множества идей. С одной стороны, некая коммуникация требует прояснения того, какую проблему, собственно, удалось решить. Даже самые поразительные прозрения должны облачаться в смирительную рубашку проблемы и проблемного решения. С другой стороны, именно тогда, когда обнаруживают решение, которое хотят предложить для проблемы, становится ясно, что могут существовать и другие проблемные решения. Схема действует в обоих направлениях как институционализированная контингенция, как завуалированное принуждение к варьированию; и даже если основания для отбора одного определенного проблемного решения могут быть выражены еще более жестко и еще более очевидно, эта форма коммуникации все-таки содержит в себе тайную оговорку: все могло бы быть и по-другому.

В той мере, в какой проблемы допускают спецификацию и благодаря этому может вводиться лимитационность, могут устанавливаться отношения, которые во всеобщей системной теории известны под названием «эквивифинальности»²⁹⁸ и изучаются в исследованиях науки в рамках феномена сделанных независимо двойных открытий или изобретений²⁹⁹. По отношению к этим условиям можно утверждать чуть ли не об организованной случайности, или, во всяком случае, не следует удивляться тому, что проблема стимулирует систему и в различных ситуациях предпринимать эквивифинальные усилия. В более далекой перспективе это потом выглядит так, как будто прогресс имеет место с неизбежностью, так, как будто проблемы, если они вообще допускают решения, рано или поздно будут решены – и без Галилея, Ньютона, Дарвина³⁰⁰.

²⁹⁷ MacKenzie D. *Statistics in Britain 1865–1930: The Social Construction of Scientific Knowledge*. Edinburgh, 1981; Stewart J.A. *Drifting Continents and Colliding Interests: A Quantitative Application of the Interests Perspective* // *Social Studies of Science*. 1986. № 16. S. 261–279; Woolgar S. *Interests and Explanation in the Social Study of Science* // *Social Studies of Science*. 1981. № 11. S. 265–394; Hindess B. *Power, Interests, and the Outcome of Struggles* // *Sociology*. 1982. № 16. S. 498–511; Knorr Cetina a. a. O. (1987) S. 196.

²⁹⁸ Bertalanffy L. v. *Zu einer allgemeinen Systemlehre*. *Biologia Generalis* 19 (1949). S. 114–129 (123 ff.). *Der Gedanke findet sich, ohne den Namen, bereits bei Emile Böttroux. De la contingence des lois de nature* (1874). 8. Aufl. Paris, 1915. S. 13.

²⁹⁹ Vgl. Ogburn W., Thomas D. *Are Inventions Inevitable?* // *Political Science Quarterly*. 1922. № 37. S. 83–93; Merton R.K. *Priorities in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science*. *American Sociological Review*. 1957. № 22. S. 654–659; его же: *Singletons and Multiples in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science*. *Proceedings of the American Philosophical Society*. 1961. № 105. S. 470–486; его же: *Resistance to the Systematic Study of Multiple Discoveries in Science*. *Europäisches Archiv für Soziologie*. 1963. № 4. S. 237–282; Elkana Y. *The Conservation of Energy: A Case of Simultaneous Discovery?* // *Archives internationales d'histoire des sciences*. 1970. № 23. S. 31–60.

³⁰⁰ Lamb D., Easton S.M. *Multiple Discovery: The Pattern of Scientific Progress*. Trowbridge, UK, 1984.

Третий механизм уплотнения состоит в паранаучных или псевдонаучных усилиях мысли. Они формируются на периферии системы науки, демонстрируют научные притязания, обращаются к феноменам, которые игнорируются или вытесняются наукой, и именно поэтому не признаются утвердившейся наукой. Можно вспомнить о парапсихологии или психоанализе, о развитом Гете учении о цвете, как и об иных гипертрофированных философских фантазиях естествоиспытателей³⁰¹. В этой области коммуникации обнаруживается нечто, что в «борьбе за признание» получает большую структурированность, нежели обычные процессы восприятия и мышления отдельного сознания. И отшлифованная в этих периферийных зонах восприимчивость к аномалиям и феноменам, которые по структурным основаниям остаются вне внимания науки, уже содержит в себе некую предваряющую селекцию для соответствующего жесткого да/нет-решения в научном предприятии. То, что подобные побуждения имеют шанс быть воспринятыми, правда, предполагает их утверждение в качестве – пусть даже некоторой неконвенциональной, боковой – линии внутри науки³⁰², как будто бы есть некое неплотное место для рекрутирования необычных исследовательских интересов.

Если рассматривать лишь эти три ускорителя варьирования, а именно взаимопроникновение, проблемноориентацию и паранауку, более внимательно, то можно увидеть и то, что во всех этих случаях предпосылается обособление некоторой функциональной системы. Уплотненное взаимопроникновение предполагает социализацию в качестве ученого. Психические механизмы самоконтроля развиваются, хотя и не как «интернализация» научных стандартов, но все-таки паразитируя на участии в научной коммуникации. Вне науки не существует никаких ученых. В особенности эта предпосылка науки применима к институционализации схемы «проблема – проблемное решение» с ее имплицитным требованием к вариативности, и то же самое можно утверждать применительно к обозреванию науки из позиции ситуации непризнания (*Nichtanerkanntseins*). Это соображение подводит к мысли, что научная эволюция обязана своим осуществлением самой науке. Накопление вариаций и темп инноваций, которые характеризуют современное общество, возможны лишь в условиях наличия особой системы, которая и сама обязана эволюции.

В этой абстрактной формулировке кроется, следовательно, некий круг, как, впрочем, имеет место и в известной проблеме эволюции условий эволюции³⁰³. Этот круг все-таки разрывается, если принимают во внимание также и временное течение, и рекурсивность эволюции. С этой точки зрения, есть процесс усиления отклонений, который надстраивается над собственными достижениями и тем самым получает ускорение в той мере, в какой результаты эволюции вносят свой вклад в сепарацию механизмов варьирования и от-

³⁰¹ *Bauer E., Kornwachs K.* Randzonen im System der Wissenschaft: Bemerkungen zur Rezeptionsdynamik unorthodoxer Forschungsthemen, in: *Kornwachs K.* (Hrsg.) *Offenheit – Zeitlichkeit – Komplexität: Zur Theorie der Offenen Systeme*. Frankfurt, 1984. S. 322–364 (346); *Löfgren L.* Life as an Autolinguistic Phenomenon, in: *Zeleny M.* (Hrsg.) *Autopoiesis: A Theory of Living Organization*. New York, 1981. S. 236–249.

³⁰² *Gordon M.D.* How Socially Distinctive is Cognitive Deviance in an Emergent Science? The Case of Parapsychology // *Social Studies of Science*. 1982. № 12. S. 151–165.

³⁰³ *Jantsch E.* Die Selbstorganisation des Universums: Vom Urknall zum menschlichen Geist. München, 1979. S. 217 ff.; *Ben-Eli M.U.* Self-Organization, Autopoiesis, and Evolution, in: *Zeleny M.* (Hrsg.) *Autopoiesis: A Theory of Living Organization*. New York, 1981. S. 169–182 (175 f.); *Gierer A.* Die Physik, das Leben und die Seele. München, 1985. S. 108.

бора. Это очень хорошо объясняет и то, что эволюция донаучного знания имеет в своем распоряжении меньшее пространство случайностей и поэтому течет медленнее. Овладение притязательной коммуникацией знания, письменными формами, затем вносит особый вклад в обособление и тем самым в возрастание чувствительности к случайности. Современный темп структурных изменений может быть, однако, достигнут только тогда, когда появляется книгопечатание и вслед за ним обособляется система функционально-специфической коммуникации для научного исследования. Лишь эта отдифференцированная система легитимирует коммуникацию всякого рода отрицания признанных истин, в той мере, в какой это отрицание снабжено предметной референцией и некоторой начальной убедительностью. Примерно в это же время как в религии, так и в науке начинают отклоняться «фанатичные» и полные чрезмерного «энтузиазма» коммуникации, которые полагают достаточными личную интуицию и силу убеждения для того, чтобы иметь право претендовать на внимание и следование им³⁰⁴. Правда, религия и наука представляют для этого отклонения различные, прямо-таки противоположные основания. Религия защищает тем самым свою догматику. Наука защищает свободу отрицания с его редуцированием к ее собственной функции.

III. Эволюционный отбор как приписывание значений истинности и ложности

Эволюционное варьирование знания является следствием раздражений и необозримой комплексности – того, что сознанию участника коммуникации нечто приходит на ум и он эту – случайную по отношению к научной системе – догадку коммуницирует в подходящей для этого форме. Эта коммуникация может проходить в разговорной форме и уже здесь может затухать. Однако, как правило, подвергается некоему «процессу редактирования»³⁰⁵, который знаменует первую стадию отбора. В процессе подготовки некоторой публикации исходная ирритация встраивается в рекурсивную сеть научной коммуникации и подчиняется определенной дисциплине. Возникает «рарег», некое сочинение, дискуссионный вклад в «материалы конференции». Эта вариация, чтобы подвергнуться отбору, должна быть опубликована, т. к. лишь в этой форме она получает социальное бытие. И лишь благодаря этому возникает шанс быть отобранной. Система может остаться при старом знании (и это, пожалуй, остается наиболее вероятным) или ухватиться за новые идеи.

Нередко обсуждаемая здесь тема трактовалась при помощи различения креативности и сопротивления³⁰⁶. Это представляется неуместным, ведь уже одна подобная терминология выражает то, что креативность хороша, а сопротивление есть нечто плохое, хотя и приходится признавать, что время от времени имеет место противоположное. Соответственно, термин «эволюционная селекция» не выражает какого-то предпочтения за или против отбора нового, но лишь указывает на факт, что должна практиковаться либо одна, либо другая преференция. Речь при этом идет лишь о ценностно-нейтральном процес-

³⁰⁴ Spaemann R., Müller A. Historischen Wörterbuch der Philosophie. Bd. 2. Basel, 1972. S. 526–528. Knorr Cetina a. a. O. (1987) S. 184

³⁰⁵ Knorr Cetina a. a. O. (1987) S. 184.

³⁰⁶ Bühl a. a. O. S. 169.

се оценки. Отбор есть некое наблюдение структурной релевантности некоторой вариации с точки зрения значения ее предпочтительности. Оно сравнивает (руководствуясь методологией и теорией) наличное знание с некоторой новой возможностью. Лишь под таким воздействием вообще может быть поставлен вопрос истинности как различимая проблема, ведь без такого импульса со стороны вариации представлялось бы достаточным оставаться в рамках удостоверенного знания и не проблематизировать его истинность либо неистинность. Дифференциация варьирования и отбора вообще только и генерирует то, что мы в четвертой главе описывали как бинарный код символически генерализированного медиума истины, при том что и в противоположной ситуации (мы снова аргументируем круговым образом) такого рода код необходим для того, чтобы сделать возможным эволюцию дифференции варьирования и отбора.

В отличие от ранее преобладавшей теории эволюционного отбора, мы, ориентируясь на следствия из теории аутопоэтических систем, не усматриваем функцию отбора в производстве некоего состояния «fit» между системой и внешним миром. Прежние дискуссии, правда, переориентировались от внешней селекции к внутреннему отбору³⁰⁷, но все еще предполагали, что селекционное достижение состоит в лучшей приспособленности системы к ее внешнему миру – как бы это ни выглядело и непрямым образом ни управлялось изнутри самой системы. Вместо этого мы здесь представляем взгляд на то, что эволюционный отбор имеет дело лишь с производством и контролем того, что продолжает использоваться в аутопоэтическом воспроизводстве системы.

Прежде всего представляется необходимым различать контролируемую и неконтролируемую селекцию (или, если угодно: явный и латентный отбор). В значительном объеме селекция осуществляется просто благодаря тому, что в системе обсуждаются (или не обсуждаются) те или иные оферты знания. Многие новые предложения исчезают незамеченными – оттого ли, что они являются слишком необычными, или оттого, что они поступают от посторонних или из нерепутабельных источников, или же оттого, что из-за незначительных формулировочных дефектов или вводящих в заблуждения понятийных отнесений не распознаются как таковые. Первый порог отбора состоит, следовательно, в повторении (либо неповторении) смысловых оферт в ходе аутопоэзиса дальнейшей коммуникации. С количественной точки зрения этот грубый механизм едва ли можно переоценить. Этим способом отфильтровывается максимум – причем вовсе не через эксплицитные отклонения. Это имеет свои недостатки, но также и преимущества для более позднего непредубежденного переоткрытия. Во всяком случае, значительно ограничивается тем самым та область проверки, в которой затем двузначный механизм проверки делает актуальным вопрос акцептации или отклонения.

В этой области осуществляется эксплицитная или контролируемая селекция. Она подчинена символам истинного и ложного, поскольку последние обозначают способность подсоединения или контроля над ней. В результате выстраивается комплексность, которая делает все более сложным воспроиз-

³⁰⁷ James W. Great Men, Great Thoughts, and the Environment // The Atlantic Monthly. 1880. № 46. S. 441–459.

водить систему ввиду усиливающейся раздражимости в отношении событий внешнего мира, пусть даже с помощью все более стремительного структурного изменения, и все более усиливающейся способности к разложению и перекombинированию, и, значит, с помощью все более смелых абстракций, и все более жестких системно-зависимых определений единства и дифференции, т. е. при все увеличивающейся дистанции к внешнему миру. То, что это воспроизводство имеет место, показывает, что она имеет место и тем самым гарантирует все то, что необходимо для «приспособления» к внешнему миру.

Эволюционный отбор осуществляется, следовательно, благодаря тому, что как старому, так и новому знанию присваиваются символы истинного и ложного. Фиксирование этих символов обозначает вовсе не – в соответствии с традиционным пониманием – результат осуществленного в сознании ученого процесса отбора. Само это фиксирование и есть отбор. Ведь невзирая на то, что при этом думают отдельные участники и насколько они могут оставаться неуверенными, отбор осуществляется через коммуникацию «научного сообщества», и его инструмент – это бинарно – кодированный, символически генерализированный медиум истины. Постольку остается проблематичным обозначать истину/ложь (или эволюционную селекцию) в качестве «консенсуса» ученых. Если под ним подразумевают ментальное состояние всех задействованных участников (а не только некий медиум), то такой консенсус был бы недоступным для фиксирования и, значит, – для функции подсоединения научных операций. Он не мог бы циркулировать в системе и иметь какие-то последствия. Он, правда, мог бы утверждаться в коммуникации, но это бы, в свою очередь, была бы лишь коммуникация, если верна наша теория, – лишь коммуникация некоего эрзац-символа истинности.

Распределение значений истинного и ложного ни в коем случае не является чем-то произвольным, но – как это утверждает система – должно быть «правильным». Оно ориентируется на находящиеся в ее распоряжении программы, т. е. на теории и методы. Теперь же становится прозрачным и смысл этого двойного программирования: если бы в качестве селекционного критерия использовались бы лишь наличные теории, это бы привело к отклонению всех вариаций. Уже стабилизовавшие теории представляли бы собой критерий продолжения их существования. Правильное знание, правда, могло бы распознавать отклонения, но было бы неспособным само себя ставить под вопрос. Лишь в той мере, в какой дополнительно к теориям также и методы становятся программами для правильной селекции (а именно специализируются не на описании мира, но на проблемах бинарного кодирования), такой отбор получает, так сказать, вторую ногу, с помощью которой он может искать себе некоторое другое место для опоры. Это вовсе не означает какую-то преференцию для нового, как это представлялось в рамках первого воодушевления, характерного для научного движения эпохи Нового времени; но указывает на некое высвобождение конкуренции между старыми и новыми системами идей и, значит, – на подлинный шанс на альтернативы. Историко-научная эмпирия, если наша гипотеза верна, смогла бы подтвердить, что то ускорение научного прогресса, которое связано с автономизацией методологических критериев, по меньшей мере, усиленное внимание к методологиче-

ским вопросам, прежде всего в предложенной Петром Рамусом диалектической (бинарной) форме, указывает в этом направлении.

Методы суть указания на наблюдения второго порядка, на наблюдение над наблюдателями. Они функционируют как таковые и в нормальном научном предприятии. Если же, напротив, речь идет об эволюционном отборе, в игру вступают дополнительные требования. Как старое, так и новое, как внешние импульсы, которые внутри воспринимаются как раздражители, так и внутренние преимущества «продолжения в прежнем режиме» – предлагаются к выбору. Поэтому можно предположить, что в подобных ситуациях, если они накапливаются, образуются импульсы к рефлексии, которые находятся в поиске некоего системного смысла акцептации или отклонения. Поэтому требуются метаправила для методологии или, по меньшей мере, то «жесткое ядро» в требованиях к научности, которому должна отвечать та или иная вариация, происходит ли она из чьей-то личной силы воображения или из паранаучного интереса к феномену. Поэтому, как формулирует Дуглас Хофштадтер, следует вводить в систему «непогрешимые уровни»³⁰⁸. Или, если формулировать на языке кибернетики второго порядка: наблюдатель наблюдателей должен удостоверяться в своих собственных значениях; что это необязательно происходит исключительно по Фейерабенду и его метаправилу «anything goes». Сегодня известно, что этот уровень не может быть обретен без включения самореференции; как и то, что последняя, именно поэтому, должна отказываться от логической замкнутости и вынуждена осуществлять рекурсии.

В менее рефлексивной практике научной коммуникации негативная селекция чаще всего связана с выражением презрения к псевдонаучным призракам или личным причудам отдельных лиц; и если новое знание вынуждены признавать, то происходит это с помощью комплексной реконструкции проблем и научно «чистыми» предложениями решений. Догматическая теория науки делает в сущности то же самое, хотя и прибегая к некоему более рафинированному языку и помощи методологических дефиниций сущности науки, которая суверенно игнорирует ее социальные условия реализации. В контексте теории научной эволюции этим довольствоваться недостаточно. Ведь в данном случае требуется системно-теоретическое обоснование необходимости «непогрешимых уровней», или метаправил методологии, и, следовательно, – выполнение условий продолжения реального аутопоэзиса в условиях высокой системной комплексности. Это значит, что эволюционный отбор в этом месте зависит от некоего предупредительного (или ретроспективного) обращения к условиям эволюционной рестабилизации (так же, как эволюционное варьирование не может работать с «чистой случайностью», но зависит от некоторой предварительной селекции). Так же и здесь оказывается, что различные эволюционные функции выполняются через некоторую рекурсивную сеть фактических операций и лишь при этом условии способны дифференцироваться.

В той мере, в какой научно-теоретическая литература обращается к эволюционному отбору, повсеместно предполагается, что речь в этом случае

³⁰⁸ «Supertangling creates a new inviolate level». См.: Hofstadter D.R. Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid. Hassocks (Sussex), 1979. S. 688.

идет о целеориентированном (и постольку – о внутринаучном) процессе поиска истины³⁰⁹. Это действительно может иметь место, если только абстрагироваться от структуры отдельных операций комплексов операций (процессов) и, значит, – от их коммуницируемой «рациональности действия», и это гармонирует также с представлениями о правильности, которые сама система связывает со своими теориями и методами. На этом языке описания эволюция знания тогда выглядит пронизанной не предусмотренными заранее и непреднамеренными следствиями и – в долгосрочной перспективе – как такое непреднамеренное вторичное следствие. Если же, однако, признавать такие непреднамеренные следствия, это показывает, что рациональная интенция оказывается недостаточной для объяснения эволюции науки, но, со своей стороны, должна пониматься лишь как некоторый момент, который вызывает к жизни структурные изменения либо сохранение прошлых структур. Отбор, по-видимому, осуществляется рационально, однако, историческое выстраивание знания зависит не от правильности отдельных интенций, которые оно постоянно превосходит, но лишь от факта рекурсивных последствий структурных изменений, которые воздействуют на эволюцию даже и тогда, и постольку, поскольку они вызывают неинтендируемые эффекты и используют нерациональные вторичные мотивы. Наблюдатель, ориентирующийся на теорию действия, может поэтому спокойно продолжать наблюдать селективное поведение ученых с помощью таких различий, как целедостижение/целеупущение, полезность/издержки, намеренные/непреднамеренные следствия, и судить о них с точки зрения своего понимания рациональности. Но эволюционная селекция не заботится об этих различиях и тем не менее продолжается.

Целеориентация операционных комплексов здесь, как и в других системах, выполняет важную функцию: она делает возможным образование эпизодов. Известные поисковые процессы способны приводить к своему завершению одним лишь актом обнаружения искомого; некоторые труды завершаются изготовлением произведения или продукта. Таким способом система может образовывать временные дисконтинуальности и может также запускать одновременно протекающие секвенции деятельности, которые заканчиваются в различные временные моменты. При этом их завершения могут состоять в достижении цели, но также и в констатации недостижимости этой цели. Завершимость (периодизация) гарантируется таким образом в любом случае и не зависит от успеха. Решающее значение имеет то, что завершение эпизода не означает завершения системы. Аутопозис продолжается и лишь перескакивает к новым секвенциям операций. Как только в распоряжении системы оказываются критерии завершения, можно что-то начинать, не связывая тем самым надолго все силы. Можно предпринять гораздо больше, если известно, что и как это можно завершить. Способность образовывать эпизоды при всем этом есть важный момент в выстраивании комплексности системы. Однако рациональность действия была и остается эпизодо-рациональностью и не может быть агрегирована с рациональностью системы; и даже если отбор сим-

³⁰⁹ Rescher N. Methodological Pragmatism, a. a. O. S. 8, 133. Bayertz K. Wissenschaftsentwicklung als Evolution? Evolutionäre Konzeptionen wissenschaftlichen Wandels bei Ernst Mach, Karl Popper und Stephen Toulmin // Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie. 1987. № 18. Pp. 61–91.

волизации как истинного или ложного проводится посредством интенций, которые фиксируют достижимый результат, все-таки эволюционный отбор не может постигаться исключительно на этом базисе.

Если эволюционную селекцию описывать с помощью трансинтенциональной понятийности, можно рассматривать ее как элиминацию избыточных возможностей истины, т. е. как текущую элиминацию именно тех избыточностей, которые снова и снова создаются благодаря варьированию³¹⁰. Элиминировать, правда, не значит аннулировать. Данные (на время) исключенные варианты лишь потенциализируются, это значит – получают статус некой проверенной, но исключенной возможности. Они, поскольку ведь событие варьирования в конечном счете составляет историю науки, вспоминаются – не всегда, но (благодаря появлению книгопечатания) достаточно часто. И поэтому нередко доходит до переоткрывания или новой проверки в изменившихся обстоятельствах; и нередко написание истории науки открывает то, что подходы к некоторой успешной теории уже были развиты гораздо раньше, но тогда не смогли утвердиться.

Система реагирует постоянным процессом отсортровки, в жертву которому зачастую приносится даже и удостоверенное в традиции знание, т. е. доказавшие успех и понятия, и теории, на самопроизведенные избыточности, т. е. на самопорожденное селекционное давление. Этот процесс при этом ориентируется на ту предпосылку, что из двух противоречащих друг другу лишь одна может быть истинной. Как бы ни обосновывался эпистемологически и логически ни систематизировался подобный запрет на противоречие, он получает свое функциональное оправдание со стороны эволюционного отбора, который даже не мог бы быть запущен, если каждое новое озарение принимали бы с равной благосклонностью³¹¹.

Эта функция запрета на противоречие сама по себе все же не является достаточным объяснением эволюционного отбора. Одновременно ведь можно рассматривать как счастливый случай то, что очень часто даже и невозможно установить, противоречат ли теории друг другу или нет, и если да – то в каком отношении. Никакая научная дисциплина не является исключительно логически конструированной. Так, варианты теорий, которые, возможно, противоречат друг другу, могут быть сохранены, и решение об элиминации не принимается необходимо логическим путем. Варианты теорий поэтому могут выжить, хотя и выглядят малопригодными, до тех пор, пока другие модификации в корпусе теорий не откроют им вдруг шансы на подсоединение. Запрет на противоречие лишь предоставляет возможности заострить селекционную конкуренцию в виде вопроса об окончательном решении, и если такое имеет место, никто не может прийти и сказать: оба вы правы. Или все же может? Но тогда возникает, как в квантовой теории, некая новая теоретическая проблема.

Осуществленная таким образом селекция оказывается в комплексном отношении как к стадии варьирования, так и к стадии стабилизации. Она, со своей стороны, провоцирует вариации и предположительно даже выступает одним из важных ускорителей либо усилителем частоты вариаций; ведь тео-

³¹⁰ *Blachowicz a. a. O. (1971) S. 179.*

³¹¹ *Atlan H. A Tort et à Raison: Intercritique de la Science et du mythe. Paris, 1986.*

ретическая и методическая проверка мутаций способна приносить дальнейшие изменения в корпусе научной традиции. Отбор заканчивается приписыванием значений истинного или ложного; но это, однако, еще не означает стабильности полученных результатов. Так и в биологии возникают так называемые нейтральные мутации. Они фиксируются и воспроизводятся, не производя в вопросах стабильности системы никакого различия. Так же и в науке новации могут акцептироваться без того, чтобы как-то прояснялся вопрос их непротиворечивого отношения с наличным знанием. Они репродуцируются как изолированное знание – просто потому, что и так сойдет. Эмпирический поворот в науке в XVII веке дал проявляться этому обстоятельству прямо-таки как нормальный случай. С тех пор лишь методологически удостоверенная эмпирическая констатация удовлетворяет требованию приписывания символа «истинного». С тех пор уже не обойтись без того, чтобы различать между селекцией и стабилизацией. В этом смысле легитимация (в предшествующем мышлении понимаемого как подчиненное, лишь как «чувственное», квазиживотное) восприятия как индикатора истинности является, возможно, важнейшим, особым шагом в эволюции эволюционных механизмов современной науки, а именно шагом в направлении к рас-телеологизации научного предприятия и дифференциации селекции и стабилизации.

IV. Закрепление признаков

В перспективе теории действия интенция к приобретению истинного знания переплавляется с представлением о завершаемости того или иного исследовательского процесса. Пытаются получить результаты, которые должны закрепиться – по крайней мере, на некоторое время. Это сохраняет свое значение и тогда, когда целями являются публикация как таковая и вместе с ней – приобретение репутации; и тогда, когда теории науки просочились уже настолько, что каждый исследователь знает, что всякое знание остается лишь гипотетическим и никто не может претендовать на достижение окончательной истины. В перспективе теории действия, другими словами, не существует никакого отчетливого различия функций селекции и стабилизации.

Теория эволюции учит нас другому. Приписывание символов истинного либо ложного осуществляется, правда, одновременно с предположением или в надежде на то, что они закрепятся. Но от чего зависит то, закрепятся ли они или нет? Наука тотчас бы пришла к своему завершению, если бы всякое соупорядочивание значений истинного и ложного было бы неотменяемым; или никто бы не стал затевать новых исследований, если пришлось бы этого опасаться, ведь в этом случае меры предосторожности были бы завинчены чересчур высоко. Наука должна, следовательно, уметь легко обращаться с истиной и ложью. Даже если символы этого медиума должны «инвестироваться» (другого употребления не существует), они должны демонстрировать воспроизводимую ликвидность. Мы не должны пугаться в этом отношении пускаться в аналогии с деньгами, как, впрочем, и с другими медиа – такими, как любовь или власть.

Ведущее различие эволюционной теории должно быть расширено на основе означенных соображений. К различению варьирования и селекции

примыкает третья функция – которую часто обозначают как функцию ретенции, или, также, стабилизации (или, если речь идет о новых признаках – рестабилизации)³¹². Как и дифференция варьирования и отбора, так и дифференция отбора и стабилизации, со своей стороны, является продуктом эволюции, но одновременно также и условием эволюции, по меньшей мере, условием некоторого ускорения эволюции, которое настолько усиливает вероятность невероятного, что могут возникать комплексные системы. Но как замещается эта функция в области эволюции знания? В чем состоит механизм, который обеспечивает стабилизацию? Также и здесь, прежде всего нужно обратить внимание на классическую теорию. Как уже многократно повторялось, она исходила из знающего индивида (субъекта) и, как следствие, постигала стабилизацию как некую проблему трансмиссии знания от головы к голове, но прежде всего – от поколения к поколению³¹³. Если же мы более не исходим из индивида как носителя знания, то придется модифицировать и эту часть теории (что не означает, будто для каждого индивида перестало быть проблемой доступное фиксирование знания). Мы заменяем ее на предположение, что новые или вновь подтвержденные структурные признаки находят поддержку в других признаках. Ричард Левинс обозначил это как «progressive binding»³¹⁴. Можно говорить и об «интеграции», если только под интеграцией понимать ограничение игрового пространства свободы, которое определил для себя некоторый отдельный Item³¹⁵, или о «дерандомнизации шума». Мы же предпочитаем употреблять уже введенное ранее выражение «избыточности» (Redundanz). Предположение о некотором новом варианте (или вариации, необходимой для отклонения этого варианта) прежде всего повышает вариативность системы. Если это не препятствует аутопоэзису, это положение дел сохраняется; но подобные селекции, как правило, провоцируют ирритации, и в этом случае предпринимаются усилия по новой рихтовке избыточностей системы.

Функция стабилизации выполняется тем самым путем смягчения степени поразительности нового или через предпочтение сравнительно незначительных степеней поразительности старого. Обширные исследования истории науки самым разнообразным образом поддерживали распространенную тенденцию полагать незначительным уровень поразительности, считать, что консистенции распознаются легче, чем противоречивости, и легко генерируются избыточности, и едва ли обходятся без того, чтобы структурно консервативную ориентацию считать рациональной, словно по правилу «dubio pro geo» («в случае сомнения – в пользу обвиняемого»). Здесь, однако, важно проследить границы этой установки и обусловленные ею источники ошибок в данных.

Даже если неожиданные данные были акцептированы и потом на высоком уровне стилизовались под варианты теории, все еще требует проверки то, допускали ли эти варианты (и каким образом) возможность их встраивания в

³¹² Campbell D. Variation and Selective Retention in Socio-Cultural Evolution, in: Barringer H.R., Blanksten G.I., Mack R.W. (Hrsg.) Social Change in Developing Areas: A Reinterpretation of Evolutionary Theory. Cambridge, Mass., 1965. S. 19–49.

³¹³ Keller A.G. Societal Evolution: A Study of the Evolutionary Basis of the Science of Society. New York: Macmillan Company, 1915.

³¹⁴ Levins R. Evolution in Changing Environments: Some Theoretical Explorations. New Jersey: Princeton University Press, 1968. S. 108.

³¹⁵ Anderson R. Reduction of Variants as a Measure of Cultural Integration, in: Dole G.E., Carneiro R.L. (Hrsg.) Essays in the Science of Culture, in Honor of Leslie A. White. New York, 1960. S. 50–62.

уже наличествующие теоретические связи, и то, надо ли было обходиться с ними как с временными аномалиями. Либо эти варианты модифицировались в ходе такой проверки, или они сами модифицировали наличествующие знания, понятия и теории, чтобы обрести таким образом подсоединительную способность. При этом такие новации прежде всего конфронтировали с «ближайшими» альтернативами, которые эти новации непосредственно поражали³¹⁶.

Не всякая вариация подводит, следовательно, к состоянию проверки, как полагал Карнап, целостное, систематизированное знание. Лимитация и спецификация контекстов проверки является неизбежной, если некоторая проверка вообще должна быть проведена. Признаки, которые вместе или альтернативно подходят для того, чтобы решать определенные проблемы, таким способом сопрягаются функционально и со степенью выше средней образуют комплекс (и их ковариирование не является какой-то случайностью), в то время как другие признаки в случае такого рода упорядочивания путем изменения, вероятно, не затрагиваются и поэтому могут быть оставлены без внимания. Дональд Кэмпбелл говорит о *doubt-trust ratio in conceptual change* как предпосылке неизбежного ограничения проверки новаций³¹⁷. Тем не менее и именно поэтому акцептация новации прежде всего может вызвать в системе неконтролируемые «дальнодействия», и постольку рестабилизация есть некий постепенный процесс, который требует времени и в своем исполнении и сам вновь может вызывать варьирование. От удостоверенных комплексов теорий отказываются лишь тогда, когда их починка уже не стоит потраченных усилий; или – формулируя менее метафорично – если требующиеся для их сохранения вариации вредят избыточности в большей степени, нежели признание новых теорий.

Хорошо развитые научные дисциплины копируют эту дифференцию селекции и стабилизации в медиуме публикации тем, что они предуготовливают для них различные формы публикации. Селекция является удачной, если принимает форму *raref*, доклада на конгрессе, статьи в журнале. Публикации этого типа, как правило, остаются незамеченными. Возможно, их даже никто никогда не прочитает, во всяком случае, их почти не цитируют и поэтому забывают. Это важно, в особенности в условиях быстроживущих дисциплин, когда вообще релевантность могут получить лишь публикации последних двух-трех лет. Лишь те селекции, которые преодолевают этот барьер, которые в достаточной степени выделяются на фоне других и могут использоваться далее, способны утвердиться в памяти системы. За эту выборку потом несут ответственность учебники и справочники, которые одновременно служат для того, чтобы сделать доступным данное состояние знания подрастающему поколению или заинтересованным посторонним лицам. Дифференция научного сочинения и учебника/справочника отражает, другими словами, дифференцию селекции/рестабилизации; причем одновременно можно распознать степень зрелости той или иной дисциплины по тому, утвердилась ли данная

³¹⁶ *Parijs P. v. Evolutionary Explanation in the Social Sciences: An Emerging Paradigm. London, 1981. S. 50. Polanyi M. The Republic of Science: Its Political and Economic Theory // Minerva. 1962. № 1. S. 54–73 (59); его же: Implizites Wissen, dt. Übers. Frankfurt, 1985. S. 675.*

³¹⁷ *Descriptive Epistemology: Psychological, Sociological, and Evolutionary, William James Lecture 1977 der Harvard University. S. 95*

дифференция в этой функции, и если да, то насколько широко³¹⁸. В той мере, в какой новые предложения могут быть вписаны в более широкие теоретические контексты и учитываются в научных обзорах о состоянии исследований, и также в той мере, в какой учитывается их влияние на будущие исследования, постольку обретает (или сохраняет) стабильность такое – подвергнутое сравнению – знание. При этом не исключаются новые проверки или новые опровержения; но всякая такая атака молчаливо предполагает необходимость предоставить некое эрзац-предложение. Сохраняется тем самым не инвариантно-фиксируемый смысл, а лишь самосубститутивный порядок знания.

Необходимое для этого доверие к ранее приобретенному знанию, кстати говоря, это не временное, но социальное доверие. Это не доверие к прошлому, но доверие к настоящему одновременно работающих исследователей. Речь, следовательно, не о том, чтобы придать традиции как таковой особый вес или даже в *querelle des anciens et des modernes* (борьбе древнего и современного) вернуть старому какое-то преимущественное положение. Механизм стабилизации как раз и покоится на постоянной готовности к тому, чтобы отбросить и заменить действительное в прошлом знание. Исходят из того, что прошлое знание подвергается постоянному процессу перепроверки и что оно как раз и не наличествовало бы больше, если бы оно не могло устоять в той или иной современности. Социальная система науки судит тем самым не о своем собственном прошлом, но о самой себе. Она рассчитывает на то, что ученые честны, и на то, что сомнения будут не подавляться, но сообщаться и перепроверяться. Она рассчитывает на то, что останется системой, которая не обманывает саму себя³¹⁹.

Отдифференциация особого механизма для эволюционной стабилизации связана здесь, как и в других случаях, с отдифференциацией функциональной системы науки. Она начинается в XVII веке и затем стремительно принимает эффективно действующие формы. Это можно проследить в двух направлениях. С одной стороны, селекция и стабилизация все более явно отделяются друг от друга. Это происходит, как уже было сказано, прежде всего через настойчивое обращение к пунктуально фиксируемой эмпирии – вплоть до «логического позитивизма» Венской школы. Как правило, это осуществляется в виде процесса затруднений в валидации знания. Эмпирические методы приводят, однако, к процессу дифференциации. Они делают возможным оценку коммуникации фактов и связей фактов в качестве истинной или ложной даже и в тех случаях, когда теоретические последствия такой оценки еще никак не прояснены. На основании методически-ограничительных условий становится возможным легче распорядиться символическими значениями истинного и ложного. Они могут управлять эволюционным отбором даже и тогда, когда еще совсем не ясно, какие теоретические последствия из этого следует извлекать – к примеру, в каком объеме следует пересматривать признанное знание только уже потому, что с несомненностью было установлено, что пламя прекращается, когда закрывается доступ кислорода.

³¹⁸ Boon L. Variation and Selection: Scientific Progress Without Rationality, in: Callebaut W., Pinxten R. (Hrsg.) *Evolutionary Epistemology: A Multiparadigm Program*. Dordrecht, 1987. S. 159–177 (175).

³¹⁹ Campbell D.T. Selection Theory and the Sociology of Scientific Validity, in: Callebaut, Pinxten a. a. O.

На этом уровне эволюции приходится отказываться от нормированности отбора в отношении к стабильным установкам и тем самым от функции гарантии со стороны селекционных критериев. Это затрудняет теоретическую рефлексию, но рефлексивные теории все-таки настаивают на своей способности предлагать правила отбора с функциями гарантии. Подобные нормы затем окаменевают именно в виде нормы. Они не могут уже рассматриваться как природа. Их недостаточный контакт с реалиями исследования становится очевидным, может наблюдаться в самой системе, и это непрерывно разжигает импульсы, требующие смены теорий рефлексии, которые еще больше разрушают их притязания на нормативную значимость.

Селекция теперь может протекать в предусмотренные для нее периоды (или «проекты») независимо от исследовательских целей и стремиться к гарантированным результатам; стабилизация теперь от них не зависит. Она не является телеологической и не является линейной, но выстраивается круговым образом. Она не зависит ни от Input'a (гарантированный уровень исследований), ни от Output'a (результаты), но предполагает знание как репроблематизируемое круговым образом. Для нее не существует ни начала, ни конца, вообще не существует никаких бесспорно признанных позиций, но исключительно более или менее продвинутые контексты проверки, которые активируются тотчас, как только в прицел попадают новые предложения истины. Иначе, чем полагали изначально, стабильность достигается исключительно путем отказа от безусловных достоверностей.

Во-вторых, область тех моментов знания, которые стабилизируют избыточность, начинают ограничивать область научно проверенного знания. Не все традируемое знание, не всякий жизненный опыт и тем более не всякие позаимствованные в книгах мудрости причисляются к этой области. Тем самым лимитируется контекст – тем, что приходится как-то разбираться с проблемами самосубститутивного характера знания. Если пламя познается как процесс окисления, это еще не означает, что теперь следует подумать о вентиляторах, которые требуются для поддержания адского пламени; и прогрессирующее прояснение естественных процессов приводит наконец к тому, что дьявол изымается из естественных причинных контекстов и сохраняется лишь как исключительно библейская фигура, которая не может ни доказываться, ни опровергаться естественнонаучными методами³²⁰.

Отдифференцированная структура высокоизбыточных комплексных теорий не должна пониматься как статичная. Напротив, система приобретает тем самым некую динамическую стабильность в том, что она благодаря осуществляемой ею теоретической фиксации может оценивать перспективность предложений по изменению знания и нигде не настаивает на неопровержимых очевидностях или на неоспоримых афоризмах. Точкой стяжения всех стабилизаций в конечном счете оказывается аутопоэзис системы: продолжение системно-специфически-кодированных операций по распоряжению значениями истинного и ложного – к символизации внутрисистемного обращения со знанием. Если от этого условия пришлось бы отказаться (но как это можно мыслить в функционально дифференцированном обществе?), не суще-

³²⁰ Mayer J.G. *Historia Diaboli, seu Commentatio de Diaboli, malorumque spirituum existentia, statibus, iudiciis, consiliis, potestate*. Tübingen, 1780.

ствовало бы никакой науки. В остальном все, что когда-то кристаллизовалось в структуры, есть результат рекурсивных операций самой системы. «At all levels, knowledge is indirectly, inferentially, and fallibly achieved». Постольку эволюционная теория подтверждает лишь тот взгляд, к которому и сама теория науки пришла изнутри самой себя.

Если эта эволюция приводит к дифференциации механизмов для селекции и стабилизации, то эволюция знания превращается в эволюцию науки. Аутопоззис функциональной системы становится единственным неизбежным условием акцептации знания. Однако как таковой он не может мыслиться в качестве критерия, ведь он все критерии может подвергать дальнейшей эволюции. Аутопоззис системы не способен наблюдать себя самого и именно поэтому достижение динамической стабильности не может становиться целью исследования. В качестве результата эволюции приходится признавать лишь необъятную комплексность, которая возникла и в этой форме гарантирует стабильность системы как важнейшее условие ее варьирования благодаря – по самым разным основаниям появляющимся – случайным импульсам.

РАЗДЕЛ V. ОТ НАУКИ К ПРОТЕСТУ, ИЛИ КАК ВОЗМОЖНЫ СТРУКТУРНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ В КОММУНИКАТИВНЫХ СИСТЕМАХ?

Выявляются несколько типов новообразующегося протестного движения, кристаллизующегося вокруг тем автономии и защиты собственных интересов и перспектив научной системы коммуникации. Это доказывает тезис о том, что, по крайней мере, является возможным такой тип коммуникации, который бы одновременно ориентировался и на когнитивную, и на нормативную установку в наблюдении реальности. Обосновывается, что такой тип коммуникации относительно стабильно воспроизводится и может претендовать на статус нарождающейся коммуникативной макросистемы. Это обстоятельство мы можем охарактеризовать как практическое разрешение парадоксов Мертона и Поппера, которые – теоретически – указывали на несовместимость двух противоположных притязаний: с одной стороны, быть лучшим наблюдателем или институтом познания, а с другой стороны, предлагать лучшие образцы (ценности, нормы) социального согласия и общественного устройства.

1. «Республика ученых» и коллективная истинность

Само собой разумеющимся принято считать, что ученые являются особым образом натренированными наблюдателями, способными увидеть больше обычного человека. И в утверждении результатов своих наблюдений, которые они называют знанием, они претендуют на приоритет перед другими, маркируя их дополнительным индексом – истинностью, неким индикатором объективности, необходимости и коллективности. Ведь любое утверждение ученого, с его точки зрения, допускает его проверку любым членом научного коллектива. В этом смысле поначалу представляется, что консенсус (коллективность) и истинность сопутствуют друг другу и друг без друга не существуют³²¹.

Кажется, что это сцепление радикально отличает науку от других сообществ, скажем, от политических объединений, в которых коллективный характер обязательных к выполнению решений еще никак не удостоверяет (конечно, с точки зрения внешнего наблюдателя) его правильность или истинность (вспомним решение афинского суда в отношении Сократа).

Это – свойственное для всех слабо дифференцированных обществ – единство коллективности/истинности, за которые отвечали политика и религия (которые, начиная со споров об инвеституре, правда, и между собой никак не могли договориться о том, кто же среди них является главным гарантом в утверждении истинности и коллективности) распадается на два достаточно автономных типа общения, пользующихся разными инструментами наблюдения и, как следствие, конструирования собственной реальности.

³²¹ Позднее это начинают аргументировать тезисом о невозможности «приватного языка» [Wittgenstein 1978], но этот аргумент явно избыточен [Касавин 2016].

Ученый, взбираясь на свою «башню из слоновой кости»³²², обретает, правда, лишь с его собственной точки зрения, более высокую наблюдательную позицию. Он видит то, что недоступно другим наблюдателям, и прежде всего фиксирует ограниченность их сектора обзора и их зависимость от собственных несовершенных наблюдательных инструментов. Так, в утверждениях властителей, по мнению ученого, содержится не образ реальности, не пассивное или бесстрастное интересубъективное переживание, индуцированное самим внешним миром, как он есть, т. е. истина. Одних пассивных «переживаний» было бы недостаточно для активации коллективной воли к действию, за которой (в противовес бесстрастности ученого) стоит партийность или интерес властителей, которые не обязаны считаться с тем, что фактически существует в реальности, но как раз исходят из отсутствия тех или иных желаемых реалий.

Единая позиция наблюдения коллективной истинности, ранее зарезервированная за политикой/религией, теперь раскалывается на перспективы активно действующих и пассивно переживающих, «практиков» и «теоретиков», «людей действия» и «людей знания»³²³. Но такая «созерцательная пассивность» ученого словно компенсируется его лучшими наблюдательными ресурсами. Теперь он может сравнивать и ставить себя на место других наблюдателей (Н. Макиавелли³²⁴), он анализирует те средства наблюдения (коммуникации), которые для политиков – как и всякие инструментальные средства (как *Zuhandene M.* Хайдеггера) – рефлексии по определению не подвергаются.

Эти средства суть прежде всего те дистинкции, которые имеют главное ориентирующее и мотивирующее значение для участников политической коммуникации, а именно – различия в их властных статусах, которые для них самих и их карьерных перспектив значат гораздо больше, чем вызовы со стороны внешнего мира (судьбы людей и судьбы природы).

Постепенно этот внешний мир как бы передается для рассмотрения и вынесения суждений (или, лучше сказать, становится доступным) некоей выделенной когорте незаинтересованных в своих властных позициях наблюдателей, к которым политики теперь обращаются за советом, не опасаясь ученых как соперников, способных обмануть или сместить их в конкурентной борьбе. Более того, этот внешний мир, как некий третейский судья, общий знаменатель или *truth-taker*, к которому имеет право обратиться за помощью любой член ученого сообщества, теперь не только подтверждает высказывания ученых, но и, как объективный судья, гарантирует демократическое устройство самого сообщества.

В этом смысле коллективность и консенсус снова сцепляются с истиной, но теперь уже – в перспективе наблюдения научного сообщества. Между тем постепенно приходит понимание, что и сам внешний мир не может быть просто

³²² Никифоров А.Л. Что дала человечеству наука Нового времени? // Вестник Томского государственного университета. Серия «Философия, социология, политология». 2018. № 2. С. 179–187. DOI: 10.17223/1998863X/42/19. Касавин И.Т. Детство науки прошло безвозвратно // Вестник Томского государственного университета. Серия «Философия, социология, политология». 2018. № 2. С. 188–192. DOI: 10.17223/1998863X/42/20.

³²³ Бараш Р.Э. Роберт Кинг Мертон и Флориан Знанецкий о «людях знания» и «людях действия» // *Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки*. 2013. Т. 37. № 3. С. 205–228.

³²⁴ Собственно, именно такая свобода осцилляции между наблюдательной перспективой властителя и перспективой исследователя только и объясняет само по себе загадочное постоянное колебание взглядов Макиавелли от апологии произвола власти до утверждения чуть ли не теории разделения властей в «Государе».

призван в качестве третейского судьи, но требует тщательного прописывания процедур проверки, обоснования и контроля его третейских функций со стороны самих ученых. Для этой функции возникают экспертные сообщества, университеты, королевские общества, академии наук, ученые советы и т. д., возвращающие принципы социального контроля над областью, которая дефинитивным образом требовала минимизации такового контроля и – парадоксальным образом – уединенного размышления. На свободу теоретизации вновь накладываются ограничивающие узы – правила научного метода и научного дискурса.

Отсюда многочисленные идеи о том, что не только само истинное знание о мире есть последняя и абсолютная ценность научного дискурса, но, напротив, и сам этот дискурс (процедуры проверки и особым образом социально регламентируемые апелляции к внешнему миру как последнему источнику знания как средство утверждения истинности) обладает таковой ориентирующей ценностью и поэтому может и должен служить образцом поведения и стандартом коммуникации не только для ученых, но и для других «менее продвинутых» сообществ. Отсюда – возрожденческо-просвещенческая идея *Respublica literaria* с собственными принцами и «генеральными прокурорами» и преимущественно письменным языком коммуникации³²⁵.

Эта идея дожила до нашего времени. Так, в XIX веке в систематической форме идею «научного союза» как некоего образцового способа коммуникации и нового интегратора все более дифференцирующегося общества разрабатывает, к примеру, Ф. Шлейермахер³²⁶. А в XX веке вопрос о том, как лучше научить общество жить по правилам ученых, принимает теоретическую форму особой дилеммы разрыва/континуальности (или либерализма/коммунитаризма) в отношении общества и науки.

Одни (среди которых М. Вебер, А. Уайтхед, П. Сорокин) полагают науку в качестве выделенного наблюдателя, в своих суждениях критически и даже негативно относящегося к нормам и ценностям остальных сообществ, которые они могут до известной степени преобразовать, «переучить» или «вылечить» от их дефицита наблюдательности и внимания в соответствии с собственными когнитивными нормами и целями.

Другие (Дж. Дьюи, О. Нейрат, Дж. Бернал, а в России – Б. Гессен, Н. Бухарин) утверждали прямо противоположную причинно-следственную связь. Наука-де и сама должна подчиняться обществу, поскольку выражает общественные, а не какие-то собственные или автономные потребности: «Всякая наука, какую ни возьми, вырастает из потребностей общества... Никто не подсчитывает числа мух на окне или воробьев на улице, а рогатый скот – считают»³²⁷.

2. Парадоксы Р. Мертон и К. Поппера

Парадоксально, но именно в попытке как-то формализовать коммуникативные преимущества этоса науки³²⁸ с помощью либеральной аргументации

³²⁵ Miller P.N. Peiresc's Europe. Learning and virtue in the XVII century. New Haven, Conn. and L.: Yale University Press, 2000. 234pp.

³²⁶ «Напротив, нигде, кроме научного дела, так глубоко не проявляется сообщество, в котором должны состоять государства?» [Шлейермахер 2018; Антоновский 2018].

³²⁷ Бухарин Н.И. Теория исторического материализма. М., Л.: Гос. изд-во, 1928. С. 7.

³²⁸ Этос науки Р. Мертона давал зеркально-негативное отражение нормативности политического сообщества и может быть презентован в виде следующих дилемм: научная рациональность / политический популизм;

(и тем самым обосновать автономию науки от общественного контроля над ней) эта дилемма либерализма/коммунитаризма вообще утратила свою определенность. Ведь возникает вопрос о том, насколько априорны или контингентны провозглашаемые Мертоном нормы научной коммуникации?

Конечно, наука в своей саморефлексии формулирует притязание на создание невиданного фундамента общественного согласия и акцептации ее коммуникативных предложений: ведь они универсальны, не партийны, не догматичны, объективны, не маскируют и зачастую демаскируют личные и коллективные интересы. Любой запрос на контакт на этом фундаменте, кажется, можно принимать без особого риска. Но, спрашивается, должны ли эти установки стать базовыми ценностями либерального общества в дополнение к традиционным ценностям свободы, справедливости, равенства и демократии?

В таком случае активность исследователей должна была бы подчиняться ценностным ограничениям, запрещающим рефлексию и сомнение в нормах научной коммуникации. А чем в таком случае наука отличалась бы от столь же нерелексивной активности других сообществ, интегрируемых посредством некритически акцептируемых норм и ценностей? Этот научный этос, если только признавать его действительный авторитет и значение, должен иметь для науки такое же традиционное, а значит – ценностно-сакральное значение. И в этом смысле все процедуры инклюзии в научное сообщество (защиты, экзамены, присвоения званий и т. д.) в своей ритуальности мало отличаются от традиционных инициаций, сопровождающих все – столь рискованные для нормативного порядка общества – переходные состояния.

Если «этос науки» принимать за постепенную историческую «седиментацию» (А. Шюц) культурной традиции науки как социального института, то, в этом случае, чем последняя отличается от любого другого сообщества, с собственными культурными (традиционными историческими и локальными) правилами жизни? Это явно противоречит идее приоритета научного наблюдения и коммуникации. Как наука может притязать на универсальность и образцовость своего бытия, если ее собственная культурная идентичность базируется на локальности, контингентности и историчности?

Так, либеральный аргумент в пользу автономии и разрыва общества и науки в конечном счете лишь утверждает идею научного коммунитаризма – понимания науки как сообщества среди прочих равных. И даже хваленый мертоновский «организованный скептицизм» в этом смысле может пониматься как локально-историческая ценность, которая не может определять жизнь других коммуникативно автономных сообществ, ведь в этом случае нивелируется сама идея их автономии как фундамента либерализма.

Кроме того, внутри самих аксиом научного этоса наметились внутренние противоречия, прежде всего между нормой антидогматичности и органи-

горизонтальность и децентрализация научной коммуникации / централизованный социальный контроль; научный универсализм суждений / политическая партиципативность (патриотизм, партийность и т. д.); организованный научный скептицизм / политически насаждаемая идеология; коммунистическое распределение результатов исследований / политическая гарантия частной собственности на материальные блага; плюралистическая (не назначаемая) научная репутация / политический авторитаризм (авторитет назначаемых на должности) [Merton 1973. Pp. 267–278].

зованного скептицизма, с одной стороны, и нормой объективности (достоверности) научного наблюдения, в частности, достоверности самого этоса науки, с другой. Ведь само это притязание на лучшее видение и понимание, которое наука предлагает обществу, дефинитивно догматично и идеологично, поскольку априори выводится из-под критики науки. И тогда такой «этос» приходится рассматривать как подлинную идеологию и догму.

К. Поппер, как известно, предлагал устранить догматизм из научных исследований, сохранив все научно значимые процедуры трансляции истины путем их фальсификаций (путем вывода *modus tollens*). Однако если требования «предлагай рискованные гипотезы», «фальсифицируй утвердившиеся истины» включать в систему универсальных императивов, то это подрывает весь искомый фундамент социального консенсуса, включая как сам мертоновский этос науки, так и шире – все фундаментальные ценности либерализма: свободы, равенства, народовластия и справедливости.

Итак, идея научной коммуникации как стандарта для других сообществ столкнулась с парадоксами.

Во-первых, попытка выделить науку как образцовое, независимое от остального общества – и в этом смысле объективно и антидогматично наблюдающее – сообщество скептиков требовала создать нормативный реестр требований, или «этос», который в этой функции и сам трансформировался в идеологию и догму, табуируя скептические и антидогматические интерпретации своих собственных положений. Это превращало либеральное понимание науки в свою противоположность – коммунитаризм.

Во-вторых, требование «организованного скептицизма» и универсальной фальсификации как метода научного наблюдения не может служить социальному согласию, поскольку релятивизирует всякое основание социального порядка и в этом смысле превращает науку в некий социально дестабилизирующий элемент.

Можно ли разрешить эти парадоксы? И спасти тем самым такие притязания на истинность, которые одновременно могли бы служить фундаментом согласия для остальных сообществ? Или, в другой формулировке: совместима ли лучшая познавательная и наблюдательная способность ученого с его притязанием на моральную правоту в вопросах общественного устройства?

3. Между обществом и наукой: теория протестного движения в науке

Наш тезис состоит в том, что разрешение парадоксов Поппера и Мертона возможно на путях системно-коммуникативного подхода путем поиска некой бинарной (т. е. одновременно и нормативной, и когнитивной) установки как стандартизированной реакции на соответствующие коммуникативные сбои или проблемы (разочарования в нормативном порядке)³²⁹.

Такие коммуникации, с одной стороны, принадлежали бы научной коммуникативной системе, в том смысле, что они ориентировались бы на соот-

³²⁹ Когнитивная установка требует менять норму в случае обстоятельства, ее опровергающего. Нормативная установка требует менять реальность, подгонять ее под норму и тем самым восстанавливать значение этой нормы. (Гегелевское «тем хуже для факта» – типичное выражение нормативной установки.)

ветствующие программы (под которыми мы понимаем методологические и теоретические требования науки).

С другой стороны, они должны были бы в определенных условиях «выходить за пределы» научной системы и действенным образом реагировать (а не только рефлексировать) на научные и иные (политические, хозяйственные) проблемы и события с точки зрения нормативных ожиданий, т. е. исходить не только из самоограничений (означенного собственного «этоса», медианучных коммуникации и т. д.), но и учитывать некоторую более широкую, общеобщественную перспективу, и рассматривать фактические условия существования науки на предмет восстановления нарушенного (коррупированного) нормативного порядка.

В частности, такая коммуникативная система должна требовать повышения финансирования научных исследований не столько с точки зрения науки (ведь это само по себе никак не определяет истинность или ложность научных предложений – ключевого внутреннего самоограничения научной коммуникации), но исходила бы из – внешней – потребности самого общества в науке как условия общественного воспроизводства.

Другими словами, должна существовать такая форма социальности или коммуникации, которая одновременно (или поочередно) и концентрировалась бы вокруг стандартных научных тем (стилизовалась бы под общезначимые переживания объективной реальности, выражала бы когнитивную установку), и представляла бы в форме гражданского активизма – на манер политической активности, представляла бы собой сцепление реальных действий, и выражала бы нормативную установку.

На наш взгляд, в отечественной ситуации, в условиях недофинансирования и даже безразличия общества и политики к науке, возможен некоторый перекокс такой коммуникации в сторону большей критики других систем и меньшей самокритической рефлексии науки.

В стандартной ситуации такая радикальная критика и активизм должны были бы быть направленными в большей степени на саму науку, требовать от нее демократизации своих институтов, либерализации правил членства и инклюзии, внимания к общественной релевантности научных достижений и их рисков и т. д.

Однако приходится признавать, что искомая когнитивно-нормативная бинарность проявляется в особом российском явлении – уникальном движении протеста, предметно кристаллизующимся вокруг темы недофинансирования научных исследований, т. е. в большей степени инореференциально, нежели самореференциально, при том, что критика внешних по отношению к науке коммуникативных систем доминирует над критикой собственных научных институтов.

В связи с этим важно было бы получить ответ на вопрос о том, насколько сильно тот или иной тип протестного движения в науке отдифференцировался от традиционных типов коммуникации (и соответственно от типов социального наблюдения) в рамках больших коммуникативных систем. Здесь приходится признавать, что такая промежуточная коммуникативная система научного протеста не отдифференцировалась окончательно, не создала для

себя символического бинарного кода (наподобие символического медиа-кода денег для хозяйства, медиа-кода власти для политики, медиа-кода веры для религии, медиа-кода любви для системы интимных коммуникаций, прекрасного – для искусства). Тема недофинансирования слишком локальна и контингентна, чтобы стать обобщающим символом протестной коммуникации в науке.

Именно поэтому научный протест либо использует морализации (использует медиа-код «справедливости»), либо выступает в функции «поддержки» для других систем коммуникаций (например, для политической системы в формате оппозиции).

С теоретической точки зрения, протест может до некоторых пор не выходить за пределы интеракций – частного общения протестующих по алармистским мотивам обеспокоенности в отношении структурных следствий невнимания общества к нуждам науки, может не использовать медийные инструменты – публикаций, СМИ, Интернета, социальных сетей. Протест может выступать в более продвинутых коммуникативных формах, например, оформляться в виде организаций. Он, однако, может задействовать традиционные коммуникативные макросистемы (массмедиа, политики, хозяйства). Все эти возможности, как нам кажется, реализовались в России в виде соответствующих протестных институтов. Исходя из этих теоретических предпосылок, мы применительно к российским реалиям можем указать на следующие типы научного активизма.

Во-первых, речь идет об интерактивно-ориентированном типе движения, к которому прежде всего можно отнести Общество научных работников, лишённое жестких организационных структур. Во-вторых, к этому движению можно, с оговорками, отнести жесткий и наиболее консервативный, организационно связанный правилами членства вид протестного движения. К нему относятся профсоюзы организаций РАН и других научно-образовательных учреждений. И наконец, самой продвинутой формой радикализма в науке являются системно-интегрированные формы протеста, прежде всего на уровне коммуникативной макросистемы массмедиа (телевидение, интернет-вещание, газета), к которым можно отнести газету «Троицкий вариант», и наконец, социально-сетевой тип научного протеста – сообщество «Диссернет».

4. Практика протестного движения в отечественной науке: формы, уровни, требования, инвективы

«Общество научных работников» (ОНР) представляет собой организационно –не оформленный тип общественного движения, что более всего отвечает подлинному характеру «движений протеста». Это значит, что оно не ограничивается уставом и правилами членства, определяющего жизнь в конкретной организации. Поэтому его участники не опасаются санкций от соратников ни за избыточный радикализм, ни за умеренность и примирительность.

Несмотря на известную «рыхлость», неопределенность условий участия, такие структуры в современных условиях более стабильны и устойчивы к разногласиям и расколам. Такая «макролокализация» делает возможным концентрироваться на широком спектре вопросов, главный из которых – внешняя

общеобщественная потребность в науке, а также внутренние вопросы организации и развития науки. Соответственно, ОНР декларирует причины своего создания в терминах, характеризующих моральные медиа-коды (справедливости, отчуждения, эксплуатации и т. д.).

Прежде всего речь идет об «отчуждении власти от научных работников, невиданное ни в развитых, ни в догоняющих странах. Мнение активно работающих ученых о науке и научной политике... игнорируется. Руководители научных учреждений и ректораты университетов зачастую назначаются властью без согласования с научной и преподавательской общественностью... беспрецедентно низкий один процент бюджета страны на науку используется неэффективно... дорогостоящие проекты и программы не проходят международной и отечественной научной экспертизы, не соблюдаются открытые конкурсные процедуры»³³⁰.

Таким образом, апелляция к обществу и требования к государству совмещают две перспективы: внутреннюю когнитивную и внешнюю нормативную. С одной стороны, это требования к внутренней демократизации, обращенные к самой науке (к прозрачности процедур финансирования, адекватной оценке научных достижений, выработке критериев научной репутации). Но, с другой стороны, одновременно формулируются политические и экономические требования (критика неэффективного расходования бюджета и неэффективного внешнего управления), исходя из внешней нормативной перспективы наблюдателя-морализатора, который фиксирует некоторую «поврежденную» норму (прежде всего, конечно, справедливого распределения) и требует ее восстановления.

В этом смысле ОНР выражает и самореференциальные качества мета-наблюдателя-ученого с его когнитивной установкой – ожиданием трансформации социальных структур науки, но одновременно занимает и инореференциальную позицию наблюдателя-активиста.

Активность ОНР, видимо, следует анализировать в контексте «структурно-критического» подхода к исследованию протеста³³¹. По крайней мере, сами участники протеста полагают, что такая активность фиксирует некоторые структурные дисфункции коммуникативных макросистем, связывает с ними собственные депривации, выступающие источниками их активизма. При этом разочаровании в нормативных ожиданиях (от функционирования институтов государства и науки) они требуют восстановить нарушенный порядок, но не требуют структурных изменений – в политике, хозяйстве и самой науке: как видно из программной цитаты, архаичность современной научной администрации они усматривают в бесправности экспертов, но не в структурных дисфункциях самого института экспертизы, который, очевидно, требует существенной демократизации. Нормативная ориентация этого протестного института в этом случае, очевидно, доминирует над когнитивной – как в отношении науки, так и в отношении внешних по отношению к науке институтов.

³³⁰ Декларация о создании межрегионального общества научных работников. 2012. URL: <http://onr-russia.ru/node/3> (дата обращения: 01.03.2018)

³³¹ Антоновский А.Ю., Бараш П.Э. Системно-коммуникативные исследования социальных движений // Философский журнал. 2018. № 2. С. 91–105.

Соответствующим образом ОНР декларирует следующие цели и формы деятельности: «мониторинг состояния и финансирования научных исследований; экспертиза научных программ и проектов; борьба с псевдонаукой и нарушениями научной этики; проведение опросов научных работников по насущным проблемам; подготовка предложений и обращений к властям разных уровней и обществу; содействие талантливой молодежи в построении научной карьеры; привлечение негосударственных спонсорских средств на благо науки и просвещения; посредничество при конфликтах между учеными и администрацией»³³².

Эти заявленные цели и формы активизма выражают двойственность когнитивно-нормативной установки. С одной стороны, очевидно, что этот тип протеста во многом отстаивает коммуникативную автономию науки. Он требует трансформаций, и прежде всего преодоления функционально недифференцированного (и в этом смысле – архаического) устройства российского общества в целом, где экономика, наука и политика зависят от политики, а политики мотивированы экономически. И это системная зависимость науки от избыточного внешнего и внутреннего администрирования является основной темой, объединяющей данный тип протестной коммуникации.

С другой стороны, как ни странно, для этого протеста характерна и противоположная особенность. Фактически эту автономию в известной мере предлагается «снять» за счет введения институтов посредника: между наукой и властью (подготовка рекомендаций и экспертизы для госорганов) и между наукой и хозяйством (привлекать самостоятельное финансирование), причем на роль этого посредника активисты предлагают самих себя. В этом контексте, конечно, данный тип протеста приходится относить уже не к «структурно-критическому», а к «ресурсно-мобилизационному» типу.

В целом этот тип протеста пока не выдвигает политических требований, не требует гражданского неповиновения, не готов переходить к «экстраправовым» формам, и даже митинги и шествия не являются его основным аргументом в педалировании собственной протестной темы.

Профсоюзы РАН выражают наименее радикальный и наиболее консервативный тип научного активизма, его организованную форму, и в этом смысле его лишь условно можно отнести к институтам научного протеста. Профсоюз РАН формально не заявляет о целях, связанных с темой протеста, не дает (в своих нормативных документах – Уставе и т. д.) оценки актуальной ситуации в науке. Устав и межотраслевое соглашение регулируют вопросы отношений с работодателями при том, что ситуативные протестные акции в защиту науки слабо связаны с уставными целями этой организации. На уровне Устава и формальных целей не обнаруживается понимания того, что науку надо защищать именно как социальную систему общества, а не только концентрироваться на защите экономических, в этом смысле экстранаучных, интересов «работников науки».

На уровне реальных акций и ситуативных деклараций мы тем не менее видим, что интересы науки как безличной, социальной системы отчасти декларируются, однако почти не сопровождаются призывами выходить на массовые ак-

³³² Декларация о создании межрегионального общества научных работников. 2012. URL: <http://onr-russia.ru/node/3> (дата обращения: 01.03.2018)

ции или иными апелляциями к обществу. В тех редких случаях, когда формально заявляется о возможности коммуникативного преодоления границ системы науки³³³, фактическое взаимодействие даже и с «системной оппозицией» стремится к нулю. На момент написания статьи последний документ о таком сотрудничестве датировался 2011 г.

Третий вид институционализированного протеста в научной коммуникации мы резервируем за самыми «продвинутыми» коммуникативными медиа научного активизма. К таковым можно отнести интернет-газету «Троицкий вариант». То, что этот вид протеста структурно сцеплен с системой массмедиа, доказывает, что протестное движение в науке действительно локализуется на уровне общества в целом (его макросистем) и уже преодолело границы не только простых систем интеракций (face-to-face коммуникаций), но и организационно оформленных коммуникаций. И в этом смысле данная газета обращается к обществу как таковому, выступает как равноправная система в ряду других макросистем (политики, хозяйства, образования и т. д.).

Однако при всем этом у данного медиа мы не обнаруживаем того, что принято называть «концепцией медиа», определения его миссии, тематических границ, рефлексии в отношении собственной таргет-группы. Его участники, как заявляет главный редактор Борис Штерн, осознанно отказываются от организационного «типа администрирования, которое, как известно, не может существовать более двух месяцев. В ней нет ни единого штатного работника и четкого распределения обязанностей, нет планерок и жесткой редакционной политики. Редакция работает в основном на принципах спонтанной самоорганизации независимых участников, нелинейно взаимодействующих через Интернет»³³⁴.

Что же представляет собой этот медийный проект, является ли он некоторым временным объединением для решения конкретной протестной задачи или весьма неопределенным по времени, предмету и сообществу?

Примечательно, что это единственный институт, который эксплицитно формулирует тему протеста (в виде хэштега) и явным образом направляет свои инвективы на научный истеблишмент. Основные объекты критики – статусные лица в научном сообществе и чиновники. Этот вид научного активизма наиболее адекватно выражает то, что сегодня социологи понимают под протестом (new social movements). Прежде всего радикальный протест счастливо избегает такой обременительной формы, как организация, а локализуется все-таки на уровне макросистем, т. е. общества в целом. Это значит, что протестное движение может рассчитывать практически на неисчерпаемые источники ресурсов (социальной энергии и времени, возможности краудсорсинга и фандрайзинга), апеллирует к самым разным сообществам, но только не к материнской организации-донору (государству, МОН, ФАНО и т. д.).

Наконец, самым радикальным типом протестного движения в науке является интернет-сообщество «Диссернет», самоопределяющееся как «вольное

³³³ Так, в пункте 2.2.20 Устава говорится об участии в формировании общественных и общественно-политических организаций и движений, взаимодействии с партиями, международными организациями, общественными и общественно-политическими организациями и движениями

³³⁴ Штерн Б. Всё, что вы хотели знать о газете, но боялись спросить // Троицкий вариант. 2012. № 10. URL: <https://trv-science.ru/2012/03/27/10-faktov-o-trv-nauka/> (дата обращения: 15.02.2018)

сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов».

Первое, что бросается в глаза, – это то, что самописание данной системы отсылает не к научному этосу как внутреннему системно-коммуникативному ориентиру (Р. Мертон). Напротив, формулируется некоторая генерализированная ценностная рациональность, взывающая к справедливости, а не к системному медиа-коду научной истины (как обобщающего символа поисков нового достоверного знания), что лишь некоторым окольным путем требует и функциональной самостоятельности научной коммуникации.

Все переживания по поводу соблюдения системной нормативности высказываются не из перспективы системы науки (в которой ложность, как известно, нормализована и даже может рассматриваться как рефлексивная сторона дистинкции истина/ложь), но из перспективы наблюдателя в позиции вне науки. Не ложность, но плагиат – вот главная проблема и демаркатор такого отграничения-из-вне научной коммуникации со стороны общества. В этом смысле «Диссернет» встает на позицию самого общества, как бы обеспокоенного тем обстоятельством, что его интегральная составляющая – наука – деградирует и дискредитирует себя.

Здесь мы сталкиваемся с удивительным требованием, когда границы коммуникативной системы поддерживаются не изнутри (т. е. силами сообщества ученых, сопротивляющихся внешним попыткам определять тематические, методологические границы исследования), но извне – со стороны оппозиционно-политических сил, правда, вынужденных использовать ресурсы и самой научной коммуникации. Предположительно, этот тип протестного общения укоренен в позиции наблюдения из перспективы политической системы. Здесь политика (в лице оппозиции) ангажирует науку и вступает с ней в структурное сцепление с тем, чтобы решать собственные политические задачи.

В этом смысле объект критики существенно размывается, но основная инвектива сохраняется и направлена против «политических и общественных деятелей, попытавшихся улучшить свою репутацию и приобрести дополнительное уважение сограждан путем защиты диссертаций и получения официальных дипломов о кандидатских и докторских степенях».

Итак, вступая в структурные сцепления с наукой, этот тип протеста одновременно утверждает научную автономию и, как следствие, недопустимость объединения научной и политической коммуникации. Он направлен против «высказываний», стилизованных под научный дискурс (в форме научных работ и диссертаций политиков и чиновников), и тем самым делает невозможным обоснование политического авторитета (а в худшем случае – авторитаризма) ссылками на научную репутацию политиков.

Несмотря на радикализм этого активизма, здесь, безусловно, в большей степени – и в качестве некоторой финальной цели – реализована нормативная установка. Таковой нормативной целью является восстановление «попранной справедливости» (в форме «некорректных заимствований») при том, что в качестве средств достижения этой цели (через анализ текстов диссертаций) за-

действуются когнитивные ресурсы и установки самих ученых. Это проявляется прежде всего в требованиях к изменению (а не восстановлению) порядка и процедур присуждения научных степеней и званий.

Заключение

Итак, наличие нескольких типов новообразующегося протестного движения, кристаллизующегося вокруг тем автономии и защиты собственных интересов и перспектив научной системы, доказывают наш тезис о том, что, по крайней мере, является возможным такой тип коммуникации, который бы одновременно ориентировался и на когнитивную, и на нормативную установку в наблюдении реальности.

Мы показали, что такой тип коммуникации относительно стабильно воспроизводится и может претендовать на статус нарождающейся коммуникативной макросистемы. Это обстоятельство мы можем охарактеризовать как практическое разрешение парадоксов Мертон и Поппера, которые – теоретически – указывали на несовместимость двух противоположных притязаний: с одной стороны, быть лучшим наблюдателем или институтом познания, а с другой стороны, предлагать лучшие образцы (ценности, нормы) социального согласия и общественного устройства.

Собственно, и данная статья является некоторым вкладом в это движение, поскольку использует научный инструментарий (системно-коммуникативную методологию) при анализе действительной теоретической проблемы, а с другой – проясняет, обосновывает и этим в известной мере легитимирует значение новой коммуникативной системы общественного протеста.

РАЗДЕЛ VI. ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ЕГО СИСТЕМНО-КОММУНИКАТИВНАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ

Генезис радикализма и позитивная программа его исследований

К вопросу генезиса радикальных форм коммуникации

В современном обществе протестные и радикальные социальные движения приобретают системные формы и, по-видимому, не являются исторически случайными и преходящими формами социальности, а выполняют значимые эволюционные и коммуникативные функции. Мы можем в самом общем виде сформулировать проблему теории радикальных протестных движений в виде следующей дилеммы.

Являются ли новые социальные движения новой коммуникативной системой, соразмерной традиционным коммуникативным макросистемам (таким, как политика, экономика, религия, наука, искусство, семья, правовая система), и выполняют ли они в связи с этим некоторую особую задачу-функцию, которую способны осуществить только они и которая имеет значение не только для их собственного воспроизводства (аутопоэзиса), но и поставляет свои достижения и продукты в распоряжение других систем?

Первый аргумент, который необходимо привести в контексте сформулированной дилеммы, указывает на очевидную избыточность функции радикальных движений. Ведь раньше общества и функциональные системы в их перспективных планированиях и реакциях на существующие аномалии и дисфункции обходились без добавочного генератора альтернатив. Эта задача с избытком покрывалась массмедийной критикой существующих институтов, критикой и программной рефлексией со стороны институционализированной (партийной) оппозиции, которая не требовала каких-то (аутопоэтически воспроизводящихся) экстрапарламентских форм поддержки для своих требований, а конкуренция в экономике обеспечивала достаточное разнообразие услуг и товаров, мотивировала спрос и способствовала ее динамичному развитию, в то время как экономические дисфункции (экологические эффекты, экономические кризисы, диспропорции в доходах, чрезмерная эксплуатация) до определенной степени компенсировались политически мотивированными налоговыми перераспределениями.

Конечно, вопрос «зачем потребовались новые движения?» изначально обременен телеологизмом. Он предполагает, что «общеобщественные» функции и задачи как бы ждут своего часа, когда, наконец, появится некий агент, неважно, индивид или институт (парламент, наука, университет, профсоюз, Петр I и т. д.), способный ответить на некий общественный запрос или потребность.

Напротив, системно-коммуникативная методология для ответов на такого рода вопросы «зачем?» требует существенного изменения оптики наблюдения коммуникативных систем и обращения к эволюционной теории. Не имея возможности подробно обсуждать здесь проблему социальной эволюции, заметим лишь, что современный эволюционизм (в его неodarвинистской или синтетической версии) не предполагает, что эволюция порождает новые эволюционные

формы ради выполнения особой задачи, их «взаимополезного» или «симбиотического» развития³³⁵.

Этот вопрос функционального генезиса мы предлагаем решать в общеэволюционном ключе, исходя, с одной стороны, из принципа простой структурной совместимости некоторой новой эволюционной формы с другими видами и популяциями (словами Фейерабенда, *anything goes – what goes*), а с другой – требуя от новых эволюционных форм не только генетической вариативности (мутаций), жизнеспособности фенотипа в сопряженности с внешней средой (естественный отбор), но и в первую очередь выполнения функции стабилизации или закрепления новообразованных признаков и свойств на уровне популяций³³⁶.

Применительно к обществу и социальным движениям, в частности, это предполагает накопление некоторой критической массы новых способов коммуникации, новых типов наблюдения и соответствующих самоописаний³³⁷.

Британский исследователь радикализма Христиан Фухс вводит концепт критической фазы (порога восприятия структурных проблем), где формирование социальных движений понимается нетривиальным образом: как ответ на системно-структурные деформации общества, риски и опасности, с которыми оно конфронтирует, как результат постепенной аккумуляции особого типа критических наблюдений или новой и более рафинированной перцепции, способной усмотреть опасности и риски, которые без этой оптики просто бы остались незамеченными (и значит, в каком-то смысле несуществующими).

«Критическая фаза этой системы социального протеста, – пишет Фухс, – возникает тогда, когда социальные антагонизмы и проблемы начинают восприниматься как невыносимые, т. е. критическая масса людей недовольны структурами общества, а число оппонентов определенных структур возрастает до такой степени, что это недовольство и воля к изменениям теперь в принципе воспринимаются. Такая критическая фаза не является необходимым результатом углубления социального антагонизма (скажем, роста бедности, безработицы, ухудшения экологии), но является результатом перцепции и осознания углубления некоторого антагонизма»³³⁸ [Fuchs 2006, 118].

Другими словами, когда протестной коммуникации становится достаточно много, тогда и возрастает острота понимания и общественных, и экологических рисков. И это не выглядит так, будто ухудшение экологии, голод в странах третьего мира, мужская опрессия, неофашизм или расовая дискриминация, будучи негативными структурными следствиями функционирования больших социальных систем, порождают соответствующие типы протестной коммуникации и коммуникативную систему протеста в целом. Условием или причиной протеста не является сам «реальный негативный феномен». В качестве такого

³³⁵ Как если бы в природе существовала некоторая потребность в кислороде и ради этой потребности или цели наконец в определенный момент появились высшие растения с (побочной!) функцией оксигенного фотосинтеза. То, что симбиотические формы сплошь и рядом возникают как в органической природе, так и в обществе (например, власти/насилия, истины/восприятия, денег/потребления, любви/сексуальности, наконец, сознания/коммуникации [Антоновский 2017, 207]), доказывает лишь успешность эволюционной формы *симбиоза*.

³³⁶ См. приложение этого эволюционного принципа к коммуникативным системам [Antonovsky 2017, 46].

³³⁷ См. разработку эволюционно-теоретической *аналогии* между видами живого, популяциями, с одной стороны, и линиями концепций и описаниями, группами исследователей – с другой [Hull 1989, 106]. Более современную – трехстадийную – концепцию социальной эволюции смотрите у Н. Лумана [Луман 2017, 215].

³³⁸ Fuchs Ch. The Self-Organization of Social Movements // Systemic Practice and Action Research. 2006. Vol. 19. № 1. P. 118.

условия выступает постепенная кристаллизация некоторого достаточного или критического числа наблюдений, использующих некоторую общую или сходную оптику наблюдения, – например, в ситуации, когда тематически консистентная наблюдательная дистинкция «опрессивные мужчины / виктимизированные женщины» становится общим местом массмедийного обсуждения и основанием политико-правовых решений и актов³³⁹, когда эта дистинкция получает такую наблюдательную универсальность и широту, что и на обычные неопрессивные отношения полов смотрят с ее точки зрения, – например, как на некоторое исключение из правила, как на некоторую «латентную» опрессию и т. д.

Именно накопление достаточного числа наблюдений явлений, которые теперь интерпретируются, с точки зрения протестных тематических дистинкций, как ненормальные, неестественные и поэтому нежелательные и опасные, суггестируют идею об увеличении таковых явлений и соответствующие социопсихические установки алармизма (в первую очередь, страха или тревоги), которые, как мы покажем ниже, и отвечают за аутопоэзис (самовоспроизводство) коммуникативной системы протеста.

В ряде концепций радикального конструктивизма такие установки, ответственные за генезис систем, принято, вслед за Х. фон Ферстером, называть «собственными значениями»³⁴⁰. Под собственными значениями понимаются достижения или результаты функционирования системы, которые затем повторно вводятся в систему, что способствует ее продолжению и дальнейшему системообразованию.

В такого рода аутопоэтических циклах элементы системы (в данном случае коммуникации протеста) порождают другие элементы системы (коммуникации протеста) на основе «собственных значений», уже не нуждаясь в каких-то внешних стимулах и триггерах, хотя это и не означает, что в обществе не существует структурных проблем, а с экологией всё в порядке.

Мы также разделяем и развиваем взгляд Н. Лумана, что именно аутопоэтическую функцию страха и тревоги (собственного значения протестной коммуникации) следует понимать как «социальную эмоцию» или «социальный мотив»³⁴¹. Нам приходится использовать это понятие-оксюморон, имея в виду не-

³³⁹ Авторы ни в коем случае не утверждают, что подобного рода опрессии и ее жертв не существует в действительности или она является социальной псевдопроблемой, навязываемой обществу одним из протестующих сообществ. Как раз напротив, наш тезис состоит в том, что именно протест против мужского насилия (наблюдение в данной оптике) позволяет увидеть и – в этом смысле – наконец реифицировать то, что в отсутствие такой оптики таковой опрессией просто не считалось и как опрессия не коммуницировалось. С одной стороны, было бы абсурдным утверждать, что сам протест каузировал бы – понимаемое как психическое – страдание женщины. Но, с другой стороны, именно этот протест против насилия каузирует страдание в его модусе *социального факта* (в смысле Дюркгейма), т. е. создает социальные установки и ожидания, *вызывающие* сострадательные переживания, прежде всего со стороны других, непосредственно не страдающих участников протеста. Таким образом, протест делает возможным *структурное сопряжение* психического переживания (как события в истории системы ментальных переживаний) и страдания как события в истории системы коммуникаций. И в этом смысле психическое переживание страдания – благодаря его социальному замещению (представлению в виде заместительных переживаний и сострадания со стороны невиктимизированных участников протеста) – может как усугубляться, так и ослабляться. По-видимому, пока нет эмпирических исследований на тему (терапевтического или, напротив, усиливающего страдание) влияния участия в протесте на интенсивность переживания травмы опрессии.

³⁴⁰ Foerster H. von. Objects: tokens for (eigen-) behaviors. Observing Systems. Seaside, 1981. P. 274–285.

³⁴¹ П. Штомка формулирует в чем-то схожий подход, где на роль интегрирующий протест *социальной эмоции* как социального факта в смысле Дюркгейма возводится чувство (не)справедливости: «Только когда формируется обобщенное чувство релятивной несправедливости — проводится сравнение со стремлениями, притязаниями и достижениями других и учитывается положение более счастливых, чем мы, других людей – такая эмоциональная и протестная мобилизация может охватить большие сообщества и общество. Эффект притязаний, эффект

которую мотивирующую «движущую силу», которая имеет своим источником психику, но, получив из нее каузальный импульс, при специфических обстоятельствах превращает данный мотив в социальную установку, нормативное ожидание, в часть социальной структуры, а не системы личности (психики)³⁴².

В этом смысле аутопоэзис протестной коммуникации запускается в условиях так называемой самовалидации, когда страх и тревога, вызванные обсуждением социальных и экологических рисков и опасностей, разного рода кризисов и т. д., ведет к заострению, интенсификации коммуникации этих опасностей, гипертрофии этих опасностей, и гипертрофии соответствующих страхов, и, соответственно – к запуску новых циклов их коммуникативной трансляции.

Помимо прочего, эта аутопоэтическая структура, основанная на специфическом протестном алармизме, связывает макро- и микроуровни коммуникации. Сообщения и переживания страха на микроуровне, при условии их значительной аккумуляции и в особенности при их социальном осетевлении, создают макрорезонанс: выливаются в массмедийно освещаемые общественные акции, приводят к их широкому обсуждению в коммуникативной системе массмедиа и наконец заставляют реагировать коммуникативные макросистемы – политику, право, хозяйство и т. д.³⁴³

Пространство и время протестных движений

Если современный радикальный протест действительно приобретает черты относительно полноценной коммуникативной системы, то в этом случае, очевидно, следовало бы задаться вопросом о пространственно-временных рамках этого феномена. Сюда же относится проблема его пространственной локализации, длительности, цикличности, воспроизводимости, критериях «зрелости» и «затухания» этого феномена; а также вопрос о его видовых трансформациях и взаимопереходах; о субстанциальном определении его границ и критериев его континуальности, что позволило бы определять и его вероятность в специфических ситуациях³⁴⁴.

Протест существует в форме кампаний и не является сингулярностью

Пространственная фиксация феномена протеста, по-видимому, до некоторых пор не представляла больших трудностей, поскольку протестная ком-

дискриминации и эффект демонстрации становятся тогда разделяемым с другими массовым опытом, обретают ранг социальных фактов... то есть чего-то большего, чем только индивидуальные психологические переживания» [Штомпка 2017, 388].

³⁴² Социальный характер некоторой психической эмоции означает лишь то, что в специфической ситуации, когда от человека ожидается выражение некоторого чувства, он должен действовать так, как будто он испытывает это чувство, даже не испытывая его. Стандартным примером является система интимных отношений, где партнеры стилизуют свои отношения как «любовные» независимо от фактического чувства. Подробнее см.: *Luhmann N. Liebe als Passion. Suhrkamp, 1994.*

³⁴³ См. различные подходы к пониманию аутопоэзиса протестной коммуникации [Luhmann 1996, Japp 1996].

³⁴⁴ Решение вопроса о том, что является границей некоторого относительно континуального или однородного исторического периода, и в частности, вопрос о том, является ли протест сингулярным событием, некоторой эпохальной длительностью или локальной эпизодизацией, безусловно, зависит от выбора наблюдательной исторической перспективы и не предлежит как объективная реальность. И сингулярные акты – *революции, мятежи* – в той или иной аналитической перспективе историка могут рассматриваться как сверхкомплексные последовательности событий, к тому же в своих предпосылках и «неинтендируемых эффектах» (Э. Гидденс) простирающиеся далеко за пределы своей фактичности.

муникация до определенного времени как бы совпадала с «телесным присутствием» протестующих в определенных местах (митинги, шествия, перформативные акции). Кроме того, протестное движение – в отличие коммуникаций в рамках традиционных макросистем – по-видимому, еще не развило в себе полноценных абстрактно-символических бинарных медиа-кодов и средств телекоммуникационной³⁴⁵ трансляции своих сообщений, которые бы делокализовали протестную коммуникацию, как это имеет место сегодня в социальных сетях и Интернете.

В том, что касается временной определенности протеста, представляется очевидным, что современное протестное движение существенно отличается от «исторических видов» или прототипов протестной активности («революций», «мятежей», «дворцовых переворотов» и т. д.). Протест не является сингулярным актом, событием, границей «исторических эпох», а сам нуждается в отграничивании и установлении критериев «завершения», или «конца» конкретной системы протестной коммуникации.

Протесты актуализируются в форме кампаний, провоцируемых некими событиями-триггерами в системной повестке общества: политической, правовой или экономической коммуникации, имеющей экологические следствия, или как результат массмедийного обнародования «скандальных» системных коммуникаций, хотя они не являются подлинными причинами аутопоэтических процессов. (Примеры: «закон Димы Яковлева», фальсификации выборов, добыча сырья в традиционных регионах проживания кочевых народов, массмедийное обнародование фактов сексуальных домогательств со стороны истеблишмента и т. д.)

При этом единичный триггер может актуализировать весь комплекс протестной реакции: массовые события (митинги и т. д.), публикации манифестов, артикуляцию протестной темы, рафинизацию альтернативной ценности, интеграцию тех или иных спонтанных актов в виде воспроизводимых (иногда тайных или конспиративных) обсуждений-интеракций и даже квазиорганизаций (без формализации условий принадлежности и выхода, как это было с «Советом оппозиции» в 2012 г.).

Отсутствие формальной организации³⁴⁶ с необходимостью превращает протест в синусоидную активность, что одновременно предстает и как сильная, и как слабая стороны протеста. Так, ослабление протеста, с одной стороны, приводит к разочарованию лидеров и рядовых участников, ищущих новые формы самореализации и реализации «альтернативных ценностей», и, как следствие, переходу оставшегося ядра к более радикальным и экстремистским формам активности, «страшному удалению от народа» и более жесткому и разрушительному ответу со стороны традиционных макросистем (политики, правовой сис-

³⁴⁵ См. подробнее о роли телекоммуникации (письменности, печати, электронных медиа, социальных сетей) для трансформации пространственно-временного, коллективно-личностного и предметного измерений коммуникации [Антоновский 2015, 94–98].

³⁴⁶ Здесь мы опираемся на системно-коммуникативную теорию организаций как некой системы среднего уровня [Luhmann 1972, 9–20]. Мы исходим из того, что протест не может получать интегративную форму организации (с устойчивыми правилами членства, обязанностями, прерогативами, обременениями и правами, жесткими процедурами вступления в организацию и свободными условиям выхода из нее). Если таковое случается, протест перерождается в системные формы коммуникации и в этом смысле как система приходит к своему завершению.

темы), к ослаблению поддержки со стороны экономических акторов, элит, независимых интеллектуалов, независимых медиа.

С другой стороны, именно этот синусоидный характер делает протест неуничтожимым в том смысле, что осуществление протеста в латентном виде, его мимикрия под другие формы гражданской, прежде всего волонтерской активности делает его более флексибельным и вариативным, обеспечивает «передышку» и адаптацию к новым формам политической реальности и реакции, усыпляет бдительность наблюдательных инстанций макросистем и, как самое значимое следствие, обеспечивает постепенное накопление «потенциальной протестной энергии», способной при благоприятных обстоятельствах «сместить» архаические (в наблюдательной перспективе протеста) институты и заместить «архаические» ценности их альтернативами.

Протест – невероятное сочетание условий

Как видно, такая актуализация протеста предполагает сверхкомплексную – и в этом смысле невероятную – комбинацию предпосылок. Уже упоминаемый Христиан Фухс относит к числу этих невероятных предпосылок мобилизацию акторов, мобилизацию ресурсов, кристаллизацию смыслов, овладение специфическим знанием темы протеста, внимание и интерес к протесту со стороны публики и прессы³⁴⁷.

В целом соглашаясь с Фухсом, отметим все же необходимость учета кругового характера данных причинно-следственных отношений; ведь и сам протест, отвечая этим условиям и в этом смысле являясь их следствием, все-таки одновременно самой своей актуализацией вызывает интерес публики и прессы, мобилизует акторов и информирует о собственной ценностно-тематической повестке (специфически-тематические знания), а значит, является причиной и, парадоксальным образом, в процессе такой самовалидации каузирует собственные условия.

В этом смысле предсказания актуализации конкретного протеста оказываются столь же сложным и невероятным, как и определение всякого невероятного события (как, скажем, предсказание эмиссии конкретной элементарной частицы в процессе радиоактивного распада). В этом смысле можно прогнозировать не столько конкретные события протеста, сколько высокую или малую вероятность его ранней или поздней актуализации.

Протест не заканчивается никогда?

По вопросу завершения протеста в силу реализации, фиаско или «дегенерации» его программы³⁴⁸ (оставим за скобками, что таковой вывод лишь есть следствие применения той или иной оптики наблюдателя), исходя из ранее обсуждаемых свойств и форм протеста, можно с некоторой долей очевидности ввести следующие критерии:

1. выполнение программных целей;

³⁴⁷ Fuchs Chr: The Self-Organization of Social Movements // Systemic Practice and Action Research. 2006. Vol. 19. № 1. P. 117.

³⁴⁸ Здесь вполне применимо замечание П. Фейерабенда по поводу «дегенерирующих программ» Лакатоса: «...if you are permitted to wait, why not wait a little longer?» [Fejerabend 1970, 215].

2. внутреннее или внешнее подавление протеста;
3. истощение ресурсов;
4. затухание массовости движения;
5. прекращение массмедийного обсуждения протестной темы.

Но и здесь означенная очевидность представляется обманчивой. На наш взгляд, «выполнение программных целей» (например, некоторое конкретное решение в пользу перераспределения средств на «социальные нужды») не подходит на роль завершающего протест события по следующим основаниям.

Во-первых, протест не предлагает альтернативных решений³⁴⁹ (он, как мы уже показывали, есть «альтернатива без альтернативы» и, собственно, не формулирует программных целей). Во-вторых, самоосуществление протеста и генерирует его собственную проблему, которую он призван разрешить. Так, осознание факта угнетения и его коммуникативное обсуждение как специфической протестной темы участниками протеста превращает то, что раньше полагалось естественно-повседневным, в ненормальное и требующее устранения.

Более интересным выглядит предложение связывать с завершением системы протеста истощение ресурсов (которые мы субстанциируем как мотивационную энергию протеста в ее не физическом, не каузальном смысле)³⁵⁰.

Но и здесь требуется внесение ряда замечаний. Эта «энергия» не может пониматься как исключительно психическая эмоция или мотив, т. к. в рамках психической системы личности преходящие и сингулярные эмоции не способны аккумулироваться и сохраняться (конечно, в непатологических случаях) сколько-нибудь долго, если нет соответствующих институтов, переводящих психический мотив в некую социальную установку [Момджян 2016, 39–41], в нормативное ожидание той или иной стандартной реакции (скажем, возмущения) на соответствующее стандартное событие (скажем, сексуальное насилие) – реакции, которая становится таким образом ожидаемой и обязательной к выполнению, однако, не обязательно сопровождается соответствующим психическим переживанием.

Но и такое «истощение ресурсов» в коммуникационно-замкнутых системах может и не означать завершения системы, а выражаться в переключении с одной протестной темы на другую³⁵¹, в появлении других openings и возможностей для самореализации системно-неинтегрированных индивидов. Публичный резонанс получают другие темы, и ограниченные ресурсы (внимание прессы, интерес публики) направляются на них, причем первоначаль-

³⁴⁹ См. подробное обоснование этой идеи [Бараш, Антоновский 2017].

³⁵⁰ Мы используем метафору «энергии» в том самом широком смысле, когда какие-то способные к аккумуляции события или процессы рассматриваются как объясняющие упорядоченное движение, трансформацию, работу тех или иных агентов или механизмов. У такой энергии должен наличествовать некий субстрат (подобно тому, как в молекулярно-кинетической теории движущиеся с определенными скоростями молекулы объясняют изменение температуры, давления, размеров тела). Что является таким носителем-накопителем протестной энергии, еще предстоит выяснить. Но, безусловно, им не являются непрерывно переключающиеся в своих переживаниях *сознания индивидов*. Вероятно, эту функцию «накопителя» осуществляет массмедийная презентация «возмутительных явлений», непрерывно поддерживающая определенный градус общественного возмущения, которое не способна долговременно поддерживать индивидуальная психика. В современности эту функцию одновременно накопителя, конденсатора и генератора страхов, тревог и возмущений все больше «забирают себе» социальные сети.

³⁵¹ И здесь системный массмедийный поиск новизны и новости (как «собственного значения» и медиа-кода коммуникационной системы массмедиа), видимо, являлся главным «гештальт-переключателем» протестных тем, но и здесь их функцию перенимают социальные сети.

ный объект возмущения и протестная тема (скажем, обвиняемое в коррупции и фальсификациях политическое руководство страны) способны утрачивать негативное и приобретать позитивное значение. Так, в России протестные настроения 2011–2012 и соответствующее недовольство в значительной степени переключились с темы электоральных фальсификаций на тематику «украинского фашизма», «запада», «гейропы» и т. д.

То, что такого рода переключения инспирировались властью, не должно вводить в заблуждение. Эту «милитаристскую» новостную повестку подхватили массмедиа не столько под давлением политической пропаганды, сколько в силу способности самой этой темы удерживать и фокусировать общественное внимание, и без этой внутренней массмедийной «восприимчивости к новизне» политической системе не удалось бы навязать потребителям новостей свои установки [Луман 2005]. В этом смысле «структурное сопряжение» и «взаимопроникновение» в несравнимо более интенсивных формах осуществляются между системами протеста и массмедиа. И, видимо, то, что российский протест находится на дне протестной синусоиды (и, значит, в стадии «накопления» потенциальной протестной энергии), объясняет тот факт, что никакие массмедийные телевизионные «камлания» не способны воплотить означенную тематику «внешнего зла» в реальные публичные провластные акции.

Системно-коммуникативный подход – позитивная программа исследований протеста

Выше мы рассмотрели подходы к определению радикализма, генезис протестного движения и его пространственно-временные границы. Опираясь на эту феноменологию, попытаемся теперь в схематичной и понятийно-сжатой форме реконцептуализировать основные черты и функции протестной коммуникации и на ее основе предложить позитивную программу исследования конкретных видов радикализма.

1. В отличие от других систем, у коммуникативного кода протеста не обнаруживается симметричного ему негативного противостода³⁵². В его отсутствие «замыкание» протестных коммуникаций в систему обеспечивает концентрация коммуникации вокруг тех или иных конкретных тем или предметов. Такая коммуникативная аморфность и разнотемье наводят на мысль о возможности позднейшей (словно по образцу стволовых клеток) спецификации того или иного конкретного протеста вокруг ранее утвердившихся медиа-кодов других систем. Так, один вид протеста (скажем, движение Навального) может инкорпорироваться в политическую систему, а протестное движение в поддержку отечественной науки и против ее недофинансирования (сообщество «Диссернет», газета «Троицкий вариант», «Общество научных работников») может абсорбироваться системой науки.

Исходя из этого, программа исследования протеста должна начинать с постановки вопроса о некоторой центральной теме, инклюдирующей (мотивирующих) участников, а не с коммуникативных кодов и соответствующих им мотивов (истина, деньги, власть), вокруг которых

³⁵² Как это имеет место, например, в случае коммуникативной системы науки [Пружинин, Касавин 2017] с ее бинарным медиа-кодом «истина/ложь».

кристаллизуются соответствующие коммуникативные системы науки, хозяйства, политики.

2. Из этого следует, что у протеста нет четких коммуникативных границ. Темы чрезвычайно диффузны и не могут быть отделены от соответствующих интеракций (выражений недовольства в автобусе или такси).

Программа исследований протеста требует в этом контексте ставить вопрос о том, что отделяет протестную акцию (коммуникацию) от простого выражения недовольства (страха, алармизма).

3. То обстоятельство, что лишь протестная тема (а не коммуникативный код) служит для разграничения протестной коммуникации и остального общества, делает невозможным формулирование протестной программы (как некоего эквивалента партийной программы в политической системе, бизнес-или инвестплана в системе хозяйства, проектов научных исследований в научных коммуникациях и т. д.), поскольку именно программа уточняет и асимметризирует симметричные возможности, которые предоставляет бинарный код³⁵³.

Исходя из этого, исследовательская программа изучения протеста требует выявлять механизмы организации протестной активности в условиях отсутствия долговременного плана протестных акций.

4. Средством компенсации отсутствующего у протеста бинарного медиакода, долговременного программного планирования и жесткого системообразования через коммуникативную форму организации (как это имеет место в отношении больших систем – научных организаций, политических организаций) является соответствующая социальная структура (структура нормативных ожиданий). Основу такой структуры образуют ожидания соответствующей демонстративной «приверженности» *commitment*, т. е. выраженных мотиваций и готовности протестующих защищать критическую идею-тему.

Программа исследования протеста требует в этом контексте ставить вопрос о том, является ли тот или иной протест действительным движением протеста (с выработкой соответствующих мотиваций и готовности защищать протестную идею или тему), является ли он некой «организованной формой» или всего лишь тривиальным выражением недовольства. Этот пункт программы требует конструировать стандартные и крайние степень и формы выражения «приверженности» идее (экологической идее, идее феминизма, идее расового превосходства/равенства и т. д.).

5. У каждой формы протеста, как наблюдательной дистинкции (специфической оптики или взгляда на мир в его главном структурном расщеплении), есть своя другая сторона, свой «враг». Мужья и мужчины (в протесте против насилия в семье), правящий истеблишмент (в политическом протесте), промышленные предприятия (в экологическом движении). Однако общим для всех конкретных различий, по-видимому, является самовиктимизация, т. е. самоприписывание участниками протеста себе статусов жертвы (или, в более мягкой форме, пассивного объекта чужого

³⁵³ Так, бинарный код «истина/ложь» ничего не говорит о том, что истинно, а что ложно, и поэтому требует программ (т. е. соответствующих научных теорий и методов) определения истинности предлагаемых научных сообщений.

решения). При этом оппоненты протестующих понимаются как принимающие решение, поражающее протестующего в его правах и надеждах на самореализацию. Речь идет об особой протестной наблюдательной дистинкции, или особой оптике. Назовем это дистинкцией «решение/поражение».

Это значит, что программа исследования протеста должна реконструировать (конкретный для каждого данного вида протеста) реестр «нарушенных прав» в том виде, каким его видит протестующее лицо, и коррелятивный этому список актов и прерогатив «Другого», нарушающих эти права.

б. Из предшествующего пункта вытекает и другая исследовательская задача: допускают ли реестры «нарушенных прав пораженных лиц» и «прерогатив лиц, принимающих решения», такие генерализации, которые бы позволяли утверждать наличие общего или единого движения протеста и, как следствие, единой коммуникативной системы, выказывающей свою *differentia specifica*.

Поиск этой *differentia specifica* является фундаментальной проблемой социальной (или коммуникативной) философии протеста. Именно она – в ситуации отсутствующего у протеста единого бинарного медиа-кода (аналогичного власти в политике, деньгам в хозяйстве) – позволила бы отличить этот новообразованный тип коммуникации от традиционных коммуникативных макросистем.

Differentia specifica протестных и радикальных коммуникаций как основная проблема коммуникативной философии протеста

Для предварительного решения означенной проблемы мы формулируем ряд гипотез, которые, как нам кажется, прояснят специфичность несистемной протестной коммуникации в ее отличии от всех остальных системно-организованных коммуникативных практик³⁵⁴.

1. Гипотеза компенсаторной лояльности

В отличие от других систем, протестная коммуникация ориентирована на личностную привязанность системе протеста, требующей от нее персональной лояльности к теме, или ключевой идее. Напротив, экономика не выставляет обязательств по покупке и оплате товаров конкретных производителей, а политическая система не обязывает участников голосовать за ту или другую партию³⁵⁵.

В этой связи изучать протест значит реконструировать механизмы обеспечения этой персональной лояльности, и, конечно, способы ее преодоления, и ответные санкции.

2. Гипотеза инклюзивного социального контроля

В генетико-исторической перспективе формирование протестных движений является системным эффектом возникновения мирового общества³⁵⁶, в

³⁵⁴ Эти гипотезы – в их рудиментарной форме – отчасти формулировались в рамках «общей теории коммуникативных систем», конечно, с поправкой на реалии 80-х, начала 90-х годов [Luhmann 1996].

³⁵⁵ Конечно, в рамках партийной *организации* от их членов ожидают, что они проголосуют именно за эту партию, но такая самоочевидность как раз и не требует механизмов ее проверки.

³⁵⁶ См.: Луман Н. Мировое общество // Его же: Общество общества. М.: Логос, 2011. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество, культура. 2000.

особенности – следствием так называемой «Всеобщей инклюзии», которая сделала невозможным обеспечивать социальный контроль путем эксклюзии из общества, как это осуществлялось на протяжении веков³⁵⁷, путем изгнания, вытеснения, истребления, казней, заключения, отказа в покровительстве и поддержке всем тем, кто либо демонстрировал аномные формы коммуникации, либо не мог быть прокормлен семьей или сообществом.

Исчезновение такого «эксcludирующего» контроля социального порядка и приводит к кристаллизации протеста и, как следствие, прежде всего к двум разочаровывающим эффектам: «эксcludиции инклюдированных» и «инклюдии эксcludированных».

Во-первых, разочарование всеобщей инклюдией является следствием необходимости толерировать «аномию» в непосредственной интерактивной близости: мигранты живут под боком со всеми их представляющимися «недопустимыми» в местной среде формами поведения и коммуникации (резанием баранов на Курбан-байрам и т. д.). Именно это генерирует недовольство и в каком-то смысле эксcludирует инклюдированных, т. е. заставляет некоторых представителей «принимающего сообщества-большинства» объединяться в полукриминальные и экстремистские «протестные сообщества», ставящие себе целью ликвидировать принцип «всеобщей инклюдии» – эксcludировать инклюдированных чужих (националисты и т. д.).

Во-вторых, к разочарованиям приводит и инклюдия эксcludированных: все, кто не способен и не желает осуществлять конформное поведение, теперь не исключаются из общества как некие «асоциальные элементы», не «рассеиваются» как индивиды где-то на периферии социума и не гибнут. Отсутствие такой дисперсии и гарантированное физическое выживание исключенных делает возможной интеграцию по принципу исключительности и исключенности и в каком-то смысле даже институциализацию этого демонстративного непризнания нормативных установлений (движения хиппи и республика Христиания).

Эти аномные формы поведения, из исключаемых превращающиеся в исключительные, теперь получают внутренние самоописания (как «поражение в праве на индивидуализацию» и как исключение лишь из сообщества, принимающего решения, но не из общества как такового). В этом статусе демонстративно аномийный отказ от признания доминирующих институтов и норм становится основанием для организации собственных сообществ эксcludированных из общества (хотя дефинитивно таковыми не являются) внутри общества.

Это различие³⁵⁸ на эксcludию инклюдированных и инклюдию эксcludированных дает нам первое основание для разведения – из самого себя не объясняемого – различия «плохих» и «хороших» социальных движений протеста. «Плохие» СД развивают сложную семантику самоописаний, где понимают себя как реализующих функцию эксcludировать инклюдия эксcludированных, т. е. попросту элиминировать чужие сообщества из их куль-

³⁵⁷ Luhmann N. Systemtheorie und Protestbewegungen // Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen. 1994. S. 61.

³⁵⁸ Конечно, это различие образует наблюдательную оптику исследователя протеста и в этом качестве является его и только его инструментом (конструирования теории протеста). Сами протестующие, как и другие наблюдатели (массмедиа, политика, интеллектуалы) не обязаны ей пользоваться, а могут применительно к наблюдению протесту использовать моральные различия зла/добра (и т. д.) или временные дистинкции современности/архаичности и т. д.

турной среды. Но поскольку они и сами оказываются эксклюдированными, то сталкиваются с неразрешимым парадоксом, требующим самоликвидации.

Этот парадокс разворачивается в обществе, где многие идеи экстремистского протеста одобряются (как идея), но не одобряются (как метод решения) одновременно.

3. Гипотеза «заместительной пораженности»

Элиминация дисперсивного порядка (в рамках которого исключенный обрекался на одиночное существование на периферии и гибель) в конечном счете приводит к тому, что самые разные разочарования³⁵⁹, всякий маргинальный, даже патологический интерес – способны к образованию соответствующего сообщества. Причем в современных условиях именно Интернет и социальные сети оказываются главным средством инклюзии эксклюдированных.

Этот парадокс затем разрешается различием на «пораженных в правах» (жителей третьего мира, фавел, голодающих, русских, афроамериканцев, подвергшихся оппрессии женщин) и их «идейных представителей».

«Пораженность» в этом смысле предстает лишь темой протеста (т. е. предметом коммуникативного обсуждения, языковым артефактом), а не переживается сознанием протестующих как реальность внешнего мира участников протеста, т. е. в каком-то смысле является симулякром. Это означает, что протестная тема лишь презентует – коммуникативно препарированный – внешний мир участников протеста, который не может быть удостоверен в своей реальности при помощи переживания реальной травмы³⁶⁰.

Исследовать протест, согласно этой гипотезе, значит эксплицировать механизмы конструирования и коммуникативные источники таких «заместительных переживаний» чужой травмы, правовой и иной пораженности чужим решением. Конечно, в качестве таких источников можно всегда указать на массмедийные репортажи из «очагов страданий» и социологические нарративы «включенного наблюдения» в сообщества страдающих (и прочей семантики знания-свидетельства, знания в «зонах обмена»).

³⁵⁹ Заместительная тематизация страдания образует ядро коммуникативной системы протеста. Но оно не включает и латентных саморазочарований. Тот, кто не инкорпорирован в наличные системы (плохо, или наоборот, чрезмерно образован, кому закрыты карьерные перспективы, кто не ладит с коллегами и т.д.), тот свое разочарование в инклюзии способен выдавать за представительство чужого разочарования, и этим инклюдируется в систему протеста.

³⁶⁰ Это отличает протестную систему коммуникации от традиционных систем, где абстрактные коммуникативные медиа (власть, деньги, истина, любовь), как центры кристаллизации системной коммуникации, способны апеллировать к «телесным», «физиологическим» формам удостоверения своей значимости (соответственно насилию, потреблению, восприятию, сексуальности); т. е. могут обеспечивать непосредственный доступ к переживаниям реальности внешнего мира сознанием, а не только коммуникативным обсуждением [Бараш 2017, 132]. Здесь проявляется как сила, так и слабость протеста, поскольку протестные темы способны безудержно инфляционировать, реализовать механизмы положительной обратной связи, лавинообразно захватывать общественное внимание (прежде всего в массмедиа, но также и ангажировать правовую систему). Никакие телесно-физиологические механизмы контроля коммуникации не останавливают этот поток, поскольку никто не знает фактической степени и распространенности мужской оппрессии, а если даже такие исследования и провести, никто из участников протеста (и сочувствующих ему сообществ) не знает (не чувствует, лично не переживает) степени истинной травматизации (невротизации), к которым она приводит. Но в этом же состоит и слабость протеста, поскольку, достигнув некоторого инфляционного потолка, протестная тема начинает «наскучивать» и утрачивает «новизну». Ее, безусловно, начинают «подавать» и «продавать» другие коммуникативные системы, прежде всего массмедиа, в виде сектора «развлечений» в романах и сериалах, но эта коммуникация уже перестает быть «протестом».

Но все это тем не менее не объясняет неожиданное появление протеста, поскольку такие «описания» и «самоописания» «страдающих сообществ» появились задолго до того, как возникла специфическая чувствительность к чужому страданию, не замыкающаяся внутри сознания сострадающего, но получающая коммуникативную и интегративную силу, захватывающая и организуемая массы, способная накапливаться как специфическая энергия и приводить к социальному «кипению», если не к взрыву. Это обстоятельство объясняет наша следующая гипотеза.

4. Гипотеза социального страха

Очевидно, что мотивации «сострадания» к чужой «пораженности» было бы для такой организации недостаточно. Должен был быть подключен дополнительный социальный мотив или социальная эмоция, которую мы, вслед за Луманом, назовем «социальным страхом».

Никлас Луман использует английскую языковую интуицию и различает две составляющие социального страха: *anxiety* и *worry* [Luhmann 1994, 58], соответственно как имеющий конкретную причину ситуативный испуг и как некую перманентную встревоженность с нефиксированным источником. Несколько модернизируя Лумана, будем понимать последнюю как некую общую меру энергии, постоянно подпитываемую и накапливаемую посредством конкретных преходящих страхов. Чтобы эта энергия не рассеивалась³⁶¹, очевидно, требуются ее «не психические формы проявления» в виде, с одной стороны, постоянной коммуникативной тематизации предмета страхов, а с другой – механизмов социальной памяти как некоего накопителя социального страха.

5. Гипотеза разрешенного «социального страха» как аутопоэтического механизма обсуждения коммуникативной темы и нейтрализации социальных рисков

Исходя из вышеприведенных соображений, мы формулируем гипотезу, согласно которой мотивы и эмоции, движущие протест, должны пониматься в социальном (заместительном), а не психологическом смысле. Имея в виду первоначальную этимологию «мотива», будем понимать такой социальный страх как некую социальную энергию, движущую группами протеста. Именно благодаря такой способности испытывать страх за другого становятся возможными – почти немислимые на уровне индивидуальной психики – перманентные накопление и транспортировка страхов от одного к другому участнику движения, а также нейтрализация и преодоление глубоко укоренившейся традиционной установки, запрещающей мужчинам демонстрировать страхи.

Нейтрализация табу на мужской страх и нормализация социальных страхов призвана уменьшить социальные риски и конфликты. Именно эта «добавочная»³⁶² эмоция заместительного страха делает возможным интеграцию больших протестных сообществ. Именно страх по причине его эмоциональ-

³⁶¹ Психические эмоции дисперсивны в силу специфического устройства человеческого сознания, с одной стороны, не допускающего симультанного процессирования параллельных переживаний, но тотчас замещающего одно переживание другими переживанием, а с другой – в силу конструктивности и недостаточной емкости индивидуальной психической памяти.

³⁶² Добавочная к озвученным выше факторам «всеобщей инклюзии» и особой семантики наблюдения мира и общества через различение *своего поражения/чужим решением*.

ной силы, несопоставимо более мощной в сравнении с другими эмоциями, согласно нашей гипотезе, выступает аутопоэтическим механизмом, который делает возможным «накручивание» и социальное «возбуждение», как следствие – заинтересованное обсуждение.

Изучать протест, согласно этой гипотезе, значит выявлять конкретные механизмы накопления страхов и коммуникативные уровни «передачи страха» (интерактивные, массмедийные, социально-сетевые, научно-популярные и т. д.). Требуется ответ на вопрос и о том, существуют ли (и насколько эффективны?) системные, в особенности политические, механизмы нейтрализации страхов (потеря массмедийного интереса? переключение общественного внимания на другие темы и страхи?).

6. Гипотеза «экстрасистемного» характера протестного движения

Согласно этой гипотезе, протестное движения не способно к образованию внутри себя классических «организаций», и поэтому не может осуществлять систематического наблюдения «второго порядка»³⁶³, формулировать консистентную протестную программу, и вынуждено вместо этого апеллировать к моральной коммуникации, которая не требует от себя того, чтобы «войти в систему» и сделать лучше (= все испортить изнутри). Экологическое правительство, придя к власти и образуя коалиции в результате партийной самоорганизации движения, как видно на примере Германии, превращается в правительство политическое и вынуждено решать политические, а не экологические проблемы. Собственная функция протеста состоит в осуществлении самоописаний общества из несистемной, не политической перспективы.

В этом смысле исследовать протест – значит выяснять степень готовности участников движения интегрироваться в наличные политические и иные системные организации или создавать собственные формальные классические организации. Именно это докажет устойчивость конкретных форм протестного движения.

Феноменология протеста. Протест как неорганизованная организация и неинституционализированный институт

Что же представляет собой протест и радикализм фактически и субстанциально? Представляют ли они собой интерактивную ризоматическую сеть или форму коллективного действия? Является ли такое коллективное действие следствием изменения коллективного сознания и, как следствие, должно рассматриваться как производное от множества девиантных мнений и полаганий? Следует ли рассматривать протест как новую разновидность политического конфликта? Можно ли понимать протест как форму коллективного творчества или его можно истолковывать как новую форму укоренения новообразованных и трансформации устаревших институтов?

Можно ли усмотреть в протесте некую обновленную форму реализации так называемого гражданского общества?

³⁶³ В коммуникативных макросистемах за эту функцию рефлексии, системного самоописания и внутрисистемной критики отвечают специальные инстанции. В науке – разного рода институты исследования науки (в рамках философии, социологии, науковедения и т. д.), в политике эту роль берут на себя формально-организованные оппозиционные партии, даже в религии есть рефлексивная инстанция – теология.

Отрицательно отвечая на эти вопросы, мы полагаем существенной и радикально новой чертой протеста его характер не институционализированной, не организационной, не политической, экстрапарламентской формы решения (= генерирования) общественных проблем. При этом его коммуникативную функцию мы связываем с возможностями преодоления системных границ (наблюдения) традиционных социальных макросистем (политики, науки, экономики) как наблюдателей первого порядка, неспособных наблюдать свойства и характер собственного наблюдения и фиксировать собственную наблюдательную ограниченность.

Протест как символический медиум коммуникации и теоретическая рамка его рассмотрения

Производство и распространение радикальной протестной коммуникации является серьезным вызовом современному обществу. При этом понимание причин формирования радикальной протестной идеологии³⁶⁴ представляет и теоретическую проблему. Ее осмыслению препятствует очевидный дефицит социально-философской рефлексии протестной коммуникации, которая все еще воспринимается как некая аномалия, девиантность или аномия, т. е. как нечто ненормальное, асоциальное и в этом смысле – парадоксальное; как нечто, что сущностно характеризует современное общество, но одновременно является чем-то внешним и противостоящим последнему.

Появление радикального протеста в 1960-е гг. не укладывается в традиционные рамки социальной теории. Такая радикализация не объясняется функционалистскими подходами к коммуникации, интерпретирующей ее «катализ» через ряд символических медиа ее распространения (власть, веру, деньги и т. д.)³⁶⁵.

Не укладываются новые формы протеста и в концепт коммуникативного дискурса, рациональность которого принято³⁶⁶ выводить из ресурсов самого «чистого» языка, будто бы способного препятствовать внешней экспансии «чуждых» ему, так называемых инструментальных (прежде всего административных и хозяйственных) мотиваций. Но протестная коммуникация также ангажирована и мотивирована собственной тематической фразеологией, собственным протестным языком и, будучи сосредоточена на протестном активизме и не являясь экспертной системой, не считает своей задачей предложение рационального решения обсуждающейся проблемы³⁶⁷.

Не объясняется современный протест и современными неоутилитаристскими подходами, интерпретирующими новые формы общения ссылкой на

³⁶⁴ Начало формы современного системного (т. е. регулярно воспроизводящегося, а не эпизодического) протеста принято датировать 1960-ми гг.

³⁶⁵ *Вера, истина, деньги, любовь, власть* в рамках данного подхода выступают «катализаторами» общения в том смысле, что выступают «триггерами» специфических *реакций* на определенные предложения смысла (скажем, предъявление некоторого предложения с притязанием на истину, распоряжения с притязанием на коллективную обязательность и т. д.), но сами в этих реакциях не расходятся, а продолжают мотивировать дальнейшие систематические ответы на специфические коммуникативные акты (см.: *Луман Н.* Власть. М., 2001. С. 11).

³⁶⁶ *Habermas J.* *Protestbewegung und Hochschulreform.* Frankfurt am Main, 1969.

³⁶⁷ К примеру, при постулировании идеи о необходимости отказа от атомной энергии рациональное обсуждение того, что должно сменить атомную энергетику, дефинитивно выходит за рамки протестного дискурса. В этом смысле собственный, а не заявляемый мотив протеста остается «слепым пятном» протеста и даже запрещен к обсуждению как ослабляющий силу протеста. Это, безусловно, несколько девальвирует рациональность протеста в сравнении с «системными типами рациональности». Скажем, в науке принято рефлексировать и тематизировать «научность» и ее границу с «ненаучностью». И сама эта граница представляет собой значимую тему научного исследования.

возникающие таким образом ресурсы, способные максимизировать индивидуальную или коллективную «прибыль» и минимизировать издержки³⁶⁸.

Новые типы самоорганизации базируются на новых коммуникативных медиа и технологиях (в том числе социальных), ранее недооцениваемых социальными теоретиками. Объяснение генезиса и динамики систем нового типа, а именно протестных движений, оказалось невозможным в рамках анализа отдельных дисциплин (эмпирической социологии, социальной психологии и т. д.), поскольку это объяснение требует комплексного, междисциплинарного, системного анализа и связано со специфичной функциональной системой, использующей особые коммуникативные медиа и «программы»³⁶⁹, которые и программируют коммуникативный успех.

Таким средством гарантировать успех или признание того или иного «самовалидированного» или самоценного коммуникативного акта является, например, критика или протест. Подобная программа предстает в виде некоторого списка контрфактических алгоритмов или суждений³⁷⁰.

Иными словами, сам протест как мотивационный центр и тема коммуникации еще не определяет то, как следует протестовать (подобно тому, как истина – мотивационный центр и символический медиум научной коммуникации – еще не определяет, каковы условия соответствующей коммуникации, что следует считать истинным, а что ложным). Экспликация протестных программ есть важнейший шаг на пути коммуникативного исследования протеста.

Такие программы обеспечения коммуникативного успеха и нейтрализации рисков отклонения запросов на контакт сами по себе до некоторой степени имеют валюативно-нейтральный характер, в том смысле, что могут порождать как позитивные и модернизационно-ориентированные инновации, ожидания и новые формы самоорганизации, так и способствовать распространению деструктивных идей. Поэтому важнейшей исследовательской задачей становится методологически обоснованное различие (по символическим медиа, генезису, типам дискурса и т. д.), с одной стороны, радикальных и экстремистских форм, а с другой – новых форм политического участия и самоорганизации, ориентированных на реальные общественные перемены и модернизацию.

Ресурсно-мобилизационный vs структурно-критический подходы к объяснению протеста: political opportunities / structural problems

Мы не сможем решить поставленные задачи (различения «приемлемого/неприемлемого» протеста и соответствующих «приемлемых/неприемлемых» программ протестной коммуникации), не ответив на

³⁶⁸ Отказ от индивидуальных калькуляций в логике «прибыль/издержки» критериально характеризует протестную коммуникацию, если, конечно, «страдание за другого» не рассматривать как специфический способ получения индивидуальной «прибыли». Но тогда любую форму боли или дискомфорта мы можем истолковывать как форму мотивирующей графикации. Об этой парадоксальности неопутиларистского объяснения см.: Йоас Х., Кнебель В. Социальная теория. 20 вводных лекций. СПб., 2011. С. 143.

³⁶⁹ Подробнее о коммуникативно-системном программировании см., к примеру: Луман Н. Истина, знание, наука как система. М., 2016. С. 117–118.

³⁷⁰ Речь идет о суждениях, контрфактических по типу «если А, то В». Например, если некоторый Alter (участник протеста) алармирован некоторой темой, то некоторому Ego следует выражать коммуникативное сочувствие (или переходить в стан противников, третьего не дано) и переходить к следующему шагу программы. На втором шаге может программироваться деятельностное участие в протестной коммуникации, определяться личный вклад или степень приверженности (т. н. commitment) протестной борьбе и т. д.

классический социально-теоретический вопрос о гипотетической связи макросистемной каузальности (по типу: «протестантизм порождает капитализм», «капитализм порождает современную науку и технику») и фактических социальных причинных связей (по типу: «психический мотив генерирует социальное действие, коммуникативный акт рождает коммуникативный ответ»)³⁷¹.

Применительно к протесту это предстает в виде следующей проблемной дилеммы:

1. Делают ли макроструктурные деформации (скажем, исчезновение традиционных социальных институтов или профессиональных отраслей) или, напротив, позитивные макроизменения (увеличение свободного времени, новые виды дохода и т. д.) возможным коллективный протест и появление специфических протестных мотиваций: прежде всего, таких новых видов алармизма, как страх потери идентичности (женской, национальной, культурной и т. д.), страх экологических катастроф и т. д.?³⁷²

2. Или, напротив, аккумуляция массивов индивидуальных протестных акций является причиной макроизменений – кристаллизации новой коммуникативной системы протеста, в свою очередь, воздействующей и на традиционные макроструктуры (капиталистическую экономику, либеральную политику, экспертно-замкнутую науку), ограничивающей их автономию, если не произвол?

Эта фундаментальная проблема взаимной детерминации «система/коммуникация» по-разному решается в рамках двух конкурирующих подходов к исследованию протеста: структурно-критическом³⁷³ и ресурсно-мобилизационном³⁷⁴.

³⁷¹ Ответ на эту проблему в рамках неопутилитаристского дискурса см.: Coleman J. Weber and the Protestant Ethic. A Comment on Hernes // Rationality and Society. 1989. No. 1. P. 291–294. В нашей интерпретации схему см.:



³⁷² Здесь укажем, что алармизм (страхи и опасения) является не психологической, но скорее социальной диспозицией, поскольку объединяет сообщество «боящихся» и «страдающих» за Другого (к примеру, за голодающих в Африке, безработных в США и т. д., при том что сами члены сообщества, очевидно, не голодают и не являются безработными). Страх как «преходящий» психологический мотив (в его отличии от страха как социальной установки) не способен аккумулироваться до некоторого критического, или порогового, значения и если и «выходит» за пределы психики в форме «общественной истерии» (в интерпретации Дюркгейма), то даже в такой форме недолговечен, и, значит, не является «социальным фактом» (в интерпретации того же Дюркгейма), и не может детерминировать социальные трансформации.

³⁷³ *New Social Movements Approach* представлен в работах А. Турена, Э. Лаклау, Ш. Муффа, К. Оффе, И. Валлерстайна, М. Кастельса. Основная идея данного подхода состоит в том, что некий слабо организованный «новый средний класс» приходит на смену хорошо организованному (в профсоюзы, партии) «нижнему, подавляемому классу». При этом основными «агентами» протеста выступают не члены

С точки зрения ресурсно-мобилизационного понимания протестной активности в случае кризисной ситуации можно «играть на понижение». Общий экономический, социально-политический и культурный кризис ухудшает положение соответствующего истеблишмента, традиционных институтов, организаций, включая все формы представительной и делиберативной демократии, на которые накладывается ответственность за неисполнение их «патерналистских» функций.

Это увеличивает шансы новых «организаций» и «форм социальности», которые и образуют ресурс для их лидеров в достижении успеха встраивания в наличные структуры общества (должностные иерархии во всех сферах – хозяйстве, политике, науке, церкви, массмедиа). Вспомним, что Йошка Фишер именно благодаря электоральной поддержке экологического движения получил пост вице-канцлера в правительстве Германии.

Итак, с одной стороны, именно структурные деформации на макроуровне (утрата авторитета классических форм представительства и традиционных институтов вследствие разного рода кризисов) позволяют реализоваться (и в этом смысле являются причинами) калькулирующему индивидуальному поведению участников (и особенно лидеров) протеста на микроуровне. С другой стороны, макро-микро детерминация проявляется в том, что капиталистическая макро-структура общества, и прежде всего господство инструментально-ориентированных средств достижения успеха (в интерпретации Ю. Хабермаса, через образование, массмедиа, семейную интериоризацию ценностей), генерирует соответствующие установки личности. А эти установки, в свою очередь, каузально порождают соответствующие действия³⁷⁵.

Противостоящий подход, в свою очередь, исходит из тезиса о том, что структурные деформации и проблемы общества (в первую очередь связанные с местом протестующего агента в экономическом производстве и распределении) каузально воздействуют на психику (через разочарование, депривации и поиски действенного выхода ради преодоления этих психических состояний).

организации, а «сочувствующие». Цели и задачи такого рода движения состоят не в экономических и социальных изменениях, а в защите (изменении) образа жизни, типов идентичностей, культуры и природы. Члены этого нового класса испытывают депривационные травмы, связанные со структурными деформациями, и протестуют в «неорганизованной» форме.

³⁷⁴ Странники данного подхода (как пример, см.: *McAdam D., McCarthy J.D., Zald M.N. Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings. Camb., 1996. P. 141–151*) рассматривают протестные организации как своего рода квазиэкономические институты, вступающие в конкурентные отношения за ресурсы с другими институтами. Индивид калькулирует выгоды и принимает рациональное решение в пользу участия в протесте как особой мобилизационной активности, ведь это в перспективе обеспечит ему карьерный рост, ведущие должности и соответствующее обеспечение.

³⁷⁵ Уже на этом очень абстрактном уровне анализа в данном подходе выявляются несообразности. Так, в нем очевидно существует некоторый разрыв каузальной связи от микро- к макроуровню, где индивидуальные действия каким-то образом должны были бы детерминировать макротрансформации. Какие-то действия должны были бы каким-то образом аккумулироваться (наподобие массивов экономических действий, мотивированных установкой внутримировой аскезы, которые и привели, по мысли М. Вебера, к возникновению капиталистического хозяйства) и генерировать современные хозяйственные и административные институты. Но конкретные механизмы этой микро-макро-связи между инструментально-ориентированными действиями и трансформацией современных институтов остаются мотивационно не проясненными. Скажем, неясно, будет ли некоторый действительный стремиться реформировать административную систему, если он уже занял в ней некоторую ведущую позицию? Здесь в качестве гипотезы можно предположить, что такая дисфункциональность (каузальная автономность макроинститутов, прежде всего высших госорганов) от инструментально-ориентированных индивидуальных действий вызывает к жизни неинституциональные формы активизма и протеста.

Именно эти психологические состояния затем мотивируют участвовать в протестной активности. Но и здесь возникает проблема разрыва фактической каузальности, ведь вовсе не те, кто фактически страдает и соответственно депривирован, участвуют в протестной деятельности и мотивированы трансформировать макроинституты.

В то же время этот разрыв причинной связи «мотивация/действие» на нижнем этаже каузальной схемы хорошо объясняет очевидную системно-коммуникативную автономию протеста, т. е. то обстоятельство, что появившийся однажды протест уже невозможно нейтрализовать извне при помощи некоторой инструментально-рациональной калькуляции, скажем, перераспределением ресурсов в пользу представителей тех или иных движений или сочувствующих; его нельзя «купить», запретить или «запугать», т. е. применить инструментальные (экономические и административные) медиа, поскольку сами голодающие и страдающие от несправедливого распределения ресурсов как раз и не являются его участниками. Реальная потребность (травма, голод, недореализация, невостребованность и непризнанность) репрезентирована лишь символически, но не переживается «реально» агентами протеста.

Феноменология протеста в коммуникативном измерении и его теоретическая концептуализация

Большую или меньшую ясность в определении границ протеста как системы коммуникации можно получить в пространственно-временном, предметном и коллективно-личностном измерении этого явления³⁷⁶: относительно четко определяется конкретное время и место концентрированной протестной коммуникации (митинги, демонстрации, публикации, заседания); известен стандартный реестр тем или предметов протестной коммуникации; в каждом случае хорошо определено «сообщество рекрутированных» и соответствующее «сообщество-враг».

При всей эмпирической определенности этого феномена границы протеста как системы коммуникаций, безусловно, остаются размытыми (например, непросто определить, принадлежит ли общее возмущение некоторым политическим решением в автобусе или такси функциональной системе протеста). Другими словами, непросто определить, локализован ли протест на уровне «организаций» и «массмедийной коммуникации»? Или же интерактивные высказывания face-to-face тоже следует относить к протестной системе? Далеко не всегда можно обнаружить интегрированное «сообщество-враг», которое бы противостояло движению протеста в виде реальной группы или коллектива.

Означенные три формы коммуникативного измерения абстрактного «пространства протеста» позволяют рассмотреть реестр ряда эмпирически фиксируемых типов по основаниям «тема/сообщество/враг»:

– ухудшение экологии / экологическое движение / конкретное предприятие или отрасль промышленности;

³⁷⁶ Соответствующую методологию см.: Антоновский А.Ю. Социоэпистемология. О пространственно-временном и коллективно-личностном понимании общества. М., 2011.

- гендерное неравенство / феминизм / мужчины;
- расовая дискриминация / антирасовые выступления / WASP;
- ультраправая идеология / антифашизм / неонацисты;
- государственный произвол / движение правозащитников / чиновники;
- локальное обнищание / антиглобализм / международные корпорации;
- неолиберализм / движение коммунитаризма / идеология индивидуализма;
- мировая конъюнктура / движение фермеров / сельхозкорпорации;
- сексуальная дискриминация / ЛГБТ-движение / традиционалистские ценности;
- «пиратское» движение / приватизация публичных благ / правообладатели;
- гонка вооружений / движение за мир / ВПК;
- образовательная политика / студенческое движение / профессура и менеджмент образования;
- безработица / движение безработных / работодатели;
- отсутствие социальных лифтов / молодежные субкультуры / устоявшаяся социальная структура;
- голод и бедность в развивающихся странах / движение в поддержку стран третьего мира / мультипликаторы универсальной культуры (США и т. д.);
- национализм / пренебрежение к национальным идентичностям / иммигранты.

Таким образом, можно говорить о некотором единстве в понимании таксономии протеста. Хотя, безусловно, существует и региональная специфика протестных движений. Так, в России имеет место уникальное движение протеста, предметно кристаллизующееся вокруг темы недофинансирования научных исследований³⁷⁷.

Функционально-каузальный и субстанциональный уровень анализа протеста

Но если от уровня эмпирической фиксации в пространстве означенных измерений (тематического, пространственно-временного и социального) перейти к теоретическому (функциональному и каузальному анализу), если попытаться разобраться в нормальных и аномальных формах протестного движения, то очевидными станут значительные теоретические трудности.

Среди исследователей не наблюдается единства в определении функции протеста, что, конечно, может означать и отсутствие такой функции. Но и этот тезис требует обоснования. При этом в качестве функций протеста могут предлагаться прямо противоположные: защита традиционных ценностей и внедрение и нормализация новых ценностей. Интересно определить, что же представляет собой протестное движение субстанционально: является ли оно инте-

³⁷⁷ Своеобразно и то, что форма научного протеста не является единым сообществом, но сама, согласно введенным выше критериям-измерениям, распадается на слабо координирующиеся между собой типы. Речь идет об *интерактивно-ориентированном* типе движения, к которому, прежде всего, можно отнести *Общество научных работников*, лишенное жестких организационных структур; жестком и наиболее консервативном, *организационно связанном* правилами членства виде протестного движения (*Профсоюзы организаций РАН* и других научных образовательных учреждений); *системно-организованных* формах протеста, прежде всего на уровне коммуникативной системы массмедиа (телевидение, интернет-вещание, газета), к которым можно отнести газету *«Троицкий вариант»*, и, наконец, *социально-сетевом* типе научного протеста – сообществе *«Диссернет»*.

рактивной ризоматической сетью или формой коллективного действия? Или, напротив, коллективное действие является вторичным следствием изменения коллективного сознания, и, значит, движение должно рассматриваться как производное от множества девиантных мнений? Может быть, не следует считать протест какой-либо принципиально новой формой социальности, а рассматривать его как некую разновидность политического конфликта? Или протест является собой форму коллективного творчества, высвобождаемого благодаря появлению новых медиа коммуникации? Или же протестное движение можно концептуализировать как новую форму укоренения новообразованных и трансформации устаревших институтов? Нужно ли рассматривать протест как некий ресурс в борьбе традиционных элит или все-таки признать – как существенную и радикально новую черту протеста – его качество не институционализованной, не организационной, не политической, экстрапарламентской формы решения общественных проблем? Можно ли усматривать в протесте некую обновленную форму реализации так называемого гражданского общества? Состоит ли его функция в преодолении системных границ (наблюдения) традиционных социальных систем (политики, науки, экономики) как наблюдателей первого порядка, неспособных наблюдать свойства и характер собственного наблюдения и фиксировать собственную наблюдательную ограниченность (слепое пятно наблюдения)? Или, может быть, в движениях протеста, наконец, обнаруживаются те самые коллективы – носители солидарности (ее тщетно искал Дюркгейм для сообщества, которое как реальная группа или коллектив выступало бы искомым носителем органической солидарности)? При этом не исключается возможность и того, что функция протеста отвечала бы некоторой комплексной задаче, состоящей в комбинации двух, трех или большего числа вышеперечисленных характеристик.

Практически каждая вышеозначенная теоретическая возможность интерпретации протеста находит своего адепта. Так, Аллен Турен рассматривает движение протеста как коллективное усилие по культурной легитимации новообразованных норм и ценностей при обязательном условии наличия противников таковой легитимации³⁷⁸. Чарльз Тилли усматривает функцию протеста в возможности выдвижения коллективных требований к целевой аудитории, прежде всего к официальным лицам, требований, которые получают некоторую дополнительную поддержку в виде соответствующих «перформансов» (митинг, медиа-публикация, демонстрация)³⁷⁹. Герберт Блумер видит в протесте некое «коллективное предприятие с трансформационной функцией», вызванное «неудовлетворенностью порядком жизни»³⁸⁰ и призванное изменить этот порядок (но почему возникает означенная «неудовлетворенность»?). Мануэль Кастельс рассматривает протест как «целеориентированное коллективное действие» в рамках «сетевого общества» с функцией изменений «ценностей и институтов» в том числе посредством «информационной герильи»³⁸¹. Рон Айерман и Эндрю Джеймисон понимают функцию протеста как источника «импульса для коллективного творчества по формированию и предложению в распоряжение более

³⁷⁸ Touraine A. An introduction to the study of social movements // *Social Research*. 1985. Vol. 52. № 4. P. 749–787.

³⁷⁹ Tilly C. *Social Movements, 1768–2004*. L., 2004.

³⁸⁰ Blumer H. *Collective Behavior // Principles of Sociology*. N. Y., 1969. P. 99.

³⁸¹ Castells M. *The power of identity*. Oxf., 1997. P. 3.

широкого сообщества идентичностей и идеалов»³⁸². С точки зрения Дэвида Мейера, протест необходим как ресурс для оппозиции, использующей дополнительные – внеинституциональные – формы давления, выступающие в виде неожиданно открывающихся для нее перспектив (political opportunities)³⁸³. Альберто Мелуччи, некоторым образом солидаризируясь с Хабермасом, утверждает, что протестное движение порождает новые формы солидарности и «коллективные идентичности», призванные сломать границы тех систем³⁸⁴, против которых осуществляется этот протест.

Разбирая эти определения, нетрудно заметить, что исследователи часто не уделяют внимания методологическим вопросам социальной теории, рассматривают это движение как бы само по себе, не различая родовых и видовых определений, функций от причин, видов протеста от форм их проявления, рассматривают протест, не вписывая его в более глобальную теорию общества.

Мы, напротив, пытаемся представить социальную теорию протестного движения в рамках широкого коммуникативного подхода и рассматриваем протест как специфический вид коммуникации, локализованной на общеобщественном уровне – более абстрактном, нежели уровень организаций (с уставными правилами членства и соответствующими прерогативами) и уровень интеракций (простейших коммуникативных систем, предполагающих личное общение face-to-face).

В этом смысле ни взаимное выражение недовольства, ни формально организованная активность не являются (или, по крайней мере, не исчерпывают это понятие) протестом в нашем понимании этого движения. Для коммуникативной интерпретации протеста обратимся к ключевым понятиям системно-коммуникативной теории.

Протестное движение: самореференция, самовалидация, аутопоэзис

Коммуникативная теория протеста исходит из недостаточности тривиальных каузальных объяснений, где тот или иной социальный феномен или факт может быть объяснен как следствие ряда предшествующих событий, рассматриваемых как его причины. Но всякое событие, при необозримом множестве его условий, является в высшей степени невероятным, и ссылка на некоторое «предшествующее» («существенное», «достаточное», «необходимое») явление представляла бы в виде произвола наблюдателя, исчисляющего каузальность, и в этом смысле была бы избыточным редуccionизмом³⁸⁵.

Дистинкция «причина/следствие» есть всего лишь наблюдательный инструмент, помогающий упорядочить и систематизировать социальную фактуру, но ведь и сама эта дистинкция выступает причиной систематизации и упорядочения социальных фактов. И если с ее помощью удастся достичь успеха в систематизации социальных фактов в рамках теории и, значит, этот инструмент

³⁸² Eyerman R., Jamison A. Social Movements. A Cognitive Approach. Camb., 1991. P. 3.

³⁸³ Meyer D.S. Protest and political opportunities // The Annual Review of Sociology. 2004. Vol. 30. P. 125–145.

³⁸⁴ Melucci A. The symbolic challenge of contemporary movements // Social Research. 1985. Vol. 52. № 4. P. 789–815.

³⁸⁵ Для описания социальных событий, которые воспроизводятся как некая система *causa sui* («собственные значения»), отдельные авторы привлекают аппарат рекурсивных математических функций. См.: Антоновский А.Ю. Никлас Луман. Эпистемологическое введение в теорию социальных систем. М., 2007. С. 11–14.

систематизации подтверждает свою валидность, то его приходится уже рассматривать как следствие, или производную «объективной фактуальности» социальной реальности.

Это общее методологическое замечание подводит нас к тому, чтобы рассматривать такую форму социальности как протест, основываясь на индетерминистской концепции аутопоззиса, с точки зрения которой протест выступает причиной самого себя, как самовоспроизводящаяся система коммуникаций. При этом зависимость от внешних факторов оказывается достаточно произвольной (в том значении понятия произвольности отношения означаемого и означаемого, которой придавал ей Ф. де Соссюр).

Такое определение протеста предлагает, например, британский исследователь Христиан Фухс. Он пишет о том, что «может не существовать каких-то специальных социальных условий (таких, как депривация или ресурсная мобилизация), которые автоматически приводят к возникновению протеста. Появление социальных движений не определяется влиянием какого-то одного фактора, но представляет собою сложный результат кризиса, ресурсной мобилизации, когнитивной мобилизации, самопроизводства. Тогда как поиск сингулярных законов возникновения движения – это выражение одномерного, линейно детерминистского мышления»³⁸⁶.

Из цитаты видно, что радикальный протест может быть спровоцирован даже самым незначительным событием-триггером, и, напротив, фундаментальные структурные деформации (влекущие личные депривации и социальное недовольство) могут и не породить протестной активности. Он – причина самого себя в том же смысле, в каком всякая форма коммуникации, образующаяся в ходе дифференциации функциональных систем, не имеет внешних причин, а должна рассматриваться в эволюционном смысле, как реализация представляющейся эволюционной возможности, а не как функциональный ответ на вызов. Лишь сама протестная коммуникация порождает протестную коммуникацию.

В этом смысле то, что принято называть «социальными проблемами», в каком-то смысле является не причинами, а следствиями протеста, который «высвечивает» и «обостряет» (и в этом состоит «катализационная» функция протеста) то, что само по себе никогда бы не стало центром общественного обсуждения³⁸⁷.

Система политической коммуникации (впрочем, как и ранее утвердившиеся формы коммуникации), с одной стороны, и протестная коммуникация, с другой, находятся в структурном сопряжении³⁸⁸. Это значит, что событие в некоторой одной сфере (распоряжение власти, строительство предприятия), являясь элементом некоторой данной системы (и событием в ее истории) коммуникаций, одновременно представляет собой вызов и событие-триггер в рамках другой системы при том, что обе эти коммуникативные системы сохраняют взаим-

³⁸⁶ Fuchs Ch. The Self-Organization of Social Movements // Systemic Practice and Action Research. 2005. Vol. 19. № 1. P. 111.

³⁸⁷ Japp K.P. Selbsterzeugung oder Fremdverschulden. Thesen zum Rationalismus in den Theorien sozialer Bewegungen // Soziale Welt. 1984. № 35. S. 313–329.

³⁸⁸ О понятии структурных сопряжений, или сцеплений, см.: Антоновский А.Ю. Наука как общественная подсистема. Никлас Луман о механизмах социальной эволюции знания и истины // Вопросы философии. 2017. № 7. С. 156.

ную системную автономию – в том смысле, что всякий акт, например, экологической коммуникации (митинг, протестная публикация, демонстрация) «подсоединяется» не к коллективно-обязательному политическому решению (разрешению на ее проведение или, напротив, запрету), а к предшествующей экологической коммуникации и учитывает ее будущее перспективы.

Коммуникации в рамках политических, экономических, научно-технических систем, в свою очередь, автономны, хотя и тематизируют в своих независимых обсуждениях экологически значимые явления (и, конечно, сами остаются темами экологической протестной коммуникации).

В этом смысле вытекающее из структурного сопряжения понятие темы протеста³⁸⁹ как точки его кристаллизации, понимаемой как некий не причинный фактор (ведь она генерирует протест и сама является производным следствием протеста), видимо, следует считать ключевым маркером всей протестной активности.

Протест как манифестация реальности в наблюдении других коммуникативных систем

Реальность внешнего мира представлена в коммуникациях в виде тем. Темы замещают реальность, но не являются ею, ведь коммуникация всякой темы остается коммуникацией. Но в этой дистинкции «тема/реальность» нет жесткой корреляции между образуемыми сторонами. Реальность такова, какова она есть, а темы зависят от специфической наблюдательной перспективы, внимания, интереса и настроения наблюдателя. Тем не менее именно и исключительно темы манифестируют реальность, отсылают к реальности, если последнюю понимать не онтологически, а в смысле Мангейма, как «опыт сопротивления», с которым вынуждены считаться другие коммуникативные системы, и не в последнюю очередь система политики.

Темы, которые поднимает протестное движение, как бы подменяют собственно природу и людей, которые в нормальном случае (если они не попадают в наблюдательный сектор протеста) политика бы просто не замечала по причине свойственного и ей самореференциального аутопоэтического устройства: ведь ключевым интересом в принятии коллективно-обязательного (т. е. политического) решения является не внешний мир политики (люди, экология), а внутренние политические резоны – прежде всего необходимость учитывать условия переизбрания, переназначения, карьерные перспективы, «ранее принятые» и «выше принятые» распоряжения.

Этот свойственный политике наблюдательный дефицит восприятия реальности, собственно, и компенсируется протестом, заставляющим считаться с отобранными им темами и не позволяющим политике замкнуться в ее волюнтаризме и позитивных самооценках, когда результаты всех политических решений представляются в самоописаниях политической системы как исключительно успешные (как свидетельствует египетская традиция, фараоны вы-

³⁸⁹ Здесь система протестной коммуникации выказывает уникальные черты, поскольку концентрируется именно вокруг *темы* протеста, а не ориентирована на *обобщающие символические медиа-коды*, как это имеет место в классических системах коммуникации: политики, науки, хозяйства, интимности, искусства, религии (соответственно: *власти, истины, денег, любви, прекрасного, веры*).

играли все войны). То, что вследствие системных сцеплений темы протеста оказываются темой («реальностью как опытом сопротивления») в том числе и политической коммуникации, возможно, следует рассматривать как важнейшую точку кристаллизации протеста. Апеллируя к реальности протестной темы, протестная коммуникация вовсе не делегирует ее решение и рассмотрение политике, но, напротив, лишь укрепляет собственную коммуникативную автономию. Интересно, что здесь протестное движение вызывает к тем же доводам, что и наука.

Последняя, как известно, защищает свою автономию тем, что утверждает истину в своих предложениях, т. е. нечто реальное, нечто такое, с чем никакая инстанция поделаться ничем не может при всем желании. Можно административно и экономически определять выбор темы научных исследований, но нельзя определять истинностные значения научных суждений. Протестная коммуникация, в свою очередь, защищает «реалистичность» своей темы, но снабжает свои предложения не индексом истинности, а индексом опасности, тем самым указывая не столько на объективную, сколько на угрожающую природу тематизируемой реальности.

Этим, кстати говоря, она (в отличие от научной коммуникации) освобождает себя от необходимости обосновывать свои прогнозы³⁹⁰. Как и от необходимости предлагать альтернативные решения. Протест всегда формулирует «альтернативы без альтернативы»: вспомним протестные лозунги «хватит производить атомную энергию», «хватит кормить Кавказ» как стандартные примеры безальтернативного отклонения фактичности. Эти провозглашаемые в протесте темы опасности и предметы страха (опасений, алармизма), на первый взгляд, подразумевают реактивное понимание протеста, что возвращало бы нас к идее тривиальной каузальности – дистинкции следствия/причины, где социальная проблема (тема, предмет протеста) и понималась бы как его причина, а сам протест – как некое следствие – реакция – ответ на вызов. Однако, как мы покажем ниже, эта протестная каузальность имеет круговой и обратный характер.

Социальные движения и их враги: проактивная детерминация протеста

Все протестные темы выстроены по схеме «социальная проблема / решение». Однако этого решения протестующие ожидают от других систем. На первый взгляд, дело выглядит так, что именно проблема (структурная деформация, несправедливое распределение, подавление идентичности и т. д.) вызывает к жизни протестное движение. В этом и состояло традиционное реактивное понимание протестного движения. При более тщательном анализе, однако, дело предстает несколько иным. Именно то или иное решение, т. е. коммуникация по поводу некоторой темы, «поднимает», «высвечивает» и в этом смысле создает проблему. В этом состоит новое проактивное понимание протестного движения.

Конечно, заявление о том, что, скажем, движение в поддержку стран третьего мира вызывает голод в этих странах, выглядело бы странным. И все-таки это печальное явление получает каузальное значение (causal power) и мас-

³⁹⁰ Ведь даже если сбывание прогноза маловероятно, с опасным прогнозом все равно приходится считаться.

смедийный резонанс именно благодаря соответствующему движению. Используя идею Дюркгейма, можно сказать, что голод становится «социальным фактом», а значит, в каком-то смысле и «возникает» как «объективная реальность» первоначально в наблюдательной перспективе протестного движения.

И все-таки даже такое понимание проактивного характера протеста выглядит трюизмом. Однако у проактивной концептуализации движения протеста имеется и иное каузальное измерение. Движение протеста тематизирует (каузирует и конструирует) проблему, которую оно желает устранить, не только конструктивно, т. е. путем ее наблюдения в собственной перспективе, но и тем, что эскалирует ситуации и зачастую усугубляет проблему. В частности, неонацизм (как идеология, мимикрирующая под теорию), как бы негативно к нему ни относились, делает невнимание к национальным идентичностям «социальным фактом», но одновременно делает неприличной саму тематизацию национальных особенностей, тем самым эскалируя остроту данного противоречия и усугубляя проблему национальной идентичности, делая ее неразрешимой и просто недоступной для рационализации³⁹¹.

Итак, мы отказываемся от проблемно-реактивного подхода, согласно которому генезис протестного движения следовало бы объяснять отсылкой к функциональному ответу на появляющуюся задачу. Проактивный подход исходит из того, что функциональная дифференциация современного общества (и отдифференция системы протестной коммуникации как ее следствие) и генерирует проблемы, а не отвечает на них³⁹².

Фундаментализм делает зримым гомогенизацию культурной жизни, даже в каком-то смысле ускоряет ее и является не просто ее следствием, но и проявлением. В свою очередь, и альтернативные субкультуры создают трудности встраивания собственных членов в наличные системные структуры (молодому человеку с «ирокезом» труднее пройти интервью работодателя), и в этом смысле конструируют и реифицируют препятствия для самореализации своих приверженцев, и затем могут рассматривать свою активность как некий абсентеистский ответ на «объективные» препятствия для самореализации (интеграции, карьерного роста) своих адептов в рамках существующих институтов.

Именно в наблюдательной перспективе протеста интеграция затруднена и вызывает абсентеизм. В этом смысле феминистское движение представляет опрессией то, что раньше опрессией, очевидно, не считалось и в этом смысле не являлось. Требуется наблюдатель, из перспективы которого подавление, собственно, и становится подавлением (чем-то неестественным, негативным, аномальным и, в конце концов – морально предосудительным)³⁹³, а не естест-

³⁹¹ Так, обращение немецкого классика Курта Хюбнера к теме «национального» в Германии вызвало скандал. Тираж книги Хюбнера «Das Nationale» так и не был реализован. Напротив, в России, где, очевидно, протестный запрос на тему национальной идентичности поддерживается и административно-политически, книга не просто разошлась, но в переводе А.Ю. Антоновского получила более провокативный заголовок: «Нация: От забвения к возрождению» (М., 2001).

³⁹² В анализе органических систем никому и никогда не приходило в голову, что эволюцию новых форм органической жизни, растений и животных, следовало бы понимать как ответ на функциональный вызов, как если бы растительный фотосинтез решал бы актуальную задачу производства кислорода, так необходимого для прочих форм органической жизни. Почему с коммуникативными системами должно быть по-другому?

³⁹³ Такое проактивное понимание протеста несколько не умаляет достижений протестного движения женщин в борьбе за свои права, но, напротив, делает эти достижения более значимыми. Добиться *юридического* полноправия легче, чем *морально* денормализовать то, что считалось нормальным и естественным в течение

венным устройством и следствием «естественного» половозрастного разделения функций и статусов.

И в этом смысле социальные движения проактивны, так как генерируют проблемы, но затем в своих самоописаниях истолковывают себя как реактивные, отвечая на эту задачу. Другими словами, ключевую для анализа протеста дистинкцию «реактивное/проактивное» следует рассматривать скорее как единство, а не различие. Всякий протест всегда и то, и другое. Лишь протест проблематизирует и денормализует естественный ход событий, который тут же утрачивает свое качество естественности и нормальности, опрокидывая тем самым новый взгляд на реальность, в том числе и на прошлое.

Отныне и прошлое той или иной «естественной» коммуникации, где мужчины подавляли женщин, а белые – черных, понимается как не соответствующее нынешним ожиданиям и в этом смысле – «плохое». И протест (в числе прочего) отвечает за формирование нововременной дистинкции-императива «плохое прошлое / лучшее будущее». Как пишет Ник Кросли, «в некоторых случаях напряжение будет сохраняться в течение десятилетий (и даже тысячелетий – А.А., Р.Б.), сменяясь периодом формирования протестного движения тогда, когда это сделает возможным изменение в возможностях или ресурсах»³⁹⁴.

Так, дистинкция «проактивное/реактивное» сопрягается с обсуждавшейся выше дистинкцией «opportunity / structural problems», которая разделила исследователей протеста на два лагеря (см. выше о структурно-критическом и ресурсно-мобилизационном подходах к протесту). Отсюда вывод, что протест не является ни исключительно проактивным, ни исключительно реактивным и не может истолковываться ни исключительно как ответ на структурные проблемы, ни исключительно как реализация открывшейся возможности. Лишь синтетическое применение двух означенных дистинкций, понимаемых как единства, а не различия, делает возможным описание генезиса протеста.

«Открывшаяся возможность» (как следствие функциональной дифференциации) проактивно создает протестную тему и одновременно реактивно отвечает на нее как на структурную проблему общества, истолковывая данную структурную проблему как существующую и в далеком прошлом и ждущую своего часа, чтобы быть, наконец, решенной благодаря протесту.

В этом смысле перестройка в СССР была и ответом на структурные проблемы (имущественную стратификацию между номенклатурой и гражданами), и одновременно – реализацией «новых возможностей», связанных с развитием новых медиа и общим ослаблением режима, причем именно перестройка во многом проактивно усугубляла структурные проблемы, и именно она создала то несоответствие между ожиданиями и фактическим устройством общества, которое реактивным образом радикализировало протест против советского режима.

Это требует анализа соответствующей третьей ключевой дистинкции, объясняющей генезис протестного движения.

тысячелетий.

³⁹⁴ Crossley N. Making Sense of Social Movements. Buckingham; Philadelphia, 2002. P. 188.

Субъективные ожидания / объективные структуры как главное противоречие протестного движения

Как справедливо утверждает Ник Кросли, «когда нарушается «соответствие» между объективными структурами и субъективными ожиданиями, появляется возможность для критической рефлексии и дебатов по ранее неоспоримым предположениям»³⁹⁵. Теперь некие объективные структуры (господства, собственности и т. д.) понимаются как устаревшие и не соответствующие уже сформировавшимся субъективным ожиданиям в отношении их более эффективного функционирования. И это несоответствие только нарастает, что генерирует недовольство и протест, направленные против сообщества, заинтересованного в их институциональной консервации и не заинтересованного в их функциональной эффективности.

Но если эта дистинкция универсально применима, мы вправе поставить вопрос о самоприменимости. Кто наблюдает в этой оптике? Если протестное движение имплементирует эту дистинкцию и вербализирует в своей коммуникации такое несоответствие субъективных ожиданий и наличных институтов, то насколько сама эта дистинкция «бенефициар/институт», как символический медиум протестной коммуникации, является объективной или субъективной? Но и эта дистинкция, в свою очередь, лишь инструмент наблюдения реальности тем или иным наблюдателем!

Некоторый другой (не участвующий в протесте) наблюдатель всегда вправе утверждать, что до тех пор, пока «объективные структуры» так или иначе воспроизводятся, они (в свою очередь, лишь в перспективе тех или иных наблюдателей) сохраняют достаточную устойчивость и даже гарантируют социально-политическую стабильность, в то время как «субъективные ожидания» (в перспективе других наблюдателей) еще не аккумулировали достаточной эрзац-силы, для того чтобы, наконец, дозреть и подменить собой наличные социальные структуры³⁹⁶.

Неинституциональный характер российского протеста как универсальное свойство социального движения

Основываясь на вышесказанном, проблему обратной детерминации, которую мы ставили применительно к отдельным видам (темам) протеста, можно поставить и применительно к специфически российской реализации дистинкции «протест / структурные проблемы».

Выступают ли структурные проблемы российского общества действительными причинами российского протеста? Или само российское протестное движение (в первую очередь, конечно, движение А. Навального) и генерирует структурные проблемы, и в этом смысле предстает как такая структурная проблема, и, значит, несет угрозу так называемой национальной стабильности?

³⁹⁵ Ibid. P. 189–190.

³⁹⁶ Мы вправе добавить сюда и перспективу наблюдателя второго порядка, исследователя протеста, для которого то, что предстает в рамках протестного дискурса как субъективные ожидания, есть объективные социальные структуры, а их дистинкция (как всегда) выражает их единство и связь.

Возникшая и стремительно завоевывающая регионы организация предвыборных штабов Навального в период президентских выборов 2018 года демонстрирует известное структурно-институциональное несоответствие. Возникают институты, мимикрирующие под традиционную политическую структуру (предвыборного штаба), функция которых никак не связана с декларируемой (электоральной) задачей. Под вывеской традиционного политического института стремительно вызревает новая коммуникативная система, вносящая возмущение в традиционные коммуникативные взаимосвязи: так, региональные муниципалитеты вынуждены согласовывать протестные митинги, поскольку их несогласование лишь эскалирует протестную активность. Наличные политические опции не позволяют оптимально реагировать на протест. И именно в этом состоит структурная проблема, которую генерирует и одновременно призвано решить протестное движение Навального.

Несколько обобщая, можно утверждать, что российская политическая система не может найти адекватного ответа на то обстоятельство, что сами порождаемые протестом структурные проблемы становятся неснимаемым сопровождающим элементом современного общества и в этом смысле – в самой своей аномальности, неинституционализированности – являются нормальными³⁹⁷.

Итак, протест как коммуникация, критически наблюдающая общество (другие системные коммуникации), как только он приобретает систематическую форму и нормализуется, и сам превращается в главную структурную проблему общества, т. к. именно в его перспективе общество не соответствует его представлению, создает опасности и риски для себя самого, но само эти опасности увидеть не может. И именно этим он мешает автономным макросистемам (политике, хозяйству, религии и т. д.) дальше осуществлять свой автономный аутопоэзис.

Дело усугубляется тем, что современный конфликт принципиально не институционализирован. Протестное движение в России совсем не случайно не вписывается в институциональные формы. Это не является каким-то результатом злой воли президента или политического истеблишмента. Парадоксальным образом, неинституционализированность и несистемность российского (как и любого другого) протеста представляет собой его системное свойство, поскольку обеспечивает главные условия его воспроизводства – всепроникаемость и неуничтожимость. Как уничтожить то, что делает Навальный? Ликвидация предвыборного штаба или фонда ФБК означала бы лишь ликвидацию организации или института, тогда как протестное движение сущностным образом локализуется и кристаллизуется на гораздо более абстрактном уровне, а не рекрутируется из членов той или иной организации.

Как справедливо замечает Ю. Хабермас в отношении новых социальных конфликтов, «они больше не направляются через партии и ассоциации; они больше не могут быть компенсированы. Скорее эти новые конфликты возникают в областях культурного воспроизводства, социальной интеграции и социализации; они проводятся в субинституциональных или, по крайней мере,

³⁹⁷ Понятие структурных проблем социума, понимаемого как находящегося в перманентном кризисе, давно используется в самоописаниях современного общества, причем во многом именно благодаря специфической оптике протестного наблюдения. Кризисное самописание есть способ наблюдения обществом себя самого, и протест – является и средством наблюдения этого кризиса, и реакцией на это самонаблюдение.

внепарламентских формах протеста; и возникающий дефицит отражает овеществление коммуникативно-структурированных областей действия, которые не будут реагировать на ресурсы денег и власти... Вопрос заключается не в том, какую компенсацию может предоставить государство всеобщего благосостояния, а в защите и восстановлении находящегося под угрозой исчезновения образа жизни»³⁹⁸.

Что означают эти культурно значимые «способы жизни» (Хабермас), которые – в неинституционализованной и внепарламентской форме – защищает (и одновременно – генерирует) российский протест? Например, указанная неинституционализованность и несистемность российского протеста – независимо от воли Навального – прежде всего вытекает из его тематической специфики. Российское протестное движение, помимо воли Навального, кристаллизуется вокруг нескольких культурно и идентификационно значимых тем.

Речь идет прежде всего о национализме, антииммигрантских и антикавказских настроениях и о неприятии чужого богатства. То, что интерпретируется в традиционных системных терминах борьбы с коррупцией, бюрократией, в требованиях юридической защиты фундаментальных прав граждан и т. д., на самом деле является некой институциональной ширмой для выражения и защиты традиционных российских *ways of life* (Хабермас), а именно – традиционного для России неприятия индивидуального богатства, частной собственности и чужой культуры.

Такого рода, очевидно, культурные, а не социально-экономические установки (темы) протеста не могут (во всяком случае, пока обозначенные темы будут доминировать в общественных настроениях) получить достаточную – партийную, парламентскую – институционализацию и обречены сохранять маргинальный, несистемный, и в этом смысле – неустрашимый характер.

Другими словами, абсорбирование российского протеста в политическую систему и обретение поддержки со стороны бизнеса и политической власти потребует существенного смягчения «культурно-идентификационной» программы протеста. Но именно в этом случае он и перестанет быть протестом, а интегрируется в русло системной политической конкуренции. Пока протест остается протестом, он, согласно самому своему сущностному определению «альтернативы без альтернативы», не способен сформулировать альтернативу – партийную программу.

Протест и радикализм в функции общественного иммунитета

Постулируя тезис о предельной размытости причин возникновения протестных движений, мы применяли системно-теоретический подход к интерпретации эмпирической феноменологии и таксономии протеста. Признавая значение «традиционных» (структурно-критического и ресурсно-мобилизационного) подходов к интерпретации причин возникновения протестных настроений несостоятельным, мы в большей степени все-таки основываемся на системно-коммуникативном подходе к анализу разнообразных форм социального радикализма как особого типа коммуникации и в этом

³⁹⁸ *Habermas J. The Theory of Communicative Action. Vol. II. Lifeworld and System: a Critique of Functionalist Reason. Boston, 1987. P.382.*

контексте вводим категорию общественного иммунитета как особой функции девиантных (в том числе протестных) форм коммуникации.

Новые социальные движения и их функции

В 1960-е гг. социальные теоретики столкнулись с новым типом социальных явлений: протестным движением или новыми социальными движениями в самых разнообразных его формах. Эти движения радикально отличались как от традиционных форм профсоюзно-организованного рабочего движения, выдвигавшего преимущественно экономические требования, так и от всех известных форм политической «партийно организованной» борьбы. Новые движения, как правило, не кристаллизывались в виде организаций, принадлежность к которым всегда носит более или менее формализованный характер (правила членства, устав, программа), но охватывали широчайшие сферы коммуникации и культуры.

При этом границы протестных движений остаются предельно размытыми. Невозможно определить, обусловлено ли общее возмущение некоторыми политическими решениями, экономическими условиями или экологической ситуацией. Далеко не всегда можно обнаружить интегрированное «сообщество-враг», которое бы противостояло движению протеста в виде реальной группы или коллектива.

Ранее мы сформулировали идею трехмерного «гиперпространства протеста» (в предметно-тематическом, временном и социальном измерениях), что позволило предложить реестр ряда эмпирически фиксируемых типов по трем основаниям: тема / сообщество / враг³⁹⁹. Воспроизведем эту таксономию еще раз:

- ухудшение экологии / экологическое движение / конкретные предприятия или отрасль промышленности;
- гендерное неравенство / феминизм / мужчины;
- расовая дискриминация / антирасовые выступления / WASP;
- ультраправая идеология / антифашизм / неонацисты;
- государственный произвол / движение правозащитников / чиновники;
- локальное обнищание / антиглобализм / международные корпорации;
- неолиберализм / движение коммунитаризма / идеология индивидуализма;
- мировая конъюнктура / движение фермеров / сельхозкорпорации;
- сексуальная дискриминация / ЛГБТ-движение / традиционалистские ценности;
- «пиратское» движение / приватизация публичных благ / правообладатели;
- гонка вооружений / движение за мир / ВПК;
- образовательная политика / студенческое движение / профессора и менеджмент образования;
- безработица / движение безработных / работодатели;
- отсутствие социальных лифтов / молодежные субкультуры / устоявшаяся социальная структура;
- голод и бедность в развивающихся странах / движение в поддержку стран третьего мира / «неоколонизаторы»;

³⁹⁹ Антоновский А.Ю., Бараиш Р.Э. Системно-коммуникативные исследования социальных движений // Философский журнал. 2018. № 2. С. 91–105.

- национализм / пренебрежение к национальным идентичностям / иммигранты.

Собственно, по вопросу эмпирической феноменологии и таксономии протеста не ведется особых дискуссий, хотя региональная специфика в протестных движениях, несомненно, присутствует. К примеру, в России имеет место уникальное движение протеста, предметно кристаллизующееся вокруг темы недофинансирования научных исследований⁴⁰⁰. Многие авторитетные социологи и философы усматривают функции новых социальных движений в обеспечении вариативности социальной жизни, создании пула для селекции инновативных решений, социальных трансформаций и формулировании альтернатив существующему порядку. В частности, Ю. Хабермас и П. Штомпка разделяют идею о «прогрессивной» функциональной роли новой коммуникативной системы.

Хабермас развивает концепт коммуникативного дискурса, рациональность которого принято связывать с ресурсами некоего «чистого языка повседневности», способного, опираясь на повседневный *Lebenswelt* и обеспечивая коммуникативную рациональность, воспрепятствовать внешней экспансии «чуждых» этому миру и языку так называемых инструментально-рациональных, прежде всего административных и хозяйственных, медиа или мотиваций (денег и власти). И эта функция как нельзя лучше подходит новым социальным движениям, заявляющим о себе как о принципиально экстраполитическом и некоммерческом активизме⁴⁰¹.

Напротив, П. Штомпка отклоняет гипотезу о функциональной роли социальных движений как «двигателей истории и эволюции», поскольку, по его мнению, в этом случае возникает каузальный парадокс. Ведь в таком понимании социальные движения выступают одновременно и причинами, и следствиями социальных изменений (носителями и причинными факторами социального процесса – и одновременно следствиями исторических законов). Однако и в его концепции все-таки находится место «прогрессивной» оценке протестных движений. Ориентируясь на идею «структуриации» Э. Гидденса, Штомпка вводит понятие социоиндивидуального поля, где индивид (атом) и общество (поле) составляют единую реальность, пребывающую в состоянии самопревращения. Поле состоит из событий, связывающих некие сами по себе неполноценные сущности: индивидов и социальные единства (т. е. функциональные системы политики, хозяйства и т. д.). Таковым полем, по-видимому, следует считать протестные социальные движения, как некий «первичный бульон»,

⁴⁰⁰ Нельзя не отметить, что форма научного протеста не является единым сообществом, но сама, согласно введенным выше критериям-измерениям, распадается на слабо координирующиеся между собой типы. Речь идет об *интерактивно-ориентированном* типе движения, к которому прежде всего можно отнести *Общество научных работников*, лишенное жестких организационных структур; жестком и наиболее консервативном, *организационно* связанном правилами членства виде протестного движения (*Профсоюзы организаций РАН* и других научных образовательных учреждений); системно-организованных формах протеста, прежде всего на уровне коммуникативной системы массмедиа (телевидение, интернет-вещание, газета), к которым можно отнести газету «*Троицкий вариант*», и, наконец, *социально-сетевом* типе научного протеста – сообществе «*Диссернет*».

⁴⁰¹ «Эта идея в большей степени характеризует функции социальных движений: они более не канализируются через партии и ассоциации; их уже не подчинить путем компенсаций. Скорее эти новые конфликты возникают в областях воспроизводства культуры, социальной интеграции и социализации; они осуществляются в субинституциональной или, по крайней мере, эстрапарламентской форме протеста; и лежащая в их основе недостаточность отражает реификацию коммуникативно-структурированных областей действий, которые не отвечают на вызов со стороны медиа денег и власти. Их вопрос не является преимущественно требованием компенсаций, которые способны обеспечить государство всеобщего благоденствия, они ставят вопрос защиты и восстановления находящихся под угрозой способов жизни» [Habermas 1969. P. 382].

в котором со временем, прежде всего на базе «социального чувства несправедливости»⁴⁰² [Штомпка 2017], возникают центры кристаллизации: индивиды, организации, специализирующиеся на особых проблемах системы общества. В этом смысле протестные движения могут истолковываться как искомое возвращение к первоначальной связи человека и института⁴⁰³, первичный фактор и ресурс, первоначально «питающий» этот радикализм, позднее приобретающий формальный и организованный характер и приводящий наконец к социальным изменениям.

Понимание социального движения как агента и выразителя социальных альтернатив развивают Э. Лаклау, Ш. Муфф, А. Турен, К. Оффе, М. Кастельс, И. Валлерстайн и другие. Обобщая их взгляды, можно выделить центральную идею: агентом социальных изменений и ядром новых социальных движений является «новый средний класс», пока не обладающий достаточной степенью организационного единства в сравнении с хорошо организованным (в профсоюзы, партии) «низшим, подавляемым классом». Функции этих новых движений состоят скорее в защите (изменении) образа их жизни, вариаций идентичностей, культуры и природы – т. е. некоего набора условий жизни этого нового класса, а не в защите его исключительно социально-экономических интересов. Тем не менее члены этого нового класса, в свою очередь, все-таки переживают депривации, вызванные социальными структурными деформациями, и, участвуя в протестных движениях, утверждают альтернативные формы жизни [Touraine 1985], [Castells 2004: 3], [Laclau, Mouffe 1985], [Offe 1985].

Этому структурно-критическому подходу, усматривающему в протестных движениях функцию социальных трансформаций и создания пула альтернатив, противостоит так называемая ресурсно-мобилизационная концепция протестных движений⁴⁰⁴. Разного рода социальные (культурные, экономические) кризисы ухудшают положение традиционных элит и институтов, которым приписывают ответственность за фиаско их патерналистских функций⁴⁰⁵. Это увеличивает шансы новых организационных форм, которые в ка-

⁴⁰² Штомпка П. Справедливость [Гл.] / пер. с пол. А. А. Зотов // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2017. № 6. С. 381–399. Гл. из кн.: *Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej*. Kraków: Znak, 2015. P. 232–250. DOI: 10.14515/monitoring.2017.6.21.

⁴⁰³ «Социальные единства и люди лишь по видимости осуществляют самостоятельную экзистенцию; их раздельность и противопоставленность суть продукт некоторого ложного, извращенного представления; оно восходит к бытовой иллюзии, к теоретическим и метатеоретическим заблуждениям» [Sztompka 1994].

⁴⁰⁴ Сторонники этой концепции (во многом ориентируясь на влиятельную Rational Choice Theory Дж. Коулмана) рассматривают протестные движения как своего рода квазиэкономических агентов, конкурирующих за ресурсы с традиционными институтами и организациями. Участники протеста, с этой точки зрения, исчисляют профиты и бенефиты (всегда в контексте возможных издержек), и, таким образом, рационально взвешивают, и решают в пользу участия или отказа в протестной деятельности как способе обеспечить рост карьеры и замещение ведущих – и оплачиваемых – должностей в протестных организациях [McAdam, McCarthy, Zald 1996: 141–151].

⁴⁰⁵ Конечно, мы, следуя методологии И. Лакатоса, отдаем себе отчет, что даже самая фундаментальная дилемма в науке далеко не исчерпывает весь спектр возможных объяснений, а опровержение одной части дилеммы не доказывает автоматически истинность другой. У данной протестной системы может быть и некоторая другая функция. Кроме того, она может выполнять некоторую вспомогательную задачу для некоторой традиционной коммуникативной макросистемы (например, для политики) или вообще не иметь никакой функции. Последний взгляд разделяет Н. Луман, полагающий, что функции системы протеста могут исчерпываться задачей воспроизводства собственных специфических (в данном случае протестных) коммуникаций и не вносить никакого вклада в развитие общества в целом. Наконец, оба объяснения генезиса новой системы в рамках этой дилеммы, очевидно, имеют и некоторое общее основание, поскольку в обоих объяснениях протест понимается как фактор социальной динамики, неважно, идет ли речь о личном, карьерном росте или трансформации общества и его систем. Протест предстает (конечно, в метафорическом и не физическом смысле) в виде некоторого «импетуса» или некой «энергии в чистом виде» (П. Штомпка), которая затем принимает самые разные формы: мотивирует элиты,

честве ресурса и используют их лидеры для достижения личного успеха в рамках традиционных систем – в политике, экономике и даже науке⁴⁰⁶.

Учитывая вышеозначенную полемику между ресурсно-мобилизационным и структурно-критическим подходами, эта же проблема формулируется в виде следующей дилеммы: «Формулируют ли новые социальные движения альтернативы существующему социально-экономическому порядку, культурным нормам и ценностям, традиционным идентичностям и жизненным стилям или же выступают лишь ресурсами или социальными лифтами для проникновения в традиционные системы новых лиц и формирования новых элит?».

Мы используем системно-коммуникативный подход для анализа социальных движений⁴⁰⁷ как некую третью возможность объяснения генезиса и функций протестных настроений. Это требует рассматривать все формы социального протеста как особого типа коммуникации, ориентированного на общий для данных коммуникаций бинарный медиа-код и общую протестную тему, выступающих не только принципами инклюзии в протестное сообщество, но и составляющими атрибутами системы протестных коммуникаций.

Развивая этот подход применительно к протестному движению, мы не только критически рассмотрим интерпретации протеста как ресурса развития и формы проявления гражданского общества (первый раздел данной статьи), но и предложим (существенно выходя за пределы лумановской версии системно-коммуникативного подхода) свое видение социальной функции этой коммуникативной системы (второй раздел), рассмотрим принципы распространения протестных идей и взглядов (третий раздел) и наконец (в заключении) попытаемся осветить новейшие формы, глобализационные перспективы и следствия новых социальных движений, имея в виду в том числе и российскую специфику.

Протестные движения на службе гражданского общества – функции индикации и резонанса

Как утверждает Христиан Фухс, концептуализируя протестное движение с точки зрения «структурно-критического» подхода, «социальные движения выполняют роль неинституционализованного и необходимого для гражданского общества механизма общественной самокритики»; «коммуникация организует коллективные практики протестных движений, такие, как демонстрации, петиции, бойкоты, гражданское неповиновение, работы с медиа и средствами информации, публикации, дискуссии и т. д. Эти коллективные практики социальных движений (которые образуют коллективных акторов) производят и воспроизводят – как часть системы гражданского общества – альтернативные и оппозиционные темы и ценности в политической публичной сфере»⁴⁰⁸.

Можно было бы согласиться с Фухсом и признать движения протеста «частью гражданского общества» с их особой функцией, состоящей в том,

мобилизует индивидов, рекрутирует членов организаций, провоцирует ответ со стороны «макросистем» и т. д.

⁴⁰⁶ Антоновский А.Ю., Бараши Р.Э. Системно-коммуникативные исследования социальных движений // Философский журнал. 2018. № 2. С. 91–105.

⁴⁰⁷ В современной западной социологии данный подход представлен идеями Н. Лумана, Р. Мюнха, Дж. Александера, К. Йаппа. Отечественную версию см.: [Антоновский, Момджян и др. 2016].

⁴⁰⁸ Fuchs Ch. The Self-Organization of Social Movements // Systemic Practice and Action Research. 2005. Vol. 19. № 1. P. 118.

чтобы в дополнение к внутренней (т. е. системно-институционализированной) критике осуществлять критику извне и тем самым восполнять наблюдательный дефицит системной политической оппозиционно-партийной и внутрипартийной критики.

Но в этот концепт Фухса не укладывается одно обстоятельство. Не очень понятно, как в рамках гражданского общества локализовать «плохие» формы протеста (скажем, правый радикализм), которые оказываются в отношениях конфронтации со своим «хорошим» врагом (скажем, движениями «антифа»)? Должны ли мы включать в гражданское общество националистические, расистские движения, радикальные движения футбольных фанатов? Почему один вид критики социального порядка мы склонны допускать и разрешать, тогда как другие формы протеста отклоняются как несовместимые с нашими принципами?

Конечно, эту проблему до некоторой степени можно обойти, если вводить, как это делает Луман, возможно, опираясь здесь на Э. Дюркгейма, некоторое расширительное толкование функции протеста⁴⁰⁹ как формы аномии с функцией, которая состояла бы не столько в критике наличных структур, сколько в создании препятствий для самоочевидных и как бы естественных системных (политических и экономических) социальных порядков и тем самым – в их «тестировании на реальность»⁴¹⁰.

Функция протеста состояла бы тогда не столько в элиминации структурных проблем, сколько в индикации и фокусировании наблюдения гражданского общества и не в последнюю очередь самих макросистем на проблемах, вызванных их собственными дисфункциями и их неспособностью наблюдать внешний мир вне их собственной оптики.

Такое определение протеста как социального факта (по Дюркгейму) апеллирует к некоторой необходимости, сопротивляемости, в конечном счете – к тому, что можно обозначить как социальную реальность, с которой вынуждены считаться традиционные системы и что пробуждает их от их «самореференциального сна». В этом смысле экстремистские идеологии и движения действительно выполняют «резонансную» и «индикационную» функцию, где аномия и преступления, как это представлялось и Дюркгейму, вызывая общественный резонанс и всеобщее возмущение, могут служить минимизации аномии⁴¹¹. Это дюркгеймианское понимание по крайней мере некоторых форм «экстремизма» (аномии) как некой социальной патологии требует введения понятия социального иммунитета, применение которого мы обосновываем в четвертом разделе этой главы.

Аномийные формы протеста в функции социального иммунитета

Вернемся к теории протестного движения и выявления его ключевой латентной функции⁴¹². Мы также не можем принять идею Никласа Лумана о том,

⁴⁰⁹ Luhmann N. Protest. Systemtheorie und soziale Bewegungen (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft). Suhrkamp Verlag; Frankfurt/Main, 1996. S. 175–200.

⁴¹⁰ Идею «тестирования социального порядка на реальность» как особой функции, как известно, высказал К. Мангейм, но на роль реализатора этой задачи он возводил утопические и идеологические формы сознания [Мангейм 1994. P. 85–86].

⁴¹¹ В более развернутом виде этот тезис представлен в пятом разделе данной главы.

⁴¹² Мы используем это мертоновское понятие, имея в виду неочевидность и комплексность социальной задачи протеста, но все-таки полагаем, что *все* функции являются латентными, а то, что Мертон постулировал в качестве «явных», должно носить иное название.

что у протестного движения вообще могут отсутствовать функции⁴¹³, хотя и разделяем точку зрения, что коммуникативная система кристаллизуется как продукт эволюции, как реакция, но направленная отнюдь не на решение стоящих перед ней и обществом задач.

В этом смысле в качестве таковой социально значимой функциональной задачи протеста мы выделяем функцию апробации новых ценностей в малых сообществах без процессирования их в рамках больших систем и в обществе в целом. Именно это позволяет нейтрализовать опасность внедрения новых ценностей, хорошо интегрирующихся в малых масштабах, но оказывающихся деструктивными в больших сообществах. Эти «хорошо интегрирующие» ценности позволяют эффективно аккумулировать протестную энергию в малых масштабах и приводят к замыканию малых групп. Однако именно в силу означенной замкнутости и малочисленности сообществ и некой «центростремительности» их коммуникаций эти ценности апробируются без риска «инфицирования» больших сообществ (они словно «черные дыры», позволим себе эту метафору, настолько сильно аккумулируют вещество и энергию, что последние не способны вырываться за пределы собственных границ). В этом мы усматриваем еще одну (помимо вышеозначенных «резонансных» и «индикационных») позитивную функцию негативных форм протестных движений.

Тезис о позитивных функциях дисфункциональной коммуникации не должен пугать своей парадоксальностью. Об этом можно говорить в том же смысле, в котором медицина и эволюционная теория может рассматривать болезнь, мутации, смерть как позитивную функцию для популяции, поскольку только некое «устранение» нежизнеспособных индивидов и популяций делает возможным эволюционное усложнение организмов, формирование полезных свойств и в этом смысле оказывается движущей силой процесса приспособления живых видов. Однако для того, чтобы в обществе сформировались негативные нормативные ожидания протестных ценностей, последние должны в обществе в каком-то смысле – в их прививочной функции и форме – все-таки присутствовать.

Эти размышления требуют введения важного понятия в анализе протестных движений, которое мы обозначаем как функцию общественного иммунитета. Последнее позволяет дать описание и объяснение и в каком-то смысле «оправдать» то, что в обществе не получает оправдания, – девиантные формы коммуникации. Мы видим, как западные общества допускают такие аномальные формы, развивая соответствующую семантику соответствующих свобод (свободу слова, вероисповеданий, индивидуальных жизненных стилей и т. д.). Эта семантика, безусловно, предполагает некоторый самообман, поскольку основывается на мнимом различении действий и переживаний. В ее контексте некоторые действия (то есть сообщения, вербализация которых, вне всякого сомнения, является действиями, а не только ментальными актами) интерпретируются как выражение внутреннего ми-

⁴¹³ По мнению Лумана, «кодирование операций выше функций», т. е. для кристаллизации системы достаточно того, чтобы всякая коммуникация относилась бы (или не относилась) себя к данной системе, выражала или не выражала *commitment* в отношении данной темы или демонстрировала безразличие [Luhmann 1994. P. 64]. На наш взгляд, это противоречит главной установке системно-коммуникативной теории – тому, что лишь из перспективы наблюдателя (понятого в самом широком смысле) то или иное достижение системы может рассматриваться как функция. Так, выделение кислорода в ходе фотосинтеза, «с точки зрения» потребителя кислорода, рассматривается как важнейшая функция высших растений. Хотя для самого растения это является неким побочным феноменом, а не функциональным достижением.

ра, как мысли и переживания, которые в их когнитивном статусе (за известными исключениями – прямых призывов к насилию и оскорблений) могут вербально осуждаться, но не должны подлежать наказанию, криминализироваться и санкционироваться, поскольку, не определяясь как «социальные действия», полагаются социально безопасными.

Как следствие, в этом, виртуальном, виде соответствующие (чаще всего неудачные в перспективе интеграции больших сообществ) нормативные и ценностные мутации могут актуализироваться, жестко интегрируя малые группы сообщества, тестироваться и наконец отклоняться обществом или, в редких случаях, акцептироваться и востребоваться большими сообществами⁴¹⁴. Такими позитивными (т. е. интеграционно значимыми в больших масштабах) мутациями явились, конечно, идеи равноправия женщин⁴¹⁵, меньшинств, атеизма, прав сексуальных меньшинств и т. д.

При этом общество, как правило, поначалу толерирует соответствующее поведение и коммуникацию как отклоняющиеся, но допустимые (функция формирования иммунитета), приспособливается и живет, до определенного времени не соглашаясь с образцами экстравагантного поведения, присутствующими «внутри» него (подобно тому, как образцы вирусов и микробов сохраняются в памяти соответствующих клеток живых организмов – именно в такой виртуальной, а в обществе – в письменной и печатной формах, в электронных СМИ)⁴¹⁶. Затем эти ценности и соответствующие им ways of life (в тех редких случаях, когда они обладают способностью общеобщественной, а не узкогрупповой интеграции) входят в корпус так называемых всеобщих прав человека.

Понятие социального иммунитета, который формирует в себе общество, имеет то преимущество, что объясняет позитивную роль негативных типов коммуникации. В отсутствие такой способности терпеть чужое внутри себя, как и при чрезмерной негативной восприимчивости к чужеродным формам общения, общество, находясь в непрерывном процессе поиска и элиминации этих форм, вынужденно направляет этот иммунный потенциал отклонения на самого себя (что можно рассматривать как некий функциональный аналог иммунных заболеваний). Нам хорошо известно, какие формы самоагрессии развивают избыточно интегрированные сообщества, которые принято называть тоталитарными, т. е. образующими целостность, которая не допускает образование внутренних степеней свободы своих частей. И, компенсируя этот недостаток с целью пусть минимального развития и адаптации к внешнему миру, такие сообщества вынужденно разрушают части самих себя, чтобы допустить хоть какие-то формы мобильности и комбинаторики частей (и «социальные лифты» работают в «тоталитарных» обществах, только прежде всего через устранение индивидов, кланов, групп влияния и т. д.)

⁴¹⁴ Об идее ценностных идентификационных контроверз между пересекающимися «большими и малыми кругами общения»: [Зиммель 1996. Р. 349–373].

⁴¹⁵ И женский роман может считаться такого рода прививкой.

⁴¹⁶ Конечно, не следует преувеличивать значение этой аналогии с органической эволюцией. В рамках последней все-таки полученный иммунитет не переводит соответствующие инфекции в статус внутренних позитивных ориентиров для прогрессивного развития форм органической жизни. Правда, в последнее время появляются исследования, доказывающие вирусную природу иммунной системы и некоторых частей ДНК [Chuong 2016; Brouillette 2016].

Лучшее понимание и объяснение «социального иммунитета» как функции протеста становится возможным при обращении к связанному с ним понятию «имитационно-вирусной природы» протестных движений, формирующих своего рода *variety pool* для социальных макросистем, которые могут черпать в них для себя инновативные коммуникативные образцы (темы, идентичности, нормы, ценности, формы общения). Появляясь как «сингулярная инновация», инновация мгновенно распространяется вирусно-имитационным образом, сначала внутри движения, а затем переносится и на другие сообщества.

Мы можем применить здесь понятие «мема» Р. Докинза, который, правда, полагает его базовой генетической единицей культуры («мелодии, идеи, модные словечки, фасоны одежды» и т. д.) как памяти общества в целом⁴¹⁷. Это культурная интерпретация мема не позволяет развести уровни генотипа и фенотипа и в целом выглядит трююзмом. Если же область комбинаторики «меметических единиц» закрепить за «новыми социальными движениями», то можно понимать мемы в качестве генетических единиц, которые (в случае их удачного отбора) в результате имитационно-вирусного самокопирующегося распространения свое фенотипическое облачение находят уже в рамках традиционных макросистем (политики, хозяйства, даже науки)⁴¹⁸, тогда последние можно понимать в качестве аналогов органических популяций, в рамках которых новообразованные свойства (закрепившиеся нормы, ценности, формы общения как фенотипические воплощения генов) наконец стабилизируются в виде жестких нормативных ожиданий.

Это понятие социального иммунитета и имитационно-вирусной трансляции коммуникативных инноваций предполагает виртуализацию внешней опасности, которую в форме протестных движений осуществляет общество. Виртуализация опасностей, т. е. образцов чуждых и девиантных форм жизни и коммуникации, осуществляется через инкорпорирование их в себя обществом первоначально только в письменно-печатной или вербально-телевизионной, но не действенной форме. Эта вирусно-имитационная природа телекоммуникации, не требующая физического перемещения тел коммуникантов и их пространственной близости, как важнейшая модальность социального иммунитета объясняет то, какое стремительное развитие получает сетевая (виртуальная) форма протеста в современном мире.

Телекоммуникация, с одной стороны, провоцирует социальные активизм и протестные настроения, поскольку существенно редуцирует психологические риски отклонения предлагаемых контактов и ускоряет распространение протестных идей. Виртуально общающиеся меньше боятся быть отвергнутыми и быстрее формируют протестный образ мыслей. И одновременно, не требуя физических перемещений участников протеста, телекоммуникация способна, с другой стороны, уменьшать вероятность физического присутствия в «горячих точках» «диванных армий» протестующих лиц. Здесь протест как бы возвращается

⁴¹⁷ Докинз Р. Эгоистичный ген. М., АСТ: CORPUS, 2013. 512 с.

⁴¹⁸ Применительно к макросистеме науки таким сопровождающим квазипротестным социальным движением является «паранаука» [Луман 2017; Антоновский 2017].

к себе самому, находит самые адекватные для себя виртуальные формы апробации новых способов коммуникации «отклоняющихся» ценностей и значений.

Вместо заключения. Сетевые перспективы протестного движения – в поисках бинарного медиа-кода протестной коммуникации

Новейшей характеристикой протеста является его социально-сетевая форма. Функция новых медиа трансляции протестных настроений вытекает из эволюционных трансформаций самого протеста, обнаружившего свою «самую успешную» на сегодняшний день форму в виде особого медиа распространения коммуникации, способного словно запасать впрок «протестную энергию» социального страха и тревоги и благодаря этому – компенсировать нестабильность психических переживаний и эмоций.

Следствия социально-сетевой организации для депсихологизации мотивов протестующих

Социальные сети теперь выступают в виде своего рода «социальных батареек», поскольку по крайней мере некоторые сетевые структуры не дают закончиться, остыть (в этом смысле «подогревая общество, а не воздух») психическому алармизму, транслируют его дальше в рамках разветвляющейся сети обсуждений протестной темы, аутопоэтически генерируя новые страхи и тревоги. Другими словами, благодаря сетевому обсуждению генерируется особого вида «страх за другого», который, с одной стороны, не уходит вместе с угасанием этой эмоции в сознании, а с другой – даже не требует полноценной реализации этой эмоции в психике, а предстает в виде социального обязательства испытывать тревогу или гнев в некоторых стандартных ситуациях (насилия, ухудшения экологии, эксплуатации и т. д.).

Эмоция становится социальным фактом, она транслируется как бы «воспламеняя» или заражая страхом других. Страх, словно вирус, живет собственной жизнью лишь тогда, когда подсоединяется, имитируется, распространяется благодаря сетевым коммуникациям, инкорпорируясь через социальные сети в протестные коммуникации, но сохраняет автономию от личностных переживаний. На такой «страх за другого» (в противоположность традиционному общественному осуждению и санкционированию индивидуального страха, прежде всего, конечно, в отношении мужчин) теперь не накладывается табу. Кроме того, риск отклонения предлагаемых в сетях коммуникации страха существенно уменьшается в сравнении с несетевыми формами коммуникации.

Больше того, этот «страх за другого» не только получает теперь социально разрешенную форму, но даже может претендовать и на приоритет в конкуренции с другими запросами на контакт и предлагаемыми темами, ведь он стилизуется как принципиально альтруистическое предложение смысла, как форма коллективизма и новой солидарности на основе общих страхов и тревог, отличаясь от социально запрещенных выражений эгоцентрического страха.

Следствие социально-сетевой координации для формирования бинарного кода протестной коммуникации

Другая (но вытекающая из такого рода социально-сетевой эволюции протеста) эмпирическая характеристика протеста состоит, с одной стороны, в приобретении им глобально-мировой формы, а с другой – в слиянии гетерогенных протестных тем в некое комплексное и синтетическое единство. В качестве такого примера манифестации мировой коммуникативной системой интернет-протеста, которую Кастельс назвал «первой информационной герильей», мы можем указать на знаменитую Сапатистскую армию национального освобождения (*Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN*), мобилизующуюся в социальных сетях и там же формулирующую комплексную тему протеста против обнищания, неолиберализма, НАФТА, земельной экспроприации и в защиту справедливости, достоинства и свободы⁴¹⁹.

Именно интернет-сети с их уникальными возможностями предметно-тематической, социальной и пространственно-временной⁴²⁰ координации протестной активности, видимо, делают возможным формирование слияния частных тем в синтетическое единство и постепенное образование прежде отсутствующего у протеста единого бинарного медиа-кода, по образцу таких бинарных кодов, как «власть/оппозиция», «деньги/неплатежеспособность», «истина/ложь», «законное/незаконное», «прекрасное/безобразное», «профанное/трансцендентное», на которые ориентируются традиционные макросистемы и который до сих пор отсутствовал у протестной коммуникации. Возможно, именно этим новым сетевым ресурсам означенной координации мы обязаны целой серией «цветных революций» и решением ключевой проблемы протеста – его тематической гетерогенности, рассеянности и маргинальности.

Следствия социального осетевления протестных настроений в российской перспективе: it takes a network to fight a network

Именно в таком коммуникативно-сетевом контексте надо понимать идею Кастельса о возникновении « сетевого общества » и связанном с этим радикальном изменении временной семантики (т. е. формировании проектного сознания, где виртуализированное будущее, обсуждаемое в сетях, понимается как присутствующее в настоящем), приводящем к «сетевым войнам и сражениям», хорошо известным нам по описаниям Хардта и Негри⁴²¹.

Такого рода «сетевые войны» можно наблюдать на примере активности «Фабрики троллей» из Ольгино, информация о существовании которой получила широкий медийный резонанс. В данном случае можно говорить о том, что институционализированные формы коммуникации и соответствующие политические институты пытаются ответить «сетевому протесту» на его собственном языке и в его собственном домене. Характерно, что участники этих войн, будучи ангажированы политическими задачами и институтами, вынуж-

⁴¹⁹ Castells M. The power of identity. Oxford: Wiley-Blackwell, 2004. P. 75–85.

⁴²⁰ Исходя из системно-коммуникативной методологии, именно в этих трех главных измерениях, или горизонтах трехмерного гиперпространства коммуникации, некоторый коммуникативный вклад встраивается в некоторую системную последовательность и контекст. Другими словами, если участники приписывают некоторому сообщению общие тематическую, пространственно-временную и социальную релевантности или значения, в этом случае образуются условия для подсоединяющегося коммуникативного вклада и образования системы.

⁴²¹ «It takes a network to fight a network», – как известно, утверждают Хардт и Негри [Хардт, Негри 2006].

денно вступают на чужое поле и выходят за пределы собственных, декларируемых политикой и правовым образом определенных, рамок.

Эта вторичная политическая реакция на протест, видимо, связана с общим фиаско системы политики в ее попытке абсорбции протеста в системный истеблишмент. Такого рода абсорбция протеста, видимо, в принципе обречена на неудачу, поскольку рекрутирование участников протеста в системные организации приводит к расколам и, как следствие, – умножению числа протестующих. И подобная вторичная реакция предполагает переориентацию и мимикрию традиционной политической коммуникации, основанной на публичном полемическом дискурсе оппозиционных и правящей партий, в некое аналогичное протесту антидвижение, направленное против программной темы конкретного протеста.

Подобная оригинальная реализация идеи Хардта и Негри все-таки не способна принести пользу агенту-заказчику, а именно – политической макросистеме. «Антидвижение» вступает в противоречие с фундаментальными программными установками собственного заказчика (прежде всего с нормой безапелляционного следования коллективно-обязательным решениям на основе бинарного коммуникативного кода «власть/подчинение» под угрозой насилия) и подрывает основанный на этом авторитет. Благодаря активности так называемых «троллей» появляется третье значение в медиа-коде «власть/подчиненные», а значит – утрачивается определенность (строгое «да/нет») в следовании коллективно-обязательным распоряжениям. Ведь сетевая структура формально – не организованных социальных движений дефинитивно децентрализована и ризоматична (в смысле Делеза и Гваттари), а значит – несовместима с циркулирующей властных распоряжений из центра на периферию или сверху вниз. Еще одним примером фиаско имитационных антидвижений стал выход из-под политического контроля ряда антидвижений («стоп-хам» и др.).

Как следствие, такого рода «антидвижения», пытаясь отрицать и нейтрализовать релевантность протеста, не только не нейтрализуют, но, напротив, способствуют, мотивируют и провоцируют дальнейшее коммуникативное обсуждение и «раскрутку» протестной темы. Негативная интерпретация протестной темы лишь добавляет протестной энергии, увеличивает «сетевую напряженность», расширяя сетку обсуждений, провоцирует новые и новые сетевые ответы адептов протестных настроений.

Кроме того, такие постановочные входы на чужую сетевую территорию (известный феномен «троллевой активности» на сайтах оппозиционных СМИ, к примеру, радиостанции «Эхо Москвы»), подпитывая собственными ресурсами протестную сетевую активность, вынуждены требовать компенсаторных ресурсов у «материнской системы» (в данном случае, политической) и при этом сохранять форму организации, со всеми ограничениями и демотивациями, которые проистекают из организационной формы такого «псевдодвижения» или «псевдоризомы».

Напротив, их конкурент, протестное движение, счастливо избегает такой обременительной формы, как организация, а локализуется на уровне макросистем, т. е. общества в целом. Это значит, что протестное движение может рассчитывать практически на неисчерпаемые источники ресурсов (социальной энергии и времени, самые разные крауд-возможности краудсорсинга и фандрайзинга),

апеллирует к самым разным сообществам, но только не к «материнской» организации-донору (т. е. к политической макросистеме). Последняя в этих «сетевых войнах» политически ангажирует разного рода «сетевые сообщества», но, как следствие, вынуждена их финансировать, контролировать и направлять, затрачивая на это ограниченные временные и финансовые ресурсы.

В этом контексте у системной политической коммуникации остается единственный выход – табуизация протестной темы хотя бы на уровне массмедийной презентации посредством контроля традиционных СМИ. Но и этот ресурс сопротивления в сетевой войне с сетевым распространением протестных настроений в российских условиях не может быть использован полностью, поскольку системная политическая коммуникация в России желает представлять современной. Ведь на внешнем уровне она вступила на путь конкуренции (и отчасти конфронтации) с другими политическими системами (прежде всего Европы и США), а последним удалось наладить механизмы сопряжения и даже симбиоза с протестной коммуникацией, дополняющей наблюдательный дефицит политической рефлексии и недостаточную способность политики к полноценным самоописаниям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антоновский А.Ю., Бараш Р.Э. Системно-коммуникативные исследования социальных движений // *Философский журнал*. 2018. № 2. С. 91–105.
2. Антоновский А.Ю., Бараш Р.Э. Социальная философия протеста // *Философский журнал*. 2018. № 2.
3. Антоновский А.Ю., Бараш Р.Э. Хьюэлл против Конта, или возможна ли коммуникация между априоризмом и позитивизмом? // *Эпистемология и философия науки*. 2017. Т. 54. № 4. С. 202–208.
4. Антоновский А.Ю. Коммуникативная рациональность – внешняя и внутренняя // *Эпистемология и Философия науки*. 2008. Т. XVII. № 3.
5. Антоновский А.Ю. Наука как общественная подсистема. Никлас Луман о механизмах социальной эволюции знания и истины // *Вопросы философии*. 2017. № 7. С. 154–167.
6. Антоновский А.Ю. Начало социоэпистемологии: Эмиль Дюркгейм // *Эпистемология и философия науки*. 2007. № 4. С. 142–155.
7. Антоновский А.Ю. Никлас Луман. Эпистемологическое введение в теорию социальных систем. М.: ИФРАН, 2007. 135 с.
8. Антоновский А.Ю. Общество как теоретический объект. Эмерджентизм социальной теории vs редукционизм естественных наук // *Философия науки*. 2014. Т. 19. С. 80–100.
9. Антоновский А.Ю. Системно-конструктивистское понимание эволюции / Луман Н. Эволюция. М.: Логос, 2005.
10. Антоновский А.Ю. Социальная философия науки: немецкая версия. Фридрих Шлейермахер о реформе немецкого университета и роли философского факультета // *Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки*. 2018. Т. 55. № 1. С. 204–214.
11. Антоновский А.Ю. Социоэпистемология. О пространственно-временном и коллективно-личностном понимании общества. М.: Канон, 2011. 400 с.
12. Антоновский А.Ю. Телекоммуникации – коммуникационные медиа современных обществ // *Коммуникативная философия знания*. М.: ИФРАН, 2015. С. 76–98.
13. Антоновский А.Ю. Эволюционный подход к развитию науки // *Epistemology & Philosophy of science*. 2017. № 2. С. 201–217.
14. Аристотель. *Метафизика* / Пер. с греч. П. Д. Первова и В. В. Розанова. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. 232 с.
15. Бараш Р.Э. и др. «Истина» и «власть» как категории социальной философии // *Мониторинг общественного мнения*. 2017. № 5. С. 120–134.
16. Бараш Р.Э. Культура и мультикультурализм: от философского к системно-теоретическому осмыслению // *Вопросы философии*. 2016. № 1. С. 36–40.
17. Бараш Р.Э. Роберт Кинг Мертон и Флориан Знанецкий о «людях знания» и «людях действия» // *Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки*. 2013. Т. 37. № 3. С. 205–228.
18. Бараш Р.Э. Фигура Другого как значимая составляющая российской/русской идентичности // *Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены*. 2012. № 1(107). С. 90–99.
19. Бахтин М.М. *Проблемы поэтики Достоевского*. М., 1979.
20. Бахтин М.М. Слово в романе // *Вопросы литературы и эстетики*. М.:

- Художественная литература, 1975.
21. Библер В.С. Культура. Диалог культур (опыт определения) // Вопросы философии. 1989. С. 31–42.
 22. Борн М. Физика в жизни моего поколения. М., 1963.
 23. Бубер М. Два образа веры. Я и Ты. 1922. М.: Республика, 1995.
 24. Бухарин Н.И. Теория исторического материализма. М., Л.: Гос. изд-во, 1928. 390 с.
 25. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 808 с.
 26. Витгенштейн Л. Философские исследования. М.: АСТ, 2011. 347 р.
 27. Гудмен Н. Новая загадка индукции // Гудмен Н. Факт, фантазия и предсказания. Способы создания миров / Пер. с англ. А. Л. Никифорова. М., 1992. С. 73–74.
 28. Декларация о создании межрегионального общества научных работников. 2012. URL: <http://onr-russia.ru/node/3> (дата обращения: 01.03.2018)
 29. Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: АСТ: CORPUS, 2013. 512 с.
 30. Дьюи Дж. Общество и его проблемы. М., 2002.
 31. Дюгем П. Физическая теория. Ее цель и строение / пер. с фр. КомКнига, 2007.
 32. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991.
 33. Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. 607 с.
 34. Йоас Х., Кнебль В. Социальная теория. 20 вводных лекций / Пер. с нем. К. Г. Тимофеевой. СПб.: Алетейя, 2011. 840 с.
 35. Касавин И.Т. Детство науки прошло безвозвратно // Вестник Томского государственного университета. Серия «Философия, социология, политология». 2018. № 2. С. 188–192. DOI: 10.17223/1998863X/42/20
 36. Касавин И.Т. Зоны обмена как предмет социальной философии науки // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 51. № 1. С. 8–17.
 37. Касавин И.Т. Истоки априорного знания // Эпистемология и философия науки. 2015. Том 38. № 1. С. 223–225.
 38. Касавин И.Т. К эпистемологии коммуникации: сила и слабость аналитического оптимизма // Вопросы Философии. 2014. № 7. С. 39–49.
 39. Касавин И.Т. Критика групповых убеждений: дискуссия с Дженнифер Лэки // Эпистемология и философия науки. 2016. Т. 50. № 4. С. 63–73.
 40. Касавин И.Т. Конструктивизм: заявленные программы и нерешенные проблемы // Эпистемология и философия науки. 2008. № 1. С. 5–14.
 41. Касавин И.Т. Нормы познания и познание норм // Эпистемология и Философия науки. 2017. Том 54, № 4. С. 8–19.
 42. Касавин И.Т. Спор о понятиях или различия по существу? // Эпистемология и философия науки. 2008. № 3. С. 78–82.
 43. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество, культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.
 44. Конт О. О Духе позитивной философии. М.: Либроком, 2011.
 45. Коэн М., Нагель Э. Введение в логику и научный метод / пер. с англ. П. С. Куслий. Челябинск, 2010.
 46. Крипке С. Тождество и необходимость // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. М., 1982.
 47. Куайн У. Слово и объект. М.: Логос, Праксис, 2000. 386 с.
 48. Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975.

49. Куслий П.С. Аспекты внутреннего мира и семантика естественного языка // Эпистемология и философия науки. 2014. № 4. С. 44–50.
50. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.: Медиум, 1995.
51. Левинас Э. Путь к Другому. СПб., 2007.
52. Луман Н. Введение в системную теорию / Под ред. Д. Беккера; Пер. с нем. К. Тимофеева. М.: Логос, 2007. 360 с.
53. Луман Н. Власть / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001. 256 с.
54. Луман Н. Дифференциация. М.: Логос, 2006.
55. Луман Н. Истина, знание, наука как система / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Логос, 2016. 410 с.
56. Луман Н. Медиа коммуникации. М.: Логос, 2006.
57. Луман Н. Общество общества. М.: Логос, 2011.
58. Луман Н. Общество как социальная система. М.: Логос, 2004.
59. Луман Н. Самоописания. М.: Логос, 2009.
60. Луман Н. Социальные системы. СПб., 2007.
61. Луман Н. Эволюция. М.: Логос, 2005.
62. Луман Н. Эволюция науки (перевод с немецкого) // Epistemology & Philosophy of science. 2017. Т. 52. № 2. С. 215–233.
63. Мангейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. 700 с.
64. Маркова Л.А. Наука без истины, субъекта и объекта, что дальше? // Эпистемология и философия науки. 2011. № 4. С. 51–59.
65. Матурана У., Варела Ф. Дерево познания. Биологические корни человеческого понимания. М., 2001.
66. Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль. М., 1996.
67. Мертон Р., Бараш Р.Э. Социальная роль человека знания Флориана Знанецкого // Эпистемология и философия науки. 2013. Т. 37. № 3. С. 207–212.
68. Мид Дж. Г. Социальное сознание и сознание смысла. Перевод с англ. Р. Э. Бараш // Эпистемология и философия науки. 2013. № 1. С. 219–227.
69. Мид Дж. Г. Разум, Я и общество (главы из книги) // Социальные и гуманитарные науки (отечественная и зарубежная литература). РЖ, «Социология». 1997. № 4.
70. Момджян К.Х. и др. Системно-теоретический подход к объяснению социальной реальности // Вопросы философии. 2016. № 1. С. 52–57.
71. Момджян К.Х. Номотетическое познание в общественных и гуманитарных науках // Эпистемология и философия науки. 2015. № 3. С. 16–22.
72. Момджян К.Х., Подвойский Д.Г., Кржевов В.С., Антоновский А.Ю., Бараш Р.Э. Системно-теоретический подход к объяснению социальной реальности // Вопросы философии. 2016. № 1. С. 17–42.
73. Нейрат О. Протокольные предложения // Журнал «Erkenntnis» («Познание»). Избранное. М., 2006. С. 310–319.
74. Никифоров А.Л. Что дала человечеству наука Нового времени? // Вестник Томского государственного университета. Серия «Философия, социология, политология». 2018. № 2. С. 179–187. DOI: 10.17223/1998863X/42/19
75. Никифоров А.Л. Язык и картина мира // Эпистемология и философия науки. 2015. № 4. С. 19–27.

76. Остин Дж. Как производить действия при помощи слов // Остин Дж. Избранное / пер. с англ. Л. Б. Макеевой, В. П. Руднева. М: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 13–135.
77. Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический Проект, 2000. 880 с.
78. Пиаже Ж. О механизмах ассимиляции и аккомодации // Психологическая наука и образование. 1998. № 1. С. 22–26.
79. Писарев Д.И. Исторические идеи Огюста Конта / Д. И. Писарев. Исторические эскизы. Избранные статьи. М.: «Правда», 1989.
80. Платон. Софист / пер. С. Ананьиной. 2011. 56 с.
81. Порус В.Н., Касавин И.Т. и др. Коммуникативная рациональность. Эпистемологический подход. М.: ИФРАН, 2009.
82. Пружинин Б.И., Касавин И.Т. и др. Коммуникации в науке. Эпистемологические, социокультурные и инфраструктурные аспекты // Вопросы философии. 2017. № 11. С. 23–57.
83. Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. М., 1994.
84. Смирнова Н.М. Возможна ли междисциплинарная модель интересубъективности? // Эпистемология и философия науки. 2011. № 1. С. 55–63.
85. Смирнова Н.М. Коммуникативная рациональность и жизненный мир человека // Эпистемология и философия науки. 2008. Т. XVII. № 3.
86. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 2006.
87. Социальная философия науки. Российская перспектива. М.: Кнорус, 2016.
88. Столярова О.Е. Стоит ли мыслить науку вне истории? // Эпистемология и Философия науки. 2017. Том 51, № 1. С. 47–51.
89. Тулмин С. Человеческое понимание. М., 1984.
90. Филатов В.П., Касавин И.Т., Антоновский А.Ю., Рузавин Г.И. Обсуждаем статьи о конструктивизме // Эпистемология и философия науки. 2009. Т. 20. № 2. С. 142–156.
91. Филиппов А.Ф. Об одной речи Макса Вебера // Россия в глобальной политике. 2017. № 1. С. 35–44.
92. Филиппов А.Ф. Этика ученого и этика политика в сравнительной перспективе // материалы конференции «90 лет речи Макса Вебера «Наука как призвание и профессия». URL: <https://cfs.hse.ru/news/137902547.html>
93. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие: пер. с нем. СПб.: Наука, 2000.
94. Хабермас Ю. О присвоении наследия философии субъекта (установки системной теории Н. Лумана) // Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2003. С. 221–233.
95. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.
96. Хайдеггер М. Исток художественного творения. М., 2008.
97. Хайдер Ф. Вещь и Медиум. 1927.
98. Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи. М.: Культурная революция, 2006. 559 с.
99. Хьюэлл У. Конт и позитивизм // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 54. № 4. С. 209–224.
100. Хьюэлл У. Философия индуктивных наук, опирающаяся на их историю // Эпистемология и философия науки. 2014. Т. 41. № 3. С. 198–215.

101. Хьюэлл У. Философия индуктивных наук, опирающаяся на их историю // Эпистемология и философия науки. 2015. Т. XLIII. № 1. С. 226–228.
102. Хьюэлл У. Философия индуктивных наук, основанная на их истории. М.: Кнорус, 2015.
103. Хюбнер К. Нация: от забвения к возрождению / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Канон+; Реабилитация, 2001. 399 с.
104. Шлейермахер Ф. Нечаянные мысли о духе немецкого университета // Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки. 2018. № 1. С. 215–235.
105. Штерн Б. Всё, что вы хотели знать о газете, но боялись спросить // Троицкий вариант. 2012. № 10. URL: <https://trv-science.ru/2012/03/27/10-faktov-o-trv-nauka/> (дата обращения: 15.02.2018)
106. Штомпка П. Справедливость [Гл.] / пер. с пол. А. А. Зотов // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2017. № 6. С. 381–399. Гл. из кн.: Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. Kraków: Znak, 2015. P. 232–250. DOI: 10.14515/monitoring.2017.6.21.
107. Alafenish S. Der Stellenwert der Feuerprobe im Gewohnheitsrecht der Beduinen des Negev // Scholz F., Janzen J. (Hrsg.) Nomadismus – ein Entwicklungsproblem? Berlin, 1982. S. 143–158.
108. Anderson R. Reduction of Variants as a Measure of Cultural Integration, in: Dole G.E., Carneiro R.L. (Hrsg.) Essays in the Science of Culture in Honor of Leslie A. White. New York, 1960. S. 50–62.
109. Antonovsky A. Technologies of the Electoral Process: A Field Study of the Possibility of Informative Communication // Russian Studies in Philosophy. 2017. Vol. 55. Iss. 1. P. 37–48.
110. Ashby W.R. An Introduction to Cybernetics. London, 1956.
111. Ashby W.R. Requisite Variety and its Implications for the Control of Complex Systems // Cybernetica. 1958. № 1.
112. Atlan H. A Tort et ä Raison: Intercritique de la Science et du mythe. Paris, 1986.
113. Atlan H. Entre le cristal et la fume. Paris, 1979.
114. Aubert W. The Hidden Society. Totowa, N. J., 1965.
115. Baecker D. (ed.). The problems of form. Stanford, 1999.
116. Baecker D. Form und Formen der Kommunikation. Suhkamp, 2005.
117. Baecker D. Kommunikation. Reklam, 2005.
118. Bauer E., Kornwachs K. Randzonen im System der Wissenschaft: Bemerkungen zur Rezeptionsdynamik unorthodoxer Forschungsthemen // Kornwachs K. (Hrsg.) Offenheit – Zeitlichkeit – Komplexität: Zur Theorie der Offenen Systeme. Frankfurt, 1984. S. 322–364.
119. Bayertz K. Wissenschaftsentwicklung als Evolution? Evolutionäre Konzeptionen wissenschaftlichen Wandels bei Ernst Mach, Karl Popper und Stephen Toulmin // Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie. 1987. No. 18. Pp. 61–91.
120. Ben-Eli M.U. Self-Organization, Autopoiesis, and Evolution // Zeleny M. (Hrsg.) Autopoiesis: A Theory of Living Organization. New York, 1981. Pp. 169–182.
121. Bertalanffy L.v. Zu einer allgemeinen Systemlehre // Biologia Generalis. 1949. № 19. S. 114–129.
122. Bertalanffy L. General System Theory. Foundations, Development, Applications. N.Y., 1968.

123. Blachowicz J.A. Systems Theory and Evolutionary Models of the Development of Science // Philosophy of Science. 1971. № 38. S. 178–199.
124. Blumer H. Collective Behavior // Principles of Sociology / Ed. by A. M. Lee. N.Y.: Barnes and Noble, 1969. P. 67–121.
125. Blute M. Sociocultural Evolutionism: An Untried Theory // Behavioral Science. 1979. № 24. S. 46–59.
126. Boon L. Variation and Selection: Scientific Progress Without Rationality // Callebaut W., Pinxten R. (Hrsg.) Evolutionary Epistemology: A Multiparadigm Program. Dordrecht, 1987. S. 159–177.
127. Brouillette M. Viral ‘fossils’ in our DNA may help us fight infection // Sciencemag.org. 2016. March 3. URL: <http://www.sciencemag.org/news/2016/03/viral-fossils-our-dna-may-help-us-fight-infection>
128. Bühl W.L. Einführung in die Wissenschaftssoziologie. München, 1974.
129. Buss D.M. (Ed.) The Handbook of Evolutionary Psychology. John Wiley & Sons, Inc., 2005.
130. Campbell D. Variation and Selective Retention in Socio-Cultural Evolution // Barringer H.R., Blanksten G.I., Mack R.W. (Hrsg.) Social Change in Developing Areas: A Reinterpretation of Evolutionary Theory. Cambridge, Mass., 1965. S. 19–49.
131. Campbell D.T. Blind variation and selective retentions in creative thought as in other knowledge processes // Psychological Review. 1960. Vol. 67. Iss. 6. Pp. 380–400.
132. Campbell D.T. Evolutionary Epistemology // Schilpp P.A. (Hrsg.) The Philosophy of Karl Popper. La Salle, Ill., 1974. Bd. I. S. 412–463.
133. Campbell D.T. Selection Theory and the Sociology of Scientific Validity // Callebaut W. & Pinxten R. (Eds.) Synthese Library. Vol. 190. Evolutionary epistemology: A multiparadigm program. Dordrecht: D Reidel Publishing Co., 1987. Pp. 139–158.
134. Campbell D.T. Unjustified Variation and Selective Retention in Scientific Discovery, in: Ayala F.J., Dobzhansky T. (Hrsg.) Studies in the Philosophy of Biology: Reduction and Related Problems. London, 1974. S. 139–161.
135. Campbell N.R. Foundations of Science. New York, 1957. 150 p.
136. Castells M. The power of identity. Oxford: Blackwell, 1997. 560 p.
137. Castells M. The power of identity. Oxford: Wiley-Blackwell, 2004. 584 p.
138. Chisholm R. Theory of Knowledge. Englewood Cliffs, 1989.
139. Chuong E.B. et al. Regulatory evolution of innate immunity through co-option of endogenous retroviruses // Science. 2016. Vol. 351. Issue 6277. Pp. 1083–1087.
140. Cloak F.T. Is a Cultural Ethology Possible? // Human Ecology. 1975. № 3. S. 161–182.
141. Cohen L.J. Is the Progress of Science Evolutionary? // The British Journal for the Philosophy of Science. 1973. Vol. 24. P. 47.
142. Coleman J. Social Theory, Social Research, a Theory of Action // American journal of Sociology. 1986. № 91. P. 1322.
143. Coleman J. Weber and the Protestant Ethic. A Comment on Hernes // Rationality and Society. 1989. No. 1. Pp. 291–294.
144. Crossley N. Making Sense of Social Movements. Buckingham; Philadelphia: Open University Press, 2002. 220 p.

145. Davidson D. *Essays on Actions and Events*. Oxford: Clarendon Press, 1980.
146. *Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften*. Stuttgart, 1984.
147. Dewey J. *Experience and Nature*. Chicago, 1925.
148. Duhem P. *La science allemande*. Paris: Hermann, 1915 (English translation 1991).
149. Ebner F. *Das Wort und die geistige Realitat, Gesammelte Werke, Bd. 1*. Wien, 1952.
150. Elkana Y. *The Conservation of Energy: A Case of Simultaneous Discovery? // Archives internationales d'histoire des sciences*. 1970. № 23. S. 31–60.
151. Engels E.-M. *Erkenntnis als Anpassung? Eine Studie zur Evolutionären Erkenntnistheorie*. Frankfurt, 1989.
152. Esposito E. *Two-sided Forms in Language*. Stanford, 1999.
153. Eyerman R., Jamison A. *Social Movements. A Cognitive Approach*. Camb.: Polity Press, 1991. 190 p.
154. Feyerabend P. *Consolations for the Specialist // In Lakatos I., Musgrave A. Criticism and the Growth of Knowledge. Proceedings of the International Colloquium in the Philosophy of Science*. London: Cambridge University Press, 1970. P. 215.
155. Fichte J.G. *Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt*. 1807.
156. Foerster H. (Fd.) *Cybernetics of Cybernetics: The Control of Control and the Communication of Communication // Future Systems*. 1995.
157. Foerster H. v. *Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition*. Springer, 2002.
158. Foerster H. von. *Objects: tokens for (eigen-) behaviors Observing Systems*. Seaside, 1981. P. 274–285.
159. Fuchs Ch. *The Self-Organization of Social Movements // Systemic Practice and Action Research*. 2005. Vol. 19. № 1. Pp. 101–137.
160. Gettier E. *Is Justified True Belief Knowledge? // Analysis*. 1963. № 23. P. 121–123.
161. Giddens A. *Central problems in social theory: Action, structure and contradiction in social analysis*. London, 1979. 294 p.
162. Gieryn T.F., Hirsch R.F. *Marginality and Innovation in Science // Social Studies of Science*. 1983. № 13. S. 87–106.
163. Glasersfeld E.v. *Radical constructivism. A Way of Knowing and learning*. Routledge, 1996.
164. Gordon M.D. *How Socially Distinctive is Cognitive Deviance in an Emergent Science? The Case of Parapsychology // Social Studies of Science*. 1982. № 12. S. 151–165.
165. Gould S.J. *Wonderful Life*. New York, 1990.
166. Günther G. *Cognition and Volition: a Contribution to a Cybernetic Theory of Subjectivity // Günther G. Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik. Bd. 2*. Hamburg, 1979.
167. Habermas J. *Protestbewegung und Hochschulreform*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969. 270 s.
168. Habermas J. *The Theory of Communicative Action. Vol. II. Lifeworld and System: a Critique of Functionalist Reason / Trans. by Th. McCarthy*. Boston: Beacon Press, 1987. 457 p.
169. Habermas J. *Theorie des kommunikativen Handelns*. Frankfurt/M., 1981.

170. Harré R. *Varieties of Realism*. Oxford: Blackwell, 1986. 375 p.
171. Harré R. *The Principles of Scientific Thinking*. London: Macmillan, 1970.
172. Hayles N.K. *Boundary Disputes: Homeostasis, Reflexivity, and the Foundations of Cybernetics // Configurations*. 1994. № 3.
173. Heider F. *Ding und Medium*. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2005. 128 s.
174. Heider F. *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York, 1958.
175. Hempel C.G. *Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science*. New York: Free Press, 1965. 504 p.
176. Herschel J.F.W. *A Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy*. London, 1830.
177. Hesse M. *Models and Analogies in Science*. University of Notre Dame Press, 1966.
178. Hindess B. *Power, Interests, and the Outcome of Struggles // Sociology*. 1982. № 16. S. 498–511.
179. Hofstadter D.R. *Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid*. Hassocks (Sussex), 1979. 777 p.
180. Hull D.L. *The Metaphysics of Evolution*. Albany: SUNY Press, 1989.
181. Jacob F. *Die Logik des Lebenden: Von der Urzeugung zum genetischen Code*, dt. Übers. Frankfurt, 1972.
182. James W. *Essays in Radical Empiricism*. University of Nebraska Press, 1996.
183. James W. *Great Men, Great Thoughts, and the Environment // The Atlantic Monthly*. 1880. № 46. S. 441–459.
184. James W. *Principles of Psychology*. Chicago, 1952.
185. Jantsch E. *Die Selbstorganisation des Universums: Vom Urknall zum menschlichen Geist*. München, 1979.
186. Japp K.P. *Selbsterzeugung oder Fremdverschulden. Thesen zum Rationalismus in den Theorien sozialer Bewegungen // Soziale Welt*. 1984. № 35. S. 313–329.
187. Japp K.P. *Soziologische Risikotheorie*. München, 1996.
188. Kahler E. von. *Der Beruf der Wissenschaft*. 1920.
189. Keller A.G. *Societal Evolution: A Study of the Evolutionary Basis of the Science of Society*. New York: Macmillan Company, 1915.
190. Knorr Cetina K. *Evolutionary Epistemology and Sociology of Science // Callebaut W., Pinxten R. (Hrsg.) Evolutionary Epistemology: A Multiparadigm Program*. Dordrecht, 1987. S. 179–201.
191. Kuhn T. *The Essential Tension: Tradition and Innovation in Scientific Research? // Kuhn T. The Essential Tension*. Chicago, 1977. P. 321–331.
192. Laclau E., Mouffe C. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London, 1985. 240 p.
193. Lamb D., Easton S.M. *Multiple Discovery: The Pattern of Scientific Progress*. Trowbridge, 1984.
194. Lasker G.E. (Ed.) *Applied Systems and Cybernetics*. Vol. II. New York, 1981.
195. Lasswell H. *Propaganda, communication and public order*. Princeton, 1946.
196. Latour B. *A Textbook Case Revisited – Knowledge as a Mode of Existence // The Handbook of Science and Technology Studies*. London, 2008. P. 83–113.
197. Latour B. *A Textbook Case Revisited – Knowledge as a Mode of Existence // Hackett E.J., Amsterdamska O., Lynch M., Wajcman J. (eds.) The Handbook of Science and Technology Studies*. MIT Press, 2007.
198. Laudan L. *Progress and Its Problems. Toward a Theory of Scientific Growth*.

- Berkeley and Los Angeles: The University of California Press, 1977.
199. Levins R. *Evolution in Changing Environments: Some Theoretical Explorations*. New Jersey: Princeton University Press, 1968. S. 108.
 200. Levit K. Max Weber Position on Science. In: Lassman P., Velody I. *Max Weber's Science as a Vocation*. London, 1989. P. 138–156.
 201. Loewenthal L. *Humanität und Kommunikation (1969) / Literatur und Massenkultur*. Suhrkamp, 1980.
 202. Löfgren L. Knowledge of Evolution and Evolution of Knowledge // Jantsch E. (Hrsg.) *The Evolutionary Vision: Toward a Unifying Paradigm of Physical, Biological, and Sociocultural Evolution*. Boulder, Col., 1981. S. 129–151.
 203. Löfgren L. Life as an Autolinguistic Phenomenon // Zeleny M. (Hrsg.) *Autopoiesis: A Theory of Living Organization*. New York, 1981. S. 236–249.
 204. Lorenz K., Wuketits F.M. (Hrsg.) *Die Evolution des Denkens*. München, 1983.
 205. Luhmann N. *Das Erkenntnisprogramm des Konstruktivismus und die unbekannt bleibende Realität // Soziologische Aufklärung. Bd. 5: Konstruktivistische Perspektiven*. Westdeutscher Verlag, 1991.
 206. Luhmann N. *Die Autopoiesis des Bewußtseins // Hahn A., Kapp V. (Hrsg.) Selbstthematization und Selbstzeugnis: Bekenntnis und Geständnis*. Frankfurt, 1987. S. 25–94.
 207. Luhmann N. *Die Gesellschaft der Gesellschaft*. Suhrkamp, 1996.
 208. Luhmann N. *Die Wissenschaft der Gesellschaft*. Suhrkamp Verlag, 1992.
 209. Luhmann N. *Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft*. Suhrkamp. Bd. 1–5. 1994.
 210. Luhmann N. *Interaktion, Organization, Gesellschaft // Soziologische Aufklärung*. Springer. 1972. Band 2. S. 9–20.
 211. Luhmann N. *Liebe als Passion*. Suhrkamp, 1994.
 212. Luhmann N. *Protest. Systemtheorie und soziale Bewegungen (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft)*. Suhrkamp Verlag; Frankfurt/Main, 1996. 216 s.
 213. Luhmann N. *Soziale Systeme*. Suhrkamp Verlag, 1987. 675 s.
 214. Luhmann N. *Systemtheorie und Protestbewegungen. Ein Interview // Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen*. 1994. № 2. S. 53–69.
 215. MacKenzie D. *Statistics in Britain 1865–1930: The Social Construction of Scientific Knowledge*. Edinburgh, 1981.
 216. Martinet A. *Elements of general linguistics*. Chicago, 1982.
 217. Maturana H.R. *Evolution: Phylogenetic Drift Through the Conservation of Adaptation*. Ms., 1986.
 218. Mayer J.G. *Historia Diaboli, seu Commentatio de Diaboli, malorumque spirituum existentia, statibus, iudiciis, consiliis, potestate*. Tübingen, 1780.
 219. McAdam D., McCarthy J.D., Zald M.N. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 446 p.
 220. Mead G.H. *The Objective Reality of Perspectives // Proceedings of the Sixth International Congress of Philosophy*. New York, 1926. P. 75–85.
 221. Melucci A. *The symbolic challenge of contemporary movements // Social Research*. 1985. Vol. 52. № 4. P. 789–815.
 222. Merton R.K. *Priorities in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science // American Sociological Review*. 1957. № 22. S. 654–659.
 223. Merton R.K. *Resistance to the Systematic Study of Multiple Discoveries in*

- Science // *Europäisches Archiv für Soziologie*. 1963. № 4. S. 237–282.
224. Merton R.K. Singletons and Multiples in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science // *Proceedings of the American Philosophical Society*. 1961. № 105. S. 470–486.
225. Merton R.K. *The sociology of science: theoretical and empirical investigations*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1973. 636 pp.
226. Merton R.K., Barber E. *The Travels and Adventures of Serendipity: A Study in Sociological Semantics and the Sociology of Science*. Princeton, 2006.
227. Meyer D.S. Protest and political opportunities // *The Annual Review of Sociology*. 2004. Vol. 30. P. 125–145.
228. Miller P.N. *Peiresc's Europe. Learning and virtue in the XVII century*. New Haven, Conn. and L.: Yale University Press, 2000. 234 pp.
229. Münch R. *Die Struktur der Moderne: Grundmuster und differentielle Gestaltung des institutionellen Aufbaus der modernen Gesellschaften*. Frankfurt, 1984.
230. Myers F.H.W. *Human Personality and its Survival of Death*. London, 1903.
231. Nagel E. *The Structure of Science*. New York, 1961.
232. Offe C. *New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics* // *Social Research*. 1985. Vol. 52. № 4. P. 817–867.
233. Ogburn W.K., Thomas D. Are Inventions Inevitable? // *Political Science Quarterly*. 1922. № 37. S. 83–93.
234. Ogden C.K., Richards I.A. *The Meaning of Meaning*. New York, 1923.
235. Oudeyer P.-Y. and Kaplan F. *Language Evolution as a Darwinian Process: Computational Studies* // *Cognitive Processing*. 2007. № 8. Pp. 21–35.
236. Parijs P. v. *Evolutionary Explanation in the Social Sciences: An Emerging Paradigm*. London, 1981.
237. Parsons T. *Comparative Studies and Evolutionary Change* // *Social Systems and the Evolution of Action Theory*. New York, 1977.
238. Parsons T. *Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives*. Englewood Cliffs, N.J., 1966.
239. Parsons T. *Structure of social action: a study in social theory...* New York, 1937. 732 p.
240. Parsons T. *The Social System*. Routledge, 1951.
241. Parsons T. *The System of Modern Societies*. Englewood Cliffs, N.J., 1971.
242. Parsons T., Shils E.A. *Toward a General Theory of Action*. Harvard University Press, 1951.
243. Parsons T., Smelser N.L. *Economy and Society*. London, 1956.
244. Polanyi M. *Implizites Wissen*, dt. Übers. Frankfurt, 1985.
245. Polanyi M. *The Republic of Science: Its Political and Economic Theory* // *Minerva*. 1962. № 1. S. 54–73.
246. Pothast U. *Etwas über «Bewußtsein»* // Cramer K. et al. (Hrsg.) *Theorie der Subjektivität*. Frankfurt, 1987. S. 15–43.
247. Rescher N. *Methodological Pragmatism: A System-Theoretic Approach to the Theory of Knowledge*. Oxford, 1977.
248. Richardson A. *Tolerance, Internationalism, and Scientific Community in Philosophy: Political Themes in Philosophy of Science, Past and Present* // Heidelberg M., Stadler F. (eds.) *Wissenschaftsphilosophie und Politik; Philosophy of Science and Politics*. Vienna: Springer-Verlag, 2003.
249. Rickert H. *Max Weber's View of Science*. In: Lassman P., Velody I. *Max Weber's*

- Science as a Vocation. London, 1989. P. 76–86.
250. Riedl R. Biologie der Erkenntnis: Die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Vernunft. 3. Aufl. Berlin, 1981.
 251. Roth G. Selbstorganisation – Selbsterhaltung – Selbstreferentialität: Prinzipien der Organisation der Lebewesen und ihre Folgen für die Beziehungen // Dress A., Hendrichs H., Koppers G. (Hrsg.) Selbstorganisation: Die Entstehung von Ordnung in Natur und Gesellschaft. München, 1986. S. 149–180.
 252. Ruse M. Evolutionary Naturalism. London: Routledge, 1995.
 253. Schaffer S. Natural Philosophy and Public Spectacle in the Eighteenth Century // History of Science. 1983. № 21. Pp. 1–43.
 254. Schaffer S. Scientific Discoveries and the End of Natural Philosophy // Social Studies of Science. 1986. № 16. Pp. 387–420.
 255. Scheler M. Sociology and the Study and Formulation of Weltanschauung. In: Lassman P., Velody I. Max Weber's Science as a Vocation. London, 1989. P. 87–92.
 256. Schmid M. Theorie sozialen Wandels. Opladen, Westdeutscher Verlag, 1982.
 257. Schmitt C. The Tyranny of Values. 1959.
 258. Schutz A. The Phenomenology of the Social World. Northwestern University Press, 1967.
 259. Shannon C.E., Weaver W. The mathematical theory of communication. Urbana: University of Illinois Press, 1949.
 260. Simmel G. Grundfragen der Soziologie. Berlin, 1970.
 261. Smith B.L., Lasswell H., Casey R. Propaganda, communication and public opinion. Princeton, 1946.
 262. Spaemann R., Müller A. Historischen Wörterbuch der Philosophie. Bd. 2. Basel, 1972.
 263. Spencer-Brown G. Laws of Form. New York, 1979.
 264. Spencer-Brown G. Probability and Scientific Inference. London, 1957.
 265. Spranger E. Fichte, Schleiermacher und Steffens über das Wesen der Universität. Berlin, 1909. S. XL.
 266. Spranger E. Wilhelm von Humboldt und die Humanitätsidee. Berlin, 1909.
 267. Steffens H. Über die Idee der Universitäten: Vorlesungen. Berlin, 1809.
 268. Stewart J.A. Drifting Continents and Colliding Interests: A Quantitative Application of the Interests Perspective // Social Studies of Science. 1986. № 16. S. 261–279.
 269. Sztompka P. Jenseits von Struktur und Handlung. Auf dem Weg zu einer integrativen Soziologie sozialer Bewegungen // Forschungsjournal Neue soziale Bewegungen. 1994. № 2. S. 70–80.
 270. Tilly C. Social Movements, 1768–2004. L., 2004.
 271. Toulmin S. Die evolutionäre Entwicklung der Naturwissenschaft // Diederich W. (Hrsg.) Theorien der Wissenschaftsgeschichte: Beiträge zur diachronen Wissenschaftstheorie. Frankfurt, 1974. Pp. 249–275.
 272. Toulmin S. Kritik der kollektiven Vernunft, dt. Übers. Frankfurt, 1978. S. 148.
 273. Touraine A. An introduction to the study of social movements // Social Research. 1985. Vol. 52. № 4. Pp. 749–787.
 274. Varela F. Principles of Biological Autonomy. New York, 1979.
 275. Varela F., Maturana H. Ethical Know-How: Action, Wisdom, and Cognition. Stanford, 1999.
 276. Varela F.J. Living Ways of Sense-Making: A Middle Path for Neuroscience //

- Livingston P. (Hrsg.). Disorder and Order: Proceedings of the Stanford International Symposium (Sept. 14–16, 1981). Saratoga, Cal., 1984. S. 208–224.
277. Vollmer G. Evolutionäre Erkenntnistheorie: Angeborene Erkenntnisstrukturen im Kontext von Biologie, Psychologie, Linguistik, Philosophie und Wissenschaftstheorie. Stuttgart, 1975.
278. Vollmer G. Was können wir wissen? 2 Bde. Stuttgart, 1985 und 1986.
279. Weber M. Die «Objektivität» sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis (1904) // Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Hrsg. von Johannes Winckelmann. Tübingen, 1985. S. 214–215.
280. Weber M. Schriften 1894–1922. Stuttgart: Kröner, 2002. Band 233. 863 S.
281. Whewell W. Philosophy of the Inductive Sciences. London, 1847. P. 245–254.
282. White H. Identity and Control. How social formations emerge. New York. 2008.
283. Windelband W. Geschichte und Naturwissenschaft. Straßburg, 1904.
284. Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford: Oxford University Press, 1978. 250 pp.
285. Woolgar S. Interests and Explanation in the Social Study of Science // Social Studies of Science. 1981. № 11. Pp. 265–394.
286. Zeleny M. (Hrsg.) Autopoiesis: A Theory of Living Organization. New York, 1981.
287. Zurek W. Quantum Darwinism. Nature Physics. 2009. № 5 Pp. 181–188.

ОБ АВТОРАХ

Антоновский Александр Юрьевич – доктор философских наук, старший научный сотрудник, Институт философии РАН, Москва. E-mail: antonovski@hotmail.com

Alexander Yu. Antonovski – DSc in Philosophy, senior research fellow. Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow. E-mail: antonovski@hotmail.com

Бараш Раиса Эдуардовна – кандидат политических наук, старший научный сотрудник, Институт социологии РАН. E-mail: raisabarash@gmail.com

Raisa E. Barash – CSc in Political Science, senior research fellow, Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences. E-mail: raisabarash@gmail.com

Антоновский Александр Юрьевич
Бараш Раиса Эдуардовна

Системно-коммуникативная теория и ее приложения: наука и протест

Монография

Компьютерная верстка: Т.М. Хусяинов.

Тексты печатаются в литературной редакции авторов.

Подписано в печать 9.01.2019.
Формат 60x84 1/16.
Гарнитура «Times».
Уч.-изд. л. 20. Усл. печ. л. 19,2.
Тираж 500 экз. Заказ.

Издательство «Русское общество истории и философии науки»
105062, Россия, Москва, Лялин пер., д. 1/36, стр. 2, комн. 2.
E-mail: info@rshps.ru
Официальный сайт издательства: www.rshps.ru

Отпечатано в полном соответствии с представленным
электронным оригинал-макетом
в ООО «Печатная мастерская РАДОНЕЖ»
603002, Нижний Новгород, ул. Интернациональная, 100.
Тел. +7(831) 418-53-23.

ISBN 978-5-6041212-8-3



9 785604 121283

Антоновский Александр Юрьевич

**Доктор философских наук, старший научный сотрудник, Институт философии
Российской академии наук**

Бараш Раиса Эдуардовна

**Кандидат политических наук, старший научный сотрудник, Институт социологии
Российской академии наук**

В монографии исследуются возможности развития и применения системно-коммуникативной теории, основы которой были разработаны немецким социологом Никласом Луманом. Авторы рассматривают и интерпретируют данный подход, сосредотачиваясь на проблеме наблюдателя социальных процессов. При этом, с одной стороны, особое внимание уделяется системно-коммуникативным подходам к анализу коммуникативной системы науки, ориентирующейся на обобщающее символическое средство коммуникации — медиум истины. С другой стороны, авторы рассматривают и оценивают шансы на успешное развитие нарождающейся системы протестных и радикальных коммуникаций, еще не обретших единого генерализованного символа (коммуникативного медиума), тематически раздробленных и не получивших окончательных организационных форм, но приобретающих все большее влияние в обществе, в особенности, в своих социально-сетевых проявлениях.

ISBN 978-5-6041212-8-3



9 785604 121283